ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2005

РОМАН КУРЦИО МАЛАПАРТЕ "ШКУРА" / РАССКАЗЫ ТАДЕУША РУЖЕВИЧА И ТАМИЯ ТОРАХИКО / ПОВЕСТЬ АРНО ШМИДТА "ЧЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА" /ФРАГМЕНТЫ КНИГИ НИКОЛА ЖАЛЛО "ИХ СТАЛИН ПОЙМАЛ В ЛОВУШКУ" / ДВА ЭССЕ ИВАНА КЛИМЫ / "ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ" МАРИИ КАРП В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Молодость" – во многом автобиографический роман южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии ДЖ. М. КУТЗЕЕ, проникновенное повествование о взрослении, утрате иллюзий и попытке разобраться в собственном "я".

"Комплекс Ди" – удостоенный премии "Фемина" роман известного французского писателя китайского происхождения ДАЙ СИДЖИ, где любовь и коррупция, психоанализ и древние традиции сплавлены в причудливый пейзаж современного Китая.

"Мечты о женщинах, красивых и средних" – первый, но не публиковавшийся при жизни автора, роман классика английского авангарда СЭМЮЭЛА БЕККЕТА. Главный герой романа (и по совместительству – alter ego 26-летнего Беккета) Белаква Шуа колесит по Европе, много философствуя, а еще больше – предаваясь любви и размышлениям о ней.

"Доплер" – последний роман самого читаемого сейчас в мире норвежца ЭРДЕЖДА ЛУ, автора книги "Наивно. Супер", ставшего одним из манифестов нового поколения.

"Две точки зрения" – роман УВЕ ЙОНСОНА, известного немецкого прозаика, эмигрировавшего из ГДР на Запад. Это история нелегального перехода через восточногерманскую границу, рассказанная двумя ее участниками: медсестрой из Восточного Берлина и ее другом, западным немцем, который пытается помочь ей бежать.

"Как я стал идиотом" – роман двадцатитрехлетнего французского писателя Мартена Пажа о молодом человеке, мечтавшем быть "как все".

"Педант на кухне" – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА. В новом для себя жанре писатель преуспел, щедро сдобрив "блюда" иронией и литературными аллюзиями. Читатель получает возможность насладиться интеллектуальной стряпней, приготовленной по всем правилам кулинарного искусства.

Рассказы РАЙНЕРА МАРИИ РИЛЬКЕ, ТРУМЕНА КАПОТЕ, АРТУРА МИЛЛЕРА, КАРЛОСА ФУЭНТЕСА, ГОРАНА ПЕТРОВИЧА, СЭМА ШЕППАРДА и др.

"Дикие лебеди, или Три дочери Китая" – отмеченный литературными премиями документальный роман писательницы-эмигрантки ЧЖАН ЖУН о трех поколениях женщин ее семьи, живших в "старом Китае", при Гоминьдане и Председателе Мао.

"Письма молодому романисту" – главы из книги известнейшего перуанского писателя МАРИО ВАРГАСА ЛЬОСЫ, где он делится секретами литературного мастерства с теми, кто решил посвятить свою жизнь искусству.

"Сказать почти то же самое" – фрагменты книги знаменитого итальянского ученого и писателя УМБЕРТО ЭКО, посвященной проблемам перевода.

Литературные портреты: ЖАН ПОЛЬ САРТР, ЭЛЬФРИДА ЕЛИНЕК, АНТОНИО МУНЬОС МОЛИНА и др.

В десятом, юбилейном, номере (в этом году нам 50 лет!) наш читатель встретится с неизвестными доселе произведениями крупнейших писателей прошлого и нынешнего веков.

[5]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Этот номер посвящается 60-летию Победы

3 Курцио Малапарте *Шкура.* История и рассказ. Перевод с итальянского Г. Федорова. Вступление Марио Корти

151 Тадеуш Ружевич *Рассказы.* Перевод с польского М. Курганской

170 Тамия Торахико *Рассказывает девочка. Рассказ.* Перевод с японского О. Исаевой

179 Арно Шмидт *Черные зеркала.* Повесть. Перевод с немецкого и послесловие Т. Баскаковой

Документальная проза

250 Никола Жалло *Их Сталин поймал в ловушку.* Фрагменты книги. Перевод с французского Ирины Радченко

Статьи, эссе

273 Иван Клима *Два эссе.* Перевод с чешского Н. Фальковской

Среди книг

284 А. Нестеров *Поэзия мысли, поэзия памяти*

Письма из-за рубежа

293 Мария Карп *По другую сторону*

БиблиофИЛ

296 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

298

Авторы номера

301

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г. До 1943 г. выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Курцио Малапарте

Шкура[1]

История и рассказ

Перевод с итальянского Г. Федорова

"Проклятый тосканец: небо в глазах, преисподня на устах"

Малапарте знали в Советском Союзе. В первую очередь те, кто боролся с советской властью. Когда-то я был страстным читателем советского самиздата, который неведомыми путями попадал на Запад. И впервые имя Малапарте в русском тексте я с некоторым удивлением обнаружил в документах по делу ВСХСОН, подпольной монархистской организации с несколько претенциозным названием: "Всесоюзный социал-христианский союз освобождения народа". "Техника государственного переворота", написанная Малапарте по-французски (опубликована в Париже в 1931 году и сожжена на нацистском костре в Германии в 1933-м), в русском самиздатовском переводе стала руководством к действию ленинградских "заговорщиков". Эта книга Малапарте фигурировала в протоколах обысков, обвинительном заключении и приговоре суда.

Журналист и литератор, дипломат и авантюрист Курт Эрих Зукерт, сын Эрвина Зукерта, немца из Ганновера, изобретателя новой формулы для окраски тканей, и Эвелины Пирелли, итальянки из Милана, родился 9 июня 1898 года в городе Прато.

Этот тосканский город известен не только своими текстильными заводами, но и своей независимой историей, и нет ничего более оскорбительного для жителей Прато, когда о городе говорят только, что он прилегает к Флоренции. Курт Зукерт, как все "пратези", и был таким патриотом своего города: "Я из Прато. То,

© Г. Федоров. Перевод, 2005
© Марио Корти. Вступление, 2005
1. Журнальный вариант.

что я из Прато, меня вполне удовлетворяет, если бы я не был из Прато, мне незачем было и появляться на свет".

Курт Зукерт воевал добровольцем в Первой мировой войне на французском и итальянском фронтах и получил награды за храбрость во Франции и в Италии. После войны становится членом фашистской партии и публикует первые свои эссе: "Восстание проклятых святых", известное также под названием "Да здравствует Капоретто!" (1921), "Свадьба евнухов" (1923) и "Варварская Италия" (1926). В 1924 году основывает журнал "Завоевание государства". В 1925-м ставит подпись под "Манифестом фашистских интеллектуалов" и меняет свою фамилию на Малапарте. В 1928-м в журнале "Голос" появляются его сатирические стихотворения за подписью Архиитальянец. В 1928—1933 годах — содиректор журнала "Литературная ярмарка", в 1929—1931 годах — директор туринской газеты "Стампа". В 1929 году в Москве знакомится с Горьким, Маяковским и Булгаковым. В 1931-м уезжает в Париж, где публикует "Технику государственного переворота", книгу, которая была запрещена в Италии и Германии. По возвращении в Италию арестован и осужден на пять лет ссылки за антифашистские высказывания. Во время войны под псевдонимом Кандид — военный корреспондент миланской газеты "Коррьере делла сера" на германо-советском фронте — северном, западном и юго-западном. После высадки союзной армии в южной Италии в 1943 году, Малапарте становится связным офицером между Итальянским корпусом освобождения, созданным после безоговорочной капитуляции Италии, и Союзным верховным командованием.

Позволю себе перечислить лишь несколько художественных произведений Малапарте: "Приключения несчастного полководца" (1927), "Содом и Гоморра" (1931), "Побеги из тюрьмы" (1936), "Кровь" (1937), "Капут" (1944), "Дон Камалео, или Роман хамелеона" (1946), "История завтрашнего дня" (1949), "Дон Камалео, или Портрет Италии на четвереньках" (1953), "Проклятые тосканцы" (1956). Среди его многочисленных эссе, помимо названных: "Интеллект Ленина" (1930), "Волга рождается в Европе" (репортажи с восточного фронта для "Коррьере делла сера", 1943), "Блюстители беспорядка" (1957). Записки о поездке в Россию и Китай опубликованы посмертно под названием "Я в России и Китае" (1958). Также опубликованы посмертно "Благословенные итальянцы" (1961) и "Бал в Кремле" (1971).

Выбирают мужа (жену) или любовника (любовницу). Мать и отца не выбирают. У всех у нас, кроме своей родины, всегда есть другая любимая страна, вторая родина. Родину мы любим, потому что она наша, как мама, какая бы она ни была, и с этим ничего не поделать. Вторую родину мы любим, потому что мы в нее влюбились и сами ее выбрали — изучаем ее язык, ее историю и культуру. Для Малапарте родиной была Италия, хотя он мог выбрать и Германию, родину отца. Своей второй родиной "проклятый тосканец" выбрал Неаполь.

Он нашел себе и новую фамилию, которая не могла быть более подходящей — Малапарте, антоним Бонапарте: злая доля, не та сторона. А выбирал он чаще всего именно не ту сторону. Не та сторона, когда он делается фашистом, не та, когда он станет антифашистом, за что будет репрессирован, не та сторона и его страна Италия, страна побежденных. Вот эта особенность Малапарте, интеллектуальная его строптивость, интеллектуальный "авантюризм", и объясняет недружелюбие к нему, и в частности к "Шкуре", большей части политизированной итальянской литературной критики.

На этом фоне обвинения в "приспособленчестве" в адрес Малапарте выглядят по крайней мере странными, особенно если принять во внимание, что многие итальянские интеллектуалы, бывшие поклонники старого режима, стали антифашис-

тами, левыми радикалами или коммунистами после поражения фашизма и определяли общее направление в итальянской культуре послевоенного периода.

"Гегемонная" литературная критика отвергала творчество Малапарте, поскольку оно не вписывалось в заданные интерпретационные схемы событий фашистского и постфашисткого периодов. Учение о "гегемонии" было разработано итальянским идеологом марксизма Антонио Грамши. В отличие от Ленина, Грамши полагал, что первоочередная задача прогрессивно мыслящих интеллектуалов не захват политической власти, а обновление системы ценностей путем постепенного овладения — через инфильтрацию — институтами гражданского общества, а также средствами массовой информации, всеми сферами искусства, и конечно через убеждение и создание консенсуса, через усиление влияния в школах и университетах.

Отвергали Малапарте те, кого он в "Шкуре" называл "будущими победителями", "те, кто прятался в подвалах и дрожал в ожидании момента, когда минует опасность и можно будет выбежать на площадь с трехцветным бантом на груди и красной косынкой на шее и закричать: 'Да здравствует свобода!'". Малапарте был не своим и для миноритарной католической и правой критики.

Когда мы говорим сегодня о Малапарте, и в частности об остракизме, которому он систематически подвергался со стороны "прогрессивной" критики и "прогрессивной" интеллектуальной элиты, невольно напрашивается параллель со всемирно известной журналисткой Орианой Фаллачи. Подобно Малапарте, Фаллачи — и журналист, и военный корреспондент, и автор романов. Как у Малапарте, проза Орианы Фаллачи местами приправлена остротой простонародного тосканского наречия. Как Малапарте, Фаллачи завоевала себе репутацию "проклятой тосканки".

Трилогия Фаллачи — "Ярость и гордость"[1], "Сила разума" и "Ориана Фаллачи берет интервью у Орианы Фаллачи" — стала мировым бестселлером. Несомненно, что бестселлером станет и последняя книга под названием "Апокалипсис" с эпиграфом "И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны". Фаллачи пишет не только и не столько об опасности исламизма и угрозе терроризма, или о конфликте цивилизаций, сколько об абсурдности и интеллектуальном бессилии преобладающей ныне на Западе политкорректности. Вот еще одна точка соприкосновения: можно ли себе представить политкорректного Малапарте? Удивительна и перекличка между тем, что пишет Фаллачи в своей трилогии, и посвящением Малапарте в "Шкуре": "Американским солдатам... напрасно погибшим за свободу Европы".

"Шкура" выходит в 1949 году во Франции. "Поскольку общий тезис книги выражен не четко, читателю трудно будет убедиться в том, что Малапарте выступает в защиту и с апологией итальянского народа и, в частности, народа неаполитанского", — пишет рецензент "Шкуры" сразу после ее появления в Италии в 1950-м. Возможно, рецензент прав, что тезис выражен не четко. "Тезиса", возможно, в "Шкуре" вовсе нет. Большинством рецензентов книга была воспринята как кощунственная, антипатриотическая и вызвала бурную отрицательную реакцию именно в Неаполе. Но, на мой взгляд, второе утверждение рецензента несомненно верно: Малапарте в "Шкуре" выступает с апологией итальянского и, в частности, неаполитанского народа. Впрочем, к замечанию рецензента можно было бы добавить, что осознать это действительно нелегко, если фиксировать внимание только на многочисленных отвратительных эпизодах в повествовании

1. Русский перевод — М.: Вагриус, 2004.

Малапарте, отрицательными героями которых становятся его любимые неаполитанцы. Объяснение можно найти в одном из эпизодов "Шкуры". Итальянским солдатам, теперь уже воевавшим в рядах победителей-освободителей, полковник приказывает ответить на вопрос: поняли ли они обращенную к ним речь капитана о том, как следует себя вести итальянскому солдату. За всех отвечает один рядовой: "Мы должны показать себя достойными позорища Италии". Полковник, кивая головой, негромко говорит капитану: "Они поняли".

Читал ли я Малапарте до того, как столкнулся с его именем в русском самиздатовском тексте? Стал ли читать только в результате того, что интерес к нему вызвало именно странное его появление в документах следствия и суда по делу ленинградских "антисоветчиков"? Я не помню. Вот эта моя странная амнезия, эта неспособность вспомнить, что и как было на самом деле, имеет прямое отношение к вопросу о том, что такое творчество, что такое произведение искусства, что такое литература, и какое представление имел обо всем этом сам Малапарте.

Его обвиняли в эксгибиционизме. Часто, особенно после появления романа "Капут", ему задавали один и тот же вопрос: соответствует ли то, что Малапарте описывает в своих произведениях, реальности? Почему именно с ним случаются события, которые не происходят с другими? В этом вопросе и заключается суть того, что до нас хочет донести Малапарте и что мы давно и так знаем без него. В "Шкуре" есть эпизод с рукой марокканского солдата, оторванной миной и якобы попавшей в кускус. Малапарте будто бы съедает кускус вместе с рукой и в конце обеда спокойно рассказывает об этом своим сотрапезникам, французским офицерам, которые верят ему и приходят в ужас.

Настоящий писатель способен видеть в жизни то, что не замечают простые смертные. Но главное не в этом, ибо, в конечном итоге, не важно, реально ли то, что видит и о чем рассказывает писатель. Главное — является ли созданное им произведением искусства, или нет. Главное — в вечном споре о том, что такое художественная правда, существует ли она в отрыве от реальности, и существует ли она вообще. В одном из интервью петербургский пушкинист Александр Фомичев заявил: "Художественное произведение... оно подлиннее, чем факты жизни".

Впервые обнаружив имя Малапарте в русском тексте, в самиздате, в документах по делу "антисоветских заговорщиков", я не догадался взять Большую советскую энциклопедию, а если бы взял, то смог бы прочесть следующее: "В его лучшем произведении — романе "Капут"... остро сатирически разоблачается нацистский 'сверхчеловек', показано фашистское варварство, мужество советских солдат. В послевоенный период Малапарте постепенно сближался с прогрессивным лагерем итальянской культуры. Публицистический дневник Малапарте 'Я в России и в Китае'... отразил идейный поворот во взглядах писателя. Незадолго до кончины Малапарте вступил в Итальянскую коммунистическую партию".

Символично. С одной стороны, его отвергали при попытке, к примеру, сразу после войны вступить в Итальянскую компартию. С другой — пытались себе присвоить. Его отвергали, потому что понимали, что он никогда не будет своим до конца. "Не поддается принятой политической классификации", — написано о нем в досье французской полиции. Своим могли его сделать, только обезвредив, как это и произошло после его кончины.

На одре смерти разыгрался непристойный спектакль — борьба за душу и тело агонизирующего писателя. Среди прочих, в больнице его навещают как секретарь Итальянской компартии Пальмиро Тольятти, так и иезуит падре Вирджинио

Ротонди. Посмертно орган Итальянской компартии "Ринашита" издает "Автобиографию", которую Малапарте написал сразу после войны, когда безуспешно добивался приема в компартию. Посмертно (а не "незадолго до кончины", как пишет БСЭ) появляется партбилет. Посмертно появилось победное заявление падре Вирджинио Ротонди о том, что писатель Курцио Малапарте, в миру Курт Эрих Зукерт, сын протестанта из Ганновера и безбожник, принял католичество.

Он умер в Риме 19 июля 1957 года. Похоронен на горе Спаццавенто, в десяти километрах от Прато: "Свой склеп хотел бы иметь вон там, на вершине Спаццавенто, чтоб иногда поднимать голову и плевать в холодный ров северного склона". Архиитальянец Малапарте пожелал остаться самим собой и после своей смерти — "проклятым тосканцем: небо в глазах, преисподня на устах".

Марио Корти

Светлой памяти полковника Генри Г. Камминга, выпускника Виргинского университета,
и всех храбрых, добрых и честных американских солдат, моих друзей по оружию с 1943-го по 1945-й,
напрасно погибших за свободу Европы.

Лишь почитая богов и
Храмы побежденных,
Спасутся победители.
Эсхил *Агамемнон*

Ce qui m'intéresse n'est pas toujours
ce qui m'importe.

Paul Valéry[1]

I. "Чума"

То были "чумные" дни в Неаполе. Каждый день в пять пополудни, после получаса тренировки с punching-ball[2] и теплого душа в спортзале PBS[3] полковник Джек Гамильтон и я спускались пешком к Сан-Фердинандо, локтями прокладывая себе дорогу в тесной толпе, с раннего утра и до комендантского часа юрившейся на улице Толедо.

Мы были чистые, умытые, сытые, Джек и я, среди страшной неаполитанской толпы жалких, грязных, голодных, одетых в лохмотья людей, которых солдаты-освободители всех рас и племен расталкивали и поносили на всех языках и диалектах мира. Судьба удостоила неаполи-

1. То, что меня интересует, / не всегда важно мне. Поль Валери.
2. Боксерской грушей (*англ.*).
3. Peninsular Base Section — подразделение базы полуострова (*англ.*).

танский люд чести быть освобожденным одним из первых среди народов Европы, и, чтобы отпраздновать такую заслуженную награду, мои бедные неаполитанцы, после трех лет голода, эпидемий и жестоких бомбардировок, из любви к родине охотно приняли на себя бремя завидной славы исполнить роль побежденного народа: плясать, петь, хлопать в ладоши и прыгать от радости среди развалин своих домов, размахивать иностранными, еще вчера вражескими, флагами и осыпать из окон цветами победителей.

Но, несмотря на всеобщий и искренний энтузиазм, ни один неаполитанец во всем Неаполе не чувствовал себя побежденным. Я даже не могу себе представить, чтобы такое странное чувство могло зародиться в душе этого народа. Вне всяких сомнений, Италия, а посему и Неаполь вместе с ней проиграли войну. Но совершенно очевидно, что войну труднее проиграть, чем выиграть. Выиграть войну все горазды, но не каждый способен ее проиграть. И недостаточно проиграть войну, чтоб иметь право почувствовать себя побежденным народом. И в своей древней мудрости, вскормленной многовековым горьким опытом, в своей непритворной скромности, мои бедные неаполитанцы вовсе не посягали на право быть народом побежденным. Это, конечно же, было большой бестактностью с их стороны. Но могли ли союзники претендовать на то, чтобы освобожденные ими народы были еще и обязаны чувствовать себя побежденными? Либо освобожденные, либо побежденные. И было бы несправедливо обвинять неаполитанцев, если они не чувствовали себя ни теми, ни другими.

Вышагивая рядом с полковником Гамильтоном, я чувствовал себя смешным в моей английской военной форме.

Форма Итальянского корпуса освобождения — это старая английская форма цвета хаки, предоставленная британским командованием маршалу Бадольо[1], перекрашенная, скорее всего для того, чтобы скрыть пятна крови и дыры от пуль, в ярко-зеленый, ящеричный цвет. Форму действительно сняли с английских солдат, павших в Эль-Аламейне и Тобруке. На моей куртке остались три дырочки от автоматных пуль. Мои майка, сорочка и трусы были в пятнах крови. Мои башмаки — тоже с убитого английского солдата. Надев их в первый раз, я почувствовал: что-то колет подошву. Осталась кость покойника, подумалось сразу, но оказалось — гвоздь. Наверное, лучше бы это была на самом деле кость, легче было бы вытащить, а так понадобилось полчаса, чтоб найти кусачки и вырвать гвоздь. Что и говорить, для нас эта дурацкая война закончилась еще сносно. Лучше не бывает. Наше самолюбие побежденных солдат было спасено: ведь сейчас мы сражаемся бок о бок с союзниками, чтоб после проигрыша нашей войны выиграть вместе с ними их войну, поэтому нет ничего естественнее, чем быть одетыми в форму союзных солдат, нами же и убиенных.

Когда удалось, наконец, справиться с гвоздем, рота, которую я должен был принять под командование, уже стояла, построенная во дворе казармы. Казармой был древний, разрушенный временем и бомбардировками монастырь в окрестностях Торретты, что за Мерджеллиной. Двор, как и положено монастырскому, с трех сторон был окружен гале-

1. Пьетро Бадольо (1871—1956) — итальянский маршал. После свержения Муссолини был премьер-министром (1943—1944).

реей с тощими колоннами из серого туфа, с четвертой стояла высокая, усеянная зелеными пятнами плесени желтая стена с огромными мраморными плитами, на которых под большими черными крестами были выбиты длинные колонки имен. В старину во время эпидемии холеры монастырь служил лазаретом, и на плитах выбили имена умерших. Большие черные буквы на стене гласили: REQUIESCANT IN PACE[1].

Полковник Палезе захотел сам представить меня моим солдатам, выполняя одну из тех простых церемоний, что так по сердцу старым воякам. Это был высокий, худой человек с совершенно седыми волосами. Он молча пожал мне руку и, грустно вздохнув, улыбнулся. Построенные посреди двора солдаты (почти все очень молодые, они храбро сражались против союзников в Африке, и именно поэтому их отобрали для формирования ядра Итальянского корпуса освобождения) стояли передо мной и пристально на меня глядели. Они тоже были в форме и в башмаках английских солдат, павших в Эль-Аламейне и Тобруке. У них были бледные, истощенные лица и белые, неподвижные, тусклые глаза. Они смотрели на меня в упор, казалось, совсем не мигая.

Полковник Палезе дал знак, сержант проорал:

— Рота, смирна!

Взгляд солдат с болезненной напряженностью застыл на мне, как взгляд мертвой кошки. Тела оцепенели и вытянулись по команде "смирно". Бескровные, бледные руки сжимали оружие, дряблая кожа свисала с кончиков пальцев, как перчатки слишком большого размера.

Полковник Палезе начал говорить, он сказал:

— Представляю вам вашего нового капитана...

И пока он говорил, я смотрел на итальянских солдат в снятой с мертвых англичан форме, на их бескровные руки, бледные губы и белые глаза. На их куртках и брюках были черные пятна крови. Я вдруг поймал себя на ужасной мысли, что солдаты — мертвые. Они издавали затхлый запах плесневелой ткани, гнилой кожи и иссохшей на солнце плоти. Я посмотрел на полковника Палезе — он тоже мертвый. Из его рта вылетал хо́ло́дный голос, влажный и липкий, как страшные всхлипы, вырывающиеся изо рта покойника, если надавить ему рукой на живот.

— Скомандуйте "вольно", — сказал сержанту полковник Палезе, когда закончил свою короткую речь.

— Рота, вольно! — прокричал сержант. Солдаты расслабили левую ногу усталым, вялым движением, продолжая смотреть на меня еще более далеким, еще более зыбким взглядом.

— А теперь, — сказал полковник Палезе, — ваш новый капитан обратится к вам с коротким словом.

Я открыл рот, и горький всхлип сошел с моих губ, слова были глухие, дряблые, ненужные. Я сказал:

— Мы — добровольцы Свободы, солдаты новой Италии. Мы должны сражаться с немцами, изгнать их из нашего дома, выбросить их за наши границы. Глаза всех итальянцев устремлены на нас: мы должны вновь вознести упавшее в грязь знамя, быть примером для всех в этом позорище, показать себя достойными грядущего времени и доверия, возложенного на нас родиной.

1. ДА ПОЧИЮТ С МИРОМ (*лат.*).

Когда я закончил, полковник сказал:

– А теперь один из вас повторит то, что сказал капитан. Я хочу быть уверенным, что вы поняли. Вот ты, – сказал он, указав на одного солдата, – повтори, что сказал командир.

Солдат посмотрел на меня, он был бледен, с тонкими, бескровными губами мертвеца. Медленно, с тем же страшным всхлипом, он сказал:

– Мы должны показать себя достойными позорища Италии.

Полковник Палезе подошел ко мне и, понизив голос, сказал:

– Они поняли, – и в тишине удалился.

Слева под мышкой по ткани его формы медленно расходилось черное пятно крови. Я смотрел на расползавшееся черное кровяное пятно, я провожал взглядом старого итальянского полковника, одетого в форму мертвого англичанина, я смотрел, как он медленно уходил, скрипя башмаками мертвого английского солдата, и имя "Италия" смердело у меня во рту, как кусок гнилого мяса.

– This bastard people! Подонки! – бормотал сквозь зубы полковник Гамильтон, прокладывая себе путь среди толпы.

– Почему ты так говоришь, Джек?

Поднявшись до Аугустео, мы обычно сворачивали на улицу Санта-Бриджида, где толпа была пореже, и останавливались на секунду перевести дух.

– Ну и подонки! – говорил Джек, приводя в порядок сбившуюся в сильной давке форму.

– Не говори так, Джек.

– Why not? This bastard, dirty people[1].

– О, Джек, я тоже подонок, я тоже грязный итальянец. Но я горжусь, что я грязный итальянец. Не наша вина, что мы не родились в Америке. Don't you think so, Jack?[2]

– Don't worry, Malaparte. Не огорчайся, Малапарте, – говорил Джек, – не будь таким мрачным. Life is wonderful. Жизнь прекрасна.

– Да, жизнь – прекрасная штука, Джек, я знаю. Но не говори так об итальянцах, don't say that.

– Sorry, – говорил Джек, похлопывая меня по плечу, – я не хотел тебя обидеть. Это только слова. I like italian people. I like this bastard, dirty, wonderful people. Я люблю итальянцев. Я люблю этих подонков, этих грязных, чудесных людей.

– Я знаю, Джек, что ты любишь этот бедный, несчастный, чудесный итальянский народ. Ни один народ на земле не страдал столько, сколько народ Неаполя. Он живет в голоде и рабстве уже двадцать столетий и не жалуется. Никого не проклинает, никого не ненавидит, даже нищету. Ведь Христос был неаполитанец.

– Не говори глупости.

– Это не глупость. Христос – неаполитанец.

– Что с тобой сегодня, Малапарте? – говорил Джек, глядя на меня добрыми глазами.

– Ничего. Почему ты спрашиваешь?

– Ты не в духе.

1. Почему нет? Эти грязные подонки (*англ.*).
2. Ты так не думаешь, Джек? (*англ.*)

– Отчего это я не в духе?

– I know you, Malaparte. Я знаю тебя, Малапарте. Ты в мрачном настроении сегодня.

– Это из-за Кассино, Джек.

– К черту Кассино, the hell with Cassino.

– Я расстроен, совершенно расстроен из-за того, что творится в Кассино.

– The hell with you, пошел к черту, – говорил Джек.

– Очень жаль, что в Кассино дела плохи.

– Shut up, заткнись, Малапарте.

– Sorry. Я не хотел тебя обидеть, Джек. Я люблю американцев. I like the pure, the clean, the wonderful american people. Я люблю этот чистый, такой умытый, такой чудесный американский народ.

– Я знаю, Малапарте. Я знаю, что ты любишь американцев. But take it easy, Malaparte. Life is wonderful. Но не принимай так близко к сердцу, Малапарте. Жизнь чудесна.

– К дьяволу Кассино, Джек.

– О, да. К дьяволу Неаполь, Малапарте, the hell with Naples.

Странный запах висел в воздухе. Это был не тот запах, что ближе к закату спускается с улицы Толедо, с Пьяцца-делле-Карретте, с Санта-Терезелла-дельи-Спаньоли. Это не был запах харчевен, остерий, писсуаров, приютившихся в грязных, темных переулках, что тянутся вверх от улицы Толедо к Сан-Мартино. Это не был и желтый, мутный, липкий запах, состоящий из тысячи испарений, из тысяч изысканных зловоний, de mille délicates puanteurs, как говорил Джек, которым увядшие цветы, ворохами сложенные у ног мадонн в часовенках на перекрестках, наполняют весь город в определенное время дня. Это не был запах сирокко, воняющего овечьим сыром и гнилой рыбой. Это не был и запах вареного мяса, исходящий к вечеру от борделей, в котором Жан-Поль Сартр, шагая однажды по улице Толедо, sombre comme une aisselle, pleine d'une ombre chaude vaguement obscène различил parenté immonde de l'amour et de la nourriture[1]. Это был запах чистоты и удивительной легкости: бесплотный, невесомый и прозрачный запах пыльного моря, соленой ночи, запах древнего леса.

Стайки нарумяненных, с распущенными волосами женщин, за которыми тянулись чернокожие солдаты со светлыми ладонями, сновали вверх и вниз по улице Толедо, рассекая толпу пронзительными криками: "Эй, Джо! Эй, Джо!" В устьях переулков стояли длинными рядами capere, уличные цирюльницы, каждая за спинкой своего стула. На стульях, откинув голову и закрыв глаза или наклонившись вперед, сидели атлетического сложения негры с маленькими, круглыми головами; их желтые туфли блестели, как золоченые ножки статуй ангелов в церкви Санта-Кьяра. Перекликаясь между собой странными гортанными голосами, что-то напевая, громко переругиваясь с кумушками, расположившимися в окнах и на балконах, словно в театральных ложах, цирюльницы вонзали свои гребешки в овечьи завитки негритянских волос, тянули на себя гребень, вцепившись в него обеими руками, поплевывали на зубья, чтоб те лучше скользили, и, выливая реки бриллиантина на

1. Темной, как подмышка, окутанной теплой, смутной тенью непристойности... нечистую близость любви и жратвы (*франц.*).

негритянские головы, распрямляли и приглаживали волосы своих клиентов.

Оборванные мальчишки, стоя на коленях перед своими украшенными кусочками перламутра, раковинами и осколками зеркала деревянными ящиками, кричали, пристукивая щетками по крышке:

– Шууша! шууша! shoe-shine! shoe-shine! Чистим туфли! – И худыми, жадными руками хватали за штанины чернокожих солдат, проходящих, покачивая бедрами, мимо. Марокканские солдаты с изрытыми оспой лицами и горящими желтыми глазами в черных впадинах глубоких орбит сидели вдоль стен, завернувшись в свои темные бурнусы, и хищными ноздрями вдыхали колючий запах, носившийся в воздухе.

Бледные увядшие женщины с накрашенными губами и ввалившимися щеками под слоем косметики, страшные и жалкие, предлагали прохожим свой жалкий товар: мальчиков и девочек восьми-десяти лет. Марокканские, индийские, алжирские и малагасийские солдаты задирали детям рубашки, ощупывали тела, запускали руки в штанишки. Женщины кричали:

– Two dollars the boys, three dollars the girls! Два доллара за мальчика, три доллара за девочку!

– Скажи правду, ты хотел бы девочку за три доллара? – спросил я Джека.

– Заткнись, Малапарте.

– Это не так дорого, три доллара за девочку. Кило молодой баранины стоит намного дороже. Я уверен, в Нью-Йорке или в Лондоне девочка стоит больше, чем здесь, не так ли, Джек?

– Tu me dégoûtes[1], – сказал Джек.

– Всего три доллара, и до трехсот лир недотянет. Сколько может весить девочка восьми-десяти лет? Двадцать пять килограмм? Подумать только, на черном рынке кило молодой баранины стоит пятьсот пятьдесят лир или пять с половиной долларов.

– Заткнись! – прорычал Джек.

Вот уже несколько дней как цены на девочек и мальчиков упали и продолжали снижаться. В то время как сахар, масло, хлеб, мука и мясо постоянно дорожали, цены на мясо человечье падали с каждым днем. Девушка от двадцати до двадцати пяти лет, еще неделю назад стоившая десять долларов, теперь едва тянула на четыре, вместе с костями. Это падение цен на человечину на неаполитанском рынке случилось, возможно, оттого, что в Неаполь стекались женщины из всех южных районов Италии. В последнее время оптовики выбросили на рынок большую партию сицилианок. Это было не совсем свежее мясо, но спекулянты знали, что у чернокожих солдат изысканный вкус и они предпочитают не слишком свежее. Вопреки ожиданиям сицилийский товар не пользовался большим спросом, дошло до того, что негры отказались его брать: чернокожим, оказывается, не нравятся слишком смуглые белые женщины. Между тем из Калабрии и Пулии, из Базиликаты и Молизе на телегах, запряженных тощими ослами, на грузовиках союзников, а чаще пешком каждый день прибывали батальоны крепких и жилистых девушек, в большинстве крестьянок, всех привлекал приз-

1. Ты мне противен (*франц.*).

рачный блеск золота. Так цены на человеческое мясо на неаполитанском рынке покатились вниз, кое-кто стал опасаться, что это может тяжело отразиться на всей экономике города. (Такого Неаполь не видел, это был настоящий позор, от которого подавляющая часть доброго неаполитанского люда краснела. Но почему не краснели союзные власти, хозяева Неаполя?) Зато мясо черного американца подскочило в цене, и это, к счастью, восстановило рыночное равновесие.

– Сколько стоит сегодня мясо на черном рынке? – спросил я Джека.

– Заткнись!

– А правда, что мясо черного американца стоит больше, чем белого?

– Tu m'agaces[1].

Я не хотел обидеть Джека или посмеяться над ним и, конечно же, ни за что не хотел проявить неуважение к американской армии, the most lovely, the most kind, the most respectable Army of the world, самой замечательной, самой доброй, самой респектабельной армии в мире. Да и какое мне дело до того, что мясо черного американца стоит дороже, чем белого? Я люблю американцев, какого бы цвета ни была их кожа, на войне я доказал это уже сотни раз. Будь они белые или черные, душа у них светлая, много светлей, чем наша. Я люблю американцев, потому что они добрые христиане, искренне верующие люди. Потому что они верят, что Христос всегда на стороне того, кто прав. Потому что они верят: кто не прав – тот виноват, а быть неправым – аморально. Потому что они считают, что только они безупречны, а все народы Европы – бесчестны, в большей или меньшей степени. Потому что они полагают: побежденный народ – народ виновный, а поражение – моральный приговор, деяние Божьей справедливости.

Я люблю американцев по этим и по многим еще, не названным здесь, причинам. Их гуманность и великодушие, честность и чистая простота их мыслей, искренность чувств и поведения дарили мне в ту страшную осень 1943-го, полную унижения и скорби для моего народа, иллюзию, что люди ненавидят зло, давали уверенность в том, что только доброта – доброта и невинность великолепных парней из-за океана, высадившихся в Европе, чтобы наказать злых и воздать добрым, – сможет вытащить из греха людей и народы.

И среди всех моих американских друзей полковник генерального штаба Джек Гамильтон мне всех дороже. Джеку было тридцать восемь лет, это был высокий, худой, элегантный человек с аристократическими, почти европейскими манерами. Пожалуй, на первый взгляд, он казался скорее европейцем, чем американцем, но не поэтому я его любил, а любил я его как брата. Постепенно, узнавая его все ближе и ближе, я увидел, насколько сильно и глубоко проявляется в нем американская природа. Он родился в Южной Каролине ("Няней у меня была une négresse par un démon secouée"[2] – говорил он), но он не был из тех, кого в Америке называют "людьми с Юга". Это был рафинированный, высоко образованный человек, с почти по-детски простой и невинной душой. Я бы сказал, это был американец в самом благородном смысле этого слова, наиболее достойная уважения личность из всех, кого я когда-либо встречал в моей жизни. Он был джентльмен-христианин. Ах,

1. Ты меня дразнишь (*франц.*).
2. "Обуреваемая страстями негритянка" (*франц.*). – С. Малларме. Перевод Р. Дубровкина.

как трудно выразить то, что я разумею под этим словом. Все, кто знают и любят американцев, поймут, что я имею в виду, когда говорю, что американский народ – это христианский народ, а Джек – джентльмен-христианин.

Воспитанный в "Вудберри форест скул" и в Виргинском университете, Джек с одинаковой страстью посвящал себя как латинскому и греческому, так и спорту, с равным наслаждением отдаваясь Горацию, Вергилию, Симониду, Ксенофонту и рукам массажистов в университетских спортзалах. В 1928-м он был спринтером в составе американской легкоатлетической команды на Олимпиаде в Амстердаме и больше гордился своими олимпийскими наградами, чем академическими званиями. После 1929-го он провел несколько лет в Париже корреспондентом "Юнайтед пресс" и был горд своим почти безупречным французским.

– Я учился французскому языку у классиков, – говорил Джек, – моими учителями были Лафонтен и мадам Бонне, привратница дома на улице Вожирар, где я жил. Tu ne trouves pas que je parle comme les animaux de La Fontaine?[1] Он научил меня, "qu'un chien peut bien regarder un évêque"[2].

– И ты приехал в Европу, чтоб научиться таким вещам? В Америке тоже un chien peut bien regarder un évêque, – говорил я ему.

– Э-э, нет, – отвечал Джек, – en Amérique ce sont les évêques qui peuvent regarder les chiens[3].

Джек хорошо знал также то, что он называл "banlieue de Paris", пригородом Парижа, иными словами, остальную Европу. Он объездил Швейцарию, Бельгию, Германию, Швецию, исполненный того же духа гуманизма и стремления к знаниям, с каким английские студенты старших курсов до реформы доктора Арнольда колесили по Европе во время летних каникул. Из этих путешествий Джек привез в Америку рукопись эссе о духе европейской цивилизации и работу о Декарте, за которые был удостоен звания профессора литературы в одном из крупнейших американских университетов. Но академические лавры, увенчавшие чело атлета, казались ему не такими вечнозелеными, как лавры олимпийские: он долго не мог смириться с тем, что из-за травмы коленного сустава не мог больше участвовать под звездным флагом в забегах на международных соревнованиях. Чтоб забыть о своем несчастье, Джек стал читать своего любимого Вергилия и дорогого Ксенофонта в раздевалке университетского спортзала, пропитанного запахом резины, мокрых полотенец, мыла и линолеума, столь характерным для классической университетской культуры англосаксонских стран.

Однажды утром в Неаполе я застал его в пустынной в ту пору дня раздевалке спортзала PBS за чтением Пиндара. Он взглянул на меня, улыбнулся и слегка покраснел. Спросил, нравится ли мне поэзия Пиндара. И добавил, что в Пиндаровых одах в честь атлетов-победителей в Олимпии не чувствуется изнуряющей тяжести тренировок, в этих божественных стихах звучат крики толпы и победные овации, а не натужное сипение и хрипы, вырывающиеся из уст атлетов в последнем запредельном усилии.

1. Ты не находишь, что я говорю по-французски как животные Лафонтена? (*франц.*)
2. Что собаке не возбраняется смотреть на епископа (*франц.*).
3. Это епископам в Америке не возбраняется смотреть на собак (*франц.*).

— Я кое-что понимаю в этом, — сказал он, — я знаю, что такое последние двадцать метров. Пиндар — не поэт своего времени, он английский поэт викторианской эпохи.

Хоть он и предпочитал всем поэтам Горация и Вергилия за их меланхоличную ясность, он и к поэзии греческой испытывал благодарность, но не школярскую, а сыновнюю. Он знал на память целые песни из "Илиады", и слезы выступали у него на глазах, когда он декламировал по-гречески гекзаметры из "Погребения Патрокла". Однажды мы сидели на берегу Вольтурно, возле моста Бейли в Капуе в ожидании, пока сержант охраны даст нам разрешение на проезд, и разговорились о Винкельмане[1] и о понимании красоты древними эллинами. Помню, Джек сказал, что темным, мрачным и таинственным представлениям об архаичной, грубой и варварской, или, как он назвал, готической, Греции он предпочитает светлые, гармоничные и радостные образы Греции эллинов, молодой, остроумной, современной, которую он нарек Грецией французской, Грецией восемнадцатого века. А на мой вопрос, какой была, по его мнению, Греция американская, он ответил с улыбкой:

— Греция Ксенофонта, — и смеясь, принялся рисовать свой тонкий портрет Ксенофонта, "джентльмена из Виргинии", нечто вроде скрытой сатиры в духе доктора Джонсона на некоторых эллинистов бостонской школы[2].

Джек испытывал к бостонским эллинистам снисходительное и лукавое презрение. Однажды утром я увидел его сидящим под деревом с книгой на коленях рядом с батареей тяжелых орудий, направленных на Кассино. То были нерадостные дни сражения за Кассино. Дождь шел не прекращаясь уже две недели. Колонны грузовиков с телами американских солдат, зашитыми в белые, грубого полотна простыни, спускались к маленьким военным кладбищам, возникшим вдоль Аппиевой и Кассиевой дорог. Чтоб защитить от дождя страницы книги (хрестоматии греческой поэзии в переплете из мягкой кожи с золочеными застежками, изданной в восемнадцатом веке, которую добрый Гаспар Казелла, знаменитый неаполитанский любитель антикварной книги, друг Анатоля Франса, подарил Джеку), ему пришлось сильно наклониться вперед, прикрывая драгоценный том полами плаща.

Помню, он сказал, смеясь, что в Бостоне Симонида не считают крупным поэтом. И добавил, что Эмерсон в своей статье на смерть Торо утверждает, что "его классическое стихотворение о дыме навеяно Симонидом, но оно лучше любых стихов Симонида". Он смеялся от души, приговаривая:

— Ah, ces gens de Boston! Tu vois ça? Ах, эти бостонцы! Представляешь себе? В Бостоне Торо велик больше, чем Симонид! — и капли дождя падали ему в рот, смешиваясь со словами и смехом.

Его любимым американским поэтом был Эдгар Аллан По. Но иногда, выпив виски несколько больше обычного, ему случалось путать сти-

1. Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768) — немецкий историк искусства и археолог, один из создателей эстетики неоклассицизма.
2. Группа американских писателей (Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Э. Б. Олкотт и др.), объединившихся вокруг созданного Р. У. Эмерсоном в Бостоне в 1836 году литературно-философского Клуба трансценденталистов.

хи Горация со стихами По и с большим удивлением обнаруживать в алкеевой строфе[1] как Аннабелл Ли, так и Лидию. А иногда он путал "говорящий лист" мадам де Севинье и говорящих животных из басен Лафонтена.

– Это не животное, – говорил я ему, – это просто лист, лист дерева.

И цитировал отрывок из письма, где мадам де Севинье писала, что хотела бы стать говорящим листом на дереве в парке ее замка Рошер в Бретани.

– Mais cela c'est absurde, но тогда это абсурд, – говорил Джек, – une feuille qui parle! Un animal, ça se comprend, mais une feuille! Говорящий листок! Еще животное – понятно, но лист дерева!

– Чтоб понять Европу, – сказал я, – совершенно не нужен картезианский подход. Европа – таинственная страна, полная заповедных тайн.

– Ах, Европа! Что за необычная страна! – восклицал Джек, – как мне нужна Европа, чтоб почувствовать себя американцем.

Но Джек был не из тех "парижских американцев", что встречаются на каждой странице "The sun also rises"[2] Хемингуэя, которые в 1925 году посещали кафе "Селект" на Монпарнасе и презирали чаепития у Форда Мэдокса Форда и книжный магазин Сильвии Бич. Тех американцев, о которых Синклер Льюис в связи с некоторыми персонажами Элинор Грин говорит, что в 1925-м они были похожи на "интеллектуальных беженцев с Левого берега Сены, или, как Т. С. Элиот, Эзра Паунд, Айседора Дункан, уподоблялись iridescent flies caught in the black web of an ancient and amoral european culture[3]". Джек не был одним из тех заокеанских молодых декадентов, объединенных вокруг американского журнала "Транзишн", издававшегося около 1925-го в Париже. Нет, Джек не был ни декадентом, ни deracinе[4], он был просто влюбленным в Европу американцем.

Его чувство к Европе было замешено на любви и восхищении. Но, несмотря на свою культуру и влюбленное восхищение нашими достоинствами и нашими слабостями, в нем был, как почти у всех американцев, некий тончайший налет комплекса неполноценности по отношению к Европе, который проявлялся вовсе не в неспособности понять и простить нашу убогость и униженность, а в страхе и стыде понять их. И этот комплекс неполноценности в Джеке, его чистосердечность, его такое восхитительное целомудрие были, наверное, более открытыми, чем у многих других американцев. И поэтому всякий раз, когда на улицах Неаполя, в селениях возле Капуи или Казерты или на дороге в Кассино ему случалось быть свидетелем горького явления нашей нищеты, физической или моральной ущербности, нашего отчаяния (нищеты, унижения и отчаяния не только Неаполя или Италии, но всей Европы), Джек краснел.

И за его манеру краснеть я любил его как брата. За эту его чудесную, такую искреннюю и подлинно американскую стыдливость я был благо-

1. Алкеева строфа – вид античной строфы, введенной древнегреческим поэтом Алкеем, которая часто встречается у Горация. Э. А. По тоже обращался к этой строфе.
2. "И восходит солнце", в русской версии "Фиеста".
3. Ярким радужным мухам, попавшимся в черную паутину древней и безнравственной европейской культуры (*англ.*).
4. Лишенным корней (*франц.*).
5. Government Issue – солдат (*англ.*).

дарен Джеку, всем G5 генерала Кларка, всем детям, всем женщинам и мужчинам Америки. (О, Америка, далекий сверкающий горизонт, недостижимый берег, счастливая, заветная страна!) Иногда в попытке скрыть свою стыдливость он говорил, краснея: "This bastard dirty people", мне случалось тогда отвечать на его стыдливую краску сарказмом, горькими, полными злой и болезненной насмешки словами, в чем я сразу же раскаивался, и угрызения совести мучили меня потом всю ночь. Может, он предпочел бы, чтоб я заплакал: мои слезы, конечно, были бы более уместны, чем сарказм, не такими мучительными, как моя горечь. Но все же мне было что скрывать. В нашей униженной Европе мы тоже стыдимся и боимся нашей стыдливости.

Не моя была вина, что мясо черного американца каждый день поднималось в цене. Мертвый черный не стоил ничего, он стоил много меньше, чем мертвый белый. Даже меньше, чем живой итальянец! Он стоил почти столько же, сколько стоили двадцать неаполитанских ребятишек, умерших от голода. Было действительно очень странно, что мертвый негр стоил так немного. Мертвый негр — это прекрасный мертвый: с блестящей кожей, такой внушительный и необъятный. Когда он простерт на земле, то занимает почти вдвое больше места, чем мертвый белый. Даже если этот негр, когда был живой и в Америке, работал там всего-навсего чистильщиком обуви в Гарлеме, или грузчиком в угольном порту, или кочегаром на паровозе, мертвый он занимал почти столько же места, сколько занимали великолепные тела великих героев Гомера, павших в сражении. И, в сущности, мне было приятно думать, что тело мертвого негра занимает почти столько же земли, сколько тело мертвого Ахилла, или мертвого Гектора, или мертвого Аякса. Я не мог смириться с мыслью, что мертвый негр стоит так мало.

Но негр живой стоил очень много. Цена на живого негра в Неаполе взлетела за несколько дней с двухсот до тысячи долларов и продолжала расти. Достаточно было посмотреть, какими жадными глазами бедняки смотрели на негра, на живого негра, чтоб понять, что живые негры были в большой цене, и цена продолжала расти. Мечтой всей неаполитанской бедноты, особенно беспризорников и уличных мальчишек, было купить одного черного, black, хотя бы на несколько часов. Любимым занятием неаполитанских гаменов была охота на черных солдат, для которых Неаполь был бесконечным тропическим лесом, насыщенным густым горячим запахом сладких блинчиков, где, охваченные экстазом, они шагали, покачивая бедрами и обратив глаза в небо. Когда беспризорнику удавалось схватить негра за рукав куртки и повести его из одного бара в другой, из остерии в остерию, из борделя в бордель по лабиринтам закоулков кварталов Толедо и Форчеллы, из всех окон, со всех порогов и из всех подворотен сотни ртов, сотни глаз, сотни рук взывали:

— Продай негра! Даю двадцать долларов! Тридцать! Пятьдесят!

Это был, что называется flying market, летучий рынок. Пятьдесят долларов была максимальная цена негра на день, вернее, на несколько часов: время, нужное, чтобы напоить, снять с него все, что на нем было, от фуражки до ботинок, и потом, с наступлением ночи, оставить го-

А негр не подозревал ничего. Не замечая, что его покупают и продают каждые четверть часа, он шагал счастливый и невинный, гордый своими сверкающими башмаками, пригнанной формой, желтыми перчатками, золотыми зубами и перстнями, своими огромными белыми глазами, влажными и прозрачными, как у спрута. Он шагал, улыбаясь, откинув назад голову, сверкая белоснежным оскалом острых зубов и поводя отрешенным взглядом по плывущим в небе далеким зеленым облакам, по голубой кромке крыш, по голым ногам облокотившихся на перила террас девушек, по головкам красных маков, высунувшихся из стоящих на подоконниках терракотовых ваз. Он шел, как сомнамбула, с наслаждением впитывая все запахи, цвета, звуки и образы, делающие жизнь такой прекрасной. Запах блинчиков, вина, жареной рыбы. Беременная женщина сидит на пороге, девушка почесывает спину, другая ловит на себе насекомое. Слышится плач ребенка в колыбели, смех беспризорника, граммофонный напев. Вот отблеск солнечного зайчика в окне, в часовенке на углу грешники у ног Святой Девы горят в пламени чистилища из папье-маше; мальчишка сверкающим лезвием своих белых зубов извлекает из серповидной корки арбуза, словно из губной гармошки, зеленые и красные блестки звуков, переливающихся в сером небе; девчушка, высунувшись из окна и глядясь в небо как в зеркало, причесывает свои кудри и напевает "О, Мари".

Негр не замечал, что парнишка, держащий его за руку и поглаживающий запястье, что-то ласково говорящий и заглядывающий в лицо умильными глазами, всякий раз менялся. (Когда мальчик продавал своего black другому беспризорнику, он передавал руку негра покупателю и исчезал в толпе.) Цена негра на летучем рынке рассчитывалась в зависимости от степени его щедрости и легкости в трате денег, от его аппетита, от его манеры улыбаться, прикуривать сигарету, смотреть на женщин. Сотни опытных и алчных глаз оценивали каждый его жест, считали каждую монету, извлеченную из кармана, наблюдали за его черно-розовыми пальцами со светлыми ногтями. И были среди них высококлассные оценщики, мастера мгновенной и точнейшей оценки. (Один десятилетний мальчуган, его звали Паскуале Меле, на покупке и перепродаже негров на летучем рынке заработал за два месяца почти шесть тысяч долларов, на которые купил себе дом поблизости от Пьяцца-Оливелла.) Пока чернокожий блуждал из бара в бар, из остерии в остерию, из борделя в бордель, пока улыбался, пил, ел, пока ласкал голые девичьи руки, он не замечал, что стал объектом торговли, нимало не подозревал, что его продают и покупают, как раба.

Конечно, не совсем пристало чернокожим солдатам американской армии, so kind, so black, so respectable[1], выиграв войну, высадившись в Неаполе победителями, оказаться предметом купли-продажи, словно они жалкие рабы. Но в Неаполе такое случается уже много столетий: так случилось и с норманнами, с анжуйцами, с арагонцами, и с Карлом VIII Французским, с самим Гарибальди, да и с Муссолини тоже. Неаполитанский люд уже давно вымер бы от голода, если бы ему время от времени не выпадала счастливая возможность покупать и продавать всех тех, будь то итальянцы или чужеземцы, кто осмеливается высадиться в Неаполе победителем и хозяином.

1. Таким добрым, таким черным, таким респектабельным (*англ.*).

Но если купить одного негритянского солдата на несколько часов стоило на летучем рынке два-три десятка долларов, то приобрести его на месяц-два обходилось не дешево, от трехсот до тысячи тех же долларов, а то и больше. Американский негр — это была золотоносная жила. Стать владельцем черного раба означало обрести постоянный доход, легкий источник заработка, решить все жизненные вопросы, а часто и обогатиться. Риск, конечно, был серьезный, потому что MP[1], ничего на понимавшая в европейских делах, питала необъяснимую враждебность к торговле неграми. Но, несмотря на MP, торговля неграми оставалась в Неаполе в большом почете. Не было ни одной неаполитанской семьи, какой бы нищей она ни была, у которой не было своего черного раба.

Владелец негра обращался со своим рабом как с дорогим гостем: угощал выпивкой и обедами, накачивал вином, кормил блинчиками, заставлял танцевать под граммофонную музыку со своими дочерьми, укладывал спать вместе со всем семейством, мужчинами и женщинами, в свою постель — огромное ложе, занимающее большую часть "бассо" — нижнего этажа любого неаполитанского дома. И чернокожий приходил каждый вечер, неся в дар сахар, сигареты, консервы, копченую свиную грудинку, хлеб, белую муку, свитера, чулки, туфли, военную форму, одеяла, шинели и горы карамели. Ему нравилась такая спокойная семейная жизнь, сердечный и теплый прием, улыбки женщин и детей, накрытый под лампой стол, вино, пицца, сладкие блинчики. Через несколько дней черный счастливец, ставший рабом нищей и приветливой неаполитанской семьи, обручался с одной из дочерей своего хозяина и каждый вечер тащил в подарок невесте ящики говяжьей тушенки, мешки сахара и муки, блоки сигарет и прочие сокровища, которые удавалось добыть с военных складов и которые отец и братья невесты мигом сбывали перекупщикам на черном рынке. В джунглях Неаполя можно было купить даже белого раба, но доход от него был невелик, поэтому и стоили белые немного. Хотя белый из гарнизонного магазина стоил столько же, сколько черный driver, шофер.

Шоферы стоили больше всех. Черный driver стоил до двух тысяч долларов. Были drivers, привозившие в подарок невестам целые грузовики, груженные мукой, сахаром, автопокрышками, бочками с бензином. Один негр driver подарил однажды своей невесте, Кончетте Эспозито, она жила в переулке Торретта, в конце Ривьера-ди-Кьяя, тяжелый танк "шерман". За два часа танк разобрали по винтику на задворках. Он исчез бесследно, осталось только масляное пятно на мощеном дворе. А в порту Неаполя однажды ночью украли Liberty ship[2], несколькими часами раньше пришедший с конвоем из Америки вместе с десятью другими кораблями, — причем был украден не только груз, но и само судно. Оно исчезло, и никто ничего о нем больше не слыхал. Весь Неаполь, от Каподимонте до Позиллипо, разразился при этом известии таким оглушительным хохотом, что, казалось, началось землетрясение. Все увидели тогда, как музы, грации, Юнона, Минерва, Диана и другие олимпийские богини, каждый вечер выглядывающие с облаков над Везувием, чтобы полюбоваться Неаполем и глотнуть свежего воздуха, смеялись,

1. Military Police — военная полиция (*англ.*).
2. Транспортное судно с грузом для освобожденных территорий (*англ.*).

придерживая белые груди обеими руками. Там была и Венера, ослеплявшая небеса белизной своих зубов.

– Джек, сколько стоит один Liberty ship на черном рынке?

– Oh, ça ne coûte pas cher, you damned fool![1] – отвечал, краснея, Джек.

– Вы правильно сделали, выставив охрану на мостиках ваших судов. Если не будете присматривать, у вас украдут весь флот.

– Пошел к черту, Малапарте.

Когда мы подходили (это было каждый вечер) к знаменитому кафе "Кафлиш" в конце улицы Толедо, реквизированному французами и превращенному ими в клуб "Foyer du soldat"[2], мы замедляли шаг, чтоб послушать французскую речь солдат генерала Жюэна. Нам нравилось слушать французскую речь из уст французов (Джек все время разговаривал со мной по-французски). Когда меня сразу после высадки союзников в Салерно назначили офицером связи между Итальянским корпусом освобождения и Главной штаб-квартирой союзных войск полуострова, он сразу спросил меня, не говорю ли я по-французски, и на мое "Oui, mon colonel"[3] покраснел от удовольствия.

– Vous savez, – сказал он мне, – il fait bon de parler français. Le français est une langue très, très respectable. C'est très bon pour la santé[4].

В любое время дня на тротуаре перед кафе "Кафлиш" собиралась небольшая толпа матросов и солдат, здесь были алжирцы, малагасийцы, марокканцы, сенегальцы, выходцы из Индокитая, но их французский был далек от языка Лафонтена, нам не удавалось понять ни слова. Правда, иногда, напрягая слух, случалось уловить несколько французских слов, произнесенных с парижским или марсельским акцентом. Джек краснел от радости и, схватив меня за руку, говорил:

– Écoute, Malaparte, voilà du français, du véritable français![5]

Часто, подбадривая один другого, мы решались пересечь порог кафе "Кафлиш" и войти. Джек робко подходил к французскому сержанту, который управлял "Foyer du soldat", и, покраснев, спрашивал его:

– Est-ce que, par hasard... est-ce qu'on a vu par là le lieutenant Lyautey?[6]

– Non, mon colonel, – отвечал сержант, – on ne l'a pas vu depuis quelques jours. Je regrette[7].

– Merci, – говорил Джек, – au revoir, mon ami[8].

– Au revoir, mon colonel, – отвечал сержант.

– Ah, que ça fait bien d'entendre parler français![9] – говорил раскрасневшийся Джек, выходя из кафе "Кафлиш".

Мы с Джеком и с капитаном Джимми Реном из Кливленда, штат Огайо, часто ходили поесть горячие, прямо из печи, таралли в одно заведение на Пендино-ди-Санта-Барбара, длинной ступенчатой улочке, что из Седиле-ди-Порто поднимается к монастырю Санта-Кьяра.

1. О, вовсе недорого, чертов придурок! (*франц., англ.*)
2. "Солдатский очаг" (*франц.*).
3. Да, господин полковник (*франц.*).
4. Знаете... это хорошо говорить по-французски. Это в высшей степени респектабельный язык. И он очень полезен для здоровья (*франц.*).
5. Послушай, Малапарте, вот это французский, настоящий французский! (*франц.*)
6. Вы случайно... не видели здесь лейтенанта Лиоте? (*франц.*)
7. Нет, господин полковник... он не появлялся уже несколько дней. К сожалению (*франц.*).
8. Спасибо... друг мой, до свидания (*франц.*).
9. Ах, как приятно слышать французскую речь! (*франц.*)

Пендино — проулок достаточно мрачный, не столько из-за тесноты прохода, как бы вырезанного между высокими, зелеными от плесени стенами старых, грязных домов, и не из-за полумрака, вечно, даже в солнечные дни, царящего там, а скорее из-за странности его обитателей.

Дело в том, что Пендино-ди-Санта-Барбара знаменит множеством проживающих там карлиц. Они такие маленькие, что с трудом достигают колена человека среднего роста. У них уродливые и морщинистые лица, это самые безобразные карлицы на свете. В Испании есть очень красивые, пропорционально и изящно сложенные карлицы. Я видел их и в Англии, некоторые тоже очень красивы, с розовой кожей и светловолосые, почти Венеры в миниатюре. Но карлицы Пендино-ди-Санта-Барбара пугающе отвратительны и все, молодые тоже, выглядят древними старухами, такие увядшие у них лица, такие морщинистые лбы, так редки выцветшие и всклокоченные волосы.

Что больше всего удивляло в этом вонючем переулке, населенном страшными как смертный грех карлицами, так это красота тамошних мужчин: высокие, с черными, цвета воронова крыла, волосами, с черными глазами, медленными, полными достоинства жестами, звучным красивым голосом. Там не увидишь карликов-мужчин, что заставляет думать, что карлики-мальчики умирают, едва родившись, или же что карликовый рост — страшная, коснувшаяся только женщин наследственность.

Карлицы целыми днями сидят на порогах своих домов или, устроившись на крошечных скамеечках у входа в свои норы, лягушачьими голосами перекваkиваются и пересмеиваются между собой. Их короткие тела выглядят микроскопическими в сравнении с мебелью в их пещерах: комоды, сундуки, необъятные шкафы и кровати кажутся сработанными для гигантов. Чтоб достать что-то из нутра такого шкафа, карлицы взбираются на стулья, на скамейки, на спинки высоких железных кроватей и тянутся ручками вверх из последних сил. Тот, кому приходится впервые подняться по ступенькам Пендино-ди-Санта-Барбара, чувствует себя Гулливером в стране лилипутов или персонажем мадридского Королевского двора в обществе карликов на полотне Веласкеса. Лбы этих карлиц изрезаны такими же глубокими бороздами, как у страшных старух на картинах Гойи. Мне кажется здесь уместной ссылка на Испанию, поскольку и весь квартал испанский, в нем еще живы воспоминания о кастильском владычестве в Неаполе. Даже на улицах здесь сохранился отпечаток старой Испании, как и на всем остальном: на домах, дворцах, в густых, сладких запахах, в грудных, рыдающих голосах, которыми окликают друг друга женщины с балконов, и в хриплом напеве, доносящемся с граммофонной пластинки из глубины убогого жилища.

Таралли — это бублики из сладкого теста. И заведение, что стоит на середине ступенчатой улочки Пендино и каждый час выдает из печи новую порцию хрустящих и пахучих тараллей, знаменито на весь Неаполь. Когда булочник погружает длинную деревянную лопату в раскаленное жерло печи, к пекарне сбегаются все карлицы и тянут крошечные ручки, темные и морщинистые, как у обезьян. Они громко кричат хриплыми голосами, хватают нежные, еще горячие и дымящиеся таралли, потом разбегаются по переулку, чтоб разложить их в блестящие латунные вазы, вновь усесться на порогах своих лачуг и, держа вазы на коленях, предлагать товар покупателям, напевая:

— Вот таралли! Ах, золотистые красавцы-таралли!

Запах тараллей растекается по Пендино-ди-Санта-Барбара, расположившиеся на порогах карлицы снова переквакиваются и пересмеиваются между собой. Одна, наверное молодая, поет, выглядывая из высокого оконца, она кажется большим пауком, высунувшим из щели в стене свою мохнатую голову.

Лысые, беззубые карлицы, снующие вверх и вниз по липкой лестнице, опираясь на палку или костыль, покачиваясь на коротеньких ножках и поднимая колено до самого подбородка, чтоб взобраться на ступеньку, или просто вползающие по лестнице на четвереньках, скуля и пуская слюни, похожи на уродцев Брейгеля или Босха. Однажды мы с Джеком видели одну из них на пороге хибары с больной собакой на руках. На ее ручках собака казалась огромным монстром, чудовищным зверем. Подошла ее подруга, вдвоем они взяли больную собаку, одна за задние лапы, другая за голову, и с огромным трудом поволокли животное в лачугу, казалось, они несут раненого динозавра. Из недр их жилищ вылетают резкие, хриплые голоса, плач страшных детишек, крошечных и морщинистых, как старые куклы, плач, напоминающий мяуканье издыхающего котенка. Если войти в одну из таких лачуг, то в зловонной полутьме увидишь, как ползают по полу эти большие пауки с огромными головами, и нужно быть осторожным, чтоб не раздавить их подошвой башмака.

Иногда мы видели карлицу, вползающую вверх по ступеням и ведущую за край штанины черного или белого гиганта-американца с остекленевшими глазами, которого она вталкивала в свою нору. (Белые, слава Богу, были пьяны.) Я замедлял ход, представляя себе диковинные совокупления огромных мужчин с маленькими уродицами, совершающиеся на огромных кроватях.

Я говорил Джимми Рену:

— Мне приятно видеть, что карлицы и ваши красавцы-солдаты так поладили друг с другом. Ты тоже рад этому, Джимми?

— Конечно, это приятно и мне, — отвечал Джимми, яростно жуя свою резинку.

— Ты думаешь, они поженятся?

— Почему бы и нет? — отвечал Джимми.

— Джимми хороший парень, — говорил Джек, — не нужно заводить его. Он вспыхивает как спичка.

— Я тоже хороший парень, — говорил я, — и мне приятно думать, что вы приехали из Америки, чтоб улучшить итальянскую породу. Без вас эти бедные карлицы остались бы девственницами. Одним нам, бедным итальянцам, здесь не справиться. Хорошо, что вы приехали из Америки, чтоб жениться на наших карлицах.

— Тебя, конечно, пригласят на свадебный обед, — говорил Джек. — Tu pourras prononcer un discours magnifique[1].

— Да, Джек, un discours magnifique. Но не кажется ли тебе, Джимми, что союзные власти должны бы содействовать бракам между карлицами и вашими бравыми солдатами? Это была бы большая удача, если бы ваши солдаты женились на карлицах. Вы — порода слишком высоких

1. Ты сможешь произнести великолепную речь (*франц.*).

мужчин. Америке нужно немного понизиться до нашего уровня, как ты думаешь, Джимми? – говорил я.

– Да, я тоже так считаю, – отвечал Джимми, поглядывая на меня краем глаза.

– Вы слишком высокие и слишком красивые, – говорил я, – это аморально, что вы единственная в мире порода таких высоких, таких красивых и таких здоровых людей. Хотел бы я, чтобы все американские солдаты женились на карлицах. Эти итальянские brides[1] имели бы в Америке огромный успех. Американской цивилизации нужны более короткие ноги.

– The hell with you[2], – говорил Джимми, сплевывая.

– Il va te caresser la figure, si tu insistes[3], – говорил Джек.

– Да, я знаю. Джимми – хороший парень, – говорил я, посмеиваясь про себя.

Мне самому был неприятен мой смех. Но я был бы счастлив, по-настоящему счастлив, если б одним прекрасным днем все американские солдаты вернулись домой под ручку со всеми карлицами Неаполя, Италии и всей Европы.

"Чума" разразилась в Неаполе 1 октября 1943-го, в тот самый день, когда союзные войска вошли освободителями в этот злосчастный город. 1 октября 1943 года – памятная дата в истории Неаполя, потому что она означает начало освобождения Италии и всей Европы от тоски и стыда, от мук рабства и войны. И еще потому, что именно в этот день началась страшная эпидемия чумы, которая из этого несчастного города распространилась понемногу по всей Италии и по всей Европе.

Подозрение, что ужасную заразу принесли в Неаполь сами освободители, было, конечно же, несправедливым, но оно стало уверенностью в душе народа, когда он в изумленном замешательстве и суеверном ужасе увидел, что союзные солдаты странным образом остаются не тронутыми мором. Спокойные, розоволицые и улыбающиеся, они шагали в гуще толпы зачумленных людей, не заражаясь мерзкой болезнью, пожинавшей урожай своих жертв исключительно среди гражданского населения не только городов, но и деревень. Как масляное пятно болезнь расползалась по освобожденной территории все шире и шире по мере того, как союзные войска с большим трудом теснили немцев все дальше на север.

Но под угрозой серьезных наказаний было строго запрещено публично распространять слухи, что чуму в Италию принесли освободители. Было опасно говорить об этом даже в частной беседе, даже понизив голос, потому что среди прочих мерзких свойств той чумы самым мерзким было чудовищное помешательство – жадная тяга к доносительству. Едва тронутый болезнью человек становился доносчиком на отца и мать, на братьев и детей, на мужа и любовника, на близких и самых дорогих друзей, но никогда на себя самого. Одним из самых удивительных

1. Невесты (*англ.*).
2. Пошел ты к черту (*англ.*).
3. Получишь от него по физиономии, если будешь продолжать (*франц.*).

и отвратительных свойств той необычной чумы была способность превратить человеческую совесть в мерзкий, зловонный бубон.

Для борьбы с чумой английские и американские военные власти не нашли другого средства, как запретить союзным солдатам посещать наиболее инфицированные зоны города. На всех стенах появились надписи "Off limits", "Out of bonds"[1] под изысканной эмблемой чумы: внутри черного круга две перекрещивающиеся линии, похожие на скрещенные под черепом кости на чепраках лошадей похоронных экипажей.

Вскоре весь город, за исключением нескольких центральных улиц, был объявлен зоной "Off limits". Но самыми посещаемыми местами города были именно эти самые зараженные и поэтому самые запретные "Off limits", ибо человеку, особенно солдату всех времен и народов, свойственно предпочитать запретные вещи разрешенным.

Таким образом болезнь, пришла ли она в Неаполь вместе с освободителями, или переносилась ими из одного городского квартала в другой, из мест инфицированных в места еще не зараженные, скоро стала ужаснейшим бедствием, принявшим форму жуткой народной гулянки, заупокойной шумной ярмарки со смехом и песнями, с танцующими на площадях и улицах, среди разрушенных бомбами домов пьяными неграми и полуголыми или совсем голыми женщинами, с разгулом пьянства, обжорства, распутства, расточительства и непотребства в тяжелом зловонии сотен и сотен погребенных под обломками трупов.

Эта чума была совершенно непохожа, хотя не менее ужасна, на эпидемии, поражавшие время от времени средневековую Европу. Странный характер этой новейшей заразы заключался в том, что она поражала не тело, а душу. Плоть казалась, по крайней мере внешне, нетронутой, а душа под здоровой телесной оболочкой разлагалась и смердела. Это была как бы душевная чума, против которой, казалось, нет никакой защиты. Первыми заражались женщины, которые в каждой нации есть самое легкодоступное прибежище пороков и открытая всякому злу дверь. И это представляется удивительным и очень горьким фактом, потому что за годы рабства и войны до самого заветного дня прихода долгожданной свободы женщины, и не только в Неаполе и во всей Италии, но повсюду в Европе, среди повальной нищеты и обездоленности вели себя с большим достоинством и с большей силой духа, чем мужчины. В Неаполе и в любой стране Европы женщины не подпускали к себе немцев. Только проститутки продавались врагу, но не открыто, а тайком, то ли опасаясь гнева людского, то ли потому, что такая коммерция им самим представлялась постыднейшим преступлением, какое могла совершить женщина в те годы.

И вот, под воздействием мерзкой чумы, из-за которой в первую очередь оказались поруганными честь и женское достоинство, самая разнузданная проституция принесла позор в каждый дом, будь то лачуга или дворец. Но зачем называть это позором? Злая сила заразы была так велика, что проституция стала достойным хвалы деянием, почти доказательством любви к Родине, и все, мужчины и женщины, утратив стыд, чуть ли не гордились своим собственным и всеобщим бесчестием. Многие, правда, кого отчаяние делало несправедливыми, обеляли чуму, на-

1. "Вход запрещен", "В контакт не вступать" (*англ.*).

мекая, что женщины, ударившиеся в проституцию, просто искали в этой напасти оправдание собственной низости.

Но, вглядевшись пристальнее в обличье чумной заразы, легко обнаруживаешь, что это подозрение от лукавого. Потому что женщины первыми пришли в отчаяние от своей участи: я сам слышал их плач и проклятия в адрес беспощадной заразы, с непреодолимой силой и вопреки воле толкавшей их на проституцию, как последних сук. Увы, так созданы женщины. Они часто слезами стараются вызвать к себе жалость и откупиться от позора. Но в данном случае нужно оправдать женщин и сострадать им.

Такой была участь женщин. Не менее страшной и жалкой была мужская доля. Едва заразившись, мужчины теряли всякое достоинство, пускались в самую низкую коммерцию, совершали самые гнусные мерзости, на карачках по грязи ползли целовать башмаки своих "освободителей" (с отвращением наблюдавших это непрошеное унижение), не только прося прощения за страдания и позор, пережитые в годы рабства и войны, но и выпрашивая для себя честь быть попранными новыми хозяевами; они плевали на знамена своей Родины, открыто торговали своими женами, дочерьми, своими матерями. И притом говорили, что делают все это для спасения Родины. Те же, что казались не тронутыми чумой, заболевали другой тошнотворной болезнью, заставлявшей их краснеть оттого, что они — итальянцы, и даже оттого, что принадлежат к роду человеческому. Нужно признать, они делали все, чтоб стать недостойными имени человека. Очень немногие остались не тронутыми мором, казалось, он ничего не смог поделать с их совестью, они бродили робкие и запуганные, всеми презираемые — неудобные свидетели всеобщего позора.

Ставшее позже уверенностью подозрение, что чуму занесли в Европу сами освободители, поселило в народе глубокую и искреннюю печаль. Хотя еще с древних времен побежденные всегда ненавидели победителей, народ Неаполя не питал ненависти к союзникам. Их ждали с нетерпением и встретили с радостью. Тысячелетний опыт войн и иноземных нашествий приучил народ Неаполя к тому, что в обычае победителей всегда было низводить побежденных до положения рабов. Вместо рабства союзники принесли им свободу. И народ сразу полюбил этих чудесных солдат, таких молодых, таких красивых, так аккуратно причесанных, с такими белыми зубами и розовыми губами. За много веков самых разных нашествий, выигранных и проигранных войн Европа никогда не видела таких элегантных, чистых, любезных солдат, всегда свежевыбритых, в безупречной форме, в аккуратно завязанных галстуках, свежевыстиранных сорочках, в новых начищенных ботинках. Никаких дыр на локтях и коленях, ни одной оторванной пуговицы не было у этих удивительных воителей, явившихся, подобно Венере, из морской пены. Никаких фурункулов, больных зубов, даже прыщиков на лицах. Европа никогда не видела таких дезинфицированных солдат, без единого микроба как в складках кожи, так и в лабиринтах совести. А какие руки! Белые, ухоженные, всегда под защитой безупречной белизны перчаток из замши. Но что трогало неаполитанцев больше всего, так это любезные манеры освободителей, особенно американцев, их непринужденная воспитанность, человеколюбие, искренние, сердечные улыбки открытых, простых и добрых парней. И если случалось кому-ни-

будь когда-либо иметь честь проиграть войну, то это был тот случай, когда на долю неаполитанцев, как и всех остальных побежденных народов Европы, выпала, конечно же, большая честь проиграть войну таким любезным, красивым и элегантным, таким добрым и щедрым солдатам.

И, однако, все, чего касались эти чудесные солдаты, сразу же разлагалось. Несчастные жители освобожденных стран, едва пожав руки своим освободителям, начинали гнить и вонять. Достаточно было союзному солдату высунуться из своего джипа, улыбнуться, потрепать мимоходом щечку девушке, чтобы та, хранившая до того момента чистоту и достоинство, сразу превращалась в проститутку. Стоило ребенку сунуть в рот подаренную американцем карамельку, как его невинная душа начинала разлагаться.

Сами освободители были поражены и обеспокоены такой напастью. "Человеку свойственно сочувствие к страданиям", – писал Боккаччо в своем вступлении к "Декамерону", говоря о страшной чуме во Флоренции в 1348-м. Но союзные солдаты, особенно американцы, перед лицом страшного зрелища неаполитанской чумы сочувствовали не столько несчастному народу Неаполя, сколько себе самим. Потому что уже давно в их добрых, наивных душах зародилось подозрение, что страшная зараза была в их честных, робких улыбках, в их полных человеческой симпатии взглядах, в их ласковом обращении. Чума была в их сострадании, в самом их желании помочь обездоленным, облегчить их мучения, оказать содействие в великом горе. Зараза была в той самой руке, что братски протянулась к побежденному народу.

Может, было предначертано свободе в Европе родиться не от освобождения, а от чумы. Может, было назначено, что подобно тому, как освобождение родилось из мучений рабства и войны, так и свобода должна родиться из новых, страшных страданий, от чумы, принесенной освобождением. Свобода стоит недешево. Много дороже, чем рабство. И ее не оплатишь ни золотом, ни кровью, ни более высокими жертвами, а только подлостью, проституцией, предательствами, всей грязью человеческой души.

В тот день мы тоже зашли в "Foyer du soldat", и Джек робко, доверительно спросил, подойдя к французскому сержанту:

– Si on avait vu par là le lieutenant Lyautey?[1]

– Oui, mon colonel, je l'ai vu tout-à-l'heure, – ответил, улыбаясь, сержант, – attendez un instant, mon colonel, je vais voir s'il est toujours là[2].

– Voilà un sergent bien aimable, – сказал, покраснев от удовольствия, Джек, – les sergents français sont les plus aimables sergents du monde[3].

– Je regrette, mon colonel, – сказал, вернувшись, сержант, – le lieutenant Lyautey vient justement de partir[4].

– Merci, vous êtes bien aimable, – сказал Джек, – au revoir, mon ami[5].

– Au revoir, mon colonel[6], – ответил, улыбаясь, сержант.

1. Не видно ли было здесь лейтенанта Лиоте? (*франц.*)
2. Да, господин полковник, я видел его только что... обождите секунду, господин полковник, посмотрю, здесь ли он еще (*франц.*).
3. Какой любезный сержант... французские сержанты – самые любезные в мире (*франц.*).
4. Очень жаль, господин полковник... но лейтенант Лиоте только что ушел (*франц.*).
5. Спасибо, вы очень любезны... до свидания, друг мой (*франц.*).
6. До свидания, господин полковник (*франц.*).

– Ah, qu'il fait bon d'entendre parler français[1], – сказал Джек, выходя из кафе "Кафлиш". Его лицо освещала детская радость, я любил его в такие минуты. Мне доставляло удовольствие любить человека лучшего, чем я, хотя я всегда относился с презрением и недоброжелательством к лучшим, чем я сам, людям, и только теперь впервые мне было приятно любить того, кто лучше меня.

– Пойдем взглянем на море, Малапарте.

Мы пересекли Королевскую площадь и облокотились о парапет в конце лестницы Гигантов.

– C'est un des plus anciens parapets de l'Europe[2], – сказал Джек, знавший на память всего Рембо.

Был закат, и море понемногу становилось винного цвета, такого цвета оно было у Гомера. Внизу, между Сорренто и Капри, вода, крутые скалы, горы и тени скал медленно загорались ярким коралловым светом, словно коралловые заросли на дне моря испускали яркие лучи, окрашивая небеса отблесками античной крови. Горная гряда Сорренто, зеленым мраморным серпом выступающая далеко в море, была покрыта цитрусовыми садами, и умирающее солнце било в них своими косыми, усталыми стрелами, высекая из апельсинов золоченые, теплые, а из лимонов холодные, свинцовые отблески.

Похожий на обглоданную и отполированную дождями и ветром кость, одинокий и голый среди бесконечного неба без единого облачка Везувий понемногу озарялся таинственным розовым пламенем, будто сокровенный огонь его утробы пробивался наружу сквозь жесткую кору лавы, бледной и светящейся, как слоновая кость. Это длилось до тех пор, пока луна не взломала край его кратера, как скорлупу яйца, и не поднялась, сияющая и спокойная, удивительно древняя, в голубом сумраке вечера. На далеком горизонте показались принесенные ветром первые ночные тени. И, может, из-за магической прозрачности луны или из-за холодной жестокости отрешенного, призрачного пейзажа легкая мимолетная грусть была в тех минутах, что-то похожее на приближение желанной смерти.

Оборванные мальчишки сидели на каменном парапете над морем и, обратив глаза ввысь, напевали. Истощенные, бледные лица, незрячие от голода глаза. Они пели, как поют слепые, запрокинув голову и воздев глаза к небу. У человеческого голода удивительно сладкий и чистый голос. Да ничего человеческого и не остается в голосе голода. Этот голос зарождается в неведомой глубине человеческой души, откуда исходит глубокое ощущение смысла жизни, которое и есть сама жизнь, наша самая сокровенная и живая жизнь. Воздух был чистым и сладким на вкус. Легкий, насыщенный запахом водорослей и соли бриз доносил с моря болезненный крик чаек, заставлял подрагивать на волнах золоченое отражение луны, а на далеком горизонте бледный призрак Везувия погружался постепенно в серебристую дымку ночи. Пение мальчишек становилось еще чище, еще отрешеннее, а жестокий, бездушный пейзаж был чуждым голоду и человеческому отчаянию.

– В этой чудесной природе нет доброты и сострадания, – сказал Джек.

1. Ах, как приятно слышать французскую речь (*франц.*).
2. Это один из самых древних парапетов Европы (*франц.*).

— Она нам враждебна, эта природа, она ненавидит нас. Она — наш враг. Ненавидит всех людей, — сказал я.

— Elle aime nous voir souffrir[1], — сказал тихо Джек.

— Она смотрит на нас своими холодными, полными ледяной ненависти и презрения глазами.

— Перед этой природой, — сказал Джек, — я чувствую себя виноватым, опозоренным и униженным. Это — не христианская природа. Она ненавидит людей за их страдания.

— У нее зависть к мучениям человека, — сказал я.

Я любил Джека, он был единственный среди всех моих американских друзей, кто чувствовал себя виноватым, опозоренным и униженным перед лицом жестокой, нечеловеческой красоты этих небес, и моря, и далеких островов на горизонте. Он единственный понимал, что эта природа — не христианская природа, что она вне христианства, что этот пейзаж не отражает лик Христа, он — образ вселенной без Бога, где люди обречены страдать в одиночестве и без надежды, он единственный понимал, сколько тайны в истории и жизни неаполитанцев и как мало история и жизнь зависит от воли людей. Среди моих американских друзей было много молодых, умных, образованных и отзывчивых людей, но они презирали Неаполь, Италию и Европу, они презирали нас, потому что считали, что мы сами ответственны за наши несчастья и беды, за нашу подлость, за наши преступления и предательства, за наш позор. Они не понимали, сколько загадочного, неподвластного человеческому разуму было в нашей низости и в наших бедах. Некоторые говорили:

— Вы — не христиане, вы — язычники.

И на этом ставили точку, точку презрения. Я любил Джека потому, что он единственный понимал, что слова "язычники" недостаточно, чтобы объяснить таинственные, глубокие и древние причины нашего страдания; что наша нищета, наши бедствия, наш стыд и наше поведение в горе и радости, да и сами причины нашего величия и нашей низости — вне христианской морали.

И хотя он называл себя картезианцем и делал вид, что доверяет всегда только разуму и полагает, что разум способен проникнуть в суть вещей и все объяснить, его отношение к Неаполю, Италии и Европе было замешено на уважении и недоверии одновременно. Как и для всех американцев, Неаполь стал для него неожиданным и болезненным открытием. Он верил, что явился в мир, где царит разум, в мир, созданный человеческим сознанием. Но неожиданно очутился в стране чудес, где не разум и не сознание, а, казалось, темные подземные силы управляют людьми и их делами.

Джек объехал всю Европу, но никогда не был в Италии. Он высадился у Салерно 9 сентября 1943 года с палубы десантного судна в грохоте и дыме взрывов, под хриплые крики солдат, с трудом пробивавшихся к песчаному берегу Песто под огнем немецких пулеметов. И в его идеальном образе картезианской Европы, гётевского Alte Kontinent[2], управляемого разумом и здравым смыслом, Италия всегда оставалась родиной его Вергилия, его Горация, она представлялась ему такой же ярко-зеленой и темно-синей, как и его штат Виргиния, где он закончил учебу, где провел луч-

1. Ей нравится видеть наши страдания (*франц.*).
2. Старого континента (*нем.*).

шую часть своей жизни, где у него были дом, семья, книги. И в этой Италии его сердца колоннады домов георгианской эпохи в штате Виргиния и мраморные колонны Форума, Вермонт-хилл и Палатинский холм объединились, являя собой в его глазах знакомый пейзаж, в котором сверкающая зелень лугов и лесов сочеталась с сияющей белизной мрамора под ясным голубым небом, напоминающим купол неба над Капитолием.

Когда на рассвете 9 сентября 1943 года Джек спрыгнул с палубы на берег Песто близ Салерно, прямо перед ним, в красной пыли, поднятой гусеницами танков и разрывами немецких гранат, в столпотворении выходящих из моря людей и машин, предстало чудесное явление колонн храма Нептуна на равнине, покрытой густыми зарослями мирта и кипарисами на фоне голых гор Чиленто, похожих на горы Лацио. Ах, это была Италия Вергилия, Италия Энея! Он заплакал от радости, от почти религиозного волнения и бросился на колени на песчаном берегу, подобно Энею, высадившемуся из троянской триремы на песчаный берег в устье Тибра, перед горами с разбросанными по склонам дворцами и храмами среди насыщенной зелени древних лесов Лациума.

Но классические декорации дорических колонн храмов Песто скрывали от его глаз Италию неведомую и полную неожиданностей, прятали Неаполь, первую страшную и чудесную страницу неизвестной Европы, неподвластной картезианскому сознанию, страницу иной Италии, о которой он не имел до того дня ни малейшего представления, чьи чудеса и тайны теперь, когда он лишь начинал их постигать, наводили на него мистический ужас.

— Неаполь, — говорил я ему, — самый загадочный город Европы, единственный город античного мира, не погибший, как Троя, Ниневия или Вавилон. Единственный в мире город, не погрузившийся на дно в грандиозном крушении античной цивилизации. Неаполь — это Помпеи, которым случилось остаться непогребенными. Это не город — это мир. Древний, дохристианский мир, оставшийся нетронутым в пространстве современного мира. Вы не могли выбрать во всей Европе более опасное для высадки место. Ваши танки рискуют погрузиться в трясину древности, как в зыбучие пески. Если бы вы высадились в Бельгии, в Голландии или в Дании, да и в той же Франции, ваш научный подход, ваша техника, ваше несметное материальное богатство принесли бы вам победу не только над немецкой армией, но и над духом Европы, над той иной, тайной Европой, мистическим образом и призраком во плоти которой является Неаполь. Но здесь, в Неаполе, ваши танки, ваши пушки, ваша техника вызывают улыбку. Железяки. Ты помнишь, Джек, слова неаполитанца, что в день вашего вступления в город смотрел на прохождение бесконечных танковых колонн по улице Толедо? "Добрые железяки!" Ваше особое американское человеколюбие здесь, едва проявившись, стало для вас опасно уязвимым. Вы всего-навсего большие дети, Джек. Вы не сможете понять Неаполь, вы не поймете его никогда.

— Je crois, — говорил Джек, — que Naples n'est pas impénétrable à la raison. Je suis cartésien, hélas![1]

— Ты считаешь, что твое картезианство может помочь тебе, к примеру, понять Гитлера?

1. Я не думаю... что Неаполь непостижим для разума. Я ведь картезианец, увы! (*франц.*)

– Почему именно Гитлера?

– Потому что Гитлер тоже элемент мистической загадки Европы, потому что он тоже принадлежит иной Европе, которую картезианский ум не может постичь. Ты можешь объяснить Гитлера с помощью Декарта?

– Je l'explique parfaitement[1].

Тогда я рассказал ему университетскую байку, которую студенты немецких университетов со смехом передают из поколения в поколение. На конгрессе немецких ученых в городе Гейдельберге после долгих споров участники конгресса пришли к заключению, что всё в мире можно объяснить с помощью одного только разума. В конце дискуссии до того не произнесший ни слова профессор в надвинутом на лоб цилиндре поднялся и сказал:

– Не могли бы вы, всё умеющие объяснить, втолковать мне, каким образом вот эта штука выросла сегодня ночью у меня на голове?

И, неторопливо сняв цилиндр, он показал сигару, настоящую "гавану", торчащую прямо из его лысого черепа.

– Ah, ah, c'est merveilleux![2] – рассмеялся Джек. – Значит, Гитлер – это гаванская сигара, хочешь ты сказать?

– Нет, я хочу сказать, что Гитлер *как* та гаванская сигара.

– Чудесно! Сигара! – сказал Джек и неожиданно добавил: – Have a drink, Malaparte[3], – и, спохватившись, перешел на французский: – Allons boire quelque chose.

Бар PBS был полон офицеров, обогнавших нас на много стаканов. Мы уселись в углу и принялись пить. Джек смеялся, заглядывая в свой стакан, он постукивал кулаком по колену и восклицал:

– C'est merveilleux! Un cigare!

Глаза его помутнели, он сказал:

– Tu crois vraiment qu'Hitler...[4]

– Mais oui, naturellement[5].

Потом мы пошли ужинать и сели за большой стол для "синьоров офицеров". Все были веселы и с симпатией улыбались мне, потому что я был the bastard Italian liaison officer, this bastard son of a gun[6]. Джек стал рассказывать историю о конгрессе немецких ученых в университете Гейдельберга, и все старшие офицеры войск полуострова смотрели удивленно на меня и спрашивали:

– What? A cigar? Do you mean that Hitler is a cigar?[7]

– He means that Hitler is a cigar Havana,[8] – говорил, смеясь, Джек.

Протягивая мне через стол сигару, полковник Брэнд сказал с улыбкой симпатии:

– Вы любите сигары? Это настоящая "гавана".

1. Я его отлично объясняю (*франц.*).
2. Ах, это удивительно! (*франц.*)
3. Выпьем что-нибудь, Малапарте (*англ.*).
4. Ты действительно считаешь, что Гитлер... (*франц.*)
5. Ну, разумеется (*франц.*).
6. Грязный итальянский офицер связи, этот чертов сукин сын (*англ.*).
7. Что? Сигара? Вы считаете, что Гитлер – сигара? (*англ.*)
8. Он считает, что Гитлер – гаванская сигара (*англ.*).

– Тебе случалось видеть девственницу? – спросил меня однажды Джимми, когда мы выходили из булочной на Пендино-ди-Санта-Барбара, грызя горячие, хрустящие таралли.

– Случалось, но издалека.

– Да нет, я имею в виду вблизи. Ты видел когда-нибудь девственницу вблизи?

– Нет, вблизи никогда.

– Тогда пошли, Малапарте, – сказал Джимми.

Сначала идти не хотелось, я знал, мне покажут что-то болезненно унизительное, какое-нибудь уродливое свидетельство морального и физического упадка, до которого в отчаянии может дойти человек. Я не люблю наблюдать зрелище человеческой низости, мне претит видеть и судить людей, опустившихся до крайнего предела, я всегда боюсь одного: вдруг они обернутся и улыбнутся мне.

– Come on, come on, don't be silly, пошли, пошли, не глупи, – говорил Джимми, вышагивая впереди меня по лабиринту переулков Форчеллы.

Я не люблю смотреть, до какой подлости может дойти человек, чтобы выжить. Чуме я предпочел бы войну, зараза нас развратила, замарала, унизила всех: мужчин, женщин, детей. До освобождения мы все боролись и страдали, *чтобы не умереть*, теперь страдаем и боремся, *чтобы жить*.

Есть большая разница между борьбой, чтобы не умереть, и борьбой, чтобы жить. Когда люди борются, чтоб не умереть, они сохраняют свое достоинство, ревниво и ожесточенно защищают его все: и мужчины, и женщины, и дети. Мужчины не склоняют головы. Они уходят в горы, в леса, живут в пещерах, дерутся с захватчиками как волки. Борются, чтобы не умереть. Это законная, достойная, благородная борьба. Женщины не предлагают на рынке свое тело, чтоб купить губную помаду, шелковые чулки, сигареты или хлеб. Страдают от голода, но не продаются. Не продают своих мужчин врагам. Предпочитают видеть своих детей умирающими от голода, но не продаваться самим и не продавать мужчин. Только проститутки продаются врагу. До освобождения у всех народов Европы было удивительное чувство собственного достоинства. Они дрались, не склоняя головы. Сражались, чтобы не умереть. А когда люди сражаются, чтобы не умереть, они хватаются со всей силой отчаяния за все то, что составляет живое и вечное в жизни человека, то благородное и чистое, что есть в жизни: достоинство, гордость и свободу. Они борются за спасение собственных душ.

Но после освобождения люди стали бороться, *чтобы жить*. Ничего нет унизительнее и страшнее, чем эта постыдная необходимость бороться за существование. Только за существование. Только за собственную шкуру. Это уже не борьба против порабощения, за свободу, за человеческое достоинство, за честь. Это – борьба с голодом. Борьба за кусок хлеба, за тепло, за тряпку, чтоб укрыть детей, за охапку соломы, чтоб прилечь. Когда люди борются за существование, все, даже пустая банка, окурок, кожура апельсина, корка сухого хлеба или обглоданная кость, найденные на помойке, – все имеет для них огромное, жизненно важное значение. Чтобы выжить, люди становятся способны на всяческие

подлости, на любую низость, на любое преступление. Чтобы выжить. За корку хлеба любой из нас готов продать жену, детей, обесчестить мать, предать друзей и братьев, продать самого себя. Человек готов пасть на колени и, извиваясь, во прахе лизать ноги тому, кто его оскорбляет; подставлять свою спину под розги; вытереть плевок с лица с преданной униженной улыбкой, со взглядом, полным животной надежды, надежды на чудо.

Чуме я предпочел бы войну. В считанные часы все, мужчины, женщины и дети, были заражены страшной, мистической заразой. Поражал неожиданный, бешеный, фатальный характер этой страшной эпидемии. В считанные дни чума смогла сделать больше, чем жестокая тирания за двадцать лет всеобщего унижения или война за три года голода, бед и невыносимых страданий. Как могли эти люди, торгующие на дорогах собой, своей честью, своим телом, телом собственных детей, несколькими днями раньше, на тех же самых дорогах, явить миру великие и страшные доказательства своего беспримерного, исступленного мужества в борьбе против немцев?

Когда 1 октября 1943 года освободители заняли первые пригородные дома Торре-дель-Греко, неаполитанский люд в жестоких четырехдневных боях уже выбил немцев из города. В начале сентября, сразу после перемирия, неаполитанцы восстали против немцев, тогда восстание было потоплено в крови с неумолимой жестокостью. В некоторых местах немцы сбросили долгожданных освободителей обратно в море, но под Салерно те отбивались, вцепившись в побережье. К концу сентября, когда немцы принялись "отлавливать" людей на дорогах, вталкивать их в грузовики и отправлять в Германию, как стадо рабов, народ Неаполя, возглавляемый стаями разъяренных женщин, кричащих "Наших не трогать!", бросился безоружный на немцев, стал душить и избивать их в переулках, бросать в них из окон, с крыш, с балконов камни, черепицу и мебель, лить на них кипящую воду. В порыве воодушевления парни бросались на танки с горящими пучками соломы и умирали, запалив железных черепах. Невинные девочки с улыбкой протягивали измученным жаждой, замурованным в раскаленном солнцем железе немецким танкистам гроздь винограда, и едва те открывали люк и высовывались, чтоб взять любезно предложенную гроздь, как сидевшие в засаде мальчики с помощью гранат, подобранных у убитых немцев, расправлялись с ними. Много было мальчиков и девочек, расставшихся с жизнью в таких вылазках.

Перевернутые на дорогах грузовики и трамваи блокировали продвижение немецких колонн, спешивших на помощь своим войскам, оборонявшимся в Эболи и в Кава-деи-Тиррени. Неаполитанский люд не нападал с тыла на отступающих немцев, он атаковал их лицом к лицу, хоть и был безоружным. Пока еще грохотала битва за Салерно, было безумством для безоружных людей, измученных тремя годами голода и беспрерывными жестокими бомбардировками, пытаться остановить движение германских колонн, шедших через Неаполь на помощь частям, дравшимся против высадившихся в Салерно союзников. Мальчишки и женщины были самыми свирепыми вояками в те четыре дня ожесточенных сражений. Множество трупов немецких солдат, я видел это собственными глазами, еще не погребенных два дня спустя после освобождения Неаполя, лежали с изуродованными лицами и перекушенны-

ми зубами глотками — на горле четко виднелись следы укусов. Многие были проколоты ударами ножниц. Иные валялись в лужах крови, в их черепа были вбиты длинные гвозди. Не имея другого оружия, люди камнями вбивали в голову немцам гвозди, пока десять, двадцать отчаянных сорванцов прижимали тех к земле.

— Идем, идем, не глупи! — говорил Джимми, шагая впереди по лабиринту переулков Форчеллы.

Чуме я предпочел бы войну...

Так я пошел с Джимми смотреть девственницу. Это было в "бассо" дома в глубине переулка вблизи Пьяцца-Оливелла. Перед входом в убогое жилище стояла небольшая группа союзных солдат, в основном чернокожие. Там было три или четыре американца, несколько поляков и английские моряки. Мы встали в очередь и стали ждать.

После около получаса ожидания, продвигаясь на шаг каждые две минуты, мы подошли к порогу лачуги. Внутренняя часть комнаты была скрыта от наших глаз красной занавесью, залатанной и в жирных пятнах. На пороге стоял одетый в черное средних лет человек, очень худой, с бледным, покрытым кустистой растительностью лицом. На его густых с проседью волосах франтовато сидел потрепанный, но аккуратно выглаженный берет из черного фетра. Зажав небольшую пачку банковских билетов, он стоял, скрестив руки на груди.

— One dollar each, доллар с человека, — говорил он, — сто лир с каждого.

Мы зашли и огляделись. Типичный "интерьер" жилища неаполитанца: одна комната без окон, с небольшой дверью в глубине, необъятная кровать у стены против входа, вдоль других стен — туалетный столик с зеркалом, железный, выкрашенный белой краской умывальник, шкаф, между шкафом и кроватью — стол. На туалетном столике, под большим стеклянным колпаком фигурки из крашеного воска, изображавшие Святое Семейство. На стенах олеографии со сценами из "Сельской чести" и "Тоски", с изображением Везувия, похожего на лошадь, увенчанную султанами по случаю праздника Пьедигротта[1], фотографии женщин, детей, портреты уже умерших стариков, лежащих на смертном ложе среди гирлянд цветов. В углу, между кроватью и зеркалом, небольшой алтарь с изображением Святой Девы и горящей масляной лампадой. Кровать застелена огромным, голубого шелка покрывалом, длинная золотая бахрома которого касалась пола из зеленой и красной майолики. На краю кровати сидела девочка, она курила.

Она сидела, свесив с кровати ноги, и сосредоточенно, молча курила, уперев локти в колени и прикрыв ладошкой лицо. Она выглядела очень юной, но глаза были взрослые, почти старческие. Волосы уложены в барочном стиле модниц местных кварталов, навеянном прическами неаполитанских мадонн с полотен семнадцатого века: сооружение из черных, вьющихся и блестящих волос с накладкой из конского волоса и пакли, украшенное лентами, возвышающееся наподобие замка и напоминающее высокую митру. Что-то византийское было в ее узком, удлиненном лице, бледность которого проступала сквозь толстый слой

1. Местный праздник в честь Мадонны Пьедигротта, чье изображение хранится в церкви Пьедигротта у подножия холма Позиллипо. Отмечается в сентябре.

румян, византийским был и разрез ее больших, раскосых, очень темных глаз под гладким высоким лбом. Но полные губы, увеличенные вызывающе ярким росчерком губной помады, придавали дерзкую чувственность иконописному, печальному лику. На ней было платье из красного шелка со скромным вырезом. Шелковые чулки телесного цвета обтягивали маленькие полные ноги, обутые в пару черных войлочных стоптанных башмаков. Длинные рукава платья суживались на запястьях, на шее коралловое ожерелье – мечта каждой бедной девушки Неаполя.

Девочка курила в тишине и гордой отрешенности, уставив взгляд на дверь. Несмотря на необычность своего наряда из красного шелка, вычурную прическу, полные, крупные губы и стоптанные башмаки, в ней самой не чувствовалось вульгарности. Скорее она казалась отражением окружающей обстановки, пошлость которой словно обволакивала ее всю, почти не касаясь. У нее было маленькое, милое ухо, такое белое и прозрачное, что выглядело ненастоящим, сделанным из воска. Когда я вошел, девочка взглянула на мои три звездочки капитана, презрительно улыбнулась и медленно отвернула лицо к стене. Нас было с десяток в комнате. Итальянец – один я. Все молчали.

– That's all. The next in five minutes[1], – произнес голос стоящего на пороге человека, затем он просунул голову в прорезь занавески и сказал: – Ready? Готова?

Девочка бросила на землю сигарету, взяла кончиками пальцев край юбки и медленно подняла его: вначале показались колени, мягко охваченные шелком чулок, потом голая белизна бедер, затем тень лобка. На мгновение она замерла в таком положении, печальная Вероника[2] с суровым лицом и презрительно приоткрытым ртом. Потом, неторопливо опрокидываясь на спину, она растянулась на постели и медленно-медленно раздвинула ноги. Как безобразная самка лангуста в любовном порыве неторопливо раскрывает свои клешни, пристально глядя на самца маленькими, круглыми, черными и блестящими глазками, оставаясь угрожающе неподвижной, так девочка медленно раскрыла розово-черные клешни своей плоти и замерла, глядя в упор на зрителей. В комнате царила тишина.

– She is virgin. You can touch. Put your finger inside. Only one finger. Try a bit. Don't be afraid. She doesn't bite. She is virgin. A real virgin[3], – сказал человек, просунув в комнату голову сквозь разрез занавески.

Один из негров протянул руку и потрогал пальцем. Кто-то засмеялся похожим на всхлип смехом. "Дева" не двинулась, она посмотрела на негра полными страха и ненависти глазами. Я огляделся вокруг: все стояли бледные от ужаса и омерзения.

– Yes, she is like a child. Да, похоже, она еще дитя, – сказал хрипло негр, медленно поворачивая палец.

– Get out the finger. Вынь палец, – сказала просунувшаяся в комнату сквозь прорезь в красной занавеске голова.

1. Хватит. Следующий через пять минут (*искаж. англ.*).
2. Еврейская женщина, согласно легенде, отеревшая пот с лица поднимающегося на Голгофу Христа платком, на котором остался отпечаток лика Иисуса.
3. Она девственница. Можно потрогать. Потрогайте пальцем внутри. Одним пальцем. Потрогайте. Не бойтесь. Она не кусается. Она девственница. Настоящая (*англ.*).

— Really, she is a virgin. Действительно, она девственница, — сказал негр, вынимая палец.

Девочка вдруг с легким шлепком захлопнула бедра, резко вскочила, опустила платье и быстрым движением выхватила изо рта стоящего рядом с кроватью английского матроса сигарету.

— Get out, please. Выходите, пожалуйста, — сказала голова, и все, пристыженные и подавленные, один за другим медленно, шаркая по полу ногами, вышли через маленькую дверь в глубине комнаты.

— Вам, победителям, должно быть, доставляет удовольствие видеть Неаполь доведенным до такого, — сказал я Джимми, когда мы выбрались наружу.

— Я в этом не виноват, — сказал Джимми.

— О нет, — сказал я, — здесь, конечно же, нет твоей вины. Но вам, наверно, очень приятно чувствовать себя победителями в этой стране. А без таких спектаклей как можно чувствовать себя победителем? Скажи мне правду, Джимми, без таких спектаклей трудно чувствовать себя победителем?

— Неаполь всегда был таким, — сказал Джимми.

— Никогда он таким не был, — сказал я, — такого в Неаполе никто и никогда не видел. Если бы это вам не нравилось, если бы эти спектакли вас не забавляли, такого не случилось бы в Неаполе никогда, и никто не ставил бы таких спектаклей в Неаполе.

— Неаполь сотворили не мы, — сказал Джимми, — он был таким, когда мы пришли.

— Неаполь сотворили не вы, но он никогда не был таким. Если бы Америка проиграла войну, прикинь, сколько американских девственниц в Нью-Йорке или Чикаго раздвинули бы ноги за доллар. Если бы вы проиграли войну, на той постели вместо бедной неаполитанской девочки была бы американская девушка.

— Не говори глупостей, — сказал Джимми, — даже если бы мы проиграли войну, такого не случилось бы в Америке никогда.

— Случилось бы и похуже, если б вы проиграли, — сказал я. — Чтоб чувствовать себя героями, победителям нужны такие зрелища. Им нужно сунуть палец внутрь бедной побежденной девочки.

— Не болтай глупостей, — сказал Джимми.

— По мне, лучше проиграть войну и сидеть на постели, как та бедняжка, чем совать палец между ног девственницы, чтоб получить удовольствие и удовлетворить гордость победителя.

— Но ты тоже пришел посмотреть, — сказал Джимми. — Зачем ты пошел?

— Потому что я подонок, Джимми, потому что мне тоже нужно было увидеть это, чтоб почувствовать себя побежденным и униженным.

— Почему бы тогда тебе не сесть на ту кровать, если тебе так приятно чувствовать себя побежденным?

— Скажи правду, Джимми, ты заплатил бы доллар, чтоб увидеть, как я раздвигаю ноги?

— Даже и цента не заплатил бы, — сказал Джимми и сплюнул.

— А почему нет? Если бы Америка проиграла войну, я бы охотно пошел посмотреть, как потомки Вашингтона показывают гениталии победителям.

— Shut up, заткнись, — прорычал Джимми, с силой сжав мне руку.

— А почему ты не пошел бы посмотреть на меня, Джимми? Все солдаты Пятой армии пришли бы посмотреть на меня. Даже генерал Кларк. Да и ты пришел бы. И заплатил бы не один доллар, а два или три, чтоб увидеть мужчину, расстегивающего штаны и раздвигающего ноги. Всем победителям нужно видеть такие вещи, чтоб быть уверенными, что войну они выиграли.

— Вы все здесь, в Европе, умалишенные и свиньи, — сказал Джимми, — вот кто вы такие.

— Скажи правду, Джимми, когда вернешься в Америку, к себе домой в Кливленд, штат Огайо, тебе приятно будет рассказать, как палец победителя прошел сквозь триумфальную арку между ногами бедной итальянской девочки?

— Don't say that. Не говори так, — сказал Джимми, понизив голос.

— Извини, Джимми, мне горько за тебя и за себя. Вы не виноваты, как и мы, я знаю. Но мне тяжело думать о таких вещах. Ты не должен был вести меня к этой девочке. Я не должен был идти с тобой смотреть эту мерзость. Мне горько за тебя и за себя, Джимми. Я чувствую себя окаянным подлецом и трусом. Вы, американцы, хорошие парни и некоторые вещи понимаете лучше других. Не правда ли, Джимми, кое-что понимаешь и ты тоже?

— Yes, I understand. Да, я понимаю, — сказал Джимми, понизив голос, и сжал мне руку.

Я чувствовал себя окаянным подлецом и трусом, как в тот день, когда поднимался по Градони-ди-Кьяя в Неаполе. Градони — длинная лестница, что ведет от улицы Кьяя к Санта-Терезелла-дельи-Спаньоли, нищему кварталу, где одно время были казармы и публичные дома для испанских солдат. В тот день дул сирокко и вывешенное для просушки на протянутых от дома к дому веревках белье развевалось на ветру, как знамена: Неаполь не склонил к ногам победителей и побежденных свои флаги. За ночь пожар уничтожил большую часть великолепного дворца герцогов Челламаре на улице Кьяя, недалеко от Градони, и в воздухе еще стояли сухой запах сожженного дерева и холодный дым. Небо было как серая бумага в пятнах плесени.

В дни, когда дует сирокко, под заплесневелым, болезненным небом Неаполь принимает вид несчастный и дерзкий одновременно. Дома, улицы и люди выставляют напоказ свои изъяны и уродства. Ниже над морем небо походило на шкурку ящерицы в белых и зеленых пятнах, увлажненную холодной и мутной слизью рептилии. Серые облака с зеленоватыми краями расположились пятнами на грязном голубом горизонте, который горячие дуновения сирокко прорезали желтыми маслянистыми полосами. Море тоже было зеленовато-коричневого, лягушечьего цвета, и запах моря был кисло-сладким запахом лягушечьей кожи. Из кратера Везувия выходил густой желтый дым, чуть приплюснутый низким сводом облачного неба и принявший форму кроны огромной пинии, рассеченной черными тенями и зелеными расщелинами. И виноградники, рассеянные по пурпурным полям застывшей лавы, пинии и кипарисы, ушедшие корнями в пустынную землю пепелища, где выделялись серые, розовые, темно-синие дома, карабкающиеся по склонам вулкана, — все становилось мрачным и мертвым, погружаясь в

зеленоватую полутень, разорванную проблесками желтого и пурпурного цвета...

Все ступени длинной лестницы сплошь были усеяны сидящими одна возле другой женщинами, они расположились как на скамейках амфитеатра и, казалось, собрались насладиться каким-то необыкновенным зрелищем. Они громко переговаривались между собой, смеялись, курили, ели фрукты, сосали карамель или жевали жвачку; одни сидели наклонившись вперед, упершись локтями в колени и положив на ладони подбородок, другие, откинувшись назад, опирались руками о верхнюю ступеньку, третьи сидели боком. Все галдели, звали друг друга по именам, обмениваясь скорее нечленораздельными звуками, чем словами с сидящими выше и ниже по лестнице товарками и с растрепанными, безобразными старухами на балконах и в окнах, которые размахивали руками и изрыгали из своих беззубых ртов, распахнутых в омерзительном оскале, грубые шутки и ругательства. Женщины на ступеньках поправляли друг другу волосы, собранные в замысловатые прически с шиньонами из конского волоса и пакли, укрепленные черепаховыми заколками и гребнями, украшенные цветочными гирляндами и накладными косицами — точно так были причесаны восковые мадонны в часовнях на перекрестках.

Эти женщины, сидящие на ступенчатой улице, похожей на лестницу ангелов из сновидения Иакова, казалось, собрались на какое-то торжество или спектакль, где они были зрителями и участниками одновременно. Порою одна заводила песню, но меланхоличный напев неаполитанского простонародья, сразу тонул среди взрывов смеха, хриплых голосов, грудных возгласов, напоминающих призывы о помощи или крики боли. И все же было несомненное достоинство в этих женщинах и в их повадках — то вульгарных, то смешных, то гордых, — как и в живописном беспорядке всей сцены. В жестах женщин, в манере поднимать руки, когда они касались кончиками пальцев виска или ловко поправляли прическу, в том, как они оборачивались, наклоняли голову, чтобы лучше слышать непристойности, сыплющиеся из окон и с балконов, даже в их манере разговаривать или улыбаться чувствовалась порода. Но вдруг все смолкло, и странная, колеблющаяся, как огромная яркая бабочка, тишина опустилась на лестницу, заполненную женщинами.

Передо мной поднимались несколько чернокожих солдат. Затянутые в форму цвета хаки, обутые в башмаки из тонкой, желтой, сверкающей золотом кожи, они шагали, вальяжно покачиваясь, по лестничным ступеням. В неожиданной тишине они поднимались по лестнице, полные особого достоинства чернокожих. И по мере того как они поднимались по узкому, оставленному свободным проходу через толпу сидящих на ступеньках женщин, бедра несчастных медленно раздвигались, обнажаясь до последнего предела и открывая взгляду темный лобок между розовым блеском голой плоти.

— Five dollars! Five dollars! Go, Joe! Go, Joe! Go, go, Joe, go! Пять долларов! Давай, Джо! Пошли, Джо, пошли!

Но как только негры проходили, как только их сияющие золотом башмаки оставляли последние ступени лестницы, бедра женщин медленно закрывались, словно клешни коричневых морских крабов, створки огромных морских раковин, и женщины, размахивая кулаками, по-

ворачивались вслед уходящим и осыпали чернокожих солдат оскорблениями, выплевывая брань весело и со злобой. До тех пор, пока сначала один, потом другой, третий не остановились, схваченные на лету десятком-двумя цепких рук. А я продолжал подъем по триумфальной лестнице ангелов, ведущей прямо в небеса, в те смердящие небеса, от которых сирокко отрывал куски цвета зеленоватой шкурки рептилии и с хрипом разбрасывал их над морем.

Я чувствовал себя окаянным подлецом и трусом намного больше, чем 8 сентября 1943 года, когда мы должны были бросать наше оружие и наши знамена под ноги победителей. Верно, то были дорогие сердцу реликвии — наше старое, ржавое оружие, и все мы, офицеры и солдаты, были крепко привязаны к нему. Старые винтовки, старые сабли, старые орудия тех времен, когда женщины носили кринолины, а мужчины — высокие шляпы, рединготы черепахового цвета и сапоги на пуговицах. С этими ружьями, с этими ржавыми саблями и бронзовыми пушками наши деды сражались вместе с Гарибальди, с Виктором Эммануилом, с Наполеоном III против австрийцев за независимость Италии. Знамена тоже были старые и вышедшие из моды. Некоторые были очень старые, еще времен Венецианской республики, они развевались на мачтах галер в битве при Лепанто[1] или украшали башни Фамагусты и Кандии[2]. Были среди них и стяги Генуэзской республики, штандарты Миланской коммуны, Кремы, Болоньи, которые водружали на карроччо[3] во времена Средневековья в битвах против германского императора Фридриха Барбароссы. Там были знамена, расписанные Сандро Боттичелли, те самые, что Лоренцо Великолепный подарил лучникам Флоренции, штандарты Сиены, расписанные Лукой Синьорелли. Знамена римского Капитолия работы Микеланджело. Знамя, поднесенное Гарибальди итальянцами из Вальпараисо, и знамя Римской республики 1849 года. Там были знамена Триеста, Фьюме, Задара, Эфиопии, знамена Испанской войны. Были стяги, овеянные самой громкой славой на земле и на море. Разве только английские, американские, русские, французские и испанские знамена овеяны славой побед? Итальянские тоже достойны славы. Если б они были бесславными, какой тогда был бы для нас смысл бросать их в грязь? Нет ни одного народа в мире, который хоть раз не испытал удовольствия, бросая в грязь под ноги победителям свои знамена. Даже самым прославленным стягам довелось побывать втоптанными в грязь. Слава или то, что люди зовут славой, часто замарана грязью.

То был волшебный для нас день, день 8 сентября 1943 года, когда мы швыряли наше оружие и наши знамена под ноги не только победителям, но и побежденным. Не только под ноги англичанам, американцам,

1. Битва при Лепанто (1571) — морское сражение между турками и объединенным флотом Испании, Венеции, папы Римского, герцогства Савойского, Генуи и Мальтийского ордена, где турецкий флот был наголову разбит.
2. Фамагуста — город на острове Кипр, важный центр венецианской торговли, в 1571 г. капитулировал после десятимесячной осады турками. Кандия (совр. Ираклион) — главный город острова Крит, владение Венецианской республики, капитулировал в 1569 г. после 23-летней осады турками.
3. Военная повозка, запряженная волами, с водруженным на высоком древке отличительным знаком (крестом или штандартом).

русским, полякам и всем остальным, но и под ноги королю, маршалу Бадольо, Муссолини, Гитлеру. Под ноги всем, победителям и побежденным. Также под ноги и тем, кто был совсем ни при чем, кто просто пришел насладиться зрелищем. Мы швыряли знамена под ноги прохожим, под ноги всем, кому вздумалось побывать на необычном, занимательном спектакле, когда войско бросает свое оружие и знамена под ноги первому встречному. И дело не в том, что наше войско лучше или хуже другого. В этой славной войне не только итальянцам, будем справедливы, доводилось показывать спину врагу, это случалось делать всем: англичанам, американцам, русским, французам, югославам, всем, победителям и побежденным. Не было в мире ни одной армии, которой на этой блестящей войне не привелось хоть однажды испытать удовольствие, швыряя в грязь свое оружие и знамена.

В подписанном их милым Королевским Величеством и маршалом Бадольо приказе было так и написано: "Солдаты и офицеры Италии, геройски бросайте ваше оружие и ваши знамена под ноги первому встречному". Здесь не ошибешься. Так и было написано — "геройски". Слова "первому встречному" были тоже очень ясны и не оставляли никаких сомнений. Конечно, было бы много лучше для всех, победителей и побежденных, особенно для нас, итальянцев, если бы мы получили такой приказ не в 1943-м, а в 1940-м или в 1941-м, когда в Европе было еще модно швырять оружие под ноги победителям. Тогда еще нам сказали бы "браво". Как правда и то, что нам сказали "браво" и в 1943-м. Но сказали "браво", если уж совсем честно, просто потому, что другого сказать было нечего.

Это был действительно превосходный спектакль, очень занимательное зрелище. Мы все, солдаты и офицеры, наперегонки и как можно героичнее бросились швырять в грязь под ноги победителям и побежденным, врагам и друзьям, под ноги случайным прохожим, остолбенело глядевшим на нас и не понимавшим, в чем дело, свое оружие и знамена. Мы, смеялись и втаптывали в грязь наше оружие и знамена и тут же бросались подбирать их, чтоб начать все сначала.

— Да здравствует Италия! — кричала воодушевленная толпа, добрая и шумная, ликующая и веселая итальянская толпа. Все — мужчины, женщины, дети — были опьянены ликованием, все хлопали в ладоши и кричали "Бис! Браво! Бис!" — а мы, потные, усталые и запыхавшиеся, со сверкающими мужеством и гордостью глазами, с освещенными патриотической гордостью лицами, поистине героически швыряли в грязь наше оружие и наши знамена под ноги победителям и побежденным и сразу спешили подобрать их, чтоб начать все сначала.

То было великолепнейшее празднество, незабываемый день. За все три года войны мы никогда так не веселились. К вечеру все смертельно устали, рот обессилел от великого смеха, но все были горды сознанием выполненного долга. Закончив праздник, мы выстроились в колонны и без оружия и без знамен направились к новым полям сражений, направились вместе с союзниками выиграть ту самую войну, которую вместе с немцами уже однажды проиграли. Мы шли маршем с песнями и с высоко поднятой головой, гордые тем, что показали народам Европы, что нет, наверное, другого способа выиграть войну, кроме как геройски бросить собственное оружие и знамена в грязь под ноги первому встречному.

III. "Парики"

Я впервые испугался, что подхватил заразу и меня тоже отметила чума, когда мы с Джимми пошли к торговцу "париками". Я почувствовал себя униженным мерзкой болезнью, поразившей людей в самой заветной и чувствительной для каждого итальянца области, в области гениталий, которые имели огромное значение в жизни латинских народов, особенно итальянского, на протяжении всей его истории. Истинное знамя Италии — не трехцветное полотнище, а половые органы, мужской половой член. И весь патриотизм итальянского народа там, ниже лобка. Честь, мораль, католическая религия, культ семьи, все это сосредоточено там, между ног, в мужских гениталиях, которые в Италии очень красивы и достойны славных традиций нашей древней цивилизации. И едва я переступил порог лавки "париков", как почувствовал, что чума уязвила мою гордость, затронув сферу, воплощающую для всякого итальянца единственную настоящую Италию.

Торговец "париками" держал свою лавку недалеко от Чеппо-ди-Форчелла, самого глухого и нищего квартала Неаполя.

— Вы все здесь, в Европе, друзья-приятели, — говорил мне Джимми, когда мы пробирались лабиринтом переулков, обвивавших Пьяцца-Оливелла как клубок кишок.

— Европа — родина мужчины, — говорил я, — самые настоящие мужчины в мире — только европейцы.

— Мужчины? Это вы-то мужчины? — говорил Джимми, смеясь и хлопая себя по бедрам.

— Да, Джимми, в мире нет более благородных мужчин, чем те, что рождены в Европе.

— Банда продажных ублюдков — вот кто вы есть, — отвечал Джимми.

— Мы чудесный побежденный народ, Джимми.

— A lot of dirty bastards[1], — говорил Джимми, — в сущности, вы довольны, что проиграли войну, не так ли?

— Ты прав, Джимми, это настоящая удача для нас — проиграть войну. Что нас немного беспокоит, так это то, что нам придется управлять миром. Ведь побежденные всегда правят миром, так бывает после каждой войны. Побежденные несут цивилизацию победителям.

— What? Что? Не собираетесь ли вы нести цивилизацию в Америку? — Джимми зло посмотрел на меня.

— Именно так, Джимми. Ведь и Афинам пришлось нести цивилизацию римлянам, едва они удостоились чести быть захваченными Римом.

— The hell with your Athens, the hell with your Rome![2] — говорил Джимми, бросая на меня косой взгляд.

Он шагал по грязным переулкам, среди нищего народа с элегантностью и непринужденностью, свойственными только американцам. Нет никого на этой земле кроме американцев, кто умел бы двигаться с такой свободной, улыбающейся легкостью среди обездоленного, грязного и голодного люда. И это не знак бесчувственности, это признак оптимизма и вместе с тем невинности. Американцы не циники, они — оптимисты. А оптимизм сам по себе — признак невинности. Кто не делает зла, не

1. Сброд грязных ублюдков (*англ.*).
2. Пошел к черту с твоими Афинами и с твоим Римом! (*англ.*)

думает о нем, тот приходит не то чтобы к отрицанию существования зла, но он отказывается верить в его фатальность, отказывается признать его неизбежность и неискоренимость.

Американцы думают, что нищету, голод, страдание — все можно превозмочь, что можно излечиться от нищеты, голода и страдания, что существует средство от всякого зла. Они не верят, что зло неизлечимо. Хотя по многим статьям американцы — самый христианский народ в мире, они не знают, что не будь зла, не было бы и Христа. No love no nothing[1]. Нет зла — нет Христа. Чем меньше зла в мире — тем меньше Христа. Американцы — добрые люди. Перед лицом нищеты, голода, бед их первое инстинктивное движение — помочь тем, кто страдает от голода, нищеты и бед. И нет в мире другого народа с таким сильным, чистым и искренним чувством человеческой солидарности. Но Христос требует от людей сострадания, а не солидарности. Солидарность — чувство не христианское.

Джимми Рен из Кливленда, штат Огайо, лейтенант Signal Corps[2], был, как почти все американские солдаты и офицеры, добрый парень. А когда американец добрый парень — это лучший в мире человек. И не вина Джимми, что неаполитанцы страдали. Но страшное зрелище нищеты и горя не замутнило его глаз, не растревожило его сердце. Совесть Джимми была спокойна. Как и все американцы, из-за свойственного материалистичным цивилизациям противоречия он был идеалистом. В бедах, нищете, голоде, в физических страданиях он видел моральный аспект. Он не видел в них далекие исторические и экономические причины, а видел лишь причины нравственного плана. И что он мог сделать, чтоб попытаться облегчить жестокие физические страдания неаполитанского народа, всех европейских народов? Все, что мог сделать Джимми, это взять на себя часть моральной ответственности за их страдания не как американец, а как христианин. Может, лучше было бы сказать, не только как христианин, но и как американец. И это главное, за что я люблю американцев, за что я глубоко благодарен американцам, считаю их самым великодушным, самым чистым и благородным народом, лучшим народом в мире, это чудесные люди...

С моря тянул легкий грекале, северо-восточный ветер, и запах свежести врезался в смрад переулков. Казалось, ты слышишь пробегающий по крышам и террасам шелест листьев, протяжное ржание молодых жеребцов, беззаботный девичий смех, тысячи молодых счастливых звуков, бегущих по гребням волн, поднятых грекале. Порывистый ветер вздувал парусами развешанное на веревках белье, заставлял трепетать голубиные крылья, поднимал перепелиный шорох в хлебах.

С порогов своих лачуг молча смотрели на нас, провожая долгим взглядом, люди: почти голые дети, белесые и прозрачные, как поганки в погребе, старики, женщины с раздутыми животами и исхудалыми, пепельными лицами, девушки бледные, бесплотные, с увядшей грудью и худыми бедрами. Все вокруг нас полнилось блеском глаз в зеленой полутьме, беззвучным смехом, сверканием зубов, жестами без слов, рассекавшими свет цвета замутненной воды, тот призрачный свет аквариу-

1. Нет любви — нет ничего (*англ.*).
2. Корпуса связи (*англ.*).

ма, который и есть свет переулков Неаполя на заходе солнца. Все молча смотрели на нас, открывая и закрывая рты, как рыбы.

У дверей жалких жилищ, растянувшись прямо на мостовой, группами спали мужчины, одетые в изорванную военную форму. Это были итальянские солдаты, большей частью сарды или ломбардцы, почти все авиаторы из ближайшего аэропорта Каподикино. Спасаясь от немцев и союзников после разгрома армии, они искали убежища в переулках Неаполя, где жили из милости у людей столь же щедрых, сколь и бедных. Привлеченные кислым запахом сна, запахом немытых волос и застарелого пота бездомные собаки бродили среди спящих, обнюхивая и обгрызая их рваные башмаки, облизывая человеческие тени, прижатые к стенам свернувшимися во сне телами.

Не слышалось ни одного голоса, даже плача ребенка. Странная тишина давила на голодный город. Влажная от запаха кислого голодного пота, она была похожа на чудесную тишину, что пронизывает греческую поэзию, когда луна медленно встает над морем. Вот с далекой ресницы горизонта поднимается бледная, прозрачная луна, похожая на розу, и небо испускает аромат цветущего сада. С порога своих лачуг люди поднимают головы, чтобы взглянуть на розу, медленно встающую из моря, розу, вышитую на покрывале неба из голубого шелка. Внизу слева на покрывале вышит желто-красный Везувий, а вверху справа, на зыбком контуре острова Капри золотом вышиты слова молитвы Ave Maria maris stella[1].

Когда небо похоже на красивое покрывало из голубого шелка, вышитое как накидка Мадонны, все неаполитанцы счастливы: как прекрасно умереть в такой день.

Вдруг в устье переулка мы увидели, как подъехала и остановилась черная повозка, запряженная двумя лошадьми под серебряными попонами и украшенными богатыми султанами, подобно скакунам паладинов Франции. На облучке сидели двое: тот, кто держал вожжи, щелкнул кнутом, другой поднялся, поднес к губам изогнутую трубу, выдул из нее терпкий и горький, плачущий звук и хриплым голосом прокричал: "Поджореале! Поджореале!" — название кладбища и одновременно тюрьмы в Неаполе. Я несколько раз сидел в карцере Поджореале, и от этого имени у меня сжалось сердце. Человек повторил свой крик несколько раз, прежде чем вначале неясный шум, потом стоны и жалобные крики донеслись из переулка. Громкий и горестный плач поднялся над лачугами.

То был час мертвых, время, когда повозки Службы уборки городских улиц, немногие, что сохранились после страшных бомбардировок тех лет, тащились из переулка в переулок, от лачуги к лачуге собирать умерших, как до войны они ездили собирать мусор. Убогость жизни, беспорядок, повальный мор, алчность спекулянтов, бездеятельность властей, всеобщая продажность дошли до такой степени, что похоронить усопшего по-христиански стало делом почти невозможным, привилегией немногих. Отвезти покойника в Поджореале на повозке, запряженной ослом, стоило десять-пятнадцать тысяч лир, и поскольку шли только первые месяцы оккупации и неаполитанцы еще не успели

1. Славься, Мария, морская звезда (*лат.*).

сколотить немного денег на незаконной торговле чем придется, беднота не могла позволить себе похоронить своих мертвых по-христиански, чего покойники, несмотря на бедность, были достойны. Пять, десять, пятнадцать дней оставались умершие дома, ожидая телеги мусорщика, медленно разлагаясь в своих постелях при горячем, дымном свете восковых свечей, слушая голоса близких, бульканье кофеварки или кастрюли с фасолью, кипящей на угольной печке посреди комнаты, крики детей, голышом копошащихся на полу, кряхтенье стариков на ночных горшках в теплой, липкой вони экскрементов, мешавшейся со смрадом мертвых, уже разлагающихся тел.

В ответ на крик монатто[1], на звук его трубы из трущоб поднялся ропот, исступленные вопли, хриплые песнопения, плач и молитвы. Несколько мужчин и женщин выползли из своего логова, таща на плечах грубо сколоченный ящик (древесины не было, и домовины сбивали из неструганых старых досок, створок шкафов, изъеденных жучками ставен), и бросились бегом к повозке, стеная и плача, потом тесно сгрудившись вокруг нее, словно им угрожала какая-то большая, неминуемая опасность, будто кто-то собирался лишить их покойника, вырвать его из их рук, отнять у их любви. И эта спешка, крики, ревнивая боязнь, с которой они подозрительно оборачивались назад, как если бы за ними гнались, придавали этим странным похоронам нехороший оттенок кражи, воровского деяния, привкус чего-то запретного.

По одному из переулков, держа на руках завернутого в простыню своего мертвенького, бежал бородатый мужчина, за ним тянулась стая женщин, они рвали на себе волосы и одежды, исступленно колотили себя в грудь, живот и бедра, обращая в небо громкий, надрывный плач, походивший больше на вой животного, на крик раненого зверя. Люди глядели с порогов, рыдая и вздымая к небесам руки, через распахнутые двери в глубине жилищ были видны приподнявшиеся на постели напуганные дети, истощенные, растрепанные женщины, слившиеся в непристойном соитии пары, все широко раскрытыми глазами следили за шумной похоронной процессией в переулке. Тем временем вокруг переполненных погребальных дрог вспыхнула потасовка между пришедшими последними, они дрались за место для своего покойника. Драка вокруг повозки подняла мятежный шум в нищих переулках квартала Форчелла...

Похоронная процессия уже пропала в темном лабиринте переулков Форчелла, плач сопровождавших похоронные дроги близких затихал в отдалении. Чернокожие солдаты скользили вдоль стен, время от времени задерживаясь у входа в "бассо", прикидывая цену на девочку, которая стоила около пачки сигарет или банки corned beef[2]. Из мрака доносились шепот, вздохи, хриплые голоса и звук осторожных шагов. Луна зажигала на коньках крыш и оградах балконов серебряные отблески, она была еще очень низкой и не освещала переулки до дна. Джимми и я шагали молча в густом, смрадном мраке, пока не дошли до прикрытой двери. Толкнув ее, мы остановились на пороге.

1. Городской служащий, во времена эпидемий увозивший больных и мертвых.
2. Говяжьей тушенки (*англ.*).

Внутренность лачуги освещалась слепящим белым светом ацетиленовой лампы на мраморной доске комода. Две девушки в платьях из блестящего, пестрого шелка, стояли перед столом посреди комнаты. На столе кучей лежали "парики" – таковыми они казались на первый взгляд – разных фасонов и размеров. Это были пучки длинных, старательно расчесанных, светлых волос – не знаю, настоящих или сделанных из шелка или пакли, – собранных вокруг отверстия, обшитого красным атласом. Среди "париков" были и золотистые, и очень светлые, и цвета ржавчины, и цвета пламени, который называют тициановым. Одни были гладкие, другие волнистые, третьи в детских кудряшках. Девушки переговаривались громкими, резкими голосами, ласкали странные парики, поглаживая их руками, шутливо похлестывали ими себя по щекам, как мухобойкой или лошадиным хвостом.

Они были милые, эти девушки, смуглолицые, густой слой румян и белой пудры отделял лицо от шеи словно гипсовой маской. Их блестящие, осветленные перекисью водорода волосы падали волнами на плечи, но корни волос, видневшиеся под обманчивым фальшивым золотом, были черными. Брови тоже были черными, черным был и пушок густо темневший, несмотря на пудру, над верхней губой и на висках, где, приобретя неожиданно цвет пакли, терялся среди прядей фальшивого золота. Глаза у них были живые и очень черные; губы, скорее всего от природы ярко-пунцовые, под слоем помады казались тусклыми. Они стояли и смеялись, но, обернувшись и увидев нас, смущенно понизили голоса, сразу выпустили из рук "парики" и, изобразив заученное безразличие, стали разглаживать ладонью складки платья, жеманно покручивать пряди волос.

У стола стоял мужчина. Едва заметив нас, он наклонился всем телом над столом, закрывая свой "товар", не забыв при этом сделать знак бровью толстой, лохматой женщине, сидевшей на диване перед грубой печкой с кипевшим на ней кофейником. Женщина с неуклюжей торопливостью встала, быстрым движением смела все "парики" в подол юбки и проворно сунула их в комод.

– Do you want me?[1] – спросил мужчина, обратившись к Джимми.

– No, – сказал Джимми, – I want one of those strange things[2].

– That's for women, – сказал мужчина, – это для женщин, только для женщин, only for women. Not for you. You American officers. Not for American officers[3].

– Get out those things[4], – сказал Джимми.

Мужчина секунду пристально смотрел на него, провел рукой по губам. Это был маленький, худой, одетый в черное человек с неподвижными черными глазами на пепельном лице. Он медленно произнес:

– I am a honest man. What do you want from me?[5]

– Те странные штуки, – сказал Джимми.

– Здесь воняет, – сказал человек, не моргнув глазом, как бы про себя, – здесь воняет! – И, улыбаясь, добавил: – Well. I'll show you. I like Americans. Они все воняют. I'll show you[6].

1. Вам нужен я? (*англ.*)
2. Нет... мне нужна одна из этих странных штук (*англ.*).
3. Не для вас. Вы американские офицеры. Это не для американских офицеров (*англ.*).
4. Достаньте эти штуки (*англ.*).
5. Я честный человек. Что вам от меня надо? (*англ.*)
6. Хорошо, я покажу вам. Я люблю американцев... Я покажу вам (*англ.*).

– Как поживает твоя сестра? – спросил я по-итальянски.

До этого момента я не проронил ни слова.

Человек посмотрел на меня, узнал мою форму и улыбнулся. Казалось, он успокоился и был доволен.

– Она в порядке, слава богу, господин капитан, – ответил он, улыбаясь, с заговорщицким видом. – Вот вы не американец, вы такой же человек, как я, и вы меня понимаете. Тут воняет! – и он сделал знак женщине, стоявшей на страже у комода, заслонив его спиной.

Женщина выдвинула ящик комода, достала "парики" и заботливо разложила их на столе. Ее пухлая ладонь была до запястья окрашена в ярко-желтый, шафранный цвет.

Джимми взял одну из strange things и внимательно рассмотрел ее.

– Это не парик, – сказал Джимми.

– Да, это не парик, – сказал человек.

– Для чего это? – спросил Джимми.

– Это для ваших негров, – сказал человек. – Вашим неграм нравятся блондинки, а неаполитанки – все брюнетки.

Он показал четыре длинные шелковые ленты, пришитые по краям глазка из красного шелка, потом повернулся к одной из девушек и сказал:

– Покажи-ка ты, мне все это смердит.

Девушка заулыбалась и притворно стыдливым жестом, взяв у мужчины "парик", приложила его к животу.

Она смеялась, ее подружка тоже.

– Не понимаю, для чего он нужен, – сказал Джимми.

Девушки хихикали, прикрывая ладошками рты.

– Покажи, как это делается, – сказал мужчина девушке.

Девушка подошла к кровати, села на край, задрала юбку и, раздвинув бедра, приложила "парик" к лобку. Это было чудовищное зрелище: "парик", этот пук блондинистых волос, покрывал весь живот и свисал до середины бедер.

Другая девушка сказала, смеясь:

– For negros, for American negros[1].

– Для чего? – проорал Джимми, вытаращив глаза.

– Negros like blondes, – сказал мужчина, – ten dollars each. Not expensive. Buy one[2].

Джимми просунул кулак через отверстие, обшитое красным атласом и, раскрутив "парик" на руке, захохотал, покраснел и согнулся пополам, зажмурившись, словно от смеха у него заболел живот.

– Стоп, Джимми, – сказал я.

Рука с надетым через глазок "париком" была вовсе не веселым, а страшным и печальным зрелищем.

– Женщины тоже проиграли войну, – сказал человек со странной улыбкой, медленно проведя рукой по губам.

– Нет, – сказал Джимми, – только мужчины проиграли войну. Only men.

– Women too[3], – сказал человек.

1. Для негров, для американских негров (*англ.*).
2. Негры любят блондинок... десять долларов штука. Недорого. Купите одну (*англ.*).
3. Женщины тоже (*англ.*).

– Нет, только мужчины, – жестко сказал Джимми.

Вдруг девчонка соскочила с кровати и, глядя Джимми в лицо, с выражением печали и злобы крикнула:

– Да здравствует Италия! Да здравствует Америка! – и принялась истерически смеяться, ее рот скривила судорога.

Я сказал Джимми:

– Let's go, Jimmy[1].

– That's right, хорошо, – сказал Джимми. Он сунул в карман "парик", бросил на стол тысячу лир и, тронув меня за локоть, сказал: – Let's go.

В конце переулка мы встретили военный патруль, вооруженный белыми дубинками. Патрульные шли молча, судя по всему, направляясь "на дело" в логово черного рынка в центре квартала Форчелла. А от террасы к террасе, от окна к окну, из переулка в переулок над нашими головами летел крик тревоги часовых, оповещавший армию черного рынка о приближении военной полиции:

– Мама и папа! Мама и папа!

В глубине лачуг возникал шорох, возня, стук открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрип окон.

– Мама и папа! Мама и папа!

Крик летел, веселый и легкий, в серебристом блеске луны. "Мама и папа!" – неслось в тишине вдоль стен, подрагивали белые дубинки в руках патрульных.

На пороге "Отель дю Парк", где была столовая американских офицеров PBS, я сказал Джимми:

– Да здравствует Италия! Да здравствует Америка!

– Shut up! Заткнись! – сказал Джимми и зло сплюнул.

Едва я вошел в зал столовой, полковник Джек Гамильтон жестом пригласил меня сесть рядом с ним за большим столом для старших офицеров. Приветствуя меня, полковник Брэнд оторвался от тарелки и любезно улыбнулся. У него было красивое розовое лицо, красивые седые волосы. Голубые глаза, скромная улыбка, свойственная ему манера, улыбаясь, оглядываться вокруг придавали полковнику вид наивный и добрый, почти детский.

– Сегодня чудесная луна, – сказал полковник Брэнд.

– Да, действительно чудесная, – сказал я, тоже улыбаясь.

Полковник Брэнд считал, что итальянцам должно быть приятно слышать от иностранца слова "сегодня чудесная луна", потому что он думал, что итальянцы любят луну, как если бы она была кусочком Италии. Он не отличался выдающимся умом и не был высокообразованным человеком, но обладал чрезвычайным благородством души, и я был признателен ему за ту особую сердечность, с которой он сказал "сегодня чудесная луна", потому что понял, что этими словами он хотел выразить свое сочувствие нашим бедам и страданиям, всем унижениям итальянского народа. Я хотел сказать ему "спасибо", но побоялся, что он не поймет за что. Мне хотелось пожать ему через стол руку и сказать: "Да, настоящая родина итальянцев – это луна, наша единственная, наверное,

1. Пошли, Джимми (*англ.*).

родина". Но я боялся, что остальные сидящие за столом офицеры, за исключением Джека, не поймут смысла моих слов. Они прекрасные парни, честные, простые и чистые, какими умеют быть только одни американцы, но они убеждены, что я, как и все европейцы, имею скверную привычку придавать каждому своему слову некий подтекст, и боялся поэтому, что они станут искать в моих словах какое-нибудь скрытое значение.

— Действительно чудесная луна, — повторил я.

— Ваш дом на Капри должен быть очаровательным при такой луне, — сказал полковник Брэнд, слегка покраснев, и все офицеры посмотрели на меня с улыбкой симпатии. Все знали мой дом на Капри. Всякий раз, когда мы спускались с печальных гор Кассино, я приглашал их, а с ними и других наших товарищей — французов, англичан и поляков — посетить мой дом: генерала Гийома, майора Андре Лихтвица, лейтенанта Пьера Лиоте, майора Маркетти, полковника Гибсона, лейтенанта князя Любомирского — полевого адъютанта генерала Андерса, полковника Михайловского, служившего офицером по поручениям при маршале Пилсудском, а теперь ставшего офицером американской армии. Мы проводили там два-три дня на скалах, ловили рыбу, выпивали в холле перед пылавшим камином или лежали на террасе, глядя в голубое небо.

— Где ты был сегодня, я искал тебя после полудня, — спросил, понизив голос, Джек.

— Мы были на прогулке с Джимми.

— С тобой что-то не так. Что случилось? — спросил Джек, внимательно глядя на меня.

— Ничего, Джек.

В тарелках дымился привычный томатный суп, всегдашний жареный spam[1] и вареная кукуруза. В стаканах был обычный кофе, обычный чай, обычный ананасовый сок. Комок стоял у меня в горле, и я не притронулся к еде.

— Бедный король, — сказал майор Моррис из Саванны, штат Джорджия, — он, конечно, не ожидал такого приема. Неаполь всегда был городом сторонников монархии.

— Ты был на улице Толедо, когда освистали короля? — спросил меня Джек.

— Какого короля?

— Короля Италии, — сказал Джек.

— А-а, короля Италии.

— Его освистали сегодня на улице Толедо, — сказал Джек.

— Освистали? Американцы? Если это были американцы, то они поступили плохо.

— Его освистали неаполитанцы, — сказал Джек.

— И хорошо сделали, — сказал я. — А чего он ждал? Цветов?

— Что может ждать сегодня король от своего народа? — сказал Джек. — Вчера цветы, сегодня свист, завтра опять цветы. Я задаю себе вопрос: а знает ли итальянский народ, какая разница между освистыванием и осыпанием цветами?

1. Колбасный фарш (*англ.*).

— Я доволен, что это итальянцы освистали его. Американцы не имеют права освистывать короля Италии. Не имеют права фотографировать чернокожего солдата, сидящего на троне короля Италии в Королевском дворце Неаполя, и публиковать фото в своих газетах, — сказал я.

— Не скажу, что ты не прав, — сказал Джек.

— Американцы не имеют права мочиться в углах тронного зала Королевского дворца. Они это делали. Мы были с тобой там и видели, как они делали это. Даже мы, итальянцы, не имеем права делать подобные вещи. Мы имеем право освистать нашего короля, поставить его к стенке, может быть. Но не мочиться в углах тронного зала.

— А тебе никогда не приходилось бросать цветы королю Италии? — спросил Джек с дружеской иронией.

— Нет, Джек, по отношению к королю моя совесть чиста. Я никогда не бросал ему ни одного цветка.

— А ты бы свистел, если бы был сегодня на улице Толедо? — сказал Джек.

— Нет, Джек, я бы не свистел. Стыдно освистывать побежденного короля, даже если это твой собственный король. Все, особенно те, кто бросали ему цветы вчера, сегодня освистывают его. Я никогда не бросал ему ни одного цветка. Именно поэтому, если бы я был сегодня на улице Толедо, я бы не свистел.

— Tu as raison, à peu près[1], — сказал Джек.

— Your poor King[2], — сказал полковник Брэнд, — мне жаль его. — И добавил, любезно улыбаясь: — И вас тоже.

— Thank a lot for him[3], — ответил я.

Но что-то прозвучало не так в моих словах, потому что Джек как-то странно посмотрел на меня и сказал, понизив голос:

— Tu me caches quelque chose. Ça ne va pas, ce soir, avec toi[4].

— Нет, Джек, все в порядке, — сказал я и засмеялся.

— Чему ты смеешься? — сказал Джек.

— Иногда полезно посмеяться, — сказал я.

— Мне иногда тоже нравится посмеяться, — сказал Джек.

— Американцы, — сказал я, — никогда не плачут.

— What? Les Americains ne pleurent jamais?[5] — сказал удивленно Джек.

— Americans never cry[6], — повторил я.

— Я никогда не думал об этом, — сказал Джек. — Ты действительно находишь, что американцы никогда не плачут?

— They never cry, — сказал я.

— Who never cry?[7] — спросил полковник Брэнд.

— Американцы, — сказал, смеясь, Джек. — Малапарте говорит, что американцы никогда не плачут.

Все удивленно смотрели на меня, а полковник Брэнд сказал:

— Very funny idea[8].

1. Ты прав, почти (*франц.*).
2. Ваш бедный король (*англ.*).
3. Большое спасибо за него (*англ.*).
4. Ты что-то недоговариваешь. Что-то с тобой не так сегодня (*франц.*).
5. Что? Американцы никогда не плачут? (*англ., франц.*)
6. Американцы никогда не плачут (*англ.*).
7. Кто никогда не плачет? (*англ.*)
8. Очень забавная мысль (*англ.*).

— У Малапарте всегда забавные мысли, — сказал Джек, как бы извиняясь за меня, пока все смеялись.

— Это не забавная мысль. Это мысль очень грустная, — сказал я, — американцы никогда не плачут.

— Сильные мужчины не плачут, — сказал майор Моррис.

— Американцы — сильные мужчины, — сказал я и засмеялся.

— Have you never been in the States?[1] — спросил меня полковник Брэнд.

— Нет, никогда. Я никогда не был в Америке, — ответил я.

— Вот почему вы думаете, что американцы никогда не плачут, — сказал полковник Брэнд.

— Good Gosh![2] — воскликнул майор Томас из Каламазу, штат Мичиган. — Good Gosh! В Америке модно плакать. Слезы сейчас в моде. Знаменитый американский оптимизм был бы смешным без слез.

— Без слез, — сказал полковник Элиот из Нантакета, штат Массачусетс, — американский оптимизм был бы не смешным, а чудовищным.

— Я думаю, он был бы чудовищным и со слезами тоже, — сказал полковник Брэнд, — я так считаю с тех пор, как прибыл в Европу.

— А я думал, в Америке запрещено плакать, — сказал я.

— Нет, в Америке плакать не запрещено, — сказал майор Моррис.

— Даже по воскресеньям, — сказал Джек смеясь.

— Если в Америке было бы запрещено плакать, — сказал я, — это была бы чудесная страна.

— Нет, в Америке плакать не запрещено, — повторил майор Моррис, сурово глядя на меня, — и может быть, именно поэтому Америка — чудесная страна.

— Have a drink, Malaparte[3], — сказал полковник Брэнд, доставая из кармана серебряную фляжку и наливая мне виски. Потом он налил понемногу остальным и себе и, обратившись ко мне с сердечной улыбкой, сказал: — Don't worry, Malaparte. Здесь вы среди друзей. We like you. You are a good chap. A very good one[4]. — Он поднял стакан и, прищурив ласково глаз, произнес американский тост: — Mud in your eyes[5].

— Mud in your eyes, — повторили остальные, подняв стаканы.

— Mud in your eyes, — сказал я, и слезы подступили у меня к глазам.

Все выпили и с улыбкой посмотрели друг на друга.

— Странный вы народ, неаполитанцы, — сказал полковник Элиот.

— Я не неаполитанец, о чем сожалею, — сказал я, — неаполитанцы — чудесный народ.

— Очень странный народ, — повторил полковник Элиот.

— Мы все в Европе более или менее неаполитанцы, — сказал я.

— Вы лезете на рожон, а потом плачете, — сказал полковник Элиот.

— Нужно быть сильным, — сказал полковник Брэнд. — God helps... — Он, конечно, хотел сказать, что Бог помогает сильным, но запнулся и, повернув лицо к радиоприемнику в углу комнаты, сказал: — Послушайте.

1. Вы никогда не были в Америке? (*англ.*)
2. Черт побери! (*англ.*)
3. Выпейте-ка, Малапарте (*англ.*).
4. Не переживайте, Малапарте... Мы любим вас. Вы хороший парень. Очень хороший (*англ.*).
5. Ваше здоровье — (*идиом. выраж.*; *англ.*; букв.: грязи вам в глаза).

Радиостанция PBS передавала мелодию, очень похожую на мелодию Шопена, но то был не Шопен.

– Люблю Шопена, – сказал полковник Брэнд.

– Вы думаете, это действительно Шопен? – спросил я его.

– Of course it's Chopin![1] – воскликнул полковник Брэнд с большим удивлением.

– А что это, по-вашему? – сказал полковник Элиот с легким раздражением в голосе. – Шопен есть Шопен.

– Надеюсь, это не Шопен, – сказал я.

– Я, напротив, считаю, что это Шопен, – сказал полковник Элиот. – Было бы очень странно, если б это не был Шопен.

– Шопен очень популярен в Америке, – сказал майор Томас, – некоторые его блюзы просто великолепны.

– Слушайте, слушайте, – вскричал полковник Брэнд, – это, конечно же, Шопен!

– Да, это Шопен, – сказали остальные, с упреком глядя на меня. Джек смеялся, прикрыв глаза.

Это было что-то близкое Шопену, но не Шопен. Исполнялся концерт для фортепьяно с оркестром, как если бы его написал некий Шопен, который не был Шопеном, или Шопен, рожденный не в Польше, а в Чикаго или в Кливленде, штат Огайо, или как если бы его написал кузен, свояк, дядя Шопена, но не Шопен.

Музыка закончилась, и голос диктора радиостанции PBS объявил:

– Вы слушали "Варшавский концерт" Эддинселла в исполнении филармонического оркестра Лос-Анджелеса под управлением Альфреда Валленстейна.

– I like Addinsell's Warsaw Concerto[2], – сказал полковник Брэнд, порозовев от удовольствия и гордости. – Эддинселл – это наш американский Шопен. He's our American Chopin.

– Может, вам не нравится даже Эддинселл? – спросил меня полковник Элиот с каплей презрения в голосе.

– Эддинселл есть Эддинселл, – сказал я.

– Эддинселл – наш Шопен, – повторил полковник Брэнд с детским триумфом.

Я молча смотрел на Джека. Потом пристыженно сказал:

– Прошу извинить меня.

– Не волнуйтесь, не волнуйтесь, Малапарте, – сказал полковник Брэнд, похлопав меня по плечу, – выпейте-ка еще.

Но серебряная фляжка была пуста, и он, смеясь, предложил пойти выпить в бар. Сказав это, он поднялся, и все последовали за ним.

Джимми сидел за столом возле окна вместе с молодыми офицерами-летчиками и показывал им пук светлых волос, который я сразу узнал. Раскрасневшийся Джимми громко смеялся, раскрасневшиеся летчики хохотали тоже и хлопали друг друга по плечу.

– Что это такое? – спросил майор Моррис, подойдя к столу Джимми и с любопытством разглядывая "парик".

– Это такая штука, специально для негров, – сказал Джимми со смехом.

1. Конечно, Шопен! (*англ.*)
2. Мне нравится "Варшавский концерт" Эддинселла (*англ.*).

– Для чего? – спросил полковник Брэнд, наклоняясь через плечо Джимми, чтоб разглядеть the thing.

– For negros, – спросил Джимми.

Все вокруг заливались хохотом.

– For negros? – сказал полковник Брэнд.

– Да, – вмешался я, – for American negros, для американских негров, – и, вырвав "парик" из рук Джимми, бесстыдным движением воткнул руку в отверстие, обшитое красным атласом.

– Look, – сказал я, – that's a woman. An Italian woman, a girl for negros[1].

– Oh, shame![2] – воскликнул полковник Брэнд, отведя с отвращением взгляд. Он покрылся краской стыда и оскорбленного целомудрия.

– Смотрите, до чего опустились наши женщины, – сказал я, слезы текли по моим щекам, – вот до чего дошла итальянская женщина: она готова прикладывать пук светлых волос для удовлетворения чернокожих солдат. Смотрите, вся Италия – не что иное, как пук блондинистых волос.

– Sorry, мне жаль, – сказал полковник Брэнд. Все молча смотрели на меня.

– Это не наша вина, – сказал майор Томас.

– Конечно, не ваша, я знаю, – сказал я, – это не ваша вина. Вся Европа – всего лишь клок светлых волос. Венок из блондинистых волос на ваших головах победителей.

– Не переживайте, Малапарте, – сказал полковник Брэнд с искренней симпатией в голосе и протянул мне стакан, – выпейте.

– Have a drink, – сказал майор Моррис, похлопав меня по плечу.

– Mud in your eyes, – сказал полковник Брэнд, поднимая стакан. Он смотрел на меня с улыбкой, его глаза повлажнели от слез.

– Mud in your eyes, Malaparte, – сказали все, поднимая стаканы.

Я молча плакал, сжимая в руке чудовищное изделие.

– Mud in your eyes, – сказал я сквозь слезы.

IV. *Розы из плоти*

При первом известии об освобождении Неаполя, как по зову вещего голоса, влекомые призывным запахом свежевыделанной кожи и виргинского табака, запахом женщины-блондинки – а это и есть запахи американской армии, – томные ряды гомосексуалистов не только из Рима и других городов Италии, но и со всей Европы пешком пересекли немецкую линию фронта в заснеженных горах Абруцци, пройдя прямо через минные поля, рискуя пасть под пулями патрулей немецких Fallschirmjäger[3], и оказались в Неаполе, чтобы встретить войска освободителей.

Международное сообщество гомосексуалистов, трагически рассеянное войной, вновь воссоединялось на первом лоскутке Европы, освобожденном союзниками. Не прошло и месяца, а Неаполь, эта слав-

1. Смотрите, это женщина. Итальянская женщина, девка для негров (*англ.*).
2. Какая мерзость! (*англ.*)
3. Парашютистов (*нем.*).

ная и благородная столица древнего Королевства Обеих Сицилий, стал центром европейского гомосексуализма, самым важным мировым "carrefour"[1] запретного порока, великим Содомом, куда из Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Каира, Рио-де-Жанейро, Венеции и Рима стекались все педерасты мира. Гомосексуалисты, прибывшие морем на военных английских и американских транспортах, и те, что группами пробрались в Неаполь через горы Абруцци из стран Европы, еще оккупированных немцами, сразу узнавали своих по запаху, интонации, по взгляду и с громкими криками радости бросались в объятия друг друга, подобно Вергилию и Сорделло[2] в "Аде" Данте, наполняя улицы города своими томными, хрипловатыми, женственными голосами.

— Oh, dear, oh sweet, oh darling! О, дорогой, о, милый, о, любимый!

Битва за Кассино была в самом разгаре, колонны раненых спускались с гор по Аппиевой дороге, день и ночь батальоны чернокожих землекопов рыли могилы на военных кладбищах, а по улицам Неаполя беззаботно разгуливали стайки благородных "нарциссов", покачивая бедрами и жадно оглядываясь на американских и английских красавцев-солдат, широкоплечих и розовощеких, прокладывавших себе в толпе дорогу, шагавших особой расслабленной походкой атлета, только что вышедшего из-под рук массажиста.

Добравшиеся до Неаполя через немецкую линию фронта гомосексуалисты были цветом европейской элиты, аристократией запретной любви, сливками сексуального снобизма, они с несравненным достоинством являли собой пример того, как все самое изысканное, самое избранное в европейской цивилизации трагически гибнет. Это были боги Олимпа вне естества природы, но не вне истории.

Это были наследники и продолжатели традиций блистательных "нарциссов" времен королевы Виктории с их ангелоподобными лицами, белыми руками, длинными бедрами, тех, кто перебросил идеальный мост между прерафаэлизмом[3] Россетти и новыми эстетическими теориями Раскина, между моралью Джейн Остин и Оскара Уайльда. Многие принадлежали и к странному племени благородных американских разночинцев, наводнивших в 1920 году парижские тротуары и Левый берег Сены, чьи затуманенные алкоголем и наркотиками лица появляются одно за другим, как на византийской фреске, в галерее персонажей первых романов Хемингуэя и на страницах журнала "Трансишн". И их эмблемой была уже не лилия любовников "бедного Лилиана", а роза Гертруды Стайн, "a rose is a rose is a rose is a rose", "роза есть роза есть роза есть роза"...

Их выцветшая от солнца и непогоды, изорванная в нелегких переходах через горные леса Абруцци одежда была в идеальной гармонии с их стилем нарочитой элегантной небрежности: привычкой носить брюки без ремня, обувь без шнурков, носки без подвязок, пренебрегать

1. "Перекрестком" (*франц.*).
2. Сорделло да Гоито — итальянский поэт XIII в., писавший на прованском языке. Встреча Вергилия и Сорделло была описана Данте в "Чистилище". VI–VIII.
3. Прерафаэлизм — возникшее в Англии в середине XIX в. движение молодых художников и литераторов во главе с художником и поэтом Данте Габриэлем Россетти (1828–1882) и теоретиком искусства Джоном Раскином (1819–1900), относивших высшие достижения в области искусства к эпохе, предшествующей Рафаэлю.

галстуком, шляпой, перчатками, с их манерой ходить в расстегнутом пиджаке, руки в карманах, покачивая плечами, развинченной, расслабленной походкой. Причины их отказа нормально одеваться крылись не в материальных затруднениях, а в проблемах морального плана.

Если что-то и бросало недобрую тень на женственную мягкость и скромность их поведения, на томную деликатность манер, а главное, на их довольно убогие и путаные идеи свободы, мира, братской любви между людьми и народами, так это вызывающее присутствие в их среде молодых рабочих, юных пролетарских эфебов с черными вьющимися волосами, алыми губами и темными блестящими глазами, которые еще совсем незадолго до войны не осмеливались появляться в обществе аристократических "нарциссов". Сами же благородные "нарциссы", до сих пор выступавшие как эстеты-декаденты, искавшие ответа на вопрос об истоках опустошающего "буржуазного" эстетизма у Новалиса, у графа Лотреамона, у Оскара Уайльда, у Дягилева, Райнера Марии Рильке, Д'Аннунцио, Жида, Кокто, Марселя Пруста, Жака Маритена, Стравинского и даже у Барреса, теперь превратились в эстетов-марксистов и проповедовали марксизм, заимствуя постулаты нового эстетизма у Маркса, Ленина, Сталина, Шостаковича и с презрением рассуждая о буржуазном сексуальном конформизме как о прогнившей форме троцкизма. Из "врагов природы", как их называл Матюрен Ренье[1], они превратились во "врагов капитализма". Кто бы мог подумать, что одним из последствий этой войны станет марксистская педерастия?..

В это самое время на тротуарах площади Сан-Фердинандо каждый день по утрам собирались толпы оборванных молодых людей, они стояли целый день возле кафе "Ван Боле" и "Фесте" и расходились только под вечер с наступлением комендантского часа.

Это были бледные, истощенные люди в нищенской, рваной одежде, большей частью офицеры и солдаты разбитой итальянской армии, избежавшие расстрела или унизительного заключения в немецкие или союзнические концентрационные лагеря, укрывшиеся в Неаполе в надежде найти работу или завербоваться в войска маршала Бадольо, чтобы сражаться на стороне союзников. Почти все родом из центральных или северных провинций Италии, еще занятых немцами, они не имели возможности вернуться домой и всеми силами старались найти выход из своего унизительного и неопределенного положения. Но им не удалось ни завербоваться и возвратиться в казармы, откуда их выдворили, ни найти работу. Между тем они умирали от голода. Едва прикрыв тело жалким тряпьем, кто в немецких или американских штанах, кто в штатском истрепанном пиджаке, кто в выцветшем, растянутом шерстяном свитере или в combat-jacket[2], они пытались обмануть холод и голод, вышагивая взад и вперед по тротуарам Сан-Фердинандо, в ожидании, что какой-нибудь сержант союзников наймет их на портовые или другие тяжелые работы.

Сочувствовали этим несчастным не прохожие, сами голодные и оборванные, и не союзные солдаты, не скрывавшие своей неприязни к

1. Матюрен Ренье (1573–1613) – французский поэт-сатирик.
2. Форменной куртке (*англ.*).

неуместным свидетелям ничтожности их победы, — сочувствовали им проститутки, толпившиеся под аркадами театра Сан-Карло и галереи Умберто и роившиеся у казарм. Время от времени одна из них подходила к голодным парням и предлагала им сигареты, или печенье, или кусок хлеба, которые те чаще всего отказывались принять с гордой вежливостью униженных людей.

Среди этих несчастных и крутились "нарциссы", пытаясь завербовать новичка в свое сообщество, им представлялось хитрым тактическим ходом, или бог весть каким отважным поступком, или верхом изощренности — попытаться совратить обездоленных, без крыши над головой, без пропитания, отупевших от отчаяния молодых людей. Вполне вероятно, что как раз их запущенный вид, многодневная колючая щетина, блестящие от бессонницы и лихорадки глаза, одежда в лохмотьях и возбуждали в благородных „нарциссах" странные желания и "рафинированные" влечения. А может, беды и отчаяние несчастных были именно тем элементом "страдания", которого не хватало их марксистскому эстетизму?

Однажды в этой неприкаянной толпе, проходя мимо "Ван Боле" и "Фесте", мне случилось заметить Жанлуи, которого я не видел уже несколько месяцев и которого узнал скорее не по внешнему виду, а по мелодичному, немного хрипловатому голосу. Он тоже узнал меня и бросился навстречу. Я спросил, чем он занимается в Неаполе и где остановился. Он ответил, что, уходя от преследования немецкой полиции, бежал из Рима несколько недель назад и принялся излагать все перипетии и опасности своего бегства через горы Абруцци.

— А что, собственно, хотела от тебя немецкая полиция? — довольно грубо спросил я его.

— А, ты не знаешь!.. — ответил он и рассказал, что в Риме жизнь стала сущим адом, все попрятались или сбежали от страха перед немцами, народ с нетерпением ждал прибытия союзников, поведал, что в Неаполе он нашел многих старых друзей, завел множество новых знакомств среди а́нглийских и американских солдат и офицеров, чудесных парней, des garçons exquis. Потом стал говорить о своей старой матери, графине В. (Жанлуи принадлежал к одному из знатнейших аристократических семейств Милана), рассказал, что она укрылась на вилле на озере Комо, запретила говорить в своем присутствии о страшных событиях в Италии и в Европе. Обсуждать войну в ее салоне позволялось лишь с небрежной улыбкой, как если бы война была не более чем предметом светской болтовни.

— Симонетта (его сестра) просила передать тебе сердечный привет, — сказал он и неожиданно замолчал.

Я посмотрел ему в глаза, он покраснел.

— Оставь в покое этих бедных парней, — сказал я, — тебе не стыдно?

Жанлуи часто заморгал, изображая наивное удивление.

— Каких парней?

— Сделай доброе дело, оставь их в покое, — сказал я, — стыдно использовать в своих целях чужой голод.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду, — ответил он, пожав плечами. И сразу добавил, что бедняги изголодались, а он с друзьями предложил им помощь, у него много знакомых среди англичан и американцев, и он надеялся что-нибудь сделать для несчастных парней. — Мой долг марк-

систа, — заключил он, — попытаться помешать тому, чтобы эти обездоленные юноши стали орудием буржуазной реакции.

Я пристально посмотрел на него. Хлопая ресницами, Жанлуи спросил:

— Что ты так смотришь? В чем дело?

— Ты лично знаком с графом Карлом Марксом?

— С кем? — спросил Жанлуи.

— С графом Карлом Марксом. Прекрасная фамилия у этих Марксов. Древнее твоей.

— Хватит меня разыгрывать. Прекрати, — сказал Жанлуи.

— Если бы Маркс не был графом, ты, конечно же, не стал бы марксистом.

— Ты не понимаешь, — сказал Жанлуи, — марксизм это... Чтобы стать марксистом, не обязательно быть рабочим или канальей.

— Да, — сказал я, — но обязательно быть канальей, чтобы быть таким марксистом, как ты. Оставь этих парней, Жанлуи. Они голодают, но скорее пойдут воровать, чем лягут с тобой в постель.

Он посмотрел на меня с насмешливой улыбкой.

— Со мной или с кем-нибудь еще...

— Ни с тобой, ни с кем другим. Оставь их. Они голодают.

— Со мной или с другим. Ты не знаешь силу голода, — повторил Жанлуи.

— Меня воротит от тебя, — сказал я.

— Почему это тебя воротит? — сказал Жанлуи. — Чем я виноват, что они голодают? Ты, что ли, дашь им поесть? А я им помогаю, чем могу. Нужно помогать друг другу. И потом, какое твое дело?

— Голод не так всемогущ. Если ты рассчитываешь на людской голод, ты ошибаешься. В двадцать лет собственный голод мучит меньше, чем голод ближних. Спроси об этом у графа Маркса.

— Ты не знаешь сегодняшнюю молодежь, — сказал Жанлуи, — хотелось бы мне познакомить тебя с ними поближе. Они намного лучше и намного хуже, чем ты себе представляешь.

Он рассказал, что у него встреча с друзьями в одном доме в Вомеро, добавив, что я доставил бы ему удовольствие, отправившись с ним вместе, что там я мог бы встретить очень интересных парней, хотя он не знает, понравятся они мне или нет, но в любом случае он советовал мне познакомиться с ними ближе, чтобы по ним я мог судить о других, потому что, в конце концов, у меня нет права судить о людях, не зная их.

— Пошли со мной, — сказал он, — увидишь тогда, что наше поколение не хуже твоего. Во всяком случае, мы такие, какими нас сделали вы.

Так мы направились в дом в Вомеро, где обычно собирались молодые интеллектуалы-коммунисты, друзья Жанлуи. Это был малопривлекательный дом, безвкусно обставленный, типичное жилище неаполитанских буржуа. На стенах висели картины неаполитанской школы конца прошлого столетия, перенасыщенные яркими красками и сверкающие лаком, за окном, внизу, у подножия горы Экья, за деревьями парка Грифео и улицы Караччоло виднелось далекое море, замок дель'Ово и голубой призрак острова Капри далеко на горизонте. Морской пейзаж, открывавшийся глазу из окна, странным образом гармонировал с мебелью, картинами, фотографиями на стенах, граммофоном, радиоприемником и люстрой из поддельного хрусталя из Мурано, сви-

савшей с потолка над столом посреди комнаты, со всем этим вульгарным буржуазным интерьером.

Пейзаж, вписанный в оконный проем, тоже казался частью буржуазного интерьера, где на переднем плане на обтянутом красным атласом диване и в маленьких креслах сидели молодые люди. Прихлебывая из маленьких чашек кофе и дымя американскими сигаретами, они вели беседу о Марксе, Жиде, Элюаре и Сартре. Все поглядывали на Жанлуи с экстатическим восхищением. Я устроился в углу и стал наблюдать за лицами, руками, жестами, запечатленными на фоне далекой перспективы воды и небес. Это были, по-видимому, студенты, все примерно восемнадцати-двадцати лет, и по их изношенной, в масляных пятнах одежде, подштопанной с заботливой поспешностью, по их неопрятности, небритым лицам, грязным ногтям, по длинным непричесанным волосам, закрывавшим уши и забивавшимся за воротничок сорочки, было заметно, что, скорее всего, они принадлежат к бедным семьям. Я спрашивал себя, что в этой неопрятности, которая тогда была в моде — впрочем, она в моде и сейчас, среди молодых интеллектуалов-коммунистов буржуазного происхождения, — что было от бедности, а что от кокетства.

Среди студентов было несколько похожих на рабочих юношей и одна девушка не старше шестнадцати лет, очень полная, с белой кожей, усеянной красными веснушками, которая мне показалась, не знаю почему, беременной. Она сидела в маленьком кресле возле граммофона, упершись локтями в колени, охватив крупное лицо ладонями, вперяя неморгающие глаза то в одного, то в другого говорящего. Я не помню, чтобы она принимала участие в разговоре, за все время, что мы провели там, она заговорила только раз, в конце встречи, заявив своим товарищам, что они — банда троцкистов, этого было достаточно, чтобы испортить праздник и расстроить собрание.

Молодые люди слыхали обо мне и, разумеется, всячески демонстрировали свое презрение, обращаясь со мной пренебрежительно, как с человеком чуждым их идеям, чувствам и даже языку, на котором они общались между собой. Они беседовали друг с другом как бы на незнакомом мне наречии, а в редких случаях, когда обращались ко мне, начинали говорить медленно, словно с трудом подыскивая иностранные слова. Они обменивались дружескими взглядами тайных единомышленников, в то время как я был среди них единственный не только непосвященный, но и заблудший, достойный сожаления человек. Они говорили об Элюаре, Жиде, Арагоне, Жуве как о близких людях, с которыми их связывала давняя дружба...

Жанлуи заговорил о советском искусстве, а я, сидя в углу, улыбался, слушая, как его губы произносят имена Прокофьева, Константина Симонова, Шостаковича, Есенина, Булгакова с такой же жеманной томностью, с какой до недавнего времени, всего несколько месяцев назад, я слышал, они произносили имена Пруста, Аполлинера, Кокто, Валери. Один из парней сказал, что в симфонии Шостаковича об осажденном Ленинграде чудесным образом повторяется мотив военного марша эсэсовцев, звучит хриплый звук их резких голосов, четкий ритм тяжелого шага по святой русской земле. (Слова "святая русская земля", произнесенные с усталым, вялым неаполитанским акцентом, прозвучали фальшиво в этой задымленной комнате, перед ироничным, безжизненным призраком Везувия на мертвом небе в оконном проеме.) Я заметил, что

тема этой симфонии Шостаковича та же, что и Пятой симфонии Чайковского, все запротестовали в один голос: мол, что он смыслит в пролетарской музыке Шостаковича, в его "музыкальном романтизме", в его намеренном обращении к Чайковскому.

— Лучше сказать, — вставил я, — к буржуазной музыке Чайковского.

Мои слова вызвали в молодых людях волну боли и возмущения, все обернулись ко мне, говоря возбужденно, перебивая друг друга, каждый старался перекричать остальных:

— Буржуазная? Какое имеет отношение Шостакович к буржуазной музыке? Шостакович — пролетарий, настоящий пролетарий. Стыдно так говорить о нем.

Жанлуи бросился на помощь своим друзьям и принялся декламировать стихи Джайме Пинтора[1], молодого поэта, погибшего несколько дней назад при попытке перейти линию фронта и вернуться в Рим. Он приезжал ко мне на Капри, мы долго беседовали с ним о Бенедетто Кроче[2], о войне, о молодой итальянской литературе и о странных взглядах Кроче на современную литературу. (Бенедетто Кроче, скрывавшийся в то время на Капри со своей семьей, только открыл для себя Марселя Пруста и не говорил ни о чем, кроме книги "У Германтов", которую читал впервые.)

— Надеюсь, вы не осмелитесь, — сказал один из молодых людей, дерзко глядя мне в лицо, — назвать Джайме Пинтора буржуазным поэтом. Вы не имеете права оскорблять мертвого поэта. Джайме Пинтор был поэт-коммунист. Один из лучших и самых чистых.

Я ответил, что Джайме Пинтор написал эти стихи, когда был фашистом и членом Военной комиссии по перемирию во Франции.

— При чем здесь это? — сказал он. — Фашист или не фашист, Пинтор всегда был настоящим коммунистом. Достаточно прочесть его стихи, чтоб понять это.

Я заметил, что стихи Пинтора и многих других молодых поэтов не были ни фашистскими, ни коммунистическими.

— Мне кажется, — добавил я, — это и есть наилучшая похвала, какую можно воздать поэту, чтоб почтить его память.

— Итальянская литература прогнила, — сказал Жанлуи, пригладив волосы своей маленькой, белой рукой с розовыми, блестящими ногтями.

Один из молодых людей сказал, что все итальянские писатели, за исключением писателей-коммунистов, — трусы и лицемеры. Я ответил, что подлинная заслуга молодых писателей-коммунистов, как и молодых писателей-фашистов, в том, что они — дети своего времени, что они ответственны за свое поколение, за все случившееся и поэтому прогнили, как и все вокруг.

— Неправда! — вскричал юнец с возмущением, вперив в меня разъяренный, ненавидящий взгляд. — Вера в коммунизм спасает от разложения, и что бы ни случилось, она будет искуплением.

— С таким же успехом можно получить отпущение грехов на исповеди.

1. Джайме Пинтор (1919—1943) — итальянский писатель, поэт, критик, знаток немецкой литературы.
2. Бенедетто Кроче (1866—1952) — итальянский философ, историк и критик.

— Что? — прокричал молодой рабочий в синем комбинезоне механика.

— С таким же успехом можно получить отпущение грехов на исповеди, — повторил я.

— Понятно, — сказал другой юнец, — вы относитесь к побежденному поколению.

— Без сомнения, — ответил я, — и на том стою. Побежденное поколение значительно более серьезное явление, чем поколение победителей. Что касается меня, я вовсе не стыжусь, что принадлежу к побежденному поколению в побежденной и разоренной Европе. Что меня огорчает, так это то, что я провел пять лет в тюрьме и ссылке. И чего ради?

— Ваши годы заключения, — сказал юнец, — не стоят никакого уважения.

— Почему же?

— Потому что вы страдали не за благородное дело.

Я ответил, что отсидел в тюрьме за свободу искусства.

— А, за свободу искусства, не за свободу пролетариата, — сказал юнец.

— А разве это не одно и то же? — спросил я.

— Нет, это разные вещи, — ответил он.

— Действительно, это не одно и то же, в этом вся беда.

Тут в комнату вошли два молодых английских солдата и американский капрал. Оба англичанина были очень молоды и робки, они смотрели на Жанлуи со стыдливым обожанием. Американский капрал был студент Гарварда, мексиканец по происхождению, он стал рассказывать о Мексике, об индейцах, о художнике Диасе и о смерти Троцкого.

— Троцкий был предателем! — бросил Жанлуи.

— Подумай о том, что сказала бы твоя мать, услышь она, как ты говоришь о человеке, которого не знаешь, тем более о мертвом. Подумай о твоей матери! — сказал я и засмеялся.

Жанлуи покраснел.

— При чем здесь моя мать? — сказал он.

— Твоя мать, — ответил я, — разве она не троцкистка?

Жанлуи странно посмотрел на меня. Вдруг дверь открылась, и Жанлуи с радостным криком и распростертыми объятиями бросился навстречу молодому английскому лейтенанту, появившемуся на пороге.

— О, Фред! — воскликнул он, обнимая вошедшего.

Приход Фреда был подобен порыву ветра, взметнувшего опавшие листья: молодые люди разом поднялись с мест и принялись в странном возбуждении расхаживать туда-сюда по комнате, но, едва заслышав голос Фреда, весело отвечавшего на нежные приветствия Жанлуи, все сразу успокоились и снова молча расселись. Фред был седьмым графом W., тори, членом Палаты лордов и, как говорили, близким другом сэра Антони Идена[1]. Это был молодой человек не более тридцати лет, высокого роста, розовощекий, слегка лысеющий блондин. Он говорил медленно, низким, с прорывающимися иногда по-женски визгливыми нота-

1. Роберт Антони Иден, граф Эйвон (1897—1977) — британский политик, противник заигрывания с диктаторскими режимами и переговоров с Гитлером и Муссолини.

ми голосом, временами угасающим до интимного шепота или, как описывает Жерар де Нерваль голос Сильвии, до frisson modulé[1], составляющей основу обаяния, увы, уже вышедшего из моды оксфордского говора.

Наша беседа втроем, Фред, Жанлуи и я, к моему удивлению и тоске, приняла светский характер. Фред настойчиво пытался убедить меня, что, без сомнения, я был знаком с его отцом, невозможно, чтобы я никогда не встречался с ним.

— Вы знаете герцога Блэра Этолла?

— Да, конечно.

— Тогда невозможно, чтобы вы не знали моего отца, они с герцогом — одно целое.

Я был гостем герцога Блэра Этолла в его замке в Шотландии много лет назад, но не помню, чтобы встречал там отца Фреда, старого лорда N., шестого графа W. Воспоминание о моем посещении замка герцога Блэра Этолла было еще живо во мне из-за одного интересного случая, происшедшего в замке во время нашего совместного чаепития после охоты на grouses, тетеревов. Мы собрались на лужайке перед замком, когда семейство оленей, неизвестно чем напуганных, вынеслось галопом из парковой чащи и устроило переполох среди гостей, опрокинув на землю старую леди Маргарет S.

— Ах, бедняжка, добрейшая старая леди Маргарет! — воскликнул Фред, рассмеявшись, и принялся рассказывать не помню какую историю, где имя леди Маргарет часто упоминалось вместе с именем Эдварда Марша, прослужившего много лет секретарем Уинстона Черчилля и написавшего прекрасное, прочувствованное предисловие к ставшему уже классическим собранию стихов Руперта Брука[2], чем связал с ним свое имя.

Затем Фред обратился к Жанлуи и странно мягким голосом стал говорить о Лондоне, об актерах, о темных театральных и светских делах, о Ноэле Коуарде[3], о G., об A., о W., о L., вплетая свои собственные инициалы в инициалы этих таинственных имен и медленными, легкими движениями прозрачных рук рисуя в воздухе, как на невидимом полотне, силуэты неведомых мне персонажей, блуждающих в тумане сказочного Лондона, где случались самые экстраординарные события и самые чудесные приключения. Потом, неожиданно повернувшись ко мне, как бы возобновляя прерванный разговор, он спросил, назначен ли ужин в Торре-дель-Греко на завтра или на другой день. Жанлуи сделал ему знак, приподняв бровь, и Фред, слегка покраснев, замолчал и с удивлением пристально посмотрел на меня.

— Кажется, на завтра, не так ли, Жанлуи? — сказал я, насмешливо улыбаясь.

— Да, на завтра, — ответил Жанлуи с некоторым замешательством, бросив на меня неприязненный взгляд, — но ты-то здесь при чем? У нас только одна машина, джип, а нас девять человек. Сожалею, но для тебя нет места.

1. Трепетной модуляции (*франц.*).
2. Руперт Брук (1887—1915) — английский поэт, погибший в Греции во время Первой мировой войны.
3. Ноэл Коуард (1899—1973) — английский драматург.

— Я приеду на машине полковника Гамильтона, — сказал я. — Ты ведь не думаешь, что я пойду пешком до Торре-дель-Греко.

— Мог бы и пешком пойти, тем более что никто тебя не приглашал.

— Если у вас будет еще одна машина, — сказал Фред со скучающим видом, — места хватит всем. С вами нас будет десятеро: Жанлуи, Шарль, я, Зизи, Жорж, Люлю... — он продолжал считать на пальцах, называя имена некоторых известных "коридонов"[1] Рима, Парижа, Лондона и Нью-Йорка, — и конечно, — добавил он, — не наша будет вина, если вы будете чувствовать себя... как бы это сказать?.. чужаком.

— Я буду вашим гостем, с какой стати мне чувствовать себя чужаком? — ответил я.

Я был много наслышан о "фильяте", знаменитой сакральной церемонии, тайно совершавшейся в Торре-дель-Греко, куда со всех концов Европы собирались высшие служители таинственного культа бога Урана. Самому мне еще никогда не приходилось принимать участия в этом загадочном ритуале. Отправление древнейшей церемонии (азиатский культ бога Урана пришел в Европу из Персии еще до Иисуса Христа, но уже во времена императора Тиберия "фильята" проводилась и в Риме в разных тайных храмах, самый древний из которых — Субурра) было приостановлено войной, и вот теперь, впервые после освобождения, этот таинственный ритуал возвращался к жизни. Мне подворачивалась возможность увидеть его, и я решил ею воспользоваться. Жанлуи казался разозленным, почти оскорбленным моей нескромностью, но не осмелился захлопнуть передо мной двери запретного храма, считая менее опасным мое удовлетворенное, нежели неудовлетворенное, любопытство. Вначале Фред принял меня за неофита, но, открыв, что я "непосвященный", похоже, забавлялся своей ошибкой, демонстрируя good sport, хорошую закалку: в глубине души он наслаждался смущением Жанлуи с чисто женским ехидством, а это еще самое благородное из чувств служителей культа Урана. Молодые друзья Жанлуи, из-за незнания английского не уловившие сути нашего разговора, смотрели на нас троих с недоверием и, как мне показалось, с неприязнью.

— А выпить есть что-нибудь? — громко спросил Жанлуи с деланой веселостью, пытаясь отвлечь внимание своих друзей от малоприятного эпизода. Американский капрал принес с собой бутылку виски, все переключились на выпивку, и как только бутылка была опустошена, молодой рабочий в комбинезоне механика обратился к Жанлуи и нагло заявил:

— Давай-ка раскошеливайся, не хватает горючего.

Жанлуи достал деньги, дал механику и попросил не задерживаться. Парень вышел и вскоре вернулся с четырьмя бутылками виски, которые мы поспешили пустить по кругу и разлить по стаканам. Молодые люди сразу повеселели, их робость исчезла вместе с подозрительностью и недоброй обидой, они заулыбались, заговорили и стали беззастенчиво ласкать друг друга.

Жанлуи присел на диван рядом с Фредом и что-то ему говорил, понизив голос и поглаживая его руку.

1. От *англ.* corydon — селянин или пастушок в пасторали. "Коридон" — название рассказа Андре Жида, где он открыто говорит о своем гомосексуализме.

— Будем танцевать! — закричал один из молодых гостей, тогда девушка, до того молча, упершись локтями в колени, сидевшая рядом с граммофоном, встала, поставила пластинку, и в задымленной комнате зазвучал хрипловатый, нежный голос Синатры. Фред резко поднялся, взял Жанлуи за талию и повел танец. Все последовали их примеру, молодой рабочий прилип к американскому капралу, остальные тоже распределились по парам, и такими томными стали их жесты, улыбки, покачивания бедрами, манера прижиматься друг к другу, вдвигать ногу меж колен партнера, что все пары стали похожи на женские.

В один прекрасный момент произошло то, чего я не ожидал, хотя смутно чувствовал, что нечто подобное должно случиться с минуты на минуту. Девушка, сидевшая возле граммофона, вперив в Жанлуи полный ненависти взгляд, вдруг вскочила на ноги и с криком: "Подлецы! Подонки! Все вы банда троцкистов и подонков!" — бросилась к Фреду и влепила ему пощечину.

Вечером 25 июля 1943 года около одиннадцати часов секретарь посольства королевства Италии в Берлине Микеле Ланца сидел, устроившись в кресле возле открытого окна, в небольшой холостяцкой квартире своего коллеги.

Стояла удушающая жара, и двое друзей, погасив свет и распахнув окна, сидели в темной комнате, покуривая и беседуя. Анджела Ланца уехала несколько дней назад в Италию вместе с ребенком, чтобы провести лето на своей вилле на озере Комо. (Семьи иностранных дипломатов оставили Берлин в первых числах июля, не столько спасаясь от душного берлинского лета, сколько от все более жестоких бомбардировок.) Микеле Ланца, как и остальные служащие посольства, дабы не оставаться одному в четырех стенах в ночные, самые медленные часы, привык ночевать в доме то одного, то другого коллеги, опасаясь налетов и желая разделить тревогу с другом или просто человеческим существом.

В тот вечер Ланца был в гостях, приятели сидели в темноте, обсуждая ужасы бомбардировок Гамбурга. Отчеты королевского консульства в Гамбурге сообщали страшные вещи. Фосфорные бомбы сожгли целые кварталы города, было множество жертв. Тысячи и тысячи несчастных, покрытых горящим фосфором, надеясь потушить пожиравшее тела пламя, бросались в каналы, пересекающие Гамбург во всех направлениях, в реку, в портовые воды, в пруды, даже в бассейны общественных парков. Они закапывали себя в землю в траншеях, вырытых на площадях и улицах для укрытия от неожиданных бомбардировок. И так, погрузившись в воду и цепляясь за берег, за борт лодки или похоронив свои тела по шею в земле, они ждали, чтобы власти нашли какое-нибудь средство спасения от предательского пламени. Фосфор страшная штука, он пристает к коже, как липкая зараза, и горит от соприкосновения с воздухом. Едва несчастный высовывал из воды или земли руку, как рука вспыхивала горящим факелом. Чтоб спастись от беды, страдальцы были вынуждены оставаться погруженными в воду или зарытыми по шею в землю, как грешники в Дантовом "Аде". Спасательные команды ходили от одного несчастного к другому, раздавали еду и питье, привязывали людей веревками к берегу, чтобы в забытьи или от усталости те не утонули. Спасатели пробовали то одну, то другую мазь — все тщетно:

пока смазывали вынутую на секунду из воды руку, или ногу, или плечо, пламя сразу вспыхивало огненной змеей, и ничто не спасало от всепожирающей, пылающей проказы.

На несколько дней Гамбург стал похож на преисподнюю. Там и сям на площадях, на улицах, в каналах, в Эльбе из земли и воды выглядывали тысячи словно отрубленных голов с лицами смертельно бледными от страдания и страха. Головы вращали глазами, открывали рты, что-то говорили. Вокруг этих страшных голов, торчащих из брусчатки мостовой или покачивающихся на поверхности волн, денно и нощно ходили близкие приговоренных. Изнуренные, оборванные люди говорили тихими голосами, будто боясь потревожить агонию несчастных мучеников, приносили им кто еду, кто питье и мази, кто подушку, чтобы подложить под затылок. Кто-то, усевшись рядом с закопанным страдальцем, обмахивал ему лицо веером, давая прохладу в жаркий день, кто-то зонтом укрывал голову от палящего солнца, вытирал со лба пот, увлажнял смоченным платком губы, причесывал гребнем волосы. Стаи собак бегали с лаем по берегу, они ласково лизали лица своих закопанных в землю хозяев или вплавь бросались им на помощь. Время от времени какой-нибудь несчастный, охваченный нетерпением и отчаянием, испустив страшный крик, пытался вылезти из воды или из земли и положить конец бесполезному ожиданию, но от контакта с воздухом его кожа воспламенялась, и тогда возникали стычки между отчаявшимися людьми и их близкими. Кулаками, ударами палок, камней, весом собственного тела родные пытались вернуть несчастных обратно в воду или в землю.

Самыми храбрыми и терпеливыми оказались дети, они не плакали, а лишь поводили вокруг ясными глазами, наблюдая кошмарное зрелище, и улыбались близким с чудесной детской рассудительностью, прощающей взрослым их бессилие и жалеющих тех, кто не может им помочь. Едва ночь опускалась на землю, вокруг, словно шорох ветра по траве, возникал ропот, и тысячи голов обращали в небо свой горящий страхом взор.

На седьмой день был дан приказ удалить гражданское население оттуда, где обреченные на муки люди оставались в земле или в воде. Родные отошли в молчании, их мягко подталкивали солдаты и санитары. Обреченные остались одни. Испуганное бормотание, зубовный скрежет, придушенный плач исходил от людских голов, торчащих из воды и из земли вдоль берегов каналов и реки, на пустынных улицах и площадях. Головы, корча ужасные гримасы, весь день разговаривали между собой, плакали, кричали, они показывали язык стоявшей на перекрестках охране, казалось, они едят землю и выплевывают камни. Потом пришла ночь, таинственные тени зашевелились возле несчастных, склоняясь над ними в тишине. Колонны грузовиков с потушенными фарами подъехали и остановились. Послышался стук мотыг и лопат, хлюпанье и глухие всплески весел, придушенные вскрики, стон и сухие хлопки пистолетных выстрелов.

Наблюдая звездное небо из открытого окна, Ланца говорил с другом о гамбургской бойне, его охватил озноб. Чтоб послушать последние новости из Рима, коллега встал и включил радио. Женский голос в звенящем металлом одиночестве пел в сопровождении струнных инструментов. Вдруг пение прервалось, струнные замолчали, и в неожиданной тишине хриплый голос прокричал:

– Внимание! Внимание! Сегодня вечером, в 18 часов, по приказу его величества короля Италии глава правительства Муссолини арестован. Его величество поручил маршалу Бадольо сформировать новое правительство.

Ланца и его товарищ вскочили на ноги и молча стояли в темноте, друг против друга. Голос запел снова. Ланца закрыл окно и включил свет.

Друзья переглянулись, оба были взволнованны и бледны. Ланца набрал номер посольства Италии. Дежурный ничего не знал.

– Это шутка, – сказал он, – дурного вкуса розыгрыш.

Ланца спросил, звонил ли в посольство посол Альфиери, который уже несколько дней был в Риме. Дежурный ответил, что посол звонил, как обычно в пять, чтоб узнать о здешних новостях.

– Спасибо, – сказал Ланца и позвонил в Министерство пропаганды, но Шеффера не было. Он позвонил министру Шмидту – того тоже нет. Министру Брауму фон Штуму – нет. Два итальянских дипломата смотрели друг на друга. Необходимы самые точные сведения, и поскорее. Если сообщение об аресте Муссолини правда, реакция немцев будет немедленной и жестокой. Нужно спрятаться в какое-то надежное место, чтобы избежать первых репрессий, всегда самых опасных. Ланца предложил укрыться в посольстве Испании или в швейцарской миссии. А если новость – фальшивка? Будет смеяться весь Берлин. Наконец друзья решили позвонить общей берлинской знакомой, Герде фон Н., имевшей много связей в дипломатических и нацистских кругах. Может, Герда что-нибудь посоветует, даст приют на несколько дней, на несколько часов – до прояснения положения.

– Ах, дорогой Ланца, я как раз собиралась звонить тебе. У меня здесь несколько очаровательных подруг, приезжай, скажи твоему другу, пусть не ленится, мы недурно проведем вечер. Приезжай сейчас же, я жду, – сказала Герда.

Машина Ланцы стояла у подъезда, друзья скатились по лестнице, вскочили в машину и, набирая скорость, понеслись к дому Герды фон Н. Они летели, словно гестапо уже висело у них на хвосте.

Герда жила в берлинском West-End[1]. Улицы были темны и пустынны. С приближением к Вест-Энду в воздухе повис туман, зеленые кроны лип плыли по звездному небу, тысячи далеких городских шорохов растворялись в синей мгле, как капля краски в стакане воды, и их легкие цветные отзвуки оставались висеть в прозрачной ткани тумана.

Герда фон Н. была в длинной, небесного цвета тунике, мягкими складками, похожими на каннелюры дорической колонны, ниспадавшей на обнаженные ноги. Светлые волосы приподняты на висках и собраны в узел на макушке, как у выходящей из моря Навсикаи. И правда, что-то связанное с морем было в ее движениях, широких и неторопливых, в походке, в манере при ходьбе поднимать колени, отбрасывать назад голову, будто она действительно шла берегом моря. Герда фон Н. осталась верна классическим идеалам красоты, бывшим в моде в Германии 30-х годов: будучи ученицей Куртиуса[2] в Бонне, она какое-то

1. Ставшее нарицательным название западного аристократического района Лондона.
2. Эрнст Роберт Куртиус (1886–1956) – немецкий критик и философ.

время посещала небольшой кружок интеллектуалов и эстетов, фанатичных приверженцев поэзии Стефана Георге[1], казалось, она и теперь жила и дышала в условном пространстве его стихов, где неоклассическая архитектура Винкельмана и сцены из 2-й части "Фауста" служили фоном для отголосков призрачных муз Гёльдерлина и Райнера Марии Рильке. В своем доме или, выражаясь архаичным языком Герды, храме она обычно принимала гостей, возлежа на куче подушек, в то время как несколько молодых особ располагались вокруг нее на коврах с высоким ворсом comme un bétail pensif sur le sable couché[2]. Улыбка блуждала на ее печальных губах и светилась в круглых, с горячим, тяжелым взглядом глазах.

Герда фон Н. взяла Ланца под руку и легким шагом босых ног вошла с ним в салон, где сидели пять стройных прекрасных молодых дев с высоколобыми худыми лицами, освещенными твердым и ясным блеском голубых глаз. У них были ярко-алые губы с зеленоватым отливом, такие губы бывают иногда у светловолосых женщин, и маленькие, розовые уши с коралловым оттенком. Но какая-то неопределенность была в их лицах, нечто неуловимое и туманное, появляющееся порою в зеркальном отражении, которое ледяная, сверкающая поверхность делает расплывчатым и далеким. Все были одеты в вечерние платья, в глубоких вырезах виднелись вызолоченные солнцем, округлые, гладкие, цвета меда плечи. Лодыжки у них, как у всех немок, были несколько грубоваты, но ноги хорошей формы, легкие и длинные, ниже колена немного худые. Та, что побойчее, походившая на Диану среди нимф-охотниц, сказала, что они весь день провели в лодке на озере Ванзее и до сих пор еще опьянены солнцем. Она смеялась, отбрасывая голову назад и открывая взгляду несколько сухую шею и широкую, мускулистую грудь амазонки.

Шампанское было теплым, в комнате с занавешенными для затемнения окнами стояла тяжелая, влажная жара, насыщенная кислым запахом табака, молодые женщины и итальянские дипломаты болтали о Риме, о Венеции, о Париже. Та, что походила на Диану, несколько дней как вернулась из Парижа и говорила о французах тоном, неприятно удивившим Ланцу и его друга: в нем чувствовалась глубоко личная обида и странная ревность. Было похоже, что, влюбленная во Францию, она одновременно ее ненавидела. Именно так любит женщина, которой изменили.

— Французы нас ненавидят, — сказала Герда фон Н., — почему бы это?

Молодые итальянские дипломаты рассеянно поддерживали беседу, поглощенные одной и той же тревожной мыслью, то и дело обмениваясь беспокойными взглядами. Уже десяток раз Ланца был готов раскрыть Герде и ее подругам причину их беспокойства, но необъяснимый страх всякий раз удерживал его. Время шло, и неуверенность в душах двух дипломатов сменилась предчувствием опасности.

Ланца совсем было собрался отозвать Герду в сторону, сказать ей правду и попросить совета и помощи, он уже встал и направился к ней

1. Стефан Георге (1868–1933) — немецкий поэт, один из крупнейших представителей немецкого символизма.
2. Как задумчивый скот, лежащий на песке (*франц.*).

с этой целью, когда Герда, распахнув ему навстречу объятия и кладя руку на плечо, сказала:

– Потанцуем?

– Да, да, – закричали девицы, и одна из них включила радио.

– Уже поздно, все радиостанции молчат, – сказал Ланца.

Но девица покрутила ручку настройки и нашла радиостанцию Рима. Звуки танцевального оркестра заполнили комнату.

– Вся ночь с тобой, – пел женский голос.

– Wunderbar! Чудесно! – воскликнула Герда. – Рим еще танцует.

– Недолго ему танцевать, – сказал Ланца.

– Почему? – спросила Герда.

– Потому что, – начал Ланца, но замолчал, смутное чувство тревоги сменилось вполне определенным чувством страха.

Женский голос, звучавший в ночи из неведомого туманного далека, заставлял трепетать сердца двух итальянских дипломатов из-за боязни, что с минуты на минуту нежному голосу придет на смену хриплый и жесткий и пролает ужасную новость.

– Потанцуй с моей подругой, – сказала Герда Ланце, подтолкнув его в объятия той, что казалась Дианой, сама же с невинной грацией потянула за руку его приятеля. Остальные четыре девицы составили две пары между собой и, тесно прижавшись друг к другу грудью и бедрами, заколыхались в танце. Партнерша Ланцы впилась в него телом и взглядом, часто хлопая ресницами. Ланца чувствовал своей грудью мощную грудь, бедрами – покачивающиеся бедра партнерши, животом – ее тугой живот, но мысли его были далеко, в мозгу смешивались, переплетались и расплывались образы Муссолини, короля, маршала Бадольо, которые кружились, цеплялись друг за друга, пытаясь надеть друг другу наручники, как это делают, дурачась, коверные клоуны. Вдруг музыка прервалась, сладкий голос певицы замолчал, и тяжело дышащий, хриплый голос объявил:

– Прежде чем зачитать заявление маршала Бадольо, передаем последние новости. Около 18 часов глава правительства Муссолини был арестован по приказу его величества короля. Новый глава правительства маршал Бадольо обратился к народу со следующим заявлением...

При звуке этого голоса партнерша Ланцы отстранилась, отпихнув его сильным толчком. Остальные пары распались тоже, и перед глазами ошеломленных итальянских дипломатов предстало самое невероятное зрелище. Манеры, жесты, голоса и взгляды девиц претерпели удивительную метаморфозу: голубые глаза потемнели, улыбки погасли на ставших неожиданно бледными и узкими губах, голоса стали низкими и грубыми, томные движения – решительными, руки, совсем недавно мягкие и округлые, – твердыми и мускулистыми. Ланца с другом стояли перед молодыми девицами в полном ошеломлении и растерянности, подобно Аполлону перед Дафной, превращающейся из девы в лавровое дерево. Нежные, томные блондинки в несколько мгновений превратились в мужчин, да они и были мужчинами.

– Ach, so! Вот как! – пронизывая итальянских дипломатов угрожающим взглядом, жестким голосом произнес тот, кто секунду назад был Дианой. – Ach so! Вам это так не сойдет! Думаете, фюрер даст вам безнаказанно арестовывать Муссолини и не снесет вам головы? – и, повернувшись к своим, прибавил: – Возвращаемся в часть, наша эскадрилья

уже наверняка получила приказ вылетать. Через несколько часов мы будем бомбить Рим.

— Jawohl, mein Hauptmann[1], — ответили четверо военных летчиков, щелкнув каблуками.

Капитан и его товарищи молча поклонились Герде фон Н. и, не удостоив взглядом ошарашенных итальянцев, удалились быстрым, решительным шагом, громко стуча каблуками по паркету.

При неожиданном крике девушки, ее словах, жесте и звуке пощечины молодые люди разжали объятия, женская маска спала с их лиц, исчезла томность и отрешенность движений, взглядов, улыбок. Сбросив все это и вмиг став опять мужчинами, они угрожающе приблизились к ней, бледной и взволнованной, стоявшей посреди комнаты, вперив во Фреда полный ненависти взгляд.

— Подонки! — повторила она. — Банда подонков и троцкистов. Вот кто вы такие!

— Что? Что она сказала? — зашумели молодые люди. — Это мы троцкисты? Да что ей взбрело в голову? Она с ума сошла!

— Нет, она не сумасшедшая, — сказал Фред, — она ревнует, — и разразился пронзительным смехом, который, мне показалось, мог в любой момент перейти в плач.

Тогда Жанлуи подошел к девушке и, мягко погладив ее по спине, стал нашептывать ей что-то на ухо, девушка слушала, побледнев и согласно кивая головой. Я встал и, улыбаясь, наблюдал эту сцену.

— А этот, что ему надо от нас, этому типу? — закричала вдруг девушка, оттолкнув Жанлуи и дерзко глядя мне в лицо. — Кто его впустил сюда? И ему не стыдно быть среди нас?

— Мне совсем не стыдно, — сказал я с улыбкой, — с какой стати я должен стыдиться? Мне нравится быть среди бравых парней. Разве не правда, что, в сущности, они бравые парни?

— Я не понимаю, на что вы намекаете, — сказал с вызывающим видом один из парней, подойдя ко мне почти вплотную.

— А разве вы не бравые парни? — сказал я, отстранив его. — Без сомнения, так оно и есть, вы все — молодцы, не будь вас, кто выиграл бы войну?

Я засмеялся, направился к двери и спустился вниз.

Жанлуи нагнал меня на улице.

Он был немного не в себе, и добрый кусок дороги мы молчали. Потом он сказал:

— Ты не должен был оскорблять их. Они страдают.

— Я не оскорблял их, — ответил я.

— Ты не должен был говорить, что они единственные выиграли войну.

— А разве не они выиграли войну?

— Да, в некотором смысле да, — сказал Жанлуи, — но они страдают.

— Страдают? Но отчего?

— Они страдают, — сказал Жанлуи, — из-за всего, что случилось за эти годы.

— Ты хочешь сказать, из-за фашизма, войны и разрухи?

1. Слушаюсь, господин капитан (*нем.*).

— Да, и из-за этого тоже, — сказал Жанлуи.

— Это просто предлог, — сказал я. — Вы не могли найти предлог получше?..

Тем временем мы спустились с холма Вомеро на Пьяцца-деи-Мартири и там свернули в переулок Капелла-Веккья, чтоб подняться до Калашоне. У подножия Рампа-Каприоли открывается маленькая площадь перед Капелла-Веккья, скорее большой двор, ограниченный с одной стороны осыпавшимся склоном Монте-ди-Дио, с другой — стеной синагоги и высоким фасадом дворца, где когда-то долгие годы жила Эмма Гамильтон. Вон из того окна Горацио Нельсон, уперев лоб в стекло, любовался морем Неаполя, маячащим на горизонте островом Капри, дворцами на склонах Монте-ди-Дио, зеленеющим соснами и виноградниками холмом Вомеро. А вон те окна на самом верху принадлежали леди Гамильтон. Нарядившись в костюм киприотки, или в платье женщин Науплии, или в широкие красные шаровары девушек Эпира, или в греко-венецианские одежды острова Корфу, с волосами, убранными под голубой шелковый тюрбан, как на портрете Анджелики Кауфман, Эмма танцевала для Горацио, а жалобный крик продавца апельсинов поднимался из пропасти голубых и зеленых переулков Кьятамоне.

Я остановился посреди маленькой площади перед Капелла-Веккья и смотрел вверх на окна леди Гамильтон, с силой сжимая локоть Жанлуи. Я не хотел опускать взгляд и смотреть вокруг. Я уже знал, что́ увижу там, у стены синагоги, образующей как бы задник двора. Там, в нескольких шагах от нас (я слышал тоненький смех детей и хриплые голоса goumiers[1]) был рынок детей, и полураздетые мальчики от восьми до десяти лет сидели перед марокканскими солдатами, которые внимательно разглядывали товар и договаривались о цене с уродливыми, беззубыми женщинами с худыми, увядшими лицами под толстым слоем косметики. Женщины торговали маленькими рабами.

Подобного не случалось в Неаполе за много веков его нищеты и рабства. Все продавалось в Неаполе, но дети — никогда. Никогда не торговали детьми на улицах Неаполя. Дети в Неаполе — святы. Единственное, что оставалось святым в Неаполе. Народ Неаполя — щедрый народ, самый гуманный среди всех народов, единственный в мире, где самая бедная семья вместе со своими десятью, двенадцатью детьми воспитывала сироту, взятого из приюта, и относилась к нему как к святому: лучше своих собственных детей одевала его, лучше кормила и считала "сыном Мадонны", приносящим счастье остальным детям. В чем угодно можно было обвинить неаполитанцев, но только не в том, что они продают своих детей на улице.

А теперь на площадь перед Капелла-Веккья в центре Неаполя, к стенам аристократических дворцов на Монте-ди-Дио, к синагоге приходили марокканские солдаты, чтобы купить за небольшие деньги неаполитанских ребятишек.

Их ощупывали, задирали рубашки, совали длинные, опытные черные пальцы в ширинки штанишек и заключали сделку, показывая цену на пальцах.

1. Солдаты частей, сформированных в странах Французской Африки, главным образом в Марокко, из представителей коренного населения (*франц.*).

Дети сидели вдоль стены, глядя в лица покупателей, смеялись, посасывая карамельки, но не веселились, как обычно веселятся непоседливые неаполитанские детишки, не разговаривали между собой, не кричали, не напевали, не строили рожи, не проказничали. Было видно, что они боятся. Матери или выдававшие себя за матерей костлявые накрашенные женщины цепко держали детей за руку, как бы опасясь, что марокканец уведет малыша не заплатив, потом брали деньги, пересчитывали и удалялись с ребенком, не отпуская его руки, а goumier с изрытым оспой лицом и сверкающими из-под коричневой накидки глазами шел следом за ними.

Я смотрел вверх, на окна Эммы Гамильтон, и не хотел опускать взгляд вниз. Я смотрел на край голубого неба, окаймлявшего террасу жилища леди Гамильтон, Жанлуи молча стоял рядом...

Вдруг открылось окно, и чей-то голос назвал меня по имени. Это был Пьер Лиоте, звавший меня из окна Командного пункта марокканской дивизии генерала Гийома. Мы поднялись, и Пьер Лиоте, высокий, плечистый, ширококостный, с потрескавшейся от морозов в горах Кассино кожей на лице, вышел на лестницу встретить нас и распахнул широкие объятья.

Пьер Лиоте был старым другом матери Жанлуи, графини В. Всякий раз, когда он приезжал в Италию, он не упускал случая провести несколько дней, а то и недель на озере Комо, на вилле графини В., выдающемся творении Пьермарини[1], где Пьеру Лиоте по установившейся традиции отводили угловую комнату Наполеона, выходившую на озеро со стороны Белладжо, с кроватью, в которой Стендаль провел однажды ночь с Анджелой Пьетрагруа и где стоял маленький письменный стол из древесины акажу, за которым поэт Парини[2] написал знаменитую поэму "День".

– Ah, que vous êtes beau![3] – воскликнул Пьер Лиоте, обнимая Жанлуи, которого не видел уже несколько лет. И добавил, что последний раз он видел его, когда тот был Eros – Эросом, а теперь стал... Я ждал, он скажет héros – героем, но он вовремя спохватился и сказал Аполлоном. Было время обеда, и генерал Гийом пригласил нас к столу.

Своим аполлоновым профилем, алыми губами, черными, сверкающими на чистом, белом лице глазами и сладчайшим голосом Жанлуи произвел большое впечатление на французских офицеров. Они впервые были в Италии и впервые видели представшую перед ними мужественную красоту во всем блеске античного греческого идеала... Это чудесное явление (на фоне безвкусного буржуазного интерьера) живого Аполлона, безупречного образчика классической мужской красоты, было для французских офицеров приобщением к запретному таинству. Все молча созерцали Жанлуи. С необъяснимым беспокойством я спрашивал себя, отдавали ли они себе отчет в том, что этот чудесный "призрак" из эпохи классической итальянской цивилизации в момент ее наивысшего триумфа, но уже тронутой разложением, униженной

1. Джузеппе Пьермарини (1734–1808) – итальянский архитектор, автор проекта театра Ла Скала.
2. Джузеппе Парини (1729–1799) – итальянский поэт.
3. Ах, какой же вы красавец! (*франц.*)

первыми признаками женской изнеженности, обескровленной исчезновением благородных чувств, сильных страстей, высоких идеалов, был воплощением тайного зла, от которого страдала бóльшая часть европейской молодежи всех стран, победителей и побежденных, — мрачной тенденции превращать идеи свободы, столь популярные, казалось бы, среди молодых европейцев, в неудержимое стремление к чувственным удовольствиям; требования морали — в отказ от всякой ответственности; общественный и политический долг — в бесполезные интеллектуальные игры; новые пролетарские мифы — в двусмысленные мифы нарциссизма с уклоном в самобичевание. (Казалось странным, что Баррес был так же далек от Жанлуи и его поколения, как и Андре Жид, сказавший: "Moi cela m'est égal, parce que j'écris Paludes"[1].)

И как бы под воздействием моих печальных мыслей генерал Гийом спросил меня вдруг, по какой причине итальянское правительство не только не запрещает торговлю детьми, но даже делает вид, что не знает об этой мерзости.

— Это стыдно, — добавил он, — я сотни раз приказывал разогнать этих бессовестных женщин и их несчастных детей, я много раз извещал об этом итальянские власти, я лично говорил с архиепископом Неаполя, кардиналом Аскалези. Все бесполезно. Я запретил моим goumiers прикасаться к этим мальчикам и пригрозил расстрелом за невыполнение приказа. Но искушение для них слишком велико. Goumier никогда не поймет, как может быть запретным то, что продается открыто на рынке. Дело итальянских властей позаботиться о том, чтобы арестовать этих матерей-чудовищ и отправить детей в какие-нибудь специальные заведения. Я ничего больше не могу поделать.

Он говорил медленно, было видно, что слова причиняют ему боль.

Я засмеялся. Арестовать матерей! Поместить детей в заведение! Но ведь ничего не осталось в Неаполе, во всей Европе, все пошло прахом, разрушено, уничтожено: дома, церкви, больницы, матери, отцы, дети, дяди, бабушки, братья, всему — капут. Я горестно смеялся, смеялся до боли в животе. Итальянские власти! Куча воров и негодяев, до недавнего времени они сажали бедных людей в тюрьму во имя Муссолини, теперь сажают их в тюрьму во имя Рузвельта, Черчилля, Сталина. До вчерашнего дня они командовали во имя тирании, а теперь хозяйничают во имя свободы. Какое дело итальянским властям, что матери-чудовища продают своих детей на улице? Стая подонков, от первого до последнего, слишком занятая лизанием пяток победителям, чтобы заниматься такими пустяками.

— Арестовать матерей? — сказал я. — Каких матерей? Запретить им продавать своих детей? Почему? Разве это не их дети? Разве они принадлежат государству, правительству, полиции, профсоюзам, политическим партиям? Они принадлежат матерям, и матери имеют право делать с ними что хотят. Они голодают и имеют право продавать своих детей, чтоб утолить голод. Лучше продать детей, чем съесть их. Они имеют право продать одного, двоих из десяти, чтоб накормить остальных восемь. И потом, какие матери? О каких матерях вы говорите?

1. Мне это все равно, потому что я пишу "Топи" (*франц.*).

— Не понимаю, — сказал генерал Гийом, очень удивленный, — я говорю о тех несчастных, что продают своих детей на улицах.

— Какие матери? О каких матерях вы говорите? Разве они матери? Разве это люди? А отцы? У них нет отцов, у этих детей. Разве это люди, их отцы? А мы? Разве люди мы?

— Écoutez, — сказал генерал Гийом, — je m'en fous de vos mères, de vos autorités, de votre sacré pays[1]. Но дети, нет! Если в Неаполе продают детей сейчас, это значит, их продавали здесь всегда. Это позор Италии.

— Нет, — сказал я, — в Неаполе никогда не продавали детей. Я никогда бы не поверил, что голод может довести до такого. Но это не наша вина.

— Вы хотите сказать, что виноваты мы? — сказал генерал Гийом.

— Нет, вы тоже не виноваты. Виноваты дети.

— Дети? Какие дети? — сказал генерал.

— Дети. Те самые дети. Вы не знаете, какие страшные чудовища эти дети в Италии. И не только в Италии, но и везде в Европе. Это они заставляют своих матерей продавать их на рынке. А знаете почему? Чтоб заработать денег, чтоб содержать любовниц и вести роскошную жизнь. Наверное, не осталось ни одного малыша в Европе, не имеющего любовниц, лошадей, автомобилей, замков и банковских счетов. Все Ротшильды. Вы не можете себе даже представить, до какой степени разложения дошли эти дети, наши дети, дети всей Европы. Конечно, никто не желает говорить об этом. Об этом запрещено говорить в Европе. Но это так. Если бы матери не продавали своих детей, знаете, что случилось бы? Тогда эти дети ради денег продали бы своих матерей.

Все ошеломленно смотрели на меня.

— Мне не нравится, что вы так говорите, — сказал генерал Гийом.

— Ах, вам не нравится, что я говорю правду? Да что вы знаете о Европе? Где вы были до вашей высадки в Италии? В Марокко или где-то еще в Северной Африке. Что могут знать об этом американцы и англичане? Они были в Америке, в Англии, в Египте. Что могут знать о Европе сою́зники, высадившиеся в Салерно? Может, они думают, что в Европе есть еще дети? Что есть еще отцы, матери, дочери и сыновья, братья и сестры? Кучу смердящего мяса — вот что вы найдете в Европе, когда освободите ее всю. Никто не хочет говорить об этом, никто не хочет слушать, но это правда. Куча смердящего мяса — вот что такое Европа.

Все молчали, и генерал Гийом внимательно смотрел на меня затуманенными глазами. Ему было жаль меня, ему не удавалось скрыть своей жалости ко мне, ко многим другим, ко всем остальным, таким как я. Это случилось впервые, чтобы победитель, враг, сочувствовал мне и всем остальным, таким как я. Но генерал Гийом был француз, он был европеец, европеец, как и я, и его город где-то во Франции был разрушен, его дом тоже стоял в развалинах, его семья тоже жила в страхе и ужасе, его дети тоже голодали.

— К несчастью, — сказал генерал после долгой паузы, — не только вы так говорите. Архиепископ Неаполя, кардинал Аскалези, говорит то же, что и вы. Должны были случиться страшные вещи в Европе, если вы до такого дошли.

1. Послушайте... мне плевать на ваших матерей, на ваши власти, на вашу чертову страну! (*франц.*)

— В Европе ничего не случилось, — сказал я.

— Ничего? — сказал генерал Гийом. — А голод, бомбардировки, расстрелы, убийства, террор, горе, все это — ничто для вас?

— О, все это ничто, — сказал я, — это смешные вещи — голод, бомбардировки, расстрелы, концентрационные лагеря, все это смешно, чепуха, старые сказки. Мы в Европе знакомы с этим веками. И уже привыкли, пожалуй. Не это довело нас до такого.

— Так что же вас довело? — сказал генерал Гийом чуть охрипшим голосом.

— Шкура.

— Шкура? Какая шкура? — сказал генерал.

— Шкура, — ответил я, понизив голос, — наша шкура, эта про́клятая шкура. Вы даже себе не представляете, на что способен человек, на какой героизм и какую подлость он готов, чтобы спасти свою шкуру. Вот эту, эту вот мерзкую шкуру, видите? (Сказав это, я оттянул двумя пальцами кожу на тыльной стороне ладони и показал ее всем присутствующим.) Когда-то люди страдали от голода, пыток и самых страшных мучений, они убивали и умирали, страдали и заставляли страдать других во имя спасения души, ради спасения души своей и души другого. Люди были способны на великие дела и на великие подлости ради спасения души. Не только своей собственной, но и души ближнего. Сегодня терзаемые и терзающие, убиенные и убивающие люди совершают вещи удивительные и омерзительные, но уже не во имя спасения своей души, а для спасения собственной шкуры. Считается, что они борются и страдают во имя спасения души, на самом деле они борются и страдают ради собственной шкуры, только ради собственной шкуры. Все остальное не в счет. И героями сегодня становятся ради никчемной вещи! Ради дрянной вещи. Человечья шкура — дрянная вещь. Смотрите. Это же мерзость. Подумать только, в мире полно героев, готовых отдать жизнь за такую дрянь!

— Tout de même, все-таки... — сказал генерал Гийом.

— Вы не можете отрицать, что по сравнению со всем остальным... Сегодня в Европе продается все: честь, родина, свобода, справедливость. Вы должны признать, что продавать своих детей — это безделица.

— Вы — честный человек, — сказал генерал Гийом, — вы не продали бы своих детей.

— Кто знает... — ответил я тихо. — Речь идет не о том, чтобы оставаться честным человеком, ничего не значит — порядочный ты человек или нет. Это не вопрос личной честности. Это наша цивилизация, цивилизация без Бога, принуждает людей так ценить собственную шкуру. Сегодня в цене только наша шкура. Нет ничего более надежного, осязаемого, бесспорного. Это единственное наше достояние, единственное, чем мы владеем. Самая преходящая, самая смертная вещь на свете. Только душа бессмертна, увы! Но что она стоит, душа? Ничто не стоит так дорого, как шкура. Все сделано из человечьей шкуры. Даже войсковые знамена — из человечьей шкуры. Уже не сражаются за честь, свободу, справедливость. Теперь дерутся за шкуру, за эту вонючую шкуру.

— Вы не продали бы своих детей, — повторил генерал и посмотрел на тыльную сторону своей ладони.

— Кто знает, — сказал я, — если б у меня был ребенок, может, я продал бы его, чтоб купить американских сигарет. Нужно быть людьми своего времени. Когда ты подонок, нужно быть подонком до конца.

V. *Дитя Адамово*

На следующий день полковник Джек Гамильтон повез меня в своей машине в Торре-дель-Греко. Мысль побывать на "фильяте", древней сакральной церемонии, посвященной культу бога Урана, привлекала и в то же время смущала Джека. Пуританское сознание смущало его, но мне удалось успокоить его сомнения. Разве не был он американцем, победителем и освободителем? Так чего же бояться? Это его долг — не пренебрегать любой возможностью лучше узнать эту таинственную Европу, куда американцы пришли освободителями.

— Cela t'aidera à mieux comprendre l'Amérique, quand tu retourneras là-bas, chez toi[1], — говорил я ему.

— Comment veux-tu que cela m'aide à comprendre l'Amérique? Cela n'a aucun rapport avec l'Amérique[2], — ответил Джек.

— Не будь наивным, какой толк было бы освобождать Европу, если бы это не помогло вам понять Америку? — говорил я.

В "плимуте" Джека расположились также Жорж, Жанлуи и Фред. Жорж попал в Неаполь только несколько дней назад, он привез свежие новости из Рима и Парижа, но добрался он не так, как остальные — через немецкую линию фронта в горах Абруцци, а прибыл морем на английском сторожевом катере, дожидавшемся его у адриатического побережья близ Равенны.

Я познакомился с графом Жоржем де ла V. много лет назад в Париже, в доме герцогини Клермон-Тоннер, жившей тогда на улице Ренуар в Пасси, где он появлялся время от времени вместе с Максом Жакобом, с которым дружил. Жорж — один из самых знаменитых "нарциссов" Европы, в юности считался красивейшим mignon[3] Парижа, из тех, кто в светских хрониках молодого Марселя Пруста выглядывают из-за спинок кресел в парижских аристократических салонах, подобно златокудрым пастушкам, выглядывающим из-за спин нимф на полотнах Буше и Ватто...

— Жорж тоже марксист? — прошептал я на ухо Жанлуи.

— Конечно, — ответил Жанлуи.

Каково же было мое удивление, когда позже Жанлуи поведал мне, что Жорж был в некотором роде персонажем политическим ("более того, — добавил Жанлуи, — героем"), ибо выполнял и продолжает выполнять ответственные военные задания спецслужб союзных войск. Что, когда он был в Лондоне летом 1940-го, его посылали с особо важными и опасными поручениями во Францию, что три раза он прыгал с парашютом на оккупированную немцами французскую территорию и всякий раз, начиная с 1940-го и позже, ему удавалось возвратиться в Англию че-

1. Это поможет тебе лучше понять Америку, когда ты вернешься домой (*франц.*).
2. Как это может помочь мне понять Америку? К Америке это не имеет никакого отношения (*франц.*).
3. Миньонами называли фаворитов французского короля Генриха III (1551—1589). В данном случае одно из наименований, наряду с "нарциссами" и "коридонами", приверженцев однополой любви.

рез Испанию и Португалию. По словам Жанлуи, союзники настолько высоко ценили его деятельность, что намеревались поставить во главе маки европейских гомосексуалистов.

Образ Жоржа, спускающегося, покачиваясь, с небес под сенью огромного белого зонта над головой, образ этого златокудрого купидона, легким касанием изящной ноги ступающего на травку, как ангел на край облака, стыдно признаться, смешил меня. Я знаю, непочтительно смеяться над героем, но есть герои, заставляющие смеяться, даже если это герои свободы. Есть другие, заставляющие плакать, и я не знаю, лучше они или хуже. Пожалуй, мы только и делаем, что плачем и смеемся друг над другом здесь в Европе — это плохой знак. Добавлю в свое оправдание, что мой смех, по счастью, был совершенно беззлобен.

Гомосексуалисты, рассеянные по всей Европе, — Германия и СССР тут не составляют исключения, — оказались драгоценнейшим кладом для специальных служб Англии и Америки. С самого начала войны они выполняли особо деликатные и опасные задания политического и военного характера. Знаменитый американский генерал Донован, у которого Жорж стал правой рукой по организации отрядов гомосексуалистов-партизан, смог извлечь пользу из самóй уязвимости однополой любви, превратив ее в прекрасное боевое оружие. Возможно, однажды, когда секреты этой войны откроются непосвященным, станет известно, сколько человеческих жизней было спасено благодаря тайным ласкам mignons, разосланных с заданием по всем странам Европы. Все было принято на вооружение в этой страшной и странной войне, все — ради победы, все, в том числе и педерастия, заслуживающая поэтому уважения каждого честного и любящего свободу человека. Некоторые моралисты будут, возможно, иного мнения, но нельзя претендовать на то, чтобы все герои были беспорочны и относились к единой, общепринятой сексуальной ориентации. Нет обязательного полового статуса для героев свободы.

Идея отрядов гомосексуалистов-партизан принадлежала Жоржу, как и заслуга в деле организации во всех оккупированных немцами странах, и даже в Германии, réseau[1] молодых mignons, внесших неоценимый вклад в благородное дело освобождения Европы. В те дни ноября 1943-го Жорж тайно прибыл из Парижа в Неаполь для согласования с верховным командованием союзных войск плана действий в Италии. Именно Жоржу мы обязаны тем, что известный немецкий полковник Дольман, политический эмиссар Гитлера в Риме, попался в сети юных mignons, искусно расставленную вокруг него Жоржем.

Дольман был жесток и красив — два качества, предопределившие его участь: ему было суждено пасть жертвой изощренного искусства Жоржа. Он влюбился в юношу из высшей римской знати, и из-за этой неосторожной страсти его склонили впоследствии к предательству. Именно Дольман, и это чистая правда, тайно от Гитлера и Муссолини заключил в Швейцарии секретные соглашения, позволившие спасти от разрушения промышленность Северной Италии и вынудить немецкие войска к сдаче почти без сопротивления во время наступления союзников в апреле 1945-го. В швейцарских переговорах Жорж сыграл решаю-

1. Сети (*франц.*).

щую роль, он вел себя как герой Корнеля, каким он и был на самом деле и каким, надеюсь, остается до сих пор. Дело в том, что он сам был тоже очень сильно влюблен в юного любовника Дольмана, но сумел пожертвовать своей любовью ради свободы Европы.

Сидевший рядом с Джеком Жорж облокотился на его руку и рассказывал о Франции, о Париже, о парижской жизни во время оккупации, о немецких солдатах и офицерах, гуляющих по Елисейским полям, сидящих за столиками ресторанов "У Максима", "Ларю", "Дё маго". Он болтал о Париже, тамошних любовных связях, сплетнях, скандалах, а Джек то и дело оборачивался ко мне и говорил:

– Tu entends? On parle de Paris![1]

Джек был счастлив поговорить по-французски с настоящим французом, хотя иногда ему приходилось оказываться в положении Франсуа де Серьеза, беседующего с миссис Уэйн в "Бале графа д'Оржель"[2].

Georges faisait des "mots" que Jack prenait pour des fautes de français[3].

Жорж со злобой и ревностью говорил о молодой и прекрасной графине де V., своей кузине, об Андре Жиде с тайной обидой, о Жане Кокто дружески-неприязненно, о Жан-Поле Сартре и его пьесе "Мухи" с показной небрежностью, о престарелой герцогине де Р., как старая дева говорит о своей собаке, – что у нее был грипп, что теперь ей лучше, что писает она нормально и лает на себя перед зеркалом. Образ старой герцогини де Р., облаивающей себя перед зеркалом, произвел большое впечатление на Джека, который всякий раз оборачивался ко мне и спрашивал:

– Tu entends? C'est marrant, n'est-ce pas?[4]

Потом Жорж принялся рассказывать о парижских zazous[5].

– Что? – сказал Джек. – Les zazous? Qu'est-ce que c'est les zazous?[6]

Сначала посмеиваясь над наивным неведением Джека, потом слегка помрачнев, Жорж поведал, что зазу – это молодые люди между восемнадцатью и двадцатью годами, одевающиеся очень странно: туфли для гольфа, брюки в обтяжку, закатанные до середины голени, очень длинный пиджак, чаще всего из вельвета, сорочка с высоким и тесным воротничком. Они носили длинные, гладкие волосы до плеч, зачесанные на лбу и висках, как у Марии Антуанетты. Зазу стали появляться в Париже к концу 1940-го, собираясь в квартале Мюэтт, вблизи площади Виктора Гюго (в одном из баров на этой площади они устроили свою штаб-квартиру), потом они начали перебираться довольно большими группами на Левый берег Сены, но их излюбленными районами так и остались Мюэтт и Елисейские поля.

Они принадлежали, как правило, к семьям зажиточных буржуа и казались далекими от разного рода забот, одолевавших в то время французов. Они не выражали особого интереса ни к искусству, ни к литерату-

1. Ты слышишь? Он говорит о Париже! (*франц.*)
2. Роман французского писателя Реймона Радиге (1903–1923).
3. Жорж использовал "словечки", которые Джек принимал за ошибки во французском (*франц.*).
4. Ты слышишь? Это забавно, не правда ли? (*франц.*)
5. Zazous (зазу) – появившиеся в начале сороковых годов на парижских улицах экстравагантные молодые люди, поддерживающие де Голля.
6. Зазу? А что это такое, зазу? (*франц.*)

ре, ни к спорту, а менее всего к политике, если можно назвать этим словом грязное политиканство тех лет. Ко всему тому, что выражает или подразумевает слово "флирт", они, казалось, питали не меньшее безразличие, хотя в скитаниях по Парижу их обычно сопровождали или, лучше сказать, следовали за ними зазу женского пола, тоже очень юного возраста, так же эксцентрично одетые: в длинных свитерах до лобка и коротких юбчонках выше колен. На публике они никогда не разговаривали громко, всегда приглушенными голосами, почти шепотом, и только о кинематографе, причем не об актерах и актрисах, а о режиссерах и фильмах. Послеполуденное время они проводили в кинозалах, где время от времени слышался их негромкий говор и короткие гортанные звуки, которыми они окликали друг друга.

Было что-то не совсем понятное в них самих, в их тайных сходках и загадочных перемещениях туда-сюда, и полиция почему-то нередко наведывалась в обычные места их сборищ.

— Allez, allez travailler, les fils à papa[1], — говорили добродушно флики, подталкивая зазу к выходу. Французские стражи порядка в те годы не имели большого желания выказывать излишнее рвение, а полиция немецкая не придавала большого значения зазу. Что касается французской полиции, то трудно было судить, шла ли тут речь о ее наивности или о молчаливом потакании, потому что было замечено, что зазу заявили о себе, пусть и не в полный голос, как голлисты. С течением времени многие из них стали заниматься мелкой незаконной торговлей на черном рынке, в основном американскими и английскими сигаретами. А к концу 1942-го часто случалось, что полиции удавалось изъять из карманов зазу не только пачки "Кэмел" или "Плейерс", но и пропагандистские листовки сторонников де Голля, напечатанные в Англии.

— Мальчишество, — говорили некоторые, так же считала французская полиция, не желавшая лишнего беспокойства.

Стоял за спиной зазу знаменитый американский генерал Донован или нет, в то время сказать было трудно, хотя сегодня это не вызывает ни малейшего сомнения. Зазу образовали свою сеть в тесном контакте с секретными американскими и английскими службами. Но тогда зазу в глазах парижан были всего-навсего молодыми людьми, которые в силу естественной реакции на суровость жизни тех лет ввели забавную, незамысловатую моду и которых если и можно было в чем-либо упрекнуть, то лишь в желании играть роль львов и денди, безразличных ко всеобщим страданиям и горю, равно как и к высокомерию и жестокости немцев. Что касается нравов зазу, о них ничего с уверенностью сказать было нельзя, и прежде всего ничего плохого. Их манеры, поведение тоже, скорее всего, были навеяны мифом о личной свободе, что в какой-то степени сближало зазу с гомосексуалистами, для которых свобода личности составляла важнейшую часть их мифологии. Но гораздо больше, чем одеждой, отличались зазу от гомосексуалистов своими политическими взглядами, потому что зазу были голлисты, а гомосексуалисты объявили себя коммунистами.

— Je n'aime pas les zazous, ce sont des réactionnaires[2], — сказал вдруг Жорж.

1. Принимайтесь-ка за работу, папенькины сынки (*франц.*).
2. Я не люблю зазу, они реакционеры (*франц.*).

Я рассмеялся и прошептал на ухо Жанлуи:

— Он ревнует зазу.

— Ревновать этих болванов? — ответил Жанлуи с глубоким презрением. — Да пока они геройствуют в Париже, мы умираем за свободу.

Я замолчал, не зная, что ответить тому, кто умирает за свободу...

Когда мы добрались до Торре-дель-Греко, было уже четыре пополудни. Мы свернули к морю и остановились перед калиткой в глубине узенькой улочки, зажатой меж высоких стен, там, где виноградники и цитрусовые сады спускались к самому морю. Мы толкнули калитку и оказались на большом огороде, который расстилался вокруг бедного рыбацкого дома усталого красного цвета Помпей. Арка лоджии украшала фасад, а перед лоджией по всей длине огорода тянулся навес, увитый виноградными листьями, обожженными первыми осенними холодами, между листьями там и сям сверкали гроздья белого винограда, позолоченного последним пламенем умершего лета. Под навесом стоял крестьянский стол, накрытый скатертью из неотбеленного льна, на которой была расставлена грубая фаянсовая посуда, лежали ножи, вилки и ложки с костяными ручками и стояло несколько бутылок вина из виноградников Везувия, того белого вина, что из черной лавы вулкана и из блеска морского воздуха берет свою чудесную крепость, сухую и тонкую.

Друзья Жанлуи сидели в ожидании на скамьях из древнего мрамора, стоявших в огороде (в домах, садах, огородах неаполитанских пригородов, расположившихся у подножия Везувия, полно извлеченного из развалин Геркуланума и Помпей мрамора), они встретили Жоржа, Фреда и Жанлуи громкими криками радости, широкими объятиями, похлопываниями по плечу и нежными поглаживаниями. Они обнимались, перешептывались на ушко, ласково заглядывали друг другу в глаза, словно не виделись лет сто, в то время как расстались совсем недавно, может, час назад. Все по очереди целовали руку Жоржа, который принимал эту честь по-королевски милостиво, улыбаясь с некоторым высокомерием. Когда церемония приветственных объятий подошла к концу, Жорж преобразился: он словно пробудился и, распахнув глаза, оглядевшись вокруг с притворным изумлением, принялся ворковать, отряхивать перышки и ходить от одного к другому короткими быстрыми шажками, что сделало его похожим на прыгающего по невидимым веткам воробья. И он действительно прыгал по лежащим на земле теням виноградных лоз, перескакивая с одной лозы на другую, и, казалось, выклевывал здесь и там, все тем же птичьим манером, золоченые виноградинки, выглядывавшие между красными листьями.

Джек и я сидели на мраморной скамье в стороне и не мешали этим милым и грациозным проявлениям любви. Джек смеялся, покачивая головой:

— Do you really think, — говорил он, — tu crois vraiment...[1]

— Конечно, — сказал я.

— C'est donc ça, c'est donc ça, ce que vous appellez des héros, en Europe?[2] — сказал он.

1. Ты действительно думаешь (*англ.*)... ты действительно считаешь... (*франц.*)
2. Так это те, так это те самые, кого вы в Европе называете героями? (*франц.*)

— Это вы, — сказал я, — сделали из них героев. Разве не вам понадобились наши педерасты, чтобы выиграть войну? Слава богу, по части героев у нас в Европе есть кое-что получше.

— Тебе не кажется, что это по части педерастов у вас есть кое-что получше? — сказал Джек.

— Я начинаю верить, что педерасты одни выиграли войну.

— Я тоже начинаю в это верить, — сказал Джек и, смеясь, покачал головой.

Жорж и его друзья прогуливались по огороду, воркуя между собой и бросая беспокойные, нетерпеливые взгляды на дом.

— Чего они ждут? — спросил Джек. — Думаешь, они ждут кого-то еще? У меня предчувствие, что добром это не кончится.

Я повернулся лицом к морю и сказал вполголоса:

— Посмотри на море, Джек.

Прикованное к берегу море пристально смотрело на меня. Оно пристально смотрело на меня своими зелеными глазами и сипело, как прикованный к берегу зверь. Оно издавало странный запах, резкий запах дикого зверя. Далеко на западе, где солнце опускалось в недра раскаленного горизонта, качались на рейде в порту, зацепившись якорем за дно, сотни и сотни пароходов, окутанных густой серой дымкой, рассекаемой белыми молниями чаек. Где-то внизу другие корабли, черные на фоне голубого призрака острова Капри, разрезали далекие воды залива, а поднятая сирокко буря мало-помалу завладела небом (свинцовые тучи, серный блеск молний, неожиданные зеленые трещины, раскалывающие небеса, слепящие черные вспышки) и толкала впереди себя белые паруса, ищущие спасения в порту Кастелламаре. Живая, печальная картина с дымящими судами на линии горизонта, с парусами, бегущими перед зелеными и желтыми вспышками черной бури, с далеким островом, маячившим в синей бездне неба. Мифический пейзаж, на краю которого, кто знает где, плакала прикованная цепью к скале Андромеда, а Персей убивал чудовище.

Море пристально смотрело на меня своими огромными молящими глазами, оно сипело, словно раненый зверь. Я задрожал. Впервые море так смотрело на меня. Впервые я ощущал на себе тяжелый взгляд его зеленых глаз, полных печали, тоски и опустошающей боли. Оно глядело на меня в упор, тяжело дыша, как раненый зверь, а я дрожал от страха и жалости. Я устал смотреть на человеческие страдания, видеть истекающих кровью людей, со стонами ползущих по земле, я устал слышать их жалобы и удивительные слова, что бормочут умирающие, улыбаясь в предсмертной агонии. Я устал видеть страдания людей, животных, деревьев, неба, земли и моря, я устал от их горя, бессмысленных, напрасных мучений, от их страхов, от их нескончаемой агонии. Я устал бояться, устал жалеть. О, эта жалость! Мне было стыдно жалеть. И все же я дрожал от жалости и страха. В глубине далекой арки залива стоял Везувий, нагой и призрачный, с испещренными когтями лавы и пламени склонами, с кровоточащими глубокими ранами, откуда вырывался огонь и клубы дыма. Цепляясь за берег, море тяжело дышало, оно пристально смотрело на меня огромными молящими глазами, все покрытое зеленой чешуей, как необъятных размеров рептилия. Я дрожал от жалости и страха, слыша хриплый плач Везувия, устремленный высоко в небо.

Но темные, блестящие кроны апельсиновых и лимонных деревьев, серебристое колыхание листьев олив под морским бризом в тусклом сиянии заходящего солнца окружили нас ясным и теплым покоем в самом сердце взволнованной грозной природы. Из дома доносились запахи свежей рыбы, горячего, только из печи хлеба, звон кухонной посуды и приглушенный, мягкий женский голос.

Старый рыбак вышел из дома и, обращаясь к нашим друзьям, с таинственным видом беседующим в конце огорода, прокричал, что все готово. Я подумал, что речь идет об ужине, и, поскольку мы с Джеком уже сидели за столом, поспешил наполнить вином наши стаканы. У вина был тонкий освежающий вкус с легким ароматом диких трав, я узнал в этом запахе и вкусе горячий выдох Везувия, дуновение ветра на осенних виноградниках, что проглядывали на полях черной лавы и на мертвых, покрытых серым пеплом землях, простиравшихся вокруг Боско-Трекассе, на бесплодных склонах вулкана. Я сказал Джеку:

— Пей. Это вино отжато из винограда Везувия, у него таинственный привкус, привкус адского пламени, запах лавы, камней и пепла, похоронивших Геркуланум и Помпеи. Пей, Джек, это святое, древнее вино.

Джек поднес вино к губам и сказал:

— Strange peóple you are! Странные вы люди!

— A strange, a miserable, a marvellous people... Странные, несчастные, удивительные люди... — сказал я, поднимая бокал, и тут заметил, что наши друзья исчезли.

Звук приглушенных голосов раздавался уже из дома вместе с долгим, на высокой ноте стоном, жалобой-причитанием, похожим на надрывный плач роженицы, положенный на мотив любовной песни. Заинтригованные, мы встали, неслышно подошли к дому и вошли. Звук голосов и странный стон доносились с верхнего этажа. Мы бесшумно поднялись по лестнице, толкнули дверь и остановились на пороге.

Это была убогая комната рыбака, ее заполняла огромная кровать, на которой под желтым шелковым одеялом лежало человеческое существо неопределенного пола, то ли мужчина, то ли женщина, его голова в белоснежном чепце с кружевами, подвязанном под подбородком широкой голубой лентой, покоилась на широкой, пышной подушке в белой шелковой наволочке подобно отсеченной голове на серебряном подносе. На обожженном солнцем и ветром лице сверкали большие темные глаза. Широкий рот с мясистыми красными губами оттеняла пара черных усов. Без сомнения, то был мужчина, молодой человек не более двадцати лет. Открыв рот, он выпевал свой стон, мускулистые руки в тесных рукавах женской ночной сорочки метались поверх простыни, как если бы он не мог больше терпеть мук жестокой родовой схватки; время от времени он обхватывал руками свое странно вздутое чрево, похожее на живот беременной женщины, и выводил:

— Ой, ой, горе мне!

Жанлуи с друзьями стояли вокруг кровати взволнованные, напуганные и озабоченные, в сжимающем сердце тревожном ожидании, как родственники у изголовья роженицы. Один освежал рожающему мокрой тряпочкой лоб, другой, смочив платок уксусом и духами, давал понюхать его страдальцу, третий готовил полотенца, корпию, льняные бинты. Кто-то суетился возле двух тазиков, куда морщинистая старуха с серыми космами привычными медленными движениями, контрастиру-

ющими с тревожным безостановочным трясением головы, испуская тяжелые вздохи из тощей груди, то и дело устремляя молящие взоры в небо, наливала воду из двух кувшинов, ритмично поднимая и опуская их. Все остальные беспорядочно бегали по комнате, натыкаясь друг на друга, сталкиваясь, сжимая голову руками и стеная "Боже мой, боже мой!" всякий раз, когда рожающий издавал особенно громкий вопль или душераздирающий стон.

Жорж стоял посреди комнаты с огромным пуком ваты в руках, от которого торжественными движениями отрывал большие хлопья и подбрасывал их в воздух, хлопья медленно плыли вниз, как теплый снег с летних безоблачных небес. Он казался изваянием Тревоги и Горя.

— Ой! Ой! Горе мне! — выпевал рожающий, ударяя себя в раздутый живот, звеневший как барабан; звонкие удары сильных рук моряка по его чреву беременной женщины сильно подействовали на Жоржа, он закрыл глаза, побледнел и тоже застонал:

— Боже мой, боже мой!

Как только Жанлуи и компания заметили нас, стоящих на пороге и созерцающих необычную сцену, все как один с криком бросились к нам. С грациозными ужимками и гримасами, с испуганными вздохами и жестами, легкими, почти ласковыми прикосновениями, робким, стыдливым подталкиванием — все это было не так уж неприятно — они попытались выставить нас за дверь. Может, это им и удалось бы, если бы в тот момент ужасный вопль не прорезал комнату. Все обернулись и, горестно и испуганно скуля, бросились к постели.

Бледный, с вылезшими из орбит глазами, сжимая обеими руками виски, рожающий катался головой по подушке и громко стонал. Кровавая слюна пенилась на его губах, крупные слезы катились по красному мужскому лицу, поблескивая на усах.

— Цицилий! Цицилий! — закричала старуха, бросилась к постели, сопя и непристойно прищелкивая языком, сунула руки под простыню и, вытаращив глаза и издавая клокочущие звуки, принялась манипулировать вокруг вздутого, вздымающегося и опускающегося под желтым шелковым одеялом чрева. Время от времени она кричала:

— Цицилий! Цицилий! Не бойся, это я!

Казалось, она схватила под одеялом какую-то мерзкую зверушку и пыталась придушить ее. Цицилий лежал, раскинув ноги, и с пеной у рта взывал:

— О, святой Януарий! Святой Януарий, помоги мне!

Он яростно бился головой о железную спинку кровати, Жорж тщетно пытался удержать его, с плачем и нежной лаской обнимая и стараясь не дать поранить себя.

Вдруг старуха стала тащить что-то обеими руками из утробы Цицилия, наконец с торжествующим криком вырвала это что-то и подняла высоко над головой, выставив всем на обозрение небольшого, темного цвета монстра со сморщенным, в красных пятнах лицом, при виде которого всех охватила буйная радость. Все со слезами на глазах принялись обниматься, целоваться, прыгать и кричать, окружили старуху, которая, вонзив ногти в темное, морщинистое тельце, воздела руки к небу и, как бы предлагая новорожденного в дар некоему божеству, воскликнула:

— О, благословенное дитя! Да благословит тебя Мадонна! О, чудесное дитя!

Тогда все как одержимые принялись бегать по комнате вокруг новорожденного, хныкать и плакать в голос, широко раскрыв рты и растирая глаза кулаками:

— И-и! И-и! И-и! И-и! И-и!

Вырванный из лап старухи младенец, переходя из рук в руки, наконец оказался у изголовья ложа Цицилия, который уже сидел на постели, являя всем прекрасное мужское усатое лицо, освещенное нежной материнской улыбкой, и протягивал мускулистые руки к плоду своих мучений.

— Сын мой! — вскричал он и, схватив монстра, прижал его к груди, потерся о него своим мускулистым торсом, расцеловал его личико, покачал, напевая, на руках и затем с улыбкой умиления передал его Жоржу.

Согласно ритуалу "фильяты" этот жест означал, что честь отцовства принадлежит Жоржу, который, взяв новорожденного на руки, стал укачивать, ласкать, целовать младенца, глядя на него улыбающимися, мокрыми от слез глазами. Я присмотрелся к младенцу и остолбенел. Это была древняя деревянная статуэтка, грубо вырезанный из дерева фетиш, подобный фаллическим изображениям на фресках домов Помпей. Крошечная, бесформенная головка, короткие ручки скелетика, большой вздутый живот, из-под которого выглядывал фаллос невиданных размеров и формы, похожий на мухомор с красной в белых пятнышках шляпкой. Жорж остановил на маленьком монстре долгий взгляд, приблизил губы к шляпке гриба и стал целовать и покусывать ее. Он был бледен, весь в поту, дыхание его прерывалось, руки дрожали. Все окружили его, щебеча, взволнованно жестикулируя, и наперебой кинулись целовать омерзительный фаллос.

В этот момент с нижних ступеней лестницы зычный голос прокричал:

— Спагетти! Спагетти! — И запах готовых спагетти и томатного соуса вошел в комнату вместе с криком.

В ответ на призыв Цицилий свесил ноги с кровати, и, опершись одной рукой на плечо Жоржа, второй стыдливо прижимая к груди края сорочки, встал на пол. Медленно-медленно, грациозными шажками, испуская тихие вздохи и поводя вокруг томным взглядом, поддерживаемый десятком услужливых, любящих рук, завернувшись в красного шелка халат, наброшенный старухой ему на плечи, он двинулся к двери. Все направились за ним.

Начался обед. На первое были спагетти, потом жаркое из морских петушков и кальмаров, затем телятина по-генуэзски и, наконец, на десерт пастьера, неаполитанский торт из яичного теста с творогом. Джек и я сидели в конце стола, скорее взбудораженные, чем развеселившиеся, и молча наблюдали за действиями персонажей этой единственной в своем роде комедии, ожидая, что с минуты на минуту произойдет что-то из ряда вон выходящее. Все ели, пили, хмелели, вначале вполне умеренно, но потом, все больше и больше распаляясь, впали в любовное исступление и преисполнились ревнивой враждебности друг к другу. От одного неосторожного слова Жоржа, который с красным лицом сидел, упершись лбом в плечо Цицилия, и злорадно поглядывал на своих друзей и соперников, Жанлуи заплакал, как мне сначала показалось, с доса-

ды. Но каково было мое удивление, когда я убедился, насколько искренним и неподдельным было его горе и как сильно он страдал. Я окликнул его по имени, все обернулись ко мне, раздраженные и настороженные, словно если бы я нарушил заранее написанный и отрепетированный сценарий. Жанлуи продолжал безутешно плакать, не собираясь успокаиваться, и тогда Цицилий плавно поднялся со стула, подошел к нему и стал целовать за ушком, гладить по волосам, говорить что-то очень нежное, хотя было очевидно, что им движет не столько желание утешить Жанлуи в его страданиях, сколько стремление получить злорадное удовольствие, возбудив ревность в его соперниках.

Когда я разглядел Цицилия вблизи и во весь рост, он показался мне еще моложе, чем в постели. Это был юноша не более восемнадцати лет редкой красоты. Поражала естественность его манер и речи, он выглядел опытнейшим актером в каждой сцене этого спектакля. Он не только не робел и не стыдился своего странного наряда и роли, которую играл, но, напротив, похоже, гордился своим новым обличьем и своим искусством.

Приласкав Жанлуи, он вернулся на свое место во главе стола и скоро, то ли от обильной еды и крепкого вина, то ли от свежего морского воздуха, понемногу стал терять некоторые черты своего, если можно так сказать, женского целомудрия. Его глаза загорелись, голос окреп, обогатился звонкими, мужскими нотами, под обожженной солнцем кожей на плечах и руках заиграла мускулатура, руки стали грубыми, а пальцы — узловатыми и хваткими. Мне это не понравилось, показалось, что такая перемена слишком откровенно подчеркивала малопривлекательную сторону всей этой комедии, обнаруживала ее скрытый подтекст. Но, как я потом узнал, эта неожиданная метаморфоза была тоже частью ритуала, более того, это был самый утонченный момент действа; "фильята" не была бы "фильятой", если бы не заканчивалась церемонией рукоцелования, назовем это так.

И действительно, Цицилий вдруг начал провоцировать сотрапезников, мешая ласковые речи с оскорблениями, непристойными шутками и выкриками. Затем он встал и широким королевским жестом, как корону, сорвал с головы чепец, гордо оглядел всех вокруг, скривил губы в презрительной улыбке триумфатора, встряхнул черными кудрями и вдруг, опрокинув ударом ноги стул, издав резкий смешок, бросился бегом к дому, проскользнул в дверь и исчез. Все встали и, громко стеная от горя и гнева, побежали за ним и тоже влетели в дом.

— Пошли! — вскричал Джек, схватил меня за руку и потащил за собой. Он был бледен, крупные капли пота сверкали на лбу. Мы взлетели по лестнице и заглянули в дверь.

Цицилий лежал на постели, раскинув ноги, и, приподнявшись на локтях, буравил Жоржа взглядом, в котором поблескивала ирония и вместе с тем угроза. Жорж неподвижно стоял перед ним, тяжело дыша, откинувшись спиной на друзей, подпиравших его сзади. Неожиданно, с криком, болезненно отдавшимся у меня в ушах, Жорж упал на колени перед Цицилием и, скуля от любовных страданий, сунул голову меж его бедер.

Медленно, тяжело, почти неохотно юноша перевернулся, открыв взгляду подтянутые, мускулистые ягодицы. Жорж, испуская дикие вопли и захлебываясь слезами, принялся целовать и кусать их, поспешно

расстегивая и сбрасывая брюки. Тогда и остальные, скуля и плача, стали расстегивать и снимать брюки, бросаться на колени, целовать и кусать друг другу ягодицы, ползать на четвереньках по комнате, подвывая то ли по-детски, то ли по-звериному.

Джек с бешеной силой сжимал мне руку, он побелел. Губы у него дрожали, глаза помутнели, на висках вздулись жилы.

— Go on, Malaparte, go on! Давай, Малапарте, давай! — бормотал он. — Oh! Go on, Malaparte! Дай ему под зад, дай ему доброго пинка под зад, Малапарте, я больше не могу, Малапарте, дай ему пинка под зад, ну же, Малапарте!

— Я не могу, Джек, — отвечал я, — я просто не могу, Джек, я ведь всего лишь итальянец, несчастный побежденный итальянец, я не могу дать под зад герою. Жорж — герой, герой свободы, Джек, а я несчастный сукин сын, бедный побежденный, я не имею права дать под задницу герою свободы, Джек, я не имею права, клянусь, я не имею на это права, Джек!

— Oh, go on, Malaparte! — бормотал Джек, бледный, он весь дрожал. — Je m'en fous des héros, Malaparte, oh! Je t'en supplie, jette-lui ton pied dans le derrière, oh, Malaparte! Jette ton pied dans le derrière à tous ces héros, мне ведь нельзя, я американский полковник генерального штаба, я не в праве устраивать скандал, а ты, Малапарте, о, Малапарте, tu peux, tu es un Italien, tu es chez toi, oh, Malaparte, go on, Malaparte, go on![1]

— Я не могу, Джек, — говорил я, — дать пинка под зад этим героям свободы, мне тоже они на хрен не нужны, эти гребаные герои, но я не могу, я просто не могу, Джек!

— А, ты боишься! — бормотал Джек, с силой сжимая мне руку.

— Да, я боюсь, Джек, признаю, я боюсь. Ты не знаешь, на что способна эта порода героев! Не знаешь всей подлости и злобы этих героев! Они отомстят, засадят в тюрьму, раздавят меня, Джек, ты не знаешь злопамятности этих педерастов, когда они берутся быть героями!

— Боишься! Ты тоже подонок! Go on, you bastard! — говорил Джек, буравя меня сверкающим взглядом.

— Признаю, Джек, я боюсь, но я не подонок, Джек, я несчастный побежденный, Джек, и я боюсь. Мне тоже неймется дать им доброго пинка под зад, Джек, но я боюсь. Ты не знаешь, Джек, какая падаль эти герои!

— Oh, go on, Malaparte, go on, — бормотал Джек, вонзая ногти в мою руку, — oh, je t'en supplie, Malaparte, go on, go on![2]

— Не могу, Джек, не могу, я боюсь. Ты американский полковник, можешь делать что хочешь, я же всего-навсего итальянец, несчастный итальянец, побежденный и униженный, не могу, Джек! Ты не знаешь, какая падаль эти педерасты, когда берутся быть героями свободы! О, прости, Джек, но я не могу, решительно не могу!

— Go on, Malaparte! Je t'en supplie, go on! — бормотал Джек.

1. Давай, Малапарте!.. Плевать мне на героев. Дай ему под зад, прошу тебя, Малапарте, дай под зад всем этим героям... ты можешь, ты итальянец, ты у себя дома, о, Малапарте, давай, давай, Малапарте! (*франц., англ.*)
2. Давай, Малапарте... я умоляю тебя, дай ему, Малапарте (*франц., англ.*).

И вдруг, оттолкнув меня, он бросился к Жоржу и дал ему сильнейшего пинка в жирную розовую задницу.

— Salauds! Cochons![1] — кричал Джек как безумный, рассыпая вокруг удары и пинки, размахивая, как разящей дубиной, деревянным монстром, вырванным из рук Цицилия. Казалось, его охватил слепой гнев, я испугался. Пока Жорж и камарилья, испуская пронзительные женские вопли, сбились в кучу на полу возле кровати (единственный, кто не выказал ни удивления, ни страха, был Цицилий, он сидел на постели, смотрел на Джека полным восхищения взглядом и приговаривал: "Какой мужчина! Какой красивый мужчина!"), я обхватил Джека сзади за плечи и, почти поднимая над землей, попытался оттянуть назад и вытолкать за дверь. Мне удалось наконец совладать с ним, стащить вниз по лестнице и запихнуть в машину. Я сел за руль, включил зажигание, выехал на дорогу, и мы помчались.

— О, Малапарте! — стонал Джек, закрыв лицо руками. — On ne peut pas voir ces choses-là, non, on ne peut pas![2]

— Будь благословен ты, — сказал я, — и блажен, ибо ты — честный человек, Джек! I like you, I like you very much[3]. Ты просто великолепный, честный, неиспорченный американец, Джек! You are a wonderful american, Jack!

Джек молча смотрел перед собой. Я заметил что-то красно-черное у него в кулаке.

— Что у тебя в руке? — спросил я.

Джек раскрыл кулак, на ладони лежал огромный, чудовищный фаллос новорожденного.

— I am sorry, Малапарте, — сказал Джек, — наверное, я не должен был делать то, что сделал.

— Ты все сделал как надо, Джек, ты просто молодец, — сказал я.

— Наверное, я не имел права делать то, что сделал, — сказал Джек, — я не имел права оскорблять их.

— Ты все сделал хорошо, Джек, — сказал я.

— Нет, я не имел права, — сказал Джек, — я не имел права давать им пинка под зад.

— Ты — победитель, — сказал я, — ты же победитель, Джек. A winner!

— A winner, — сказал Джек, выбрасывая в окно мерзкую штуку, которую держал в руке, — победитель? Ты смеешься, Малапарте. A winner!

VI. *Черный ветер*

Черный ветер начал дуть к рассвету, и я проснулся весь мокрый от пота. Еще во сне я распознал его печальный говор, его черный голос. Я выглянул в окно и стал искать на стенах, крышах, на брусчатке мостовой, в листьях деревьев, в небе над Позиллипо следы его присутствия. Как шагающий на ощупь незрячий человек обласкивает воздух и ощупывает касаниями простертых рук предметы перед собой, так и черный ветер: он слепой, не видит, куда идет, то коснется стены, то ветки, то челове-

1. Свиньи! Подонки! (*франц.*)
2. Невозможно смотреть на такое, невозможно! (*франц.*)
3. Я люблю тебя, очень люблю (*англ.*).

ческого лица, берега или горы, оставляя в воздухе и на предметах черные отпечатки своих нежных прикосновений.

Не в первый раз слышал я голос черного ветра и сразу узнал его. Я проснулся мокрый от пота и, выглянув в окно, осмотрел дома, море, небо и высокие облака над морем.

Впервые я услыхал его голос на Украине летом 1941-го. Я был в казацких краях на Днепре, и однажды вечером казаки из села Константиновка, сидевшие, покуривая трубки, на пороге своих домов, сказали мне:

— Посмотри, там внизу черный ветер.

День умирал, солнце опускалось в землю за далеким горизонтом. Последний его луч, розовый и прозрачный, касался верхних веток белых берез; в тот грустный час, когда умирает день, я и увидел впервые черный ветер.

Он был как черная тень, как тень черной лошади, бредущей неизвестно куда по степи, то сторожко приближаясь к селу, то, словно испугавшись, удаляясь от него. Что-то похожее на крыло ночной птицы касалось деревьев, лошадей, собак, бродящих вокруг села, все сразу становилось темного цвета, окрашивалось в цвет ночи. Голоса людей и животных казались обрывками черной бумаги, летающими в розоватом воздухе заката.

Я направился к реке — вода была густая и черная. Я поднял взгляд на крону дерева — листья были блестящие и черные. Я подобрал камень — камень в руке был тяжелый и черный, непроницаемый для взгляда, как сгусток ночи. У возвращавшихся с полей вдоль длинных, низких колхозных навесов девушек были черные блестящие глаза, их вольный, задорный смех взлетал в воздух, как черная птица, хотя день был еще светел. И деревья, и голоса, и животные, и люди, такие черные светлым еще днем, наполняли меня непонятным страхом.

Старые казаки с испещренными морщинами лицами, длинными чубами, обернутыми вокруг бритых черепов, говорили:

— Это черный ветер, ciorni vetier, — и качали головой, глядя, как черный ветер шатается неуверенно по степи, как испуганная лошадь.

Я сказал:

— Может, это вечерняя тень красит в черное ветер.

Старые казаки покачали головой и сказали:

— Нет, это не вечерняя тень красит ветер. Это ciorni vetier красит в черное все, чего коснется.

И научили меня распознавать голос черного ветра, его запах, его вкус. Они брали в руки ягненка, раздували черную шерсть, на корнях она была белой. Они брали в руки птенца, раздували черные мягкие перышки, и корни перьев были желтого, красного, голубого цвета. Они дули на штукатурку дома, и под черным налетом, оставленным прикосновениями ветра, проглядывала белизна известки. Они погружали пальцы в черную лошадиную гриву, и меж пальцами появлялся гнедой волос. Черные собаки, шумно резвящиеся на площади села, всякий раз, как пробегали вдоль палисадника или стены, закрытых от ветра, загорались рыжим цветом, а это и есть цвет казачьих собак, и сразу становились черными, стоило им выбежать на ветер. Старик ногтями выкопал из земли белый камень, взял его в руку и бросил в поток ветра, и казалось, это погасшая звезда, черная звезда погружается в светлый поток

дня. Так я научился узнавать черный ветер по запаху — это запах сухой травы, по вкусу — это горький вкус лавровых листьев, и по голосу — удивительно печальному, полному глубокой ночи.

На следующий день я ехал верхом в Дорого, что в трех часах пути от Константиновки. Было поздно, моя лошадь устала. Я ехал в Дорого посмотреть знаменитый колхоз, где выращивали лучших на всей Украине лошадей. Я выехал из Константиновки около пяти пополудни и рассчитывал добраться в Дорого до ночи. Но недавние дожди сорвали мосты через небольшие речки, их много в этих краях, и превратили дорогу в полную грязи канаву, заставляя меня то подниматься, то спускаться по течению в поисках брода. Я был еще далеко от Дорого, когда солнце с глухим звуком погрузилось за горизонтом в землю. В степи солнце заходит неожиданно: камнем падает в траву со звуком булыжника, ударяющегося о землю. Когда я выехал из Константиновки, меня долго сопровождали венгерские всадники, направлявшиеся в Сталино. Они курили на скаку длинные трубки, останавливались и что-то обсуждали мягкими, певучими голосами. Я думал, они совещаются, какую выбрать дорогу, но вдруг сержант, он был старшим, спросил меня по-немецки, не хочу ли я продать мою лошадь. То была казацкая лошадь, ей был знаком каждый запах, вкус каждой травинки, каждый голос в степи.

— Это мой друг, — сказал я, — а друзей я не продаю.

Сержант посмотрел на меня и улыбнулся:

— Красивая лошадь, — сказал он, — но вам она, должно быть, дорого не стоила. Можете сказать, где вы ее украли?

Я знал, как отвечать конокрадам, и сказал:

— Да, прекрасный конь, летит как ветер целый день без устали, но у него проказа.

Я смотрел ему в лицо и смеялся.

— Проказа? — сказал сержант.

— Не веришь? — сказал я. — Если не веришь, тронь его, увидишь, он наградит тебя проказой.

И, слегка пришпорив коня, медленно поехал не оборачиваясь. Я еще долго слышал за спиной их смех и нелестные в мой адрес выкрики, потом краем глаза увидел, как они скатились к реке и, сбившись в кучу, поскакали галопом, размахивая руками. Через несколько миль я встретил рыскавших в поисках добычи румынских всадников с перекинутыми через седла ворохами шелковых халатов и бараньих шуб, награбленных, наверное, в каком-то татарском селении. Они спросили, куда я еду.

— В Дорого, — ответил я.

Они охотно проводили бы меня в Дорого, сказали они, в степи рыщут банды венгерских грабителей, но лошади у них устали. Они пожелали мне счастливого пути и удалились, изредка оглядываясь и махая мне рукой.

Была уже почти ночь, когда я заметил далеко впереди блеск огней. Это, конечно, было Дорого. Вдруг я узнал запах ветра, и сердце у меня замерло. Я посмотрел на свои руки, они были черные и сухие, как обугленные. Черными были редкие деревья, торчащие там и сям по степи, черными были камни, земля, но воздух был еще светлым, он казался серебряным. Последние лучи дня умирали в небе за моей спиной, и дикие кони ночи галопом мчались мне навстречу с востока, поднимая черные тучи пыли.

Я чувствовал на лице ласковые прикосновения черного ветра, черная ночь наполняла мне рот. Тишина, густая и вязкая как болотная жижа, лежала в степи. Я обнял лошадь за шею и тихо заговорил с ней. Она слушала мой голос и ласково ржала мне в ответ, повернувшись ко мне большим раскосым глазом, огромным черным глазом, полным меланхоличного, благородного безумия. Была почти ночь, огни селения Дорого были совсем близко, как вдруг высоко над головой я услыхал человеческие голоса.

Я посмотрел вверх, мне показалось, двойной ряд деревьев стоял вдоль дороги в том месте, склонив ветви над моей головой. Я не видел ни стволов, ни ветвей, ни листьев, я только чувствовал присутствие деревьев вокруг меня и странное присутствие чего-то значительного в черной ночи, чего-то живого, вмурованного в черную стену ночи. Я придержал лошадь и прислушался. Над моей головой говорили люди, человеческая речь звучала в черном воздухе высоко надо мной.

— Wer da? — крикнул я. — Кто там?

Далеко на горизонте легкая розовая полоса светлела в небе. Голоса пролетали высоко над головой, то были человеческие голоса, слова немецкие, русские, еврейские. Громкие голоса говорили между собой; немного скрипучие, жесткие, холодные и хрупкие, как стекло, они падали и разлетались со звоном разбитого о камень стекла. Я снова крикнул:

— Wer da?

— Кто ты? Что надо? Кто ты? Кто ты? — разнеслось в ответ над моей головой.

Край горизонта был розовым и прозрачным, как скорлупа яйца, казалось, яйцо выходит медленно из чрева земли.

— Я человек, христианин, — сказал я.

Пронзительный смех пробежал по черному небу и растаял далеко в ночи. И один голос, сильнее других, прокричал:

— А-а, так ты христианин?

Я ответил:

— Да, христианин.

Издевательский смех встретил мои слова, он пролетел высоко надо мной и улетел, угасая в ночи.

— И тебя не жжет стыд оттого, что ты христианин? — крикнул голос.

Я молчал. Пригнувшись к лошади и зарывшись лицом в гриву, я молчал.

— Почему не отвечаешь? — крикнул голос.

Я молчал и смотрел на светлеющий горизонт. Золотистый свет, прозрачный, как яичная скорлупа, медленно разливался в небе. Это яйцо рождалось там, внизу, оно медленно выбиралось из лона земли, поднималось из ее глубоких, черных недр.

— Чего молчишь? — крикнул голос.

Я услыхал высоко над головой ропот, похожий на шорох веток на ветру, шепот, похожий на шелест листьев, злобный смех и жестокие слова пробежали по черному небу. Черное крыло коснулось моего лица. То были птицы, большие черные птицы, может, вороны, разбуженные голосами, они всполошились и сорвались прочь, рассекая воздух взмахами тяжелых черных крыльев.

— Кто вы? — крикнул я. — Ради Бога, отвечайте!

Сияние луны разливалось по небу. Это яйцо рождалось в утробе ночи, яйцо рождалось в чреве земли и медленно поднималось из-за горизонта. Понемногу стали видны деревья вдоль дороги, они выделялись на золоченом небе, черные тени двигались вверху между веток.

Крик ужаса разорвал мне горло. Там были распятые люди. Там были пригвожденные к стволам деревьев люди с раскинутыми крестом руками, их ноги были прибиты к стволам длинными гвоздями или привязаны стальной проволокой, обхватывающей лодыжки. Одни склонили головы на плечо, другие — на грудь, третьи смотрели вверх, любуясь восходящей луной. На ком-то были черные еврейские кафтаны, многие были наги, их плоть целомудренно сияла в холодном свете луны. Как набрякшее жизнью яйцо, символ плодородия и вечности (мертвые в захоронениях этрусков в Тарквинии держат яйцо перед собой двумя пальцами), белая, холодная луна выходила из лона земли и зависала в небе, освещая бородатые лица, черные глазницы, распахнутые рты, изувеченные члены распятых людей.

Я приподнялся в стременах, протянул руки, пытаясь ногтями вырвать пронзивший ногу гвоздь. Но возмущенные голоса зашумели вокруг, и распятый человек крикнул:

— Не трогай меня, проклятый.

— Я не сделаю вам зла! — крикнул я. — Ради Бога, дайте мне помочь вам!

Страшный смех пробежал от дерева к дереву, от распятия к распятию, головы задвигались, задергались бороды, рты открывались и закрывались, я услышал зубовный скрежет.

— Помочь? — закричал голос с высоты. — А зачем? Может, тебе жалко нас? Потому что ты христианин? Отвечай — потому что ты христианин? Думаешь, это дает тебе право? Тебе жаль нас, потому что ты христианин?

Я молчал, голос зазвучал еще громче:

— А те, что распяли нас, разве не христиане? Может, они собаки, лошади, крысы, те, что распяли нас на деревьях? Ха-ха-ха! Христианин!

Я склонил голову к шее лошади и молчал.

— Ну, отвечай! По какому праву ты хочешь помочь нам? Какое право ты имеешь жалеть нас?

— Это не я распял вас! Это не я!

— Я знаю, — сказал голос с невыразимой ласковой ненавистью, — я знаю, то были другие, такие как ты.

В это время издалека донесся стон, горькое громкое стенание, плач юноши вперемежку со смертными всхлипами. От дерева к дереву пронесся ропот и долетел до нас. Взволнованно зашумели голоса:

— Кто это? Кто это? Кто умирает там внизу?

Другие голоса горестно отвечали от распятия к распятию:

— Это Давид, это Давид Самуэля, Давид, сын Самуэля, это Давид, это Давид...

Вместе с именем от дерева к дереву донеслись до нас сдержанные рыдания, хриплый, тонкий плач, стоны, проклятия, крики горя и гнева.

— Он был еще мальчик, — сказал голос.

Я поднял глаза и увидел освещенного уже взошедшей луной, белыми холодными лучами висящего в черном небе яйца, того, кто говорил со

мной, это был нагой человек с серебряным, изможденным, бородатым лицом. Его руки, раскинутые крестом, были пригвождены к расходящимся от ствола толстым веткам. Он смотрел на меня в упор сверкающими глазами и вдруг прокричал:

— Что нам до твоей жалости? Что мы будем с ней делать? Мы плюем на нее, на твою жалость, ja napliwaiu! Ja napliwaiu! Я плюю на нее! плюю! плюю!

— Ради Бога, — крикнул я, — не гоните меня! Дайте мне снять вас! Не отвергайте мою помощь, это помощь человека!

Злобный смех поднялся вокруг, ветви застонали над моей головой, страшная дрожь прошла по листьям.

— Ха-ха-ха! — прокричал распятый человек. — Вы слышали? Он хочет снять нас с креста! У него нет стыда! Что за грязная порода христиане, вы мучаете нас, распинаете на деревьях, а потом приходите к нам с вашим состраданием! Хотите спасти ваши души? Вы боитесь ада! Ха-ха-ха!

— Не гоните меня, — крикнул я, — не отвергайте мою помощь, ради Бога!

— Ты хочешь снять нас с креста? — сказал распятый человек голосом усталым и печальным. — А потом? Немцы убьют нас как собак. Они и тебя убьют, убьют как бешеного пса.

— Нас убьют как собак, — повторил я про себя, опустив голову.

— Если хочешь помочь нам, сократить наши мучения... стреляй в голову, по одному. Ну, давай, что ж ты не стреляешь? Если тебе действительно жаль нас, стреляй, добей нас. Что же ты? Боишься, немцы убьют тебя за жалость к нам?

Он сверлил меня взглядом, я чувствовал на себе пронзительный взгляд его сверкающих глаз.

— Нет! Нет! — кричал я. — Пожалейте меня, не просите, ради Бога! Не просите, я никогда не стрелял в человека, я не убийца! Я не хочу быть убийцей! — Я кричал, и плакал, и бился головой о лошадиную шею.

Распятые молчали, я слышал их дыхание, свистящий меж зубов хрип, чувствовал на себе их тяжелые взгляды, их глаза, огнем жгущие мое залитое слезами лицо и пронзающие грудь.

— Если тебе жаль, убей меня! — прокричал распятый человек. — Пусти мне пулю в лоб! Стреляй в голову, пожалей меня! Ради Бога, убей меня, убей меня, ради Бога!

Тогда, плача и стеная, с трудом и болью двигая налитыми тяжестью членами, я опустил руку, вытащил пистолет из кобуры, медленно поднял, привстал в стременах, держась левой рукой за гриву лошади — я боялся упасть, совсем ослабев от ужаса, — и направил его в голову распятому человеку. И посмотрел ему в лицо. Я увидел черный, беззубый рот, изогнутый нос с забитыми сгустками крови ноздрями, растрепанную бороду и сверкающие черные глаза.

— А, проклятый! — закричал распятый человек. — Так вот она, твоя жалость? Больше вы ничего не умеете, трусы? Вы распинаете нас на деревьях, а потом убиваете выстрелом в голову? И это ваша жалость, негодяи?

И он два, три раза плюнул мне в лицо.

Я отпрянул в седле, страшный смех пробежал от дерева к дереву. Почувствовав шпоры, лошадь пошла рысью. Склонив голову и ухватив-

шись обеими руками за луку седла, я скакал под распятыми людьми, и каждый плевал в меня и кричал:

— Подлец! Проклятый христианин!

Плевки обжигали мне лицо и руки, я стиснул зубы, пригнулся к лошади, и проскакал под градом этих плевков.

Так я доехал до Дорого и упал с седла на руки солдат итальянского гарнизона этой затерянной в степи деревушки. Это были кавалеристы полка Лоди под командой младшего лейтенанта из Ломбардии, очень молодого человека, почти мальчика. Ночью меня лихорадило, я бредил до рассвета под присмотром молодого офицера. Не помню, что я кричал в бреду, но когда пришел в себя, лейтенант мне сказал, что не я виноват в страшной участи, постигшей несчастных, и что сегодня утром немцы расстреляли крестьянина за то, что тот дал напиться распятым. Я кричал: "Я не хочу этой веры, мне противно быть христианином, проклятым христианином!" Я порывался пойти напоить несчастных, но офицер и двое солдат крепко держали меня, не давая встать с кровати. Я рвался из их рук, потом потерял сознание, потом пришел в себя, потом лихорадка снова свалила меня, я бредил весь день и еще ночь.

На следующий день я остался в постели, слишком слабый, чтобы подняться. Я смотрел сквозь оконные стекла на белое небо над желтой степью, на зеленые облака над горизонтом, слушал голоса крестьян и солдат, проходящих вдоль забора. Молодой офицер сказал мне тем вечером, что, если уж мы не можем предотвратить эти страшные деяния, нужно стараться забыть их, чтобы не сойти с ума, и добавил, что, если я буду чувствовать себя лучше, он поедет со мной на следующий день в знаменитый коннозавод колхоза Дорого. Я поблагодарил его за доброту и сказал, что хочу вернуться поскорее в Константиновку. На третий день я встал с постели, распрощался с молодым офицером (помню, я дрожал, обнимая его) и, хотя чувствовал себя обессиленным, сел в седло и в сопровождении двух кавалеристов отбыл в Константиновку сразу после полудня.

Лошади бежали легкой рысью, и когда мы выехали на обсаженную деревьями дорогу, я закрыл глаза, пришпорил коня и галопом поскакал меж двух рядов распятых людей. Я скакал, пригнувшись в седле, закрыв глаза и сжав зубы. Потом резко остановил лошадь:

— Что значит эта тишина? — крикнул я. — Почему такая тишина?

Я узнал эту тишину. Я открыл глаза и посмотрел. Страшные Иисусы висели недвижимые на своих крестах, глаза навыкате, распахнутые в оскале рты, и пристально смотрели на меня. Черный ветер носился по степи, как слепая лошадь, шевелил тряпье, прикрывавшее жалкие, изувеченные тела, шевелил листья деревьев — но даже легчайшего шороха не было слышно. Черные вороны сидели неподвижно на плечах мертвых и внимательно разглядывали меня.

Стояла тишина, мертвая тишина. Свет был мертвый, запах травы, окрас листьев, камней, летящих по серому небу облаков — все было мертво в той безбрежной, леденящей, пустой тишине. Я дал шпоры коню, он встал на дыбы и пустился галопом вперед. С плачем и криком помчался я по степи сквозь черный ветер, который носился среди светлого дня, как слепая лошадь.

Я узнал эту тишину. Зимой 1940-го, чтоб убежать от войны и людей, чтоб излечиться от зла и мерзости, которыми война поражает сердце человека, я укрылся в Пизе, в мертвом доме в конце самой красивой и самой мертвой из улиц этого прекрасного мертвого города. Со мной был Феб, мой пес Феб, которого я подобрал умирающим от голода на пляже Марина-Корта на острове Липари[1]. Потом я вылечил и выкормил его в своем мертвом доме на Липари, он был моим единственным другом за все одинокие годы изгнания на той печальной, дорогой моему сердцу земле.

Я никогда не любил так ни женщину, ни брата, ни друга, как любил Феба. Это был пес, как я. Это для него я с любовью написал рассказ "Пес, как я". Это было благородное создание, самое благородное существо, какое я встречал когда-либо в жизни. Он был из той редкой и необычной породы борзых, что пришли с берегов Азии вместе с древней ионической миграцией, пастухи Липари зовут их *чернеги*. Таких собак древние греческие скульпторы высекали по низу могильных плит.

— Они подстерегают смерть, — говорят пастухи острова Липари.

Шерсть у него была лунного цвета, розово-золотистого цвета луны над морем, цвета луны над темными листьями лимонов и апельсинов, над чешуей мертвых рыб, которых море оставляло после бури на берегу у порога моего дома. Она была цвета луны над греческим морем у берегов Липари, луны из стихов "Одиссеи", луны над диким морем вокруг Липари, которое Улисс переплыл, чтоб достичь одинокого острова повелителя ветров Эола. Цвета мертвой луны, какой она бывает перед рассветом. Я звал его Канелуна, Лунный пес.

Он не отходил от меня ни на шаг. Он был привязан ко мне, как пес. *Я говорю, он был привязан ко мне, как пес.* Его присутствие в моем бедном доме, без устали терзаемом ветром и морем, было настоящим чудом. Ночью он освещал мою голую комнату светлым теплом своих лунных глаз. У него были бледно-голубые глаза, глаза цвета моря, когда заходит луна. Я чувствовал его присутствие, как присутствие тени, моей тени. Он был отражением моего духа. Он помогал мне одним только своим присутствием обрести то презрение к людям, что есть первое условие ясности и мудрости человеческой жизни. Я знал, что мы похожи, что он не что иное, как образ моей совести, моей тайной жизни. Мой портрет, со всем самым потаенным, самым интимным, присущим лишь мне одному. Мое подсознание и, если можно так сказать, мой призрак.

От него много больше, чем от людей, от их культуры и тщеславия, я научился тому, что мораль бескорыстна, мораль есть цель сама по себе, она не претендует на спасение мира (всего лишь на спасение мира!), а только ищет все новых поводов для своего бескорыстия, для своей свободной игры. Встреча собаки с человеком — это всегда встреча свободных духом существ, двух форм достоинства и бескорыстной морали. Самая бескорыстная, самая романтическая из всех встреч. Из тех, что смерть освещает своим бледным сиянием, похожим на свет мертвой луны над морем в зеленом небе рассвета.

1. Один из островов в Тирренском море близ Сицилии, куда был сослан Малапарте.

Я узнавал в нем мои самые секретные движения души, мои тайные побуждения, мои сомнения, мой страх и мои надежды. Моим было его достоинство перед людьми, его мужество и гордость перед лицом жизни, его презрение к ничтожным чувствам человека. Но он лучше, чем я, ощущал тайные предзнаменования природы, невидимое присутствие смерти, которая всегда рядом, молчаливая и ждущая своего часа. В ночном воздухе он издалека чувствовал печальный приход зарождающихся сновидений, похожих на мертвых насекомых, приносимых ветром неизвестно откуда. Иногда ночью, свернувшись у моих ног в моей голой комнате на острове Липари, он следил глазами за невидимой тенью, которая то приближалась, то удалялась, долгими ночными часами наблюдая за мной из-за оконного стекла. Но всякий раз, когда таинственное нечто приближалось ко мне, почти касаясь моего лба, Феб угрожающе рычал и ощетинивался, и я слышал тогда затихающий в ночи жалобный крик.

Он был самый дорогой мой брат, мой настоящий брат, который не предаст и не унизит. Брат, который любит, который поможет, поймет и простит. Только тот, кто долгие годы провел в ссылке на диком острове и, вернувшись, увидел, как люди, ставшие в одночасье, едва умер тиран, героями свободы, сторонятся и избегают его, словно прокаженного, — только тот может знать, что такое собака для человека. Феб часто смотрел на меня с благородным и грустным упреком в любящем взгляде. Тогда я испытывал перед ним странный стыд, почти угрызения совести за свое уныние, ощущал нечто вроде робости по отношению к нему. Я чувствовал, что в такие моменты Феб меня презирал: вместе с огорчением и нежной любовью в его взгляде несомненно была тень сострадания и презрения ко мне. Он был не только мой брат, он был — мой судья. Он был хранителем моего достоинства и в то же время, назову это греческим словом, doruforema[1].

Это был грустный пес с тяжелым взглядом. Каждый вечер долгими часами сидели мы на высоком, продуваемом ветрами пороге моего дома и смотрели на море. О, греческое море Сицилии, о, красная скала Сциллы против Харибды, и снежная вершина Аспромонте, и белые склоны Этны, Олимпа Сицилии. Поистине, нет ничего прекраснее в мире, как поет Теокрит, чем созерцать с высокого берега море Сицилии. В горах зажигали костры пастухи, лодки выходили в море навстречу высокой луне, слышался жалобный крик морских раковин, с помощью которых рыбаки перекликаются в море. Все вокруг растворялось в серебряной лунной окалине. Луна вставала над скалами Сицилии и Стромболи, высокий, недостижимый вулкан посреди моря пылал одиноким костром в глубине дремучего синего леса ночи. Мы смотрели на море, вдыхали горький запах соли, сильный, пьянящий запах апельсиновых рощ, запах козьего молока, зажженных в очагах веток можжевельника и тот жаркий, телесный запах женщины, который и есть запах сицилийской ночи, когда первые бледные звезды появляются на горизонте.

Потом меня повезли в железных наручниках с острова Липари на другой остров и уже оттуда через несколько месяцев — в Тоскану. Феб следовал за мной на расстоянии, прячась между бочек с килькой и бух-

1. Телохранитель.

тами канатов на палубе "Санта-Марины", маленького пароходика, курсировавшего между Липари и Неаполем, укрываясь среди корзин с рыбой и помидорами в моторной лодке, сновавшей между Неаполем, Искьей и Понцей. С наглостью, свойственной подонкам, — а это единственный способ, каким лакеи могут заполучить для себя право на свободу, — люди останавливались, чтобы посмотреть на меня полным презрения и ненависти взглядом, и цедили сквозь зубы оскорбления. Только растянувшиеся на солнце на скамейках в порту Неаполя лаццарони тайком улыбались мне и плевали в землю меж башмаков карабинеров. Я часто оборачивался, чтобы поглядеть, идет ли за мной Феб, и видел его, трусящим с опущенным хвостом вдоль стен по улицам Неаполя, от Иммаколателла до Моло-Беверелло, в его ясных глазах была чудесная грусть.

В Неаполе, когда я в наручниках шел между карабинерами по улице Партенопе, две женщины подошли ко мне, улыбаясь: это были жена Бенедетто Кроче и Минни Казелла, жена моего дорогого Гаспара Казеллы. Они приветствовали меня с материнской добротой итальянских женщин и попросили карабинеров проводить меня подкрепиться и выпить. Уже два дня я не ел.

— Хотя бы ведите его по теневой стороне, — сказала синьора Кроче.

Был июнь, и солнце молотом било по голове.

— Спасибо, мне ничего не нужно, — сказал я, — я попрошу вас только дать напиться моей собаке.

Феб стоял в нескольких шагах и смотрел в лицо синьоры Кроче с болезненным напряжением. Он давно уже не видел в человеческом лице сострадания и доброты. Он почувствовал, что ему дадут напиться, прежде чем принесли воду. Через несколько месяцев меня перевели в тюрьму в Лукку, где продержали долго. Когда охранники вывели меня из тюрьмы, чтобы препроводить на новое место, Феб ждал меня у ворот, худой и изможденный. Его глаза сверкали ясным светом, полные пугающей нежности.

Ещё два года продлилась моя ссылка, эти два года мы жили в маленьком доме в глубине леса, в одной комнате жили Феб и я, в другой — карабинеры-охранники. Наконец я обрел свободу, вернее то, что именовалось в то время свободой. Для меня это было все равно что выйти из комнаты без окон и попасть в комнату без стен. Мы обосновались в Риме, Феб загрустил, казалось, зрелище моей свободы его унижало. Он знал, что свобода — не для человека, что люди не могут или не умеют быть свободными, что свобода в Италии, в Европе воняет, как и рабство.

Живя какое-то время в Пизе, мы почти весь день оставались в доме и только около полудня выходили погулять по светлой, холодной набережной вдоль красивой пизанской реки Арно серебристого цвета, потом шли на Пьяцца-деи-Мираколи, где возвышается падающая башня, сделавшая Пизу знаменитой на весь мир. Мы поднимались на башню и оттуда любовались пизанской равниной вплоть до Ливорно, до Массы, мы любовались сосновыми рощами, морем внизу, блестящей морской рябью, апуанскими Альпами, белыми от снега и мрамора. Это был мой край, мой тосканский край, это было мое море и мои леса, это были мои горы, это была моя земля и мои реки.

Ближе к вечеру мы шли посидеть на парапете над Арно (на том самом парапете, по которому лорд Байрон, будучи в ссылке в Пизе, гарцевал каждое утро на своем прекрасном скакуне-алезанце под испуганные крики мирных обывателей), чтобы посмотреть на течение реки, несущее в своем светлом потоке опаленные зимние листья, и на серебряные облака в древнем небе Пизы.

Феб долгими часами лежал, свернувшись у моих ног, иногда вставал, направлялся к двери, оборачивался и глядел на меня. Я шел открыть ему дверь, Феб выходил, потом возвращался через час или два, тяжело дыша, с отполированной ветром шерстью, с посветлевшими от холодного зимнего солнца глазами. Ночью, подняв голову, он слушал голос реки, голос дождя. Иногда, проснувшись, я чувствовал на себе его легкий нежный взгляд, его живое и любящее присутствие в темной комнате, его грусть, его опустошающее предчувствие смерти.

Однажды он ушел и не вернулся. Я прождал до вечера; когда наступила ночь, я вышел из дома, стал бегать по улицам и звать его по имени. Я вернулся под утро и упал на постель лицом к приоткрытой двери. Много раз я подходил к окну, долго кричал и звал его. Перед рассветом я снова бросился искать Феба по пустынным улицам, между немыми домами, казавшимися под мутным небом сделанными из грязной бумаги.

Едва рассвело, я кинулся в муниципальный собачий приемник.

Я вошел в серую комнату, где, запертые в вонючих клетках, скулили собаки с отметинами петли собаколова на шее. Смотритель сказал, что собака могла попасть под машину, может, ее убили или бросили в реку хулиганы. Он посоветовал обойти все собачьи питомники, может, там найдется мой Феб.

Все утро я проходил от питомника к питомнику, наконец, один собачий цирюльник возле Пьяцца-деи-Кавальери спросил, был ли я в ветеринарной клинике университета, куда воры за гроши продают собак для клинических экспериментов. Я побежал в университет, было за полдень, и клиника была заперта. Я вернулся домой, у меня появилось ощущение чего-то гладкого, твердого и холодного в глазных впадинах, казалось, глаза мои стали стеклянными.

Днем я вернулся в университет, вошел в ветеринарную клинику. Сердце стучало, я едва шевелил ногами от слабости и тревоги. Я спросил дежурного врача и назвал свое имя. Врач, молодой близорукий блондин с усталой улыбкой, сердечно меня принял и долго смотрел на меня, прежде чем ответить, что сделает все возможное, чтобы помочь.

Он открыл дверь, мы вошли в большой, блестящий, чистый зал с полом, покрытым голубым линолеумом. Вдоль стен ровно, одна возле другой, как кроватки в детской больнице, стояли странные колыбельки в форме виолончели, в каждой из них на спине лежал пес с рассеченным животом, вскрытым черепом, или разверстой грудью.

Тонкие нити стальной проволоки, накрученной на деревянные винты, — такими натягивают струны музыкальных инструментов, — держали открытыми края страшных ран, где было видно бьющееся сердце, легкие, бронхи с разветвлениями вен, похожими на ветви дерева, крона которого вздувается от ветра. Красная, блестящая печень сокращалась медленно-медленно; легкие подрагивания пробегали по бело-розо-

вой мякоти мозга, как в запотевшем зеркале; переплетение кишок лениво извивалось, словно клубок выходящих из летаргического сна змей. Ни единого стона не выходило из приоткрытой пасти распятых псов.

Когда мы вошли, все собаки обратили к нам взгляд, смотря на нас молящими, настороженными глазами, они следили за каждым нашим движением, их губы подрагивали. Я стоял посреди зала, кровь стыла в моих жилах, я медленно каменел. Я не мог открыть рта, не мог сделать шага. Врач сжал мне руку, сказал:

— Мужайтесь.

Это слово сняло мое оцепенение, я медленно двинулся вперед и склонился над первой колыбелью. Мало-помалу, пока я переходил от одной колыбели к другой, кровь возвращалась к лицу, а в сердце затеплилась надежда. Вдруг я увидел Феба.

Он лежал на спине со вскрытым животом и с зондом в печени. Он смотрел на меня полными слез глазами. В его взгляде была чудесная нежность. Он медленно дышал приоткрытой пастью, сильная дрожь прошла по его телу. Он пристально смотрел на меня, дикая боль сковала мне грудь.

— Феб, — тихо сказал я.

Феб смотрел на меня с удивительной лаской в глазах. Я видел в нем Христа, распятого Христа, я видел Христа, смотрящего на меня полным пронзительной нежности взглядом.

— Феб, — сказал я тихо, склонился над ним и погладил ему лоб. Феб лизнул мне руку и не издал ни звука.

Врач подошел ко мне, тронул за руку.

— Я не имею права прерывать эксперимент, — сказал он, — это запрещено. Но для вас... Я сделаю ему укол. Он не будет страдать.

Я взял руку врача обеими руками, слезы заливали мне лицо, я сказал:

— Поклянитесь, он не будет страдать.

— Он уснет навсегда, — сказал врач. — Хотел бы я, чтоб и моя смерть была такой сладкой.

Я сказал:

— Я закрою глаза. Я не хочу видеть, как он умирает. Но сделайте это быстро! Как можно быстрее!

— Одну минуту, — сказал врач и отошел, бесшумно ступая по мягкому линолеуму. Он направился к шкафу в глубине зала и открыл его.

Я остался стоять перед Фебом, меня била дрожь, из глаз текли слезы. Феб смотрел на меня, и даже легкого стона не выходило из его гортани, он только смотрел на меня с чудесной лаской в глазах. Другие собаки в колыбелях тоже смотрели на меня, у всех в глазах была удивительная нежность, и ни одного, ни малейшего звука не выходило из их гортани.

Крик ужаса вырвался из моей груди:

— Почему так тихо? — крикнул я. — Что значит эта тишина?

Стояла страшная тишина. Бесконечная, ледяная, мертвая тишина. Тишина снега.

Доктор подошел со шприцем в руке.

— Перед операцией, — сказал он, — им удаляют голосовые связки.

Я проснулся мокрый от пота. Выглянул в окно, посмотрел на дома, на море, на небо над холмом Позиллипо, на остров Капри, блуждающий в

розовой дымке рассвета. Я узнал голос ветра, его черный голос. Я спешно оделся, сел на край кровати и стал ждать. Я знал, что жду чего-то печального и горестного, неизбежно предстоящего мне.

Около шести под моим окном остановился джип, я услышал стук в дверь. Это был лейтенант Кэмпбелл из PBS. Ночью пришла телефонограмма из генерального штаба Казерты: мне было приказано отправиться к полковнику Гамильтону под Кассино. Было поздно, нам предстояло ехать тотчас же. Я перекинул через плечо вещмешок, нырнул под ремень автомата, и мы отправились.

Кэмпбелл был высокий молодой блондин с голубыми, в белых крапинках глазами. Я много раз ездил с ним на фронт, мне он нравился за его улыбчивую флегматичность, за невозмутимость в минуты опасности. Это был грустный парень из штата Висконсин, может, он уже знал, что не вернется домой, что будет убит миной на дороге между Миланом и Болоньей за два дня до конца войны. Говорил он мало, был застенчив, а когда говорил, краснел.

Едва проехав мост в Капуе, мы встретили первые транспорты с ранеными. Это были дни безуспешных кровопролитных атак на линию немецкой обороны в Кассино. Мы въехали в зону огня. Мощные снаряды со страшным грохотом взрывались на улице Казилина. На контрольном пункте в трех километрах от первых домов Кассино нас остановил сержант MP и заставил спрятаться в укрытие под насыпью, пока не утихнет обстрел.

Но время шло, мы могли опоздать. Чтоб достигнуть артиллерийского наблюдательного пункта, где нас ждал полковник Гамильтон, мы решили, минуя улицу Казилина, рвануть через поле, где град снарядов был пореже.

— Good luck, удачи, — сказал нам сержант.

Кэмпбелл направил джип через ров, поднялся по откосу дорожной насыпи и стал взбираться по каменистому склону через бесконечные оливковые рощи, тянущиеся на тыльной стороне холмов, обращенных к Кассино. Перед нами этим же путем проехал другой джип: еще свежи были следы его колес на земле. В некоторых глинистых местах колеса нашего джипа бешено крутились и буксовали, нам приходилось медленно продвигаться вперед, минуя валуны, усеивавшие склон.

Вдруг внизу, в небольшой долине впереди нас, между двумя невысокими, лишенными растительности пригорками, мы увидали ударивший вверх фонтан земли и камней, глухой звук взрыва пронесся по холмам.

— Мина, — сказал Кэмпбелл, он старался ехать по колее, чтобы не наткнуться на мину, их было много в этой зоне.

Через некоторое время мы услыхали голоса и стоны, потом увидели среди олив группу людей вокруг перевернутого джипа. Еще один джип стоял невдалеке с изуродованными взрывом передними колесами.

Два раненых американских солдата сидели на траве, остальные суетились вокруг лежащего на земле человека. Солдаты с презрением посмотрели на мою форму, и один из них, сержант, сказал Кэмпбеллу:

— What hell he's doing here, this bastard? Какого черта делает здесь этот ублюдок?

— Итальянский офицер связи, — ответил Кэмпбелл.

— Выходите, — грубо сказал мне сержант, — дайте место раненому.

— Что с ним? — спросил я, спрыгивая с джипа.

— Рана в живот. Нужно срочно везти в госпиталь.

— Let me see, — сказал я, — дайте мне посмотреть.

— Are you a doctor? Вы врач?

— Нет, я не врач, — сказал я и склонился над раненым.

Это был молодой блондин, хрупкий, с детским лицом — почти мальчик. Из огромной дыры в животе кишки медленно сползали вниз по ногам, спутываясь меж колен в большой синеватый клубок.

— Дайте одеяло, — сказал я.

Солдат принес одеяло, я накрыл им живот раненого. Потом отозвал в сторону сержанта и сказал, что раненого перевозить нельзя, лучше не трогать его и оставить как есть, а тем временем послать Кэмпбелла на джипе за врачом.

— Это моя вторая война, — сказал я, — я видел десятки таких ран, здесь ничего не поделаешь. Это смертельная рана. Мы должны лишь позаботиться о том, чтобы не дать ему страдать. Если повезти его в госпиталь, он умрет по дороге в страшных мучениях. Лучше оставить его умирать здесь, так меньше страданий. Ничего не поделаешь.

Солдаты собрались вокруг и молча смотрели на меня.

Кэмпбелл сказал:

— Капитан прав. Я поеду в Капую за врачом и заодно отвезу обоих легкораненых.

— Мы не можем оставить его здесь, — сказал сержант, — в госпитале его, наверное, смогут оперировать, здесь мы не сможем сделать ничего. Это преступление — оставить его умирать.

— Он будет жестоко страдать и умрет, прежде чем доедет до госпиталя, оставьте его как есть, не трогайте.

— Вы не врач, — сказал сержант.

— Я не врач, но я знаю, что это такое. Я видел десятки и десятки ранений в живот. Я знаю, что не нужно трогать его, что его нельзя везти. Дайте ему спокойно умереть. Зачем заставлять страдать?

Солдаты молчали и смотрели на меня. Сержант сказал:

— Мы не можем оставить его умирать, как скотину.

— Он не умрет как скотина, он уснет как ребенок, без боли. Зачем заставлять его мучиться? Он умрет все равно, даже если доедет живым до госпиталя. Верьте мне, оставьте как есть, не мучьте. Врач приедет, он скажет, что я прав.

— Let's go, поехали, — сказал Кэмпбелл, повернувшись к двум раненым.

— Wait a moment, Lieutenant, — сказал сержант, — обождите минуту. Вы американский офицер, вам решать. В любом случае, вы свидетель — если парень умрет, вина будет не наша. Виноват будет этот итальянский офицер.

— Я не думаю, что виноват будет он, — сказал Кэмпбелл, — я не врач, не понимаю в ранах, но знаю этого итальянского капитана и знаю, что он порядочный человек. Какая ему польза советовать не везти бедного парня в госпиталь? Если он говорит оставить его здесь, я думаю, мы должны верить ему и последовать его совету. Он не врач, но у него больше опыта в делах войны и в ранениях. — Повернувшись ко мне, он добавил: — Вы готовы взять на себя ответственность за решение не везти бедного парня в госпиталь?

– Да, – ответил я, – я беру на себя ответственность за решение не везти его в госпиталь. Он должен умереть, пусть лучше умрет без страданий.

– That's all, решено, а теперь поехали, – сказал Кэмпбелл.

Двое легкораненых сели в джип, который направился вниз по каменистому склону и скоро исчез за оливами.

Сержант несколько секунд смотрел на меня, прищурил глаз и сказал:

– Что будем делать теперь?

– Нужно отвлечь бедного парня, позабавить его. Нужно рассказывать ему занятные истории, не давать ему времени думать о смертельной ране и осознать, что он умирает.

– Рассказывать истории? – сказал сержант.

– Да, рассказывайте смешные истории, пусть веселится. Если дадите ему время на размышление, он поймет, что ранен смертельно, ему станет плохо, он будет страдать.

– Мне не нравится разыгрывать комедии, – сказал сержант, – мы не итальянские полукровки и не комедианты. Если хотите валять дурака, валяйте на здоровье. Но если Фред умрет, будете иметь дело со мной.

– Почему вы оскорбляете меня? – сказал я. – Не моя вина, если я не чистых кровей, как все американцы... или как все немцы. Я уже сказал вам, что парень умрет, но без мучений. Я обещал избавить его от страданий, а не спасти ему жизнь.

– That's right, хорошо, – сказал сержант. И, повернувшись к остальным, слушавшим молча и смотревшим на меня, добавил:

– Вы все свидетели: этот грязный итальянец претендует...

– Заткнись, – крикнул я, – хватит с меня твоего дурацкого хамства! Вы пришли в Европу оскорблять нас или воевать с немцами?

– На месте этого бедного парня должен быть один из ваших, – сказал сержант, сузив глаза и сжав кулаки. – Почему вы не прогоните немцев сами?

– А почему вы не остались дома? Никто вас не звал. Надо было дать нам самим разобраться с немцами.

– Take it easy, не петушись, – сказал сержант с ехидным смешком. – Вы, европейцы, ни на что не годны, умеете только подыхать с голоду.

Все смеялись и смотрели на меня.

– Конечно, – сказал я, – мы не так хорошо кормлены, чтоб быть героями, как вы. Но я здесь, с вами, и рискую, как вы. Почему вы меня оскорбляете?

– Bastard people, никудышный народ, – сказал сержант.

– Зато вы раса героев, – сказал я, – десятка немецких солдат во главе с капралом хватает, чтобы три месяца сопротивляться вам.

– Заткнись! – крикнул сержант и сделал шаг ко мне.

Раненый застонал, и все повернулись к нему.

– Мучается, – сказал сержант, побледнев.

– Да, мучается, – сказал я, – мучается по нашей вине. Ему стыдно за нас. Вместо того чтобы помочь ему, мы оскорбляем друг друга. Но я знаю, почему вы оскорбляете меня. Потому что страдаете. Я сожалею, я наговорил лишнего. Вы думаете, я тоже не страдаю?

– Don't worry, captain, не волнуйтесь, капитан, – сказал сержант со смущенной улыбкой и слегка покраснел.

— Hello, boys! Привет, парни, — сказал раненый, приподнимаясь на локтях.

— Он вам завидует, — сказал я, указав на сержанта, — он хотел бы быть раненым, как и вы, чтоб вернуться домой.

— Это вопиющая несправедливость, — крикнул сержант, ударяя себя в грудь. — Можно узнать, почему это ты должен вернуться домой, а мы — нет?

Раненый улыбнулся.

— Домой, — сказал он.

— Скоро приедет санитарная машина и отвезет тебя в госпиталь в Неаполь, — сказал я, — а через пару дней самолет отвезет тебя в Америку. Ты просто счастливчик.

— Это несправедливо, — сказал сержант, — ты поедешь домой, а мы останемся здесь догнивать. Нам всем еще долго веселиться здесь, под этим проклятым Кассино!

Он подобрал с земли пригоршню грязи, размазал ее по лицу, растрепал волосы и принялся строить рожи. Все засмеялись, раненый улыбнулся.

— Вместо нас придут итальянцы, а мы поедем домой, — сказал один из солдат. Он протянул руку, взял мою офицерскую шляпу альпийских стрелков с длинным пером, натянул ее себе на голову и начал скакать перед раненым, строя гримасы и крича: — Вино! Спагетти! Синьорины!

— Go on! Давай! — крикнул мне сержант и подтолкнул меня.

Я покраснел. Мне не хотелось изображать шута. Но я должен был сделать это, ведь я сам предложил разыграть эту печальную комедию. Если бы речь шла о паясничанье ради спасения родины, человечества, свободы, я бы отказался. Мы все в Европе знаем, есть тысячи способов валять дурака. Играть роль героя, подонка, предателя, революционера, спасителя отечества, страдальца за свободу — все это способы валять дурака. Поставить человека к стенке и пустить ему очередь в живот, проигрывать и выигрывать войны — все это способы валять дурака. Но теперь я не мог отказаться ломать комедию, чтобы помочь бедному американскому парню умереть без страданий. В Европе, будем справедливы, часто случается ломать комедию ради гораздо менее важных вещей! Сейчас речь шла о том, чтобы не дать мучиться человеку. Я ел бы землю, грыз бы камни, глотал бы навоз, предал бы мать, чтоб не дать страдать человеку. Или животному. Смерть меня не пугает, я не испытываю к ней ненависти, она не вызывает во мне отвращения, в сущности, она меня мало трогает. Но мучения я ненавижу, и больше чужие, людей или животных, чем свои. И я готов на все, на любую подлость, на любое геройство, лишь бы не дать страдать человеку, лишь бы помочь человеку не мучиться, умереть без боли. Тогда, даже чувствуя, как краска заливает лицо, я счастлив валять дурака не ради родины, человечества, чести нации, славы, свободы, а ради облегчения страданий бедного парня, чтобы дать ему умереть без мучений.

— Chewing-gum! Chewing-gum! Жвачка! Жвачка! — закричал я и принялся скакать перед раненым, гримасничать, изображая, как жую огромную жвачку, как она вяжет мне зубы резиновыми нитями, как я не могу открыть рта, дышать, говорить, даже плевать. И так до тех пор, пока в конце концов, после многих усилий, мне удается освободить зубы, открыть рот и торжествующе выкрикнуть:

– Spam! Spam!

При этом крике, вызывающем в памяти ужасный spam – паштет из свинины, гордость Чикаго, ежедневную ненавистную пищу американских солдат, все разразились хохотом, даже раненый прошептал, улыбаясь:

– Spam! Spam!

Одержимые неожиданным весельем, все бросились прыгать, размахивая руками, показывая на залепленные нитями жвачки зубы, прикидываясь, что не могут дышать и говорить, хватаясь руками за челюсти в попытке разжать их силой; я тоже скакал и прыгал, крича вместе со всеми:

– Spam! Spam!

Тем временем за холмами глухо, монотонно и жестко гремело "Spam! Spam! Spam!" вражеской артиллерии у Кассино.

И вдруг звонкий, свежий, смеющийся голос раздался в зарослях оливковых деревьев и, отскакивая от светлых, позолоченных солнцем стволов, донесся до нас:

– Охо-хо! Охо-хо!

Все замерли и повернулись на голос. В серебристом мерцании оливковых листьев, навстречу серому небу, усеянному зелеными пятнами, по красноватым камням и синим зарослям окутанного туманом можжевельника, по откосу медленно спускался негр. Это был высокий, худой, с длиннющими ногами парень. Он шагал, чуть сутулясь, едва касаясь земли резиновыми подошвами, с мешком за плечами, и кричал, распахивая в красном оскале рот:

– Охо-хо! Охо-хо! – И качал головой, как если бы неизмеримое, веселое горе жгло его сердце.

Раненый медленно повернул к нему голову, и детская улыбка озарила его лицо.

Добравшись до нас, негр остановился в нескольких шагах, опустил на землю мешок, зазвеневший бутылками, и, проведя рукой по лбу, сказал веселым голосом:

– Oh, you're having a good time, isn't it? А вы здесь недурно проводите время, не правда ли?

– Что у тебя в мешке? – спросил сержант.

– Картошка, – сказал негр.

– Я люблю картошку, – сказал сержант. И, повернувшись к раненому, спросил: – Ты тоже любишь картошку, правда?

– Oh, yes! – сказал Фред со смехом.

– Парень ранен, ему нравится картошка, – сказал сержант, – надеюсь, ты не откажешь раненому американцу в картошке.

– Раненым плохо есть картошку, – сказал негр плаксиво, – для раненого картошка – смерть.

– Дай ему картошки, – сказал сержант с угрозой в голосе, а сам тем временем, повернувшись к раненому спиной, делал негру глазами и губами таинственные знаки.

– Ох, нет, ох, нет! – сказал негр, стараясь понять знаки сержанта. – Картошка – это смерть.

– Открой мешок, – сказал сержант.

Негр стал причитать, качая головой: "Ой! Ой! Ой-ой-ой!", но наклонился, развязал мешок и достал бутылку красного вина. Поднял ее, по-

смотрел против неясного, пробивавшегося сквозь туман солнца, прищелкнул языком и, медленно открыв рот и выпучив глаза, издал дикий возглас: "У-ха-ха! У-ха-ха! У-ха-ха!", подхваченный всеми с детской непосредственностью.

– Дай сюда, – сказал сержант.

Кончиком ножа он откупорил бутылку, налил немного вина в жестяной стакан, протянутый солдатом, поднял стакан, сказал раненому:

– Твое здоровье, Фред, – и выпил.

– Дайте и мне немного, – сказал раненый, – хочу пить.

– Нет, – сказал я, – тебе нельзя.

– Почему нельзя? – сказал сержант, искоса глядя на меня. – Добрый стакан вина ему не повредит.

– Раненому в живот нельзя пить, – сказал я тихо. – Хотите убить его? Вино сожжет ему кишечник, он будет жестоко мучиться. Будет кричать.

– You bastard, ты ублюдок, – сказал сержант.

– Дайте мне стакан, – сказал я громко, – я тоже хочу выпить за здоровье этого счастливчика.

Сержант протянул мне полный до краев стакан, я поднял его и сказал:

– Пью за твое здоровье, за здоровье твоих близких, за всех тех, кто придет на летное поле встречать тебя. Здоровье твоей семьи!

– Thank you, спасибо, – сказал, улыбаясь, раненый, – и за здоровье Мэри тоже.

– Выпьем все и за здоровье Мэри, – сказал сержант. И, повернувшись к негру, приказал: – Давай остальные бутылки.

– Ох, нет, ох, нет! – заверещал негр. – Если хотите вина, идите добудьте, как я. Ох, нет, ох, нет!

– И тебе не стыдно отказывать в вине раненому товарищу? Дай сюда, – сказал сержант жестким голосом, вытаскивая по одной бутылки с вином и передавая их своим.

Все достали из вещмешков стаканы, наполнили вином и подняли.

– За здоровье твоей красивой, милой, твоей молоденькой Мэри, – сказал сержант, и все выпили за здоровье красивой, милой и молоденькой Мэри.

– Я тоже хочу выпить за здоровье Мэри, – сказал негр.

– Конечно, – сказал сержант, – а потом споешь в честь Фреда. Знаешь, почему ты споешь в честь Фреда? Потому что Фред через два дня улетает в Америку.

– Ого! – сказал негр и выкатил глаза.

– А знаешь, кто будет встречать его на летном поле? Скажи ему, Фред, – добавил сержант, обернувшись к раненому.

– Мама, отец, – сказал слабым голосом Фред, – и мой брат Боб... – он запнулся и слегка побледнел.

– ...твой брат Боб... – сказал сержант.

Раненый молчал, он тяжело дышал. Потом сказал:

– ...моя сестра Дороти, тетя Элеонора... – и замолчал.

– ...и Мэри... – сказал сержант.

Раненый согласно кивнул головой и, медленно закрыв глаза, улыбнулся.

– А что бы ты делал, – сказал сержант, обращаясь к негру, – будь ты тетя Элеонора? Ты, конечно же, пошел бы встречать Фреда на аэродром, не так ли?

– Охо! – сказал негр. – Тетя Элеонора? Да я не тетя Элеонора!

– Как? Ты не тетя Элеонора? – сказал угрожающе сержант, делая странные знаки губами.

– Я не тетя Элеонора, – сказал негр плачущим голосом.

– Нет, ты тетя Элеонора! – сказал сержант, сжав кулаки.

– Да нет же! – сказал негр, мотая головой.

– Да, да! Ты тетя Элеонора! – сказал, смеясь, раненый.

– Oh, yes! Конечно, я тетя Элеонора, – сказал негр, подняв глаза к небу.

– Of course, you are aunt Leonor! – сказал сержант. – You are a very charming old lady! Look, boys! Конечно, ты тетя Элеонора! Ты очаровательная старая леди! Смотрите, парни! Не правда ли, эта старая милая дама, она и есть тетя Элеонора?

– Of course, – сказали остальные, – he's a very charming old lady! Точно! Он и есть очаровательнейшая старая леди.

– Look at the boy, – сказал сержант, – посмотрите на Фреда.

Раненый смотрел на негра напряженным взглядом и улыбался. Он казался счастливым. Румянец освещал его лоб, крупные капли пота оставляли следы на лице.

– Мучается, – сказал тихо сержант, с силой сжимая мне руку.

– Нет, не мучается, – сказал я.

– Он умирает, не видите, он умирает? – сказал сержант упавшим голосом.

– Он умирает спокойно, без мучений, – сказал я.

– You bastard, – сказал сержант с ненавистью.

В этот момент Фред издал стон и попытался подняться на локтях. Он стал очень бледным, тень смерти сошла неожиданно на его лоб, глаза потухли.

Все молчали, негр молчал тоже и смотрел на раненого с испугом.

Пушки глухо бухали внизу за холмами. Я увидел, как черный ветер бродит по оливам, окрашивая печальной тенью ветки, камни, кусты. Я увидел черный ветер, услыхал его черный голос и содрогнулся.

– Умирает, он умирает! – сказал сержант, сжав кулаки.

Раненый упал на спину, приоткрыл глаза и посмотрел вокруг, улыбаясь.

– Мне холодно, – сказал он.

Пошел дождь, пошел мелкий, холодный дождик, он с мягким шепотом падал на листья олив.

Я поднял шинель и обернул ею ноги раненого. Сержант тоже снял шинель и накрыл ему грудь и плечи.

– Тебе лучше? Еще холодно? – сказал сержант.

– Спасибо, мне лучше, – сказал раненый, благодаря нас улыбкой.

– Пой! – сказал сержант негру.

– Ох, нет, – сказал негр, – я боюсь.

– Пой! – крикнул сержант, подняв кулаки.

Негр отступил назад, но сержант схватил его за руку.

– А, не хочешь петь? – сказал он. – Не будешь петь – убью!

Негр сел на землю и стал петь. То была грустная песня, плач больного негра: он сидит на берегу реки под белым снегопадом хлопковых снежинок.

Раненый застонал, слезы потекли по лицу.

– Shut up! – крикнул сержант негру.

Негр замолчал и уставился на сержанта глазами обиженного пса.

– Мне не нравится твоя песня, – сказал сержант, – больно она грустная и ни о чем. Давай другую.

– But... – сказал негр, – that's marvellous song! Но это чудесная песня.

– А я тебе говорю, ты ничего не понимаешь! – крикнул сержант. – Посмотри на Муссолини, даже Муссолини не нравится твоя песня, – и показал пальцем на меня.

Все засмеялись, раненый повернул голову и посмотрел удивленно на меня.

– Внимание! – крикнул сержант. – Пусть говорит Муссолини. Go on, давай, Муссолини.

Раненый смеялся, он был счастлив. Все тесно стали возле меня, а негр сказал:

– You're not Mussolini. Mussolini is fat. He's an old man. You're not Mussolini. Ты не Муссолини. Муссолини толстый. Он старый. Ты не Муссолини.

– А-а, ты думаешь, я не Муссолини? – сказал я. – Смотри!

Я расставил ноги, упер руки в бока, покачивая бедрами, отбросил голову назад, надул щеки и, выпятив вперед подбородок, отвесил губы и крикнул:

– Чернорубашечники всей Италии! Война, которую мы со славой проиграли, наконец выиграна. Наши любимые враги, откликнувшись на призыв всего итальянского народа, высадились наконец в Италии, чтоб помочь нам побить наших ненавистных союзников немцев. Черные рубашки всей Италии, да здравствует Америка!

– Вива Муссолини! – прокричали все смеясь, раненый вытащил руки из-под одеяла и слабо захлопал в ладоши.

– Давай, давай, – сказал сержант.

– Черные рубашки всей Италии... – крикнул я и замолчал, увидев группу женщин, они спускались к нам через оливковую рощу. Некоторые из них были уже зрелые женщины, другие еще девочки. Одетые в рваную немецкую или американскую форму, с прилипшими ко лбу прядями волос, они направлялись к нам, выбравшись из развалин и нор, где по-звериному жили тогда все обитатели окрестностей Кассино, привлеченные эхом нашего смеха, пением негра и, наверное, надеждой на какую-нибудь еду. Но они не выглядели попрошайками и держались гордо и с достоинством, а я почувствовал, как краснею, мне было стыдно. Они подошли и остановились группой, поглядывая то на раненого, то на нас.

– Давай, давай! – сказал сержант.

– Не могу, – сказал я.

– Почему? – сказал сержант с угрозой.

– Не могу, – повторил я. Я чувствовал, что краснею, мне было стыдно.

– Если не... – сказал сержант и сделал шаг.

– Вам не стыдно за меня? – сказал я.

— Не понимаю, почему нам должно быть стыдно за вас?

— Он нас разорил, бросил нас в грязь, он покрыл нас позором, но я не имею права смеяться над нашим позором.

— Не понимаю. О чем вы? — сказал удивленно сержант.

— А, не понимаете? Тем лучше.

— Давай, — сказал сержант.

— Не могу, — ответил я.

— Oh, plëase, captain, please go on! Пожалуйста, капитан, продолжайте! — сказал раненый.

Я сказал, рассмеявшись, сержанту:

— Извините, если я не могу объяснить. Ничего. Извините. — И, выпятив губы, покачивая бедрами, я взметнул руку в римском приветствии и прокричал: — Черные рубашки! Наши союзники американцы высадились наконец в Италии, чтоб помочь нам побить наших союзников немцев. Святое пламя фашизма не потухло. Это нашим союзникам американцам я вручаю святой факел фашизма! С далеких берегов Америки он будет освещать мир. Чернорубашечники всей Италии, да здравствует фашистская Америка!

Дружный смех встретил мои слова. Раненый хлопал в ладоши, и стоявшие передо мной женщины тоже забили в ладоши, глядя на меня странными глазами.

— Go on, please, — сказал раненый.

— Хватит Муссолини, — сказал сержант, — мне не нравится, что Муссолини кричит "Да здравствует Америка!" — И, повернувшись ко мне, спросил: — Do you understand? Вы понимаете?

— Не понимаю, — сказал я, — вся Европа кричит "Да здравствует Америка!"

— Мне это не нравится, — сказал сержант. Подойдя к девушкам, он провозгласил: — Синьорины, давайте танцевать!

— Да, да! — сказал негр. — Вот вино, синьорины!

Он достал из кармана губную гармонику, приложил к губам и стал наигрывать. Сéржант подхватил одну из девушек и пустился в пляс, остальные последовали его примеру. Я сел на землю рядом с раненым и положил ему руку на лоб, лоб был холодный и влажный от пота.

— Им весело, — сказал я. — Иногда надо потанцевать, чтоб забыть о войне.

— Хорошие парни, — сказал он.

— О, да, американские солдаты — бравые парни. У них доброе, простое сердце. I like them. Я люблю их.

— I like Italian people. Я люблю итальянцев, — сказал раненый, протянул руку, коснулся моего колена и улыбнулся.

Я сжал его руку в ладонях и отвернул лицо. Комок встал в горле, я не мог дышать. Я охотнее убил бы его своими руками, чем видеть его страдания. Я покраснел при мысли, что этот бедняга, лежащий в грязи с огромной дырой в животе, американец. Лучше бы это был итальянец, итальянец, как я. Я не мог вынести мысли, что несчастный американский парень мучается по нашей вине, страдает из-за меня тоже.

Я отвернулся и смотрел на этот странный сельский праздник, на это полотно Ватто, написанное Гойей. Живая и трогательная сцена: раненый, лежащий на земле, негр, опершийся о ствол оливы и играющий на губной гармонике, бледные, изможденные девушки в изорванных одеж-

дах, прильнувшие в танце к розовощеким красавцам американским солдатам на фоне серебристых оливковых рощ, среди голых холмов, усеянных красными камнями, под древним серым небом, прорезанным тонкими голубыми венами, под этим вялым и морщинистым, как лицо старухи, небом. Рука раненого в моих руках потихоньку леденела и уходила.

Я поднял руку и закричал. Все обернулись, потом подошли и склонились над раненым. Фред отошел, он лежал на спине с закрытыми глазами. Белая маска легла на его лицо.

— Умирает, — тихо сказал сержант.

— Спит. Он отошел без мучений, — сказал я и погладил лоб мертвого парня.

— Не трогать! — крикнул сержант и грубо схватил меня за руку.

— Он умер, — сказал я тихо, — не кричите.

— Он умер по вашей вине, — закричал сержант, — это вы заставили его умереть, это вы убили его! Он умер из-за вас, в грязи, как собака. You bastard! — и ударил меня кулаком в лицо.

— You bastard! — закричали остальные и угрожающе замкнули кольцо.

— Он умер без мучений, — сказал я, — он умер, даже не сознавая, что умирает.

— Shut up, you son of a bitch! Заткнись, сукин сын, — крикнул сержант и ударил меня по лицу.

Я упал на колени, ручеек крови потек изо рта. Все бросились на меня и стали бить кулаками и ногами. Я не защищался, не кричал, не говорил ни слова. Фред умер без мучений. Я отдал бы жизнь, чтоб помочь бедному парню умереть без боли. Я стоял на коленях, все били меня кулаками и ногами. Я думал о Фреде — он умер без мучений.

Вдруг послышался шум мотора и скрежет тормозов.

— Что там? — крикнул голос Кэмпбелла.

Все отошли и замолчали. Я стоял возле умершего на коленях, лицо у меня было в крови, я молчал.

— Что сделал этот человек? — сказал капитан медицинской службы Шварц из американского госпиталя в Казерте, приближаясь к нам.

— Из-за этого итальянского подонка, — сказал сержант, с ненавистью глядя на меня, слезы струились по его лицу, — из-за этого грязного итальянца он умер. Он не дал нам отвезти его в госпиталь, он заставил его умереть как собаку.

Я с трудом встал на ноги и молчал.

— Почему вы не дали отвезти его в госпиталь? — спросил Шварц, маленький, бледный человек с черными глазами.

— Он умер бы все равно, — сказал я, — он умер бы по дороге, в страшных муках. Я не хотел, чтоб он страдал. Рана в живот. Он умер без мучений и даже не заметил. Заснул, как ребенок.

Шварц посмотрел на меня, подошел к мертвому, поднял одеяло, внимательно осмотрел страшную рану. Набросил одеяло, повернулся ко мне и молча пожал мне руку.

— I thank you for his mother, — сказал он. — Я благодарю вас от имени его матери.

VIII. Триумф Клоринды[1]

– У американской армии, – сказал князь Кандиа, – сладкий и нежный запах, запах женщины-блондинки.

– Very kind of you, очень любезно с вашей стороны, – сказал полковник Джек Гамильтон.

– У вас прекрасная армия. Для нас большая честь и удовольствие быть побежденными такой армией.

– Вы действительно очень любезны, – сказал, улыбаясь, Джек.

– Вы высадились в Италии с большой учтивостью, – сказал маркиз Антонио Нунцианте, – прежде чем войти в наш дом, вы постучали в дверь, как делают воспитанные люди. Если бы вы не постучали, мы бы вам не открыли.

– Говоря по правде, мы постучали даже слишком сильно, – сказал Джек, – так сильно, что весь дом развалился.

– Эту мелочь можно не брать в расчет, – сказал князь Кандиа, – важно, что вы постучали. Надеюсь, вам не придется жаловаться на оказанный прием.

– Мы не могли желать более любезных хозяев, – сказал Джек, – нам не остается ничего иного, как просить у вас извинения за то, что мы выиграли войну.

– Я уверен, вы кончите тем, что попросите у нас прощения, – сказал князь Кандиа невинно-ироничным тоном старого неаполитанского синьора.

– Мы не одни должны просить у вас прощения, – сказал Джек, – англичане тоже выиграли войну, но они никогда не попросят у вас прощения.

– Если англичане, – сказал барон Романо Авеццана, бывший когда-то послом в Париже и в Вашингтоне и оставшийся верным великим традициям европейской дипломатии, – ждут, что мы попросим у них извинения за то, что проиграли войну, они ошибаются. Итальянская политика основана на фундаментальном принципе, что всегда есть кто-то другой, кто проигрывает вместо Италии.

– Было бы любопытно узнать, – сказал, смеясь, Джек, – кто в этот раз проиграл войну вместо вас.

– Конечно же, русские, – ответил князь Кандиа.

– Русские? – воскликнул Джек, глубоко удивленный. – Но почему?

– Несколько дней назад, – ответил князь Кандиа, – я был на обеде у графа Сфорцы. Там был и советский заместитель наркома иностранных дел Вышинский, он рассказал, что спросил неаполитанского мальчугана, знает ли он, кто выиграет войну. "Англичане и итальянцы", – был ответ. "Как так?" – "Потому что англичане кузены американцев, а итальянцы – кузены французов", – ответил мальчишка. "А русские? Думаешь, они тоже выиграют войну?" – спросил Вышинский паренька. "Э, нет, русские проиграют", – ответил малый. "А почему?" – "Потому что русские, бедняги, кузены немцев".

– Wonderful! Чудесно! – воскликнул Джек под общий смех застолья.

1. Клоринда – амазонка-сарацинка, героиня поэмы Торквато Тассо (1544–1595) "Освобожденный Иерусалим", которую случайно убивает в сражении влюбленный в нее воин-крестоносец Танкред, главный персонаж поэмы.

Высокий, худощавый, с обожженным солнцем и морским ветром лицом, князь Кандиа был великолепным представителем неаполитанской знати, одной из наиболее родовитых и блестящих в Европе, сочетающей безупречные манеры с духом свободы, в котором ирония великих представителей французской аристократии восемнадцатого столетия смягчает гордость испанской крови. У него были седые волосы, светлые глаза и рот с тонкими губами. Его небольшая голова статуи и изящные руки с удлиненными пальцами контрастировали с широкими атлетическими плечами и мужественной элегантностью сильного человека, привыкшего к интенсивным занятиям спортом.

Мать его была англичанкой, и своим холодным взглядом и уверенными, сдержанно-неторопливыми движениями он был обязан английской крови. В юности он был эталоном парижской и лондонской моды в Неаполе, соперничая с князем Жаном Гераче, а в Лондоне и Париже ввел в моду неаполитанский стиль одежды. Но вот уже много лет как он отказался от светских развлечений подобного рода, чтобы не иметь дела с той "новой знатью", которую Муссолини вытащил на авансцену политической и общественной жизни. Долгое время о нем ничего не было слышно. Его имя неожиданно прошумело в 1938-м, когда во время визита Гитлера в Неаполь он отказался участвовать в официальном обеде в честь фюрера. Его арестовали, продержали несколько недель в тюрьме Поджореале, затем Муссолини сослал князя в его поместье в Калабрии. Все это принесло ему славу честного человека и свободного итальянца.

Но самое горячее признание он получил, когда после освобождения Неаполя отказался присоединиться к группе именитых горожан, вручавших ключи от города генералу Кларку. Свой отказ он объяснил без спеси, с учтивой простотой сказав, что не в обычаях его семейства подносить ключи от города завоевателям Неаполя и что он не может не последовать примеру своего предка, Берардо ди Кандиа, отказавшегося воздать подобные почести королю Франции Карлу VIII, завоевателю Неаполя, несмотря на то что Карла VIII в то время называли освободителем.

— Но и генерал Кларк — наш освободитель! — воскликнул его превосходительство префект, которому первому пришла в голову странная мысль вручить ключи от города генералу Кларку.

— Я в этом не сомневаюсь, — просто и учтиво ответил князь Кандиа, — но я — свободный человек, ведь только рабы нуждаются в освобождении.

Все ждали, что генерал Кларк прикажет арестовать князя, чтоб сбить с него спесь, как это было принято в пору освобождения. Но генерал Кларк пригласил его на обед и принял с отменным вниманием, сказав, что рад познакомиться с итальянцем, имеющим чувство собственного достоинства.

— Русские тоже, — сказала княгиня Консуэло Караччоло, — очень воспитанные люди. Позавчера машина Вышинского раздавила на улице Толедо пекинеса старой герцогини д'Амальфи. Вышинский вышел из машины, лично подобрал собачку и, выразив свое глубокое сожаление герцогине, предложил отвезти ее в автомобиле во дворец д'Амальфи.

— Спасибо, я предпочитаю вернуться домой пешком, — гордо ответила старая герцогиня, бросив презрительный взгляд на красный флажок с серпом и молотом на капоте машины.

Вышинский молча поклонился, сел в машину и быстро уехал. Только тогда герцогиня заметила, что ее бедная погибшая собачка осталась в машине Вышинского. На следующий день Вышинский прислал ей в подарок банку джема. Герцогиня попробовала и с криком ужаса упала в обморок: у джема был запах ее бедной собачки. Я попробовала тоже, и заверяю вас, это был запах джема из собаки.

— Русские, когда они хорошо воспитаны, способны на все, — сказала Мария-Тереза Орилия.

— Вы уверены, что это был джем из собаки? — спросил очень удивленный Джек. — Может, то была икра.

— Вероятно, — сказал князь Кандиа, — Вышинский хотел оказать честь неаполитанской аристократии, самой родовитой в Европе. Разве мы не достойны джема из собаки?

— Вы, конечно же, достойны чего-нибудь получше, — сказал простодушно Джек.

— В любом случае, — сказала Консуэло, — я предпочитаю собачий джем вашему колбасному фаршу.

— Наш spam, — сказал Джек, — не что иное, как джем из свинины.

— Позавчера, — сказал Антонио Нунцианте, — возвращаясь домой, я увидел негра за столом моего привратника. Красивый негр, очень воспитанный. Он мне сказал, что, если бы американские солдаты не ели spam, Берлин давно был бы уже взят.

— Мне очень симпатичны негры, — сказала Консуэло, — по крайней мере цвет их кожи совпадает с окраской их суждений.

— Leurs opinions sont très blanches, ce sont de véritables enfants[1], — сказал Джек.

— В американской армии много негров? — спросила Мария-Тереза.

— Il y a des nègres partout même dans l'armée américaine[2], — ответил Джек.

— Один английский офицер, капитан Харари, — сказала Консуэло, — рассказал, что в Англии много американских солдат-негров. Однажды, за обедом в посольстве Соединенных Штатов в Лондоне, посол спросил леди Уинтермер, как она находит американских солдат. "Они очень симпатичные, — ответила леди Уинтермер, — но не понимаю, зачем они привезли сюда этих бедняг белых".

— Этого не понимаю даже я! — рассмеялся Джек.

— Если бы они не были черными, — сказала Консуэло, — было бы очень трудно отличить их от белых. Американские солдаты все носят одинаковую форму.

— Oui, naturellement, mais il faut quand même un œil très exercé pour les distinguer des autres[3], — сказал Джек.

— На днях, — сказал барон Романо Авеццана, — на площади Сан-Фердинандо я наблюдал, как мальчуган усердно чистил туфли черному солдату. Негр спросил мальчика: "Ты итальянец?" Маленький неаполитанец ответил: "Я? Нет, я негр".

— У того мальчика, — сказал Джек, — хорошее политическое чутье.

1. Их суждения чрезвычайной белизны, они настоящие дети (*франц.*).
2. Негры есть везде, даже в американской армии (*франц.*).
3. Да, конечно, но все равно нужен очень тренированный глаз, чтобы их отличить (*франц.*).

— Вы хотите сказать, что у него хорошее историческое чутье, — сказал барон Романо Авеццана.

— Я задаюсь вопросом, почему неаполитанский народ любит негров, — сказал Джек.

— Неаполитанцы — добрые люди и любят негров, потому что те тоже добрые люди, — сказал князь Кандиа.

— Негры, конечно, лучше белых, они щедрее, человечнее, — сказала Мария-Тереза, — дети никогда не ошибаются, и они больше любят негров, чем белых.

— Женщины тоже никогда не ошибаются, — сказал барон Романо Авеццана, вызвав притворное возмущение Консуэло и Марии-Терезы.

— Одного не понимаю, почему негры стыдятся быть черными. Разве мы стыдимся быть белыми? — сказал Антонио Нунцианте.

— Негритянские солдаты, — сказала Консуэло, — собираясь жениться на неаполитанках, рассказывают, что они белые, как все, но перед отправкой в Европу их выкрасили в черный цвет, чтоб сражаться ночью, не будучи замеченными врагом. Вернувшись домой после войны, они снимут с кожи черную краску и вновь станут белыми.

— Ah, que c'est amusant![1] — воскликнул Джек, смеясь до слез.

— Иногда, — сказал князь Кандиа, — я стыжусь, что я белый. К счастью, я не только белый, но и христианин.

— Непростительно, — сказал барон Романо Авеццана, — именно то, что мы христиане.

Я молчал и слушал, охваченный мрачным предчувствием. Я молчал, блуждая взглядом по стенам, расписанным в красных тонах помпейскими сюжетами, глядя на прекрасную золоченую мебель времен короля Мюрата[2], на большие венецианские зеркала, рассматривая фрески на потолке, исполненные художником во вкусе испанского двора короля Карла III Бурбонского. Дворец князей Кандиа не из самых древних в Неаполе, он построен в блестящий, несчастный и жестокий век испанского владычества, когда неаполитанская знать покинула свои древние, печальные дворцы у Порта-Капуана и вдоль Декумано и начала строить пышные жилища на склонах Монте-ди-Дио.

Хотя по своей архитектуре дворец относится к тяжелому испанскому барокко, бывшему в большом фаворе в Королевстве Обеих Сицилий перед тем, как Ванвителли[3] снова вернул к жизни классическую простоту античности, в интерьерах дворца князей Кандиа видно изящество и ощущается дух фантазии, чем неаполитанские художники были обязаны не столько элегантному французскому искусству, сколько фрескам и энкаустикам Геркуланума и Помпей, извлеченным на свет божий любознательными Бурбонами. В живописи и орнаментальных мотивах этих двух античных городов, на много столетий погребенных под лавой и пеплом, нужно искать происхождение танцев амуров, триумфов Венеры, усталых Геркулесов, которыми расписаны стены дворца, — все это стало позднее излюбленным сюжетом орнаментального французского искусства. В двери врезаны большие зеркала, отсвечивающие голубиз-

1. Как забавно! (*франц.*)
2. Французский маршал, соратник Наполеона Иоахим Мюрат был неаполитанским королем с 1808 по 1815 г.
3. Луиджи Ванвителли (1700—1773) — итальянский архитектор, инженер, живописец и драматург.

ной, бросающие синюю морскую тень на розовые женские тела и на неяркую белизну пеплумов на фоне красных фресок Помпей.

С потолка дождем падал прозрачный зеленый свет, и, если кто-то из сотрапезников поднимал голову, его взгляд проникал в лесную чащу, где сквозь сплетение ветвей сверкало голубое небо, усеянное белыми облаками. Обнаженные женщины стояли по колено в воде или лежали на берегу, на траве насыщенного, светящегося зеленого цвета (это не был отливающий желто-синим зеленый цвет Пуссена или фиолетово-зеленый Клода Лоррена), они не подозревали, а может, их не заботило присутствие фавнов и сатиров, подглядывавших за ними из-за деревьев. Вдалеке за рекой виднелись зубчатые силуэты замков в окружении поросших лесом холмов. Рыцари в сверкающих доспехах скакали по долине навстречу друг другу с поднятыми мечами, другие лежали на земле, придавленные телом лошади, кто-то, упершись локтями в землю, силился подняться. Своры собак гнали белых оленей в сцене охоты, за ними растянулась цепочка всадников в голубых или алых камзолах.

Зеленые отблески травы и листьев, падавшие дождем с потолка, мягко отражались в позолоте мебели, в желтом шелке чехлов на креслах, в легких розовых и небесных тонах огромного ковра из Обюссона, в белых сфинксах канделябров из Каподимонте, выстроившихся в ряд на столе, застеленном старинной скатертью из великолепных сицилийских кружев. Ничто в этом богатом зале не напоминало разрушений, тревог и горя Неаполя, разве что бледные, худые лица сотрапезников и скромность угощения.

За все время войны князь Кандиа, как и многие другие неаполитанские аристократы, не покинул свой несчастный город, превращенный в груду камней. После страшных американских бомбардировок зимы 1942-го в Неаполе не осталось никого, кроме бедноты и нескольких семей из старинных аристократических родов. Что до остальных, то часть нашла прибежище в Риме и Флоренции, часть — в Калабрии, Пулии и Абруцци. Богатые буржуа бежали в Сорренто и на побережье Амальфи, буржуа победнее рассеялись по окрестностям Неаполя, выбрав маленькие селения на склонах Везувия будучи уверенными, что союзники не решатся своими бомбардировками бросить вызов бешеному нраву вулкана и не будут сбрасывать сюда свои бомбы.

Может, это убеждение родилось из старинного народного поверья, что Везувий якобы бог-покровитель Неаполя, *тотем* города, божество беспощадное и мстительное, сотрясающее время от времени землю, разрушающее замки, дворцы и хижины, сжигающее в огненных потоках собственных детей и погребающее жилища людей под раскаленным пеплом. Бог жестокий, но справедливый, наказывающий Неаполь за его грехи. Бог — вершитель его судьбы, спаситель от нищеты и голода, отец и судья, палач и ангел-хранитель своего народа.

Хозяином города остался плебс. Ничто в мире — ни огненный град, ни чума — никогда не выкурит бедняков Неаполя из их глухих углов, из их жалких нор. Неаполитанская беднота смерти не бежит. В поисках спасения не бросает своих лачуг, своих церквей, мощей своих святых, праха своих мертвых. Но когда приходят тяжелые и неотвратимые испытания, когда холера сеет кругом смерть, когда дождь из огня и пепла грозит похоронить город, простой люд Неаполя по вековому обычаю обращает взгляд к "синьорам", чтобы узнать их намерения, чувства и помыслы,

чтобы по их поведению оценить грозящую опасность, увидеть, есть ли надежда на спасение, почерпнуть силы в их мужестве, сострадании и вере в Божий промысел. Потому что князья и лаццарони, синьоры и бедный люди знают друг друга веками из поколения в поколение, от отца к сыну. Они знают друг друга по имени, они близки друг другу, связаны той родственной связью, что с незапамятных времен тянется между простонародьем и старой аристократией, между лачугами Паллонетто и дворцами Монте-ди-Дио. С незапамятных времен бедняки и синьоры живут вместе: на тех же улицах, зачастую в тех же дворцах, бедняки — в "бассо", этих темных пещерах с входом на уровне мостовой, синьоры — в богатых раззолоченных покоях над ними. В старину, на протяжении веков, родовитые аристократические семьи кормили и защищали бедноту, густо заселившую переулки вокруг их дворцов, делали они это и позднее, уже не по феодальному долгу, не из христианского сострадания, а по обязанности, я бы сказал, родственной. Уже много лет бедны и господа, а простой народ смотрит на них с виноватым видом, как бы извиняясь, что не может помочь. Беднота и знать сообща радуются свадьбам и рождениям, вместе горюют из-за болезней и льют слезы в скорби: ни один лаццарони не отправляется в последний путь без сопровождения синьора своего квартала, как ни один синьор не остается не оплаканным идущими за его гробом лаццарони. В Неаполе бытует старая народная поговорка, что люди равны не только перед лицом смерти, но и перед лицом жизни...

— Неаполитанский народ, — сказал князь Кандиа, — самый христианский в Европе.

И рассказал, как 9 сентября 1943 года, когда американцы высадились в Салерно, безоружные неаполитанцы восстали против немцев. Жестокая война на улицах и в переулках города длилась три дня. Надеясь на помощь союзников, народ дрался с отчаянным мужеством. Но солдаты генерала Кларка, которые должны были оказать помощь восставшему городу, сами едва удерживались на побережье Песто, цепляясь за каждый камень. Считая себя брошенным на произвол судьбы, народ кричал о предательстве: мужчины, женщины и дети дрались, плача от боли и злости. После трехдневных боев немцы, преследуемые народным гневом, начали отходить по дороге на Капую, но затем, собрав силы, отбили город, и в Неаполе начались зверские репрессии.

В плен к неаполитанцам попали несколько сот немцев. Геройский, отчаявшийся от неудач неаполитанский народ не знал, что с ними делать. Отпустить на свободу? Оказавшись на свободе, пленные учинят расправу над теми, кто захватил их в плен. Покончить с ними? Неаполитанцы — христиане, не убийцы. Тогда они связали пленным руки и ноги, заткнули им кляпом рты и спрятали их в своих лачугах, ожидая прихода союзников. Но пленных нужно было кормить, а неаполитанцы сами умирали от голода. Заботу о пленниках поручили женщинам, те, потушив в груди ярость мести, сменив ненависть на христианское сострадание, вырывая жалкие крохи изо рта собственных детей, кормили немцев фасолевым или бобовым супом, салатом из помидоров, делились с ними последним куском хлеба. И не только кормили, но мыли и обихаживали их, как спеленатых детей. Два раза в день перед тем, как вытащить кляп, они дубасили пленных из страха, как бы те, освободившись от кляпа, не позвали на помощь проходящих по улице немцев. Несмотря на побои и

скудное питание, пленные, которым не оставалось ничего иного, как есть и спать, жирели, словно каплуны в клетке.

Наконец в первых числах октября, после месяца тревожного ожидания, американцы вошли в город. А на следующий день на стенах Неаполя появились больших размеров объявления, в которых американский комендант призывал неаполитанцев в двадцать четыре часа сдать немецких пленных союзным властям, обещая премию в пятьсот лир за каждого. Но делегация горожан явилась к коменданту и доказала, что из-за вздорожания фасоли, бобов, помидоров, масла и хлеба цена пятьсот лир была слишком мала.

— Постарайтесь понять нас, ваше превосходительство! Меньше чем за тысячу пятьсот лир мы не можем отдать вам пленных. Мы не хотим заработать на этом, нам бы хоть возместить убытки!

Американский комендант был несгибаем:

— Я сказал пятьсот лир, и ни сольдо больше!

— Ладно, ваше превосходительство, мы их подержим, — сказали горожане и ушли.

Несколько дней спустя комендант приказал расклеить на стенах другие объявления, где обещал по тысяче лир за каждого пленного.

Делегация горожан пришла опять и заявила, что за прошедшие дополнительные дни пленные ели с аппетитом, а цены на продукты продолжали расти, поэтому тысячи лир с головы мало.

— Поймите нас, ваше превосходительство! С каждым днем цена пленного растет. Сегодня меньше чем за две тысячи лир мы не можем вам их уступить. Наживаться мы не хотим, мы только хотим вернуть наши расходы. По две тысячи лир за пленного — это все равно что даром!

Комендант взбеленился:

— Я сказал тысяча лир, ни сольдо больше! Если через двадцать четыре часа не выдадите пленных, я вас всех посажу в тюрьму!

— Посадите нас, ваше превосходительство, расстреляйте нас, если вам нравится, но цена есть цена, мы не можем продать вам пленных меньше чем за две тысячи лир за голову. Если не хотите, мы их отправим на мыло!

— What? Что? — вскричал комендант.

— Мы сварим из них мыло, — сказали горожане сладким голосом и ушли.

— И они правда сварили из пленных мыло? — спросил побледневший Джек.

— Когда в Америке, — подумал комендант, — узнают, что в Неаполе по моей вине сварили мыло из немецких пленных, мне не отделаться потерей места.

И заплатил по две тысячи за пленного.

— Wonderful! Великолепно! — вскричал Джек. — Ah! Ah! Wonderful!

Джек так заразительно смеялся, что, глядя на него, все рассмеялись тоже.

— Он плачет! — воскликнула Консуэло.

Джек не плакал. Слезы текли по лицу, но он не плакал. Это была его детская, открытая манера смеяться.

— Чудесная история, — сказал Джек, вытирая слезы, — как вы думаете, если бы комендант отказался платить две тысячи лир за каждого пленного, неаполитанцы действительно пустили бы их на мыло?

— В Неаполе не хватает мыла, — сказал князь Кандиа, — но неаполитанцы — добрый народ.

— Неаполитанцы — добрый народ, но ради мыла они готовы на все, — сказала Консуэло, проводя пальцем по краю бокала из богемского стекла.

Консуэло Караччоло — испанка сладостной красоты с кожей медового цвета, свойственной блондинкам, с ироничной, холодной улыбкой на нежном лице, характерной для горделивой грации испанских блондинок. Долгий, чистый, вибрирующий звук из-под пальца Консуэло разносился по залу, становился все сильнее, принимая металлический оттенок, казалось, он заполняет небо, вибрирует в зеленом свете луны, постепенно переходя в звук, похожий на приближающийся рокот винтов самолета.

— Послушайте, — сказала вдруг Мария-Тереза.

— Что это? — спросил Марчелло Орилия, приложив ладонь к уху. Долгое время Марчелло был инструктором по охоте, он и сейчас в своем прекрасном, выходящем на море доме в Кьятамоне надевает выцветший pink coat, красный охотничий камзол, вместо халата.

Горький конец его чистокровных лошадей, реквизированных армией в начале войны и погибших в России от холода и плохой кормежки, тоска по охоте на лис в Астрони, медленное, гордое угасание Елены Орлеанской, герцогини д'Аоста, которой он верен вот уже сорок лет и которая увядает в своем дворце в Каподимонте, похожая на одинокую сову, — все это состарило и иссушило его.

— Летит ангел, — сказала Консуэло, подняв палец в небо.

Голоса сидящих за столом стихли, все настороженно вслушивались в пчелиное гудение в небе над Позиллипо (в небе цвета зеленой воды, на которое медузой восходила из прозрачных морских глубин бледная луна). Я смотрел на Консуэло и думал о женщинах кисти испанских художников Возрождения, женщинах Хайме Феррера, Алонсо Берругете, о женщинах с прозрачными, цвета крылышек цикады волосами, которые в комедиях Фернандо де Рохаса и Жила Висенте[1] произносят слова роли, сопровождая их медленными, плавными жестами. Я подумал о женщинах Эль Греко, Веласкеса, Гойи, о женщинах с волосами цвета загустевшего меда, говорящих пронзительными голосами и двигающихся на цыпочках в комедиях Лопе де Веги, Кальдерона, Рамона де ла Круса. О женщинах Пикассо с волосами цвета шампанского "Scarferlati doux", женщинах с черными, сверкающими глазами, искоса бросающих взгляды сквозь прорези газетных полос. Консуэло тоже смотрит искоса, краем глаза, склонив голову на плечо. У Консуэло прелестные глаза из песни Мелибеи и Лукреции в "Селестине", манящие сильнее "сладостной тени деревьев". Консуэло высокая и худощавая, у нее длинные, гибкие руки с длинными прозрачными пальцами, как у некоторых женщин Эль Греко.

La media noche es pasada
y no viene[2] —

1. Фернандо де Рохас (1466—1541) — испанский писатель, автор "Трагикомедии о Калисто и Мелибее" ("Селестины"). Жил Висенте (1470—1536) — португальский поэт и драматург, часто писавший свои пьесы на испанском языке.
2. Вот полночь прошла / а он не идет (*исп.*).

напевает Консуэло, лаская пальцем хрустальный бокал.

– Придет, придет твой возлюбленный, – сказала Мария-Тереза.

– Да, придет мой novio, мой жених, придет мой возлюбленный, – сказала Консуэло со смехом.

Мы сидели вокруг стола молча, без движения, устремив глаза к огромным окнам. Рокот мотора то приближался, то удалялся, словно качаясь на длинных волнах ночного ветра. Это, несомненно, был немецкий самолет, прилетевший сбросить бомбы на забитый американскими судами порт. Все вслушивались, слегка побледнев, в долгий, вибрирующий звук богемского хрусталя, в пчелиное жужжание в зеленом лунном свете.

– Почему не стреляют зенитки? – тихо спросил Антонио Нунцианте.

– Американцы всегда поздно просыпаются, – так же тихо ответил барон Романо Авеццана, убедившийся во время своего пребывания на посту посла Италии в Соединенных Штатах, что американцы встают рано, но просыпаются поздно.

Вдруг мы услыхали далекий звук, звук страшной силы, и земля задрожала.

Мы вскочили из-за стола и, открыв окна, выглянули в глубокую бездну, простирающуюся со стороны Позиллипо к подножию Монте-ди-Дио, где высится дворец князя Кандиа. Наш взгляд охватывал бесконечное пространство, заполненное крышами домов, спускающихся с холма Позиллипо и тянущихся вдоль моря вплоть до отвесного склона Монте-ди-Дио. Нежный свет луны лился на дома и сады, покрывая позолотой подоконники и перила террас. Золотистый лунный свет стекал каплями меда с ветвей деревьев. Разбуженные громким далеким звуком, вдруг запели птицы в ветвях деревьев, в зарослях лаванды, среди блестящих листьев лавра и магнолий.

Шум понемногу приближался, заполнял небо, как огромное звучащее облако, становясь почти видимым глазу, делая густой и мутной радостную ясность лунного света. Он поднимался от нижних кварталов у моря, двигаясь от дома к дому, от улицы к улице, пока не стал призывом, криком, громким человеческим плачем.

Мы отошли от окон и направились в соседний зал, выходивший в сад на противоположной стороне Монте-ди-Дио, обращенной к порту. Из распахнутых окон виднелись позолоченная луной сине-зеленая морская бездна, дымящийся порт, и вдалеке, напротив нас, проступал сквозь золотистую окалину луны бледный Везувий. Луна сияла посреди неба на плече Везувия, как терракотовая амфора на плече водоноса. Вдали на горизонте маячил остров Капри нежного фиолетового цвета, а море казалось звеняще серебряным на фоне этого милого, бледного, печального пейзажа. Все было как на старом пожелтевшем эстампе: и море, и острова, и небо, и высоколобый Везувий, увенчанный огненной короной. И от этой нежной, патетической картины, от этой бледности, свойственной природе, дошедшей до крайних пределов страдания, сердце защемило у меня в груди, как от любовных мук.

Консуэло сидела на подлокотнике кресла прямо передо мной у открытых в ночь окон. Я видел ее в профиль. Ее светлое лицо, золотистые волосы, белизна шеи растворялись в золотом, ясном сиянии луны, и

она казалась мне статуей без головы, исполненной застывшей печальной грации. На ней было шелковое платье цвета слоновой кости, этот телесный цвет в лунном блеске становился матово-бледным цветом античного мрамора.

Я чувствовал присутствие опасности как присутствие чего-то чужеродного, чего-то вне меня, совершенно со мной не связанного, наподобие предмета, который можно рассмотреть или потрогать руками. Я уже готов был протянуть руку, чтобы дотронуться до руки Консуэло, движимый мыслью коснуться чего-то вне меня, чтобы сделать нависающую над нами опасность и свое собственное смятение предметными, когда страшный взрыв разорвал ясную ночь.

Бомба упала в переулке Паллонетто, сразу за оградой сада. Несколько секунд мы не слышали ничего, кроме глухого скрежета падающих стен: потом подавленный стон, еще неуверенный, отдаленный зов, один только крик, одно рыдание, отчаянный бег охваченных ужасом людей, яростный стук у парадного входа дворца и голоса слуг, пытающихся перекричать растущий шум, который приближался, нарастая, пока не ворвался в смежную с гостиной библиотеку. Мы распахнули дверь и остановились у порога.

Посреди зала, освещенные розоватым светом канделябра в руках испуганного, недовольного слуги, стояли, сбившись в кучу, растрепанные, большей частью полуодетые, женщины, они стонали, плакали, пронзительно кричали, хрипло, по-звериному выли. Все смотрели на дверь, в которую вошли, словно страшась, что смерть, от которой они бежали, войдет и настигнет их. Женщины не отвели взгляд от двери даже тогда, когда мы, тоже возвысив голоса до крика, попытались ободрить и успокоить их.

Когда же они обернулись, мы были ошеломлены. Это были звериные лики: изможденные, обескровленные, в болячках и пятнах, которые мы приняли вначале за пятна крови и которые потом оказались грязью, мутный, неподвижный взгляд, грязная слюна в углах рта. На мокрые от пота лбы, плечи, грудь спадали спутанные волосы. Многие, застигнутые во сне, были почти голыми, стыдясь, они пытались краем платка или руками прикрыть впалую грудь и костлявые плечи. В центре этой обезумевшей женской толпы стояли бледные, испуганные дети, они следили за нами из-за юбок странно враждебным, неподвижным взглядом.

На столе лежала куча газет, и князь Кандиа с помощью слуг раздал их несчастным, чтобы те прикрыли наготу. Эти женщины были соседками, если можно так сказать, хозяина дома, он называл их по именам, как давних знакомых. Ободрившись то ли от мягкого света свечей в канделябрах, которые прислуга тем временем расставляла на библиотечных полках и на столе, то ли от нашего присутствия, а скорее от присутствия князя Кандиа, которого они звали "o signore", а может, просто оказавшись в богатом помещении со стенами, украшенными золочеными книжными переплетами и мраморными бюстами, стоявшими в ряд на книжных полках, они понемногу успокоились, перестали кричать и лишь тихо стонали или молились, взывая к милосердию Богородицы. Потом женщины и вовсе примолкли, и только время от времени на неожиданный всхлип ребенка или чей-то далекий крик в ночи

кто-нибудь из них отзывался приглушенным поскуливанием, как раненая собака.

Хозяин приказал принести стулья, кресла, подушки, и все женщины молча расселись. Наступила тишина. Потом хозяин предложил всем вина, извиняясь, что не может дать хлеба за неимением такового — времена были нелегкими и для господ, и приказал приготовить детям кофе.

Когда слуги, разлив вино в бокалы и поставив графины на стол, отошли в ожидании приказов в глубину зала, мы с изумлением увидали, как из угла библиотеки выкатился маленький, согнутый человек, подошел к столу, двумя руками взял еще почти полный графин и стал обходить всех, добавляя понемногу, пока графин не опорожнился. Подойдя к хозяину, он неловко поклонился, прохрипев: "С соизволения вашего превосходительства", налил себе бокал вина из другого графина и выпил его одним духом.

Только тогда мы заметили, что это горбун, человек за пятьдесят, лысый, с длинным, худым лицом, черными усами и черными глазами. Смешок прошел по залу, кто-то окликнул его по имени: "Дженнарьелло!", он повернулся на голос, видимо знакомый ему, и улыбнулся приближавшейся к нему, протянув руки, немолодой уже, полной и рыхлой женщине с усталым лицом. Тут все окружили его, кто-то совал ему бокал, кто-то пытался вырвать из рук графин, одна из женщин, словно одержимая, принялась тереться своей увядшей грудью о его горб, развязно смеясь и крича:

— Вот так подфартило, смотри, какая удача привалила!

Хозяин сделал слугам знак не вмешиваться, он с удивлением и неодобрением наблюдал эту сцену, которая в другое время, возможно, показалась бы ему забавной и заставила бы улыбнуться. Я стоял рядом с Джеком и поглядывал на него: он следил за происходящим суровым взглядом, в котором к удивлению примешивалось презрение. Консуэло и Мария-Тереза спрятались за наши спины скорее от смущения, чем от страха. Тем временем горбун, которого все знали и который, как выяснилось позднее, был бродячим торговцем лентами, гребешками, накладными волосами и обходил каждый день со своим товаром все лачуги Паллонетто, распалившись от вина, а может быть, от внимания публики, начал разыгрывать пантомиму, то ли на мифологический сюжет о похождениях на земле некоего божества, то ли о приключениях вполне земного доброго молодца. Я затаил дыхание и с силой сжал руку Джека, чтоб привлечь его внимание к происходящему и дать знать, какое необычайное удовольствие доставляет мне эта удивительная сцена.

Вначале, повернувшись к хозяину дома с поклоном и со словами "с вашего соизволения", он сделал несколько кренделей ногами, сопровождавшихся гримасами и короткими горловыми звуками, затем, понемногу войдя в раж, стал носиться по залу, ударяя себя в грудь обеими руками и испуская зловонным ртом непристойные звуки, мяуканье, обрывки слов. Он протягивал руки, как бы ловя что-то в воздухе, птицу ли, облако, ангела, брошенный ли из окна цветок или ускользающий край платья, в то время как женщины, вначале одна, потом другая, третья, еще одна, еще и еще, с побелевшими лицами, застывшими глазами, стиснув зубы, тяжело дыша, как бы во власти необоримой силы, подни-

мались и окружали горбуна. Кто-то подталкивал его бедром, кто-то гладил по лицу, кто-то хватался обеими руками за огромный горб. Остальные женщины вместе с детьми и слугами стали подыгрывать этой невинной, приятной комедии, содержание которой было им известно, а ее сокровенный смысл они постигали на ходу; все смеялись и подбадривали комедиантов терпкими короткими словцами, хлопая в ладоши и пританцовывая.

Понемногу все больше женщин присоединялись к хороводу, и вокруг горбуна закружилась бешеная женская стая, галдящая вначале негромко, потом все громче и громче. В конце концов, с пеной у рта испуская бешеные крики, они заключили горбуна в угрожающе тесный круг и стали дубасить его, уподобившись толпе разъяренных фурий, ополчившихся против сатира, покусившегося на честь малолетней девочки.

Горбун всячески уклонялся от ударов, закрывал лицо руками, пытался вырваться из круга, сжимавшегося все плотнее, тычась лбом то в живот одной, то в грудь другой, с яростью, ужасом и удовольствием выкрикивая непристойности и проклятия. Все это завершилось долгим отчаянным криком, с которым он бросился ничком на землю и затем перевернулся на изуродованную спину, как бы пытаясь спасти свой горб от ярости нападавших женщин. Те бросились на него сверху, разрывая в куски одежду, раздевая донага, кусая голое тело, стараясь удержать его на спине, как делает ловец черепах, когда тащит животное на берег. Вдруг мы услышали страшный грохот, облако пыли влетело в окна, взрывной волной потушило свечи.

В неожиданной тишине слышалось только тяжелое, хриплое дыхание и треск рушившихся стен. Смятенный крик поднялся в зале, раздались стоны, стенания, громкий визгливый плач, и в свете вновь зажженных слугами свечей мы увидели на полу тяжело дышащих женщин с вылезшими из орбит глазами и среди них растерзанного, бледного до синевы горбуна, который вскочил, едва затеплился свет, и, растолкав навалившихся на него женщин, выскочил за дверь.

— Не бойтесь и оставайтесь здесь. — Наш хозяин старался удержать несчастных, когда те схватили своих детей, прижали их к груди и бросились к двери, охваченные паникой. — Куда вы? Оставайтесь здесь! Не бойтесь! — кричал он, тогда как слуги, стоя в дверях, пытались задержать и втолкнуть обратно толпу обезумевших от страха женщин. В этот момент мы услыхали шум и возню в передней, и в дверях возникли несколько мужчин, которые несли на руках девушку, похоже, без сознания. Подобно тому как в лесах севера преследуемая охотниками и собаками волчица, повинуясь побеждающему страх материнскому инстинкту, ищет спасения в доме лесника, скребется в его дверь и, показывая испуганному хозяину свое окровавленное дитя, просит голосом и движением защиты, убежища в надежном тепле дома, так и эти люди искали спасения в доме "синьора", показывая с порога окровавленное тело девушки.

— Пусть войдут, примите их, — сказал наш хозяин слугам, жестом попросив женщин расступиться, затем сам провел мужчин в зал и взглядом поискал место, куда положить бедняжку.

— Кладите сюда, — сказал он и рукой смел все со стола, не беспокоясь о бокалах и графинах, покатившихся на пол.

Уложенная на стол девушка не подавала признаков жизни. Она была бездыханна, одна рука вытянулась вдоль тела, другая покоилась на левой груди, раздавленной тяжестью балки или валуна. Но ужасная смерть не обезобразила лицо, на котором не было выражения испуга или удивления, какое часто застывает на лицах погибших под обломками людей. Спокойные глаза, ясный лоб, улыбка на губах. Все казалось холодным и недвижным в этом безжизненном теле, кроме взгляда и улыбки, они были странным образом живыми и теплыми. Это простертое на столе тело придавало всей сцене чистую и светлую тональность, превращало зал, его обстановку и собравшихся в нем людей в исполненную покоя картину, где царила высокая, безыскусная невозмутимость природы.

Хозяин взял руку девушки у запястья проверить пульс, он молчал. Затаив дыхание, все пытливо смотрели в лицо "синьора" в ожидании не результата даже, а его приговора, как если бы только в его власти было решить, жить ей или умереть, словно лишь от его воли зависела судьба несчастной девушки. Так сильна была среди народа Неаполя вера в "синьоров", вековая привычка зависеть от них и в жизни, и в смерти.

— Господь взял ее, — сказал наконец хозяин.

При этих словах все зарыдали, стали рвать на себе волосы, бить себя в лицо и грудь кулаками, громко взывая к мертвой: "Кончита! Кончита!" Две безобразные старухи бросились к телу девушки, принялись целовать и обнимать ее с диким неистовством, трясти ее изо всех сил, призывая очнуться:

— Вставай, Кончита! Да вставай же, Кончита!

Они кричали с таким отчаянным упреком, с такой яростью, возмущением и даже злостью, что мне показалось, старухи того и гляди начнут покойницу бить.

— Унесите ее, — сказал хозяин слугам, те силой оторвали от тела обеих старух, оттолкнули остальных с грубостью, которая возмутила бы меня, если бы я не знал, что она вызвана жалостью, мягко подняли умершую, с удивительной бережностью перенесли ее в парадный зал и положили на огромный стол, покрытый скатертью из старинных сицилийских кружев.

Девушка была почти голой, как все трупы, извлеченные из-под развалин после бомбардировок. Хозяин подобрал края драгоценной скатерти и прикрыл ими нагое тело. Консуэло коснулась его руки и сказала:

— Идите, оставьте нам, это женское дело.

Мы все покинули зал, там остались Консуэло, Мария-Тереза и еще несколько женщин, может, родные умершей.

Расположившись в выходящей в сад комнате, мы в темноте смотрели на Везувий и в серебряную морскую даль, где ветер шевелил золоченые осколки луны, заставляя их сверкать рыбьей чешуей. Сильный запах моря, к которому примешивалось ясное, свежее дыхание сада, наполненное влажным благоуханием сонных цветов и шелестом ночной травы, входил в распахнутые окна. Это был алый, горячий запах, приправленный запахами водорослей и крабов, который в холодном воздухе, уже тронутом слабым трепетом грядущей весны вызывал в воображении красный полог, колеблемый ветром. Бледно-зеленое облако поднималось вдали над горой Аджерола. Я думал об апельсинах, кото-

рые предчувствие весны заставляло преждевременно созревать в садах Сорренто, мне слышался одинокий напев моряка, печально блуждающий в море.

Почти рассвело. Воздух был так прозрачен, что на небе проступили зеленые вены, образуя в лазурной вышине причудливые арабески, похожие на узор древесного листа. И небо, подрагивающее в утреннем бризе, как лист дерева, и пение птиц в нижних садах, и трепет листвы в предчувствии нового дня — все рождало нежную, грустную мелодию. Заря, уже покинув горизонт, всходила из глубины моря, подобная огромному розовому крабу среди зарослей пурпурных кораллов, которые напоминали сплетение рогов благородных оленей, блуждающих по глубинным морским пастбищам. Залив между Сорренто и Искьей был словно открытая розовая раковина, далекий Капри казался бледным, обнаженным камнем, излучавшим свет мертвого жемчуга.

Красный запах моря был полон тысяч легких звуков, щебета птиц, шороха крыльев, зеленая терпкая трава пробивалась сквозь стеклянные волны, белое облако поднималось над кратером Везувия и устремлялось в небо, как большой парусный корабль. Город был еще окутан темным туманом ночи, но тусклые огни уже загорались там и сям в глубине переулков. Это были огни перед ликами святых, запрещенные ночью из-за опасности бомбардировок, они зажигались верующими в часовнях, едва начинался новый день. Заходящая луна рассеивала над еще дымящимися после бомбардировок крышами свое бледное безмолвие. Из переулка Святой Марии Египетской вышла небольшая процессия девочек в белоснежных одеждах с четками вокруг запястья, с маленькой черной книгой в затянутых в белые перчатки руках. Два негра из стоящего у военного поста джипа следили огромными белыми глазами за процессией первого причастия. Дева Мария в глубине часовни сияла, как кусочек голубого неба.

Звезда пролетела по небосводу и погасла в волнах между Капри и Искьей. Был месяц март, нежная пора, когда перезрелые апельсины начинают с глухим чмоканьем падать с веток, как звезды с высоких небесных садов. Я смотрел на Везувий, весь зеленый в лунном свете, и неизъяснимый ужас овладевал мной мало-помалу. Никогда я не видел у Везувия такой странной окраски: он был зеленого трупного цвета. И глядел на меня.

— Пойдем посмотрим, что делает Консуэло, — сказал хозяин дома после долгого молчания.

Мы заглянули в дверь, и необыкновенная сцена представилась нашему взору. Девушка лежала совершенно обнаженная, Мария-Тереза обмывала и вытирала ее, несколько женщин помогали ей, они держали таз с теплой водой, флакон одеколона, губку и полотенца. Консуэло, приподняв голову девушки одной рукой, другой расчесывала ее длинные черные волосы. Мы наблюдали с порога эту живую прекрасную картину. Золотистый свет свечей, голубой блеск зеркал, тонкие отблески фарфора и хрусталя, зеленые пейзажи на стенах — далекие замки, леса, реки и луга, где закованные в железо рыцари с ниспадающими с навершья шлема длинными красными и синими перьями скакали навстречу друг другу, подняв сверкающие клинки, как герои и героини Тассо на полотнах Сальваторе Розы. Все это придавало сцене патетическую окрас-

ку эпизода из "Освобожденного Иерусалима". Мертвая обнаженная девушка на столе была Клоринда. Это были похороны Клоринды.

Все молчали, слышались только приглушенные стенания оборванных, растрепанных женщин на пороге библиотеки, плач ребенка, который плакал, возможно, не от страха, а от необычности этой светлой и печальной сцены, от теплого света свечей, от таинственных жестов молодых, прекрасных, богато одетых женщин, склонившихся над белым обнаженным телом.

Вдруг Консуэло сняла свои шелковые туфли, чулки и легкими, быстрыми движениями надела их на покойницу. Потом сняла атласную блузку, юбку и комбинацию. Она раздевалась медленно, лицо было бледным, глаза светились странным, неподвижным блеском. Женщины, толпившиеся в дверях, входили одна за другой в комнату. Сложив молитвенно руки, смеясь и плача, с лицами, сияющими чудесной радостью, они любовались покойницей в великолепном погребальном убранстве на богатом смертном ложе. Горестные и вместе радостные голоса раздавались вокруг: "О, как красиво, какая красота". Многие преклонили колена в молитве, как перед иконой или чудотворной восковой Мадонной.

— О чудо! О, чудо! — раздался вдруг чей-то голос.

— О, чудо! О, чудо! — закричали все, подавшись назад, как бы боясь коснуться своими оборванными одеждами атласного убранства бедной Кончиты, чудесным образом преобразившейся после смерти в сказочную фею, в статую Мадонны. Вскоре весь народ переулка Паллонетто собрался у дверей, привлеченный слухом о чуде, атмосфера праздника воцарилась в зале. Пришли, причитая, старухи с зажженными свечами и с четками, за ними женщины и девочки несли цветы и сладости, которые по старому неаполитанскому обычаю едят во время траурного бдения. Кто-то принес вино, кто-то лимоны и фрукты. Пришли калеки, пришли обмотанные бинтами дети, пришли больные и увечные, чтобы прикоснуться к "чудесно преображенной".

Пришли женщины совсем юные, с гордыми взглядами и непокрытой головой, с бледными, суровыми лицами, с накинутыми на обнаженные плечи яркими шалями. Они окружили смертное ложе Кончиты и затянули старинные погребальные песнопения, которыми народ Неаполя провожает своих мертвых, вспоминая и оплакивая радости жизни и самую большую радость — любовь, славя счастливые дни и любовные ночи, поцелуи, ласки, слезы счастья. Так прощаются неаполитанцы с мертвыми на пороге запретной страны. Своей нежной мелодичностью и страстностью, печальной и смиренной чувственностью похоронные песнопения походили больше на песни любви.

Со слезами радости и умиления люди двигались по залу, как по площади населенного беднотой квартала в день праздника или траура, и никто, даже юные плакальщицы, которые окружали Консуэло и прикасались к ней, казалось, не замечали ее, полуобнаженную, бледную и дрожащую, глядящую в лицо покойницы странным напряженным взглядом, полным страха и тайны. Она стояла так, пока Мария-Тереза, обняв ласково за плечи, не увела ее из зала...

X. *Знамя*

...Мы растянулись на траве на краю древнего потухшего кратера, похожего на медный, наполненный черной водой таз – ныне озеро Альбано, – и смотрели вниз на лежащий в глубине долины Рим, где лениво дремал на солнце *flavus Tiber*[1]. Эхо сухой, беспорядочной стрельбы отдавалось в теплом ветерке. Купол Святого Петра покачивался на горизонте под белыми облаками в форме огромного замка, солнце расстреливало их золотыми стрелами. Я подумал об Аполлоне и его золотых стрелах и покраснел. Вдали, за голубой дымкой, высилась вершина Соратте. Стихи Горация пришли мне на память, и я снова покраснел. Я тихо сказал:

– Дорогой Рим.

Джек посмотрел на меня и улыбнулся.

С лесистой вершины Кастель-Гандольфо, где мы с Джеком, оставив утром колонну генерала Корка, догнали марокканскую дивизию генерала Гийома, Рим, облитый слепящим сквозь белые облака солнцем, отсвечивал мертвенной белизной гипса, подобно городам из белого камня, встающим на горизонте в пейзажах "Илиады".

Купола, башни, звонницы, строгая геометрия новых кварталов, спускающихся от Сан-Джованни-ин-Латерано в зеленые долины Нинфа-Эджерия, к могилам Барберини, казались сработанными из твердого белого материала с прожилками голубых теней. Черные вороны взлетали с красных могил вдоль Аппиевой дороги. Я подумал об орлах легионов Цезаря и покраснел. Я заставлял себя не думать о богине Рима, восседающей на Капитолии, о колоннах римского Форума, о пурпурных мантиях цезарей. "Былая слава Рима", – промолвил я про себя и покраснел. В тот день, в тот момент, в том месте мне не следовало думать о вечном Риме. Мне было бы лучше думать о Риме как о смертном городе, населенном смертными людьми.

Все вокруг в застывшем слепящем свете казалось недвижным, затаившим дыхание. Солнце было уже высоко, становилось жарко, белое прозрачное облако закрывало необъятную красно-желтую равнину Лацио, где реки Тибр и Аниене сплетались в клубок, как два гада в любовном порыве. В лугах вдоль Аппиевой дороги мчались галопом напуганные лошади, как на полотнах Пуссена или Клода Лоррена, и далеко на горизонте время от времени мигало зеленое веко моря.

Goumiers генерала Гийома стояли лагерем в роще серых олив и черных падубов, полого спускавшихся по склонам Монте-Каве и растворявшихся в светлой зелени виноградников и в золоте пшеницы. Папская вилла в Кастель-Гандольфо стояла под нами на высоком, обрывистом берегу озера Альбано. Goumiers сидели в тени дубов и олив, скрестив ноги, с винтовками на коленях, они жадными глазами следили за женщинами, прогуливавшимися между деревьями в парке папской виллы, большей частью то были монашки, крестьянки из района Кастелли-Романи, разрушенного войной, Святейший Отец собрал их под свою защиту. Стая птиц щебетала в ветвях падубов и олив. Воздух был сладок на вкус. Как и то имя, что я без конца тихо повторял:

1. Золотистый Тибр (*лат.*).

— Рим, Рим, мой дорогой Рим.

Легкая улыбка пробегала как трепет ветра по римской равнине, улыбка Аполлона из Вейо, жестокая, ироничная и загадочная улыбка этрусского Аполлона. Я хотел бы вернуться в Рим, в мой дом не с запасом звонких слов, а с такой улыбкой на губах. Я боялся, что освобождение Рима станет не семейным праздником в кругу друзей, а обычным предлогом для победных торжеств, высокопарной риторики и фанфар. Я старался думать о Риме не как об огромной братской могиле, где среди развалин храмов и форумов лежат вперемешку останки богов и людей, а как о городе простых смертных, где живут обычные люди, где падение и унижение богов не позорят величия человека, где ценность человеческой свободы не сравнивают с ценой утраченного наследия предков, с ценой узурпированной и поруганной славы.

Последнее воспоминание о Риме связано у меня с вонючей камерой в тюрьме "Реджина Чели". И теперь мое возвращение домой, на землю Лацио, истоптанную и разрушенную чужеземной армией, в дни победы (чужой победы чужого оружия) звало меня к простым и ясным мыслям и чувствам. Но в ушах стоял грохот барабанов и цимбал, речи Цицерона и триумфальное пение.

Так размышлял я, лежа в траве, смотрел на далекий Рим и плакал. Джек растянулся рядом и, прижав молодой листок к губам, подражал птичьим голосам, звеневшим среди деревьев. Ласковым покоем дышал воздух, трава и листья.

— Не плачь, — сказал Джек с мягким упреком, — птицы поют, а ты плачешь.

Птицы пели, а я плакал. Простые, человечные слова Джека заставили меня покраснеть. Этот пришедший из-за моря чужеземец, этот американец, сердечный, великодушный, чувствительный человек, нашел в сердце нужные, истинные слова, которые я бесполезно искал в себе и вокруг, единственно верные слова, подходившие тому дню, моменту и месту. Птицы пели, а я — плакал! Я смотрел, как Рим вибрировал в глубине прозрачной, зеркальной зыби, и плакал, и был счастлив.

Тем временем из леса послышались радостные голоса, мы обернулись. Это был генерал Гийом со своими офицерами. У него были серые от пыли волосы, обожженное солнцем, со следами усталости лицо, но глаза блестящие и голос молодой.

— Вот и Рим! Voilà Rome! — сказал он, обнажив голову.

Я уже видел этот жест, я видел французского генерала, обнажающего голову перед городом Римом в лесах Кастель-Гандольфо, я видел это на одном из выцветших дагерротипов коллекции Примоли, которую старый граф Примоли показывал мне однажды в своей библиотеке. На нем маршал Удино́ в окружении группы офицеров в красных штанах приветствует Рим в той же роще падубов и олив, где сейчас находились мы.

— J'aurais préféré voir la Tour Eiffel, à la place de la coupole de Saint Pierre[1], — сказал лейтенант Пьер Лиоте.

Генерал Гийом обернулся, смеясь:

1. Я бы предпочел видеть Эйфелеву башню вместо купола Святого Петра (*франц.*).

– Vous ne la voyez pas car elle se cache juste derrière la coupole de Saint Pierre[1].

– C'est drôle, je suis èmu comme si je voyais Paris[2], – сказал майор Маркетти.

– Vous ne trouvez pas, qu'il y a quelque chose de français, dans ce paysage?[3] – сказал Пьер Лиоте.

– Oui, sans doute, c'est l'air français qu'y ont mis Poussin et Claude Lorrain[4], – сказал Джек.

– И Коро, – добавил генерал Гийом.

– Stendhal aussi a mis quelque chose de français dans ce paysage[5], – сказал майор Маркетти.

– Aujourd'hui, pour la première fois, je comprends pourquoi Corot, en peignant le Pont de Narni, a fait les ombres bleues[6], – сказал Пьер Лиоте.

– J'ai dans ma poche "Les Promenades dans Rome", – сказал генерал Гийом. – Le Général Juin, lui, se promène avec Chateaubriand dans sa poche. Pour comprendre Rome, messieurs, je vous conseille de ne trop vous fier à Chateaubriand. Fiez-vous à Stendhal. Il est le seul français qui ait compris Rome et l'Italie. Si j'ai un reproche à lui faire, c'est de ne pas voir les couleurs du paysage. Il ne dit pas un mot de vos ombres bleues[7].

– Si j'ai un reproche à lui faire, c'est d'aimer mieux Rome que Paris[8], – сказал Пьер Лиоте.

– Stendhal n'a jamais dit une chose pareille[9], – сказал генерал Гийом, нахмурив брови.

– En tout cas, il aime mieux Milan que Paris[10].

– Ce n'est qu'un dépit d'amour, – сказал майор Маркетти, – Paris était une maitresse qui l'avait trompé bien de fois[11].

– Je n'aime pas, messieurs, vous entendre parler ainsi de Stendhal. C'est un des mes plus chers amis[12], – сказал генерал Гийом.

– Si Stendhal était encore Consul de France à Civitavecchia, – сказал майор Маркетти, – il serait sans doute, en ce moment, parmi nous[13].

– Stendhal aurait fait un magnifique officier des *goums*, – сказал генерал. И добавил, обернувшись с улыбкой к Пьеру Лиоте: – Il vous ravirait toutes les jolies femmes qui vous attendent ce soir à Rome[14].

1. Вы ее не видите, она прячется как раз за куполом Святого Петра (*франц.*).
2. Забавно, я взволнован, как если бы я увидел Париж (*франц.*).
3. Вы не находите, что-то есть французское в этом пейзаже? (*франц.*)
4. Да, без сомнения, воздух Франции, привнесенный в этот пейзаж Пуссеном и Клодом Лорреном (*франц.*).
5. Стендаль тоже добавил кое-что французское в этот пейзаж (*франц.*).
6. Теперь я впервые понял, почему Коро, рисуя мост в Нарни, положил там синие тени (*франц.*).
7. Я ношу в кармане "Прогулки по Риму"... Генерал Жюэн прогуливался с Шатобрианом в кармане. Чтобы понять Рим, я вам советую не слишком доверять Шатобриану. Доверьтесь Стендалю. Он единственный француз, кто понял Рим и Италию. Я могу упрекнуть его только в том, что он не увидел красок итальянской природы. Он не сказал ни слова о ваших синих тенях (*франц.*).
8. Я могу упрекнуть его лишь в том, что он больше любил Рим, чем Париж (*франц.*).
9. Стендаль никогда не говорил ничего подобного (*франц.*).
10. В любом случае, он больше любит Милан, чем Париж (*франц.*).
11. Это всего лишь любовная досада... Париж – это любовница, которая обманывала его много раз (*франц.*).
12. Мне не нравится, господа, что вы так говорите о Стендале. Это один из самых дорогих моих друзей (*франц.*).
13. Если бы Стендаль все еще был консулом Франции в Чивитавеккья... он без сомнения был бы среди нас в этот момент (*франц.*).
14. Стендаль был бы прекрасным офицером у марокканцев... Он увел бы от вас всех красоток, которые ждут вас сегодня вечером в Риме (*франц.*).

— Les jolies femmes qui m'attendent ce soir, ce sont les petites filles de celles qui attendaient Stendhal[1], — сказал Пьер Лиоте, у которого круг знакомств в Риме был довольно обширен, он рассчитывал обедать в тот вечер во дворце Колонна.

Я взволнованно слушал французские голоса, французские слова, мягко летавшие в зеленом воздухе, быстрое, легкое произношение, учтивый сердечный смех, так свойственный именно французам. Я испытывал стыд и сожаление, словно был виноват в том, что купол Святого Петра не был Эйфелевой башней. Я хотел бы извиниться перед ними, попытаться убедить их, что это не моя вина. Мне тоже хотелось бы в тот момент (я знал, это было бы им по душе), чтобы город внизу, на краю горизонта, был не Римом, а Парижем. Я молчал, слушая, как мягко порхают между ветвей французские слова, и притворялся, что не замечаю, как взволнованы эти закаленные солдаты, эти храбрые французы, как они пытаются спрятать свое волнение и слезы на глазах за легким, веселым разговором.

Мы надолго замолчали, глядя, как купол Святого Петра мягко покачивается в глубине долины.

— Vous en avez de la veine! Вам везет! — воскликнул вдруг генерал Гийом, хлопнув меня по плечу, и я почувствовал, что он думал о Париже.

— Мне жаль, — сказал Джек, — мы должны оставить вас. Уже поздно, и генерал Корк ждет нас.

— Пятая американская армия захватит Рим и без вас... да и без нас, — сказал генерал Гийом с едва заметной горькой иронией в голосе. И, сменив тон, с грустной и насмешливой улыбкой добавил:

— Пообедаем в нашей столовой, потом я вас отпущу. Колонна генерала Корка не тронется раньше двух или трех часов. Пойдемте, господа, нас ждет кускус.

В тени больших, населенных птицами падубов на маленькой поляне стояли в ряд несколько столов, которые goumiers притащили из брошенных хозяевами домов. Мы сели за стол, и генерал Гийом, указывая на двух чернúх, худых, как ящерицы, монахов, крутившихся среди марокканцев, рассказал, что едва прошел слух о прибытии goumiers, все крестьяне покинули дома и бежали, осеняя себя крестным знамением, как от запаха серы, а из близлежащих монастырей сразу пришел целый отряд святых братьев, чтоб обратить марокканцев в веру Христову. Генерал послал офицера просить братьев не приставать к goumiers, на что те ответили, что у них указ крестить всех марокканцев, потому что папа не желает видеть турок в Риме. Действительно, Святейший Отец обратился по радио к союзному командованию, выражая пожелание, чтобы марокканская дивизия осталась за воротами Вечного города.

— Папа не прав, — сказал Пьер Лиоте, — может, он был бы менее суров к мусульманам, если бы знал, какого высокого мнения goumiers о его мощи. — И рассказал, что три тысячи женщин, нашедших приют на папской вилле, произвели огромное впечатление на марокканцев: — Три тысячи жен! Папа, без сомнения, самый могущественный правитель в мире.

1. Красотки, которые ждут меня сегодня вечером, внучки тех, кто ждал Стендаля (*франц.*).

— Однако пришлось, — сказал генерал Гийом, — расставить охрану вокруг ограды папской виллы, чтоб не дать goumiers увиваться вокруг папских жен.

— Теперь понятно, почему папа не хочет турок в Риме, — сказал Джек.

Все рассмеялись, а Пьер Лиоте сказал, что союзников в Вечном городе ждет большой сюрприз. Похоже, Муссолини остался в Риме и приготовил союзникам триумфальный прием, он ждет их на балконе палаццо Венеция, чтобы приветствовать своей как всегда выдающейся речью.

— Я буду очень удивлен, — сказал генерал Гийом, — если он упустит такую возможность.

— Я уверен, что американцы станут с энтузиазмом аплодировать ему, — сказал лейтенант Лиоте.

— Они аплодируют ему вот уже двадцать лет, — сказал я, — и нет причины не делать этого сейчас.

— Определенно, — сказал майор Маркетти, — если бы американцы не аплодировали ему в течение этих двадцати лет, им не пришлось бы в один прекрасный день высаживаться в Италии.

— Кроме речи Муссолини, — сказал Джек, — мы, конечно же, получим благословение Святейшего Отца с балкона собора Святого Петра.

— Папа — человек любезный, — сказал я, — и он, конечно, не отправит вас в Америку без своего святого благословения.

В тот момент, когда goumier, как древний священнослужитель, накрыв голову полой своей коричневой накидки, приближался к нашему столу с подносом, где красовалась большая роза из кусков ветчины, глухой взрыв раздался среди деревьев, несколько goumiers пробежали по лесу за кухней.

— Опять мина! — воскликнул генерал Гийом, вставая из-за стола. — Прошу извинить меня, господа, я пойду взглянуть, что случилось. — И в сопровождении нескольких офицеров он удалился по направлению к месту взрыва.

— С утра уже третий марокканский солдат подрывается на мине, — сказал майор Маркетти.

Лес был напичкан немецкими минами, американцы называли их booby traps, мина-ловушка: марокканцы, снуя меж деревьев, неосторожно ступали на них и взлетали на воздух.

— Goumiers неисправимы, — сказал Пьер Лиоте, — они не умеют приспособиться к современной цивилизации. А booby traps — один из ее элементов.

— В Северной Африке, — сказал Джек, — местные жители быстро привыкли к американской цивилизации. Нет никаких сомнений, что с тех пор, как мы высадились в Африке, народы Марокко, Алжира и Туниса сделали большой шаг в деле прогресса.

— Какого прогресса? — удивленно спросил Пьер Лиоте.

— Перед высадкой американцев, — сказал Джек, — араб ехал верхом на лошади, а его жена шла за лошадью пешком, держа ребенка за спиной и большой узел на голове. Но с тех пор, как американцы высадились в Северной Африке, все радикально изменилось. Арабы, правда, ездят, как всегда, на лошади, а жены, как и прежде, сопровождают их

пешком с ребенком за спиной и узлом на голове. Но они уже не тащатся позади лошади, а идут впереди. Из-за мин.

Взрыв смеха встретил слова Джека. Услышав смех офицеров, рассеянные по лесу марокканцы воспрянули духом тоже, довольные, что их командиры в хорошем настроении. В это время вернулся генерал Гийом, на лбу у него выступили капли пота, он выглядел скорее сердитым, чем взволнованным.

— Хорошо еще, — сказал он, садясь на свое место за столом, — что на этот раз никто не погиб. Один раненый. Но что я могу поделать? Разве это моя вина? Не привязывать же их к деревьям, чтоб лишить возможности натыкаться на мины! Не могу же я расстрелять этого несчастного, чтоб научить его не подрываться на минах!

На этот раз, к счастью, неосторожный goumier легко отделался: мина лишь начисто оторвала ему руку.

— Руку не могут найти, — добавил генерал Гийом, — кто знает, куда она залетела!

После ветчины на стол подали серебристо-синюю с зеленоватым отливом форель из реки Лири. Затем настала очередь kouskous, этой гордости Мавритании и сарацинской Сицилии, знаменитого арабского блюда из баранины, сваренной в отрубях, с корочкой, сияющей как доспехи героинь Торквато Тассо. От золотистого вина из виноградников Кастелли-Романи, ароматного вина Фраскати, благородного и нежного, как ода Горация, воспламенялись лица и речь сотрапезников.

— Vous aimez le kouskous? Вам нравится кускус? — спросил Пьер Лиоте, повернувшись к Джеку.

— Je le trouve excellent! Я нахожу его великолепным! — ответил Джек.

— Малапарте он, конечно же, не по вкусу, — сказал Пьер Лиоте с ироничной улыбкой.

— Почему он должен быть не по вкусу Малапарте? — спросил удивленно Джек.

Я молча улыбался, не поднимая от тарелки глаз.

— Читая "Капут", — ответил Пьер Лиоте, — можно заметить, что Малапарте питается не чем иным, как соловьиными сердцами, и ест исключительно из посуды старинного мейсенского или нимфенбургского фарфора за столом королевских величеств, герцогинь или послов.

— За семь месяцев, что мы провели вместе под Кассино, — сказал Джек, — я ни разу не видел, чтобы Малапарте ел соловьиное сердце с королевским величеством или послом.

— У Малапарте, без сомнения, очень живое воображение, — сказал, смеясь, генерал Гийом. — Увидите, в его следующей книге наш скромный полевой обед станет королевским банкетом, я же превращусь в нечто вроде султана Марокко.

Все смеялись и смотрели на меня. Я молчал, не поднимая от тарелки глаз.

— Знаете, — сказал Пьер Лиоте, — что скажет Малапарте о нашем обеде в своей следующей книге?

Он с видимым удовольствием принялся описывать богато накрытый стол, но уже не в лесной чаще на высоком берегу озера Альбано, а в одном из залов папской виллы в Кастель-Гандольфо. Не без старомод-

ного остроумия он описал фарфоровые столовые приборы Цезаря Борджиа, серебро папы Сикста работы Бенвенуто Челлини, папских официантов, прислуживающих за столом, в то время как невинные голоса в глубине зала выводят в честь генерала Гийома и его офицеров Super flumina Babyloniae "На реках Вавилонских" Палестрины[1]. Все дружески смеялись над словами Пьера Лиоте, не смеялся только я, я улыбался и молчал, не поднимая от тарелки глаз.

— Мне хотелось бы знать, — сказал Пьер Лиоте, обратившись ко мне с учтивой иронией, — что было правдой из описанного вами в книге "Капут"?

— Не имеет никакого значения, — сказал Джек, — правда ли то, что рассказывает Малапарте. Вопрос в другом: искусство ли то, что он делает, или нет.

— Я не хотел бы быть неучтивым по отношению к Малапарте, ведь он мой гость, — сказал генерал Гийом, — но я думаю, что в романе "Капут" он подсмеивается над своими читателями.

— Я тоже не хотел бы быть неучтивым по отношению к вам, — живо возразил Джек, — но мне кажется, вы не правы.

— Не хотите ли вы сказать, — сказал Пьер Лиоте, — что с Малапарте действительно приключилось все то, что он описывает в книге? Да разве можно, чтобы с ним столько всего случилось? Со мной вот никогда ничего не случается!

— Вы в этом уверены? — сказал Джек, прищурив глаз.

— Прошу меня извинить, — сказал я, повернувшись наконец к генералу, — если я вынужден открыть вам, что недавно за этим самым столом со мной случилось самое необычное приключение в моей жизни. Вы этого не заметили, поскольку я достаточно хорошо воспитан. Но исходя из того, что вы ставите под сомнение правдивость изложенного в моих книгах, разрешите мне рассказать вам о том, что случилось совсем недавно здесь, прямо на ваших глазах.

— Интересно узнать, что же здесь случилось такого необычного, — сказал генерал Гийом.

— Вы помните нежнейшую ветчину, с которой началась наша трапеза? То была ветчина с гор Фонди. Вы сражались в этих горах, они высятся за Гаэтой, между Кассино и Кастелли-Романи. К вашему сведению, в горах Фонди выращивают лучших в Лацио и Чочарии свиней. Это те свиньи, о которых с такой любовью говорит Фома Аквинский, он сам родился в горах Фонди. Это священные свиньи, они хрюкают у церковных дворов в маленьких селениях высоко в горах Чочарии: их мясо пахнет ладаном, а сало нежное, как свежий воск.

— C'ètait en effet un sacré jambon. Это была действительно чертовски хорошая ветчина, — сказал генерал Гийом.

— После ветчины с гор Фонди на стол подали форель из Лири. Прекрасная река Лири. На ее зеленых берегах многие из ваших goumiers упали лицом в траву под огнем немецких пулеметов. Помните форель из Лири? Легкая, серебристая, с едва заметным зеленым отливом на изящных, цвета темного старинного серебра, плавниках. Форель из

1. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок. 1525–1594) — итальянский композитор, автор месс и литургий.

Лири похожа на форель из Шварцвальда: на Blauforellen[1] из Неккара, реки поэтов, реки Гёльдерлина, и на форель из озера Титизее, и на Blauforellen из Дуная, в Донауэшингене, где Дунай берет начало. Эта королевская река вытекает из одетого в белый мрамор бассейна, похожего на колыбель, украшенную статуями в неоклассическом стиле, в парке, окружающем замок князей Фюрстенбергов. К этой мраморной колыбели, где покачиваются на воде воспетые Шиллером черные лебеди, на закате ходят на водопой олени и лани. Но форель из реки Лири, возможно, светлее, прозрачнее, чем Blauforellen из Шварцвальда: зеленоватое серебро ее маленьких чешуек похоже на цвет старинного серебра подсвечников из церквей Чочарии, оно не уступает серебристой синеве Blauforellen из Неккара и Дуная, форели с таинственными голубыми отблесками фарфора из Нимфенбурга. Земли, что омывает Лири, — одни из самых древних и благородных в Италии. Меня взволновал вид форели из Лири, изогнутой в виде кольца, с засунутым в розовый рот хвостом, именно так, с хвостом во рту, древние изображали змею, символ вечности, это можно увидеть на колоннах в Микенах, в Песто, Селинунте, в Дельфах. Вы помните вкус форели из Лири, нежный и легкий, как голос этой благородной реки?

— Elles étaient délicieuses! Форель была восхитительна! — сказал генерал Гийом.

— И, наконец, на столе на огромном подносе из меди появился kouskous нежного и варварского вкуса. Но баран, из которого приготовлен этот kouskous — не марокканский баран с Атласских гор, со скудных пастбищ Феса, Терудана или Марракеша. Это баран с гор Итри, где царил Фра Дьяволо[2]. В горах Итри, в Чочарии растет трава, похожая на дикую мяту, но более мясистая, вкусом напоминающая шалфей, жители тех мест зовут ее на древний греческий манер kallimeria, это трава, из которой беременные женщины готовят напиток, помогающий при родах, трава с острова Кипр, бараны Итри ее очень любят. Именно эта трава kallimeria делает баранов Итри упитанными, наделяет их женственной леностью, усталым, с поволокой взглядом, свойственным беременным женщинам и гермафродитам. Нужно внимательно смотреть в тарелку, когда ешь kouskous: отруби цвета слоновой кости, в которых сварен баран, разве это не так же приятно глазу, как приятен его вкус нашему нёбу?

— Ce kouskous, en effet, est excellent! Этот кускус действительно великолепен! — сказал генерал Гийом.

— Ах, если бы я закрыл глаза, поедая этот кускус! Ибо только что, в горячем и живом вкусе бараньего мяса, мне случилось заметить сладковатый привкус, а на зубах почувствовать более холодное, не такое мягкое мясо. Я посмотрел в тарелку и ужаснулся. Между крупинками муки я увидел сначала один палец, затем два, потом пять и, наконец, целую руку с бледными ногтями. Человеческую руку.

— Taisez-vous! Замолчите! — воскликнул генерал Гийом сдавленным голосом.

1. Голубую форель (нем.).
2. Фра Дьяволо — кличка Микеле Пеццы (1771–1806), знаменитого предводителя разбойников, родившегося в Итри и воевавшего против войск Наполеона во времена Неаполитанской республики. Был схвачен бонапартистами и повешен.

— То была человеческая рука. Рука несчастного goumier, которую взрывом мины начисто оторвало и забросило в медный котел, где варился наш кускус. Что я мог поделать? Я воспитывался в колледже Чиконьини, лучшем колледже Италии, где меня научили, что бы ни случилось, никогда не нарушать общее веселье, будь то праздник, бал или званый обед. Я заставил себя не побледнеть, не крикнуть и спокойно принялся есть руку. Мясо немного жестковато, оно не успело свариться.

— Taisez-vous, pour l'amour de Dieu! Замолчите, ради бога, — вскричал генерал Гийом хриплым голосом, отодвигая от себя тарелку. Все были бледны и ошеломленно смотрели на меня.

— Я воспитанный человек, — сказал я, — и не моя вина, если в то время, когда я молча грыз руку бедного goumier, улыбаясь как ни в чем не бывало, чтоб не нарушить такой приятный обед, вы имели неосторожность поднять меня на смех. Никогда не нужно подшучивать над гостем, когда он ест человеческую руку.

— Это невозможно! Я не могу поверить, что... — пробормотал Пьер Лиоте, позеленев и зажимая рот рукой.

— Если вы мне не верите, посмотрите на мою тарелку, — сказал я. — Видите эти косточки? Это фаланги пальцев. А те, что ровно лежат на краю тарелки, это пять ногтей. Вы извините меня, но, несмотря на мое воспитание, я не смог проглотить ногти.

— Mon Dieu! — воскликнул генерал Гийом и одним духом выпил бокал вина.

— Будете знать, как подвергать сомнению то, что пишет Малапарте в своих книгах, — сказал Джек.

В этот момент с равнины донесся далекий выстрел, потом другой, потом еще. Один из танков "шерман" открыл огонь со стороны Фраттоккье.

— Ça y est! Вот оно! — воскликнул генерал, резко вставая.

Все вскочили на ноги и, опрокидывая скамейки и столы, побежали к опушке леса, откуда глазу открывалась вся римская равнина, от устья Тибра до Аньене.

Мы увидели, как с Аппиевой дороги, со стороны Бивио-делле-Фраттоккье поднимается голубое облако, услышали долетевший гул ста, тысячи моторов и закричали от радости, увидев нескончаемую колонну Пятой американской армии, устремившуюся к Риму.

— Au revoir, mon général! До свидания, генерал, — воскликнул Джек, пожимая руку генералу Гийому.

Все французы молчали.

— Au revoir, — сказал генерал Гийом. И тихо добавил: — Nous ne pouvons pas vous suivre. Nous devons rester là. Мы не можем следовать за вами. Мы должны оставаться здесь.

Его глаза были влажными от слез. Я молча пожал ему руку.

— Приходите ко мне, когда захотите, — сказал генерал Гийом с грустной улыбкой, — вы всегда найдете место за моим столом и мою дружескую руку.

— Вашу руку тоже?

— Allez au diable! Идите к черту! — крикнул генерал.

Мы с Джеком бросились бегом через лес вниз по откосу к тому месту, где оставили наш джип.

— Ха-ха! Хорошо разыграно, Малапарте! Великолепная шутка! — кричал на бегу Джек. — Будут знать, как сомневаться в том, что ты описываешь в "Капуте".

— Ты видел их лица? Я думал, их вырвет!

— Une sacrée farce, Malaparte, дьявольская шутка, Малапарте, ха-ха-ха! — кричал Джек.

— А ты видел, как ловко я разложил на тарелке бараньи косточки? Очень похоже на кисть руки!

— Ah! Ah! Ah! Merveilleux! Ха-ха-ха! Великолепно! — кричал на бегу Джек. — Было похоже на скелет человеческой руки!

Мы весело смеялись, лавируя между деревьями. Добежав до джипа, мы вскочили в него и понеслись вниз по дороге на Кастель-Гандольфо. Доехав до Аппиевой дороги, мы догнали американскую колонну, тонувшую в клубах пыли, и в конце концов втиснулись в нее за машиной генерала Корка, которая следом за несколькими танками "шерман" шла во главе колонны Пятой армии на Рим.

Редкая ружейная пальба дырявила пыльный воздух. Запах мяты и руты летел с ветром нам навстречу, он казался запахом ладана, запахом тысяч церквей Рима. Солнце клонилось к вечеру и в пурпурном небе, загроможденном вздутыми облаками, напоминающими облака на полотнах живописцев барокко, рокот тысяч самолетов образовывал огромные воронки, куда устремлялись кровавые потоки заката.

Танки "шерман" в грохоте железа медленно катились впереди нас, изредка паля из пушек. Неожиданно за одним из поворотов дороги, в глубине равнины, за красными арками акведуков, за могильными холмами из кирпича цвета крови, сияя белизной под барочным небом, в круговороте огня и дыма явился Рим, словно охваченный огромным пожаром.

"Рим! Рим!" — неслось от машины к машине. Со всех джипов, танков и грузовиков тысячи лиц в белых масках из пыли обратились к далекому городу, озаренному пламенем заката: я почувствовал, как в моем хриплом крике тает моя ненависть, обида и тревога, вся грусть и все счастье этого долгожданного момента, которого теперь я так болезненно страшился. Рим показался мне в тот миг непреклонным, жестоким и закрытым, как вражеский город. Темное чувство стыда и страха охватило меня, как если бы я совершал святотатство.

Перед дымящимися развалинами аэропорта "Чампино" колонна остановилась. Два немецких опрокинутых набок "тигра" загораживали дорогу. Несколько заблудших выстрелов прозвучали над нашими головами. Американские солдаты на танках, в грузовиках и джипах смеялись и болтали, счастливые и беззаботные, жуя свою chewing-gum.

— Эта дорога полна опасностей, — сказал Джек, — может, ты посоветуешь генералу Корку оставить Новую Аппиеву дорогу и направиться по Старой?

Между тем генерал Корк разложил топографическую карту и сделал Джеку знак головой. Джек выскочил из джипа, подошел к генералу и стал что-то обсуждать с ним, тыча пальцем в какую-то точку на карте.

— Генерал Корк хотел бы знать, нет ли более короткой и безопасной дороги на Рим.

— На месте генерала, — ответил я, — я свернул бы налево на этом перекрестке и выехал бы на Старую Аппиеву дорогу приблизительно в миле от могил Горациев и Куриациев[1] и, проехав по Капо-ди-Бове, вошел бы в Рим по Триумфальной улице и по Имперской. Дорога более длинная, но и более красивая.

Джек побежал опять к генералу Корку и через минуту вернулся.

— Генерал спрашивает, не согласишься ли ты повести колонну, — сказал Джек.

— Почему бы и нет?

— А ты можешь гарантировать, что мы не попадем в засаду?

— Я не могу гарантировать ничего. Мы на войне.

Джек подбежал к генералу обсудить вопрос, потом вернулся ко мне и сказал, что генерал хочет знать, является ли Старая Аппиева дорога *вообще* более безопасной.

— Что значит *вообще*? — спросил я у Джека. — Это значит *обычно*? В мирное время это совершенно безопасная дорога. А сейчас я не знаю.

— Генерал, вероятно, хочет сказать — *в частности*.

— Я не знаю, безопасна ли дорога *в частности*, но я уверен, что она более красива. Это самая благородная в мире дорога, она ведет к термам Каракаллы, к Колизею и к Капитолию.

Джек опять побежал к генералу Корку и скоро вернулся и сообщил, что генерал хочет знать, по какой дороге входили в Рим цезари.

— Когда они возвращались с Востока: из Греции, из Египта, из Африки, — ответил я, — они входили в Рим по Старой Аппиевой дороге.

Джек побежал к генералу и, вернувшись, сообщил, что генерал Корк прибыл из Америки и поэтому решил войти в Рим по Старой Аппиевой дороге.

— Меня сильно удивило бы, — сказал я Джеку, — если бы он выбрал другую.

И добавил, что по Старой Аппиевой дороге проходили Марий, Сулла, Юлий Цезарь, Цицерон, Помпей, Антоний, Клеопатра, Август, Тиберий и все остальные императоры, поэтому по ней мог пройти и генерал Корк.

Джек подбежал к генералу, что-то тихо сказал ему, и генерал Корк, повернув ко мне улыбающееся лицо, крикнул:

— O'kay!

— Поехали! — сказал мне Джек, прыгнув в джип.

Мы обогнали джип генерала Корка, сразу за "шерманами" возглавили колонну и от аэропорта "Чампино" повернули на проселочную дорогу, соединяющую Новую Аппиеву дорогу со Старой. Скоро мы выехали на эту славную, самую благородную в мире дорогу, вымощенную каменными плитами, на которых до сих пор виднелась колея, выбитая колесами римских повозок.

— What's that? Что это? — спросил генерал Корк, указывая на могилы, затененные кипарисами и пиниями, росшими по обеим сторонам Старой Аппиевой дороги.

— Это могилы самых знатных семейств Древнего Рима, — сказал я.

1. Согласно легенде, в VII в. до н. э. три брата-близнеца Горация из Рима сражались с тремя близнецами Куриациями из Альба-Лонги за первенство городов. В этой битве остался в живых лишь Публий Гораций, принесший победу Риму.

– What? – прокричал генерал Корк в страшном скрежете гусениц "шерманов".

– The tombs of the noblest roman families, – перевел Джек.

– The noblest what? Самых знатных чего? – крикнул генерал Корк.

– The tombs of the four hundred of the roman "Mayflower"! Могилы четырехсот человек с римского "Мэйфлауэра"[1].

Известие пролетело от машины к машине вдоль всей колонны, и американские солдаты вскочили на ноги в своих машинах, в джипах и на танках и с криками "Gee!" "Вот это да!" – защелкали "кодаками".

Я тоже встал и, показывая пальцем на каждую могилу, прокричал:

– Вон та – могила Лукулла, самого знатного пьяницы Древнего Рима, это – захоронение Юлия Цезаря, вот могилы Суллы, Цицерона, а вон – могила Клеопатры...

Имя Клеопатры пронеслось от уст к устам, от машины к машине, генерал Корк прокричал мне:

– A famous signorina, wasn't she? Это та самая знаменитая синьорина?

Когда мы оказались перед могилой Актера, я попросил Джека остановиться на минуту и, указывая на мраморные маски, врезанные в высокую, похожую на кулисы или на театральный задник стену из красного кирпича, которая возвышалась рядом с большим, круглой формы мавзолеем, прокричал:

– Это – могила Котты, самого знаменитого римского актера!

– Who's who? – крикнул генерал Корк.

– A most famous roman actor, самый знаменитый римский актер – крикнул Джек.

– I want an autograph! Я хочу оставить автограф! – крикнул один из GI, и толпа американских солдат выпрыгнула из машин и бросилась на стену, в мгновение ока покрывшуюся автографами.

– Go on! Go on! – крикнул генерал Корк.

В тот момент я обратил свой взгляд повыше и увидел сидящего на ступеньках грубой каменной лестницы, ведущей к мавзолею, немецкого солдата, почти мальчика. Это был блондин с растрепанными волосами, с покрытым слоем пыли лицом, на котором тускло светились голубые глаза, похожие на глаза слепого. Он сидел усталый и отсутствующий, отвернув лицо, опершись обеими руками о каменную ступеньку лестницы, отрешенный от всего: от войны, от пространства и от времени. Он тяжело дышал, как едва достигший берега утопающий. Никто его не заметил.

– Go on! Go on! – кричал генерал Корк.

Колонна снова тронулась в путь. Немного погодя перед двумя могилами, заросшими травой, высокими, как пирамиды, где среди пиний и кипарисов спят Горации и Куриации, я попросил Джека остановиться.

– Это – могилы Горациев и Куриациев! – заорал я и прокричал историю трех Горациев и трех Куриациев о вызове, о поединке, о коварном маневре последнего Горация, о его сестре, которую победитель заколол собственным мечом на пороге дома в наказание за любовь к одному из трех убитых братьев Куриациев.

1. "Мэйфлауэр" – английское судно, доставившее в 1620 г. в Северную Америку первых английских колонистов, впоследствии названных отцами нации.

— What? What the hell with the sister? Что? Что, черт возьми, случилась с сестрой? — крикнул генерал Корк.

— Where's the sister? Где сестра? — прокричало несколько голосов. И все GI колонны спрыгнули на землю и взобрались на две заросшие травой пирамиды, которым огромные зонты пиний и легкие кипарисы придают романтический колорит полотен Пуссена или Бёклина. Генерал Корк тоже захотел подняться на вершину одной из пирамид, и мы с Джеком последовали за ним.

С вершины могильного холма теперь, когда пожар заката погас, Рим казался одновременно сумрачным и приветливым в зеленой прозрачности вечера. Огромное зеленое облако повисло над куполами, башнями, колоннами и крышами, украшенными многочисленными мраморными статуями. Этот стремящийся сверху зеленый свет напоминал зеленый дождь в начале весны над морем, чудилось, что над городом падает с неба дождь из зеленой травы, и дома, крыши, купола и мрамор блестели и переливались, как мягкий весенний луг.

Возглас удивления вырвался из груди солдат, стоявших на могильных курганах, и, отозвавшись на крик, черная стая воронов поднялась тучей с красных Аврелиовых стен, замыкающих Рим от Порта-Латина до могилы Гая Цестия. Черные их крылья отбрасывали зеленые и кровавые отблески.

С высоты кургана видны были луга и огороды вдоль Аппиевой и Ардеатинской дорог, лесок в Нинфа-Эджерия, заросли тростника вокруг церковки, где покоятся члены семьи Барберини, красные арки акведуков, а ниже за Капо-ди-Бове, ближе к Порта-ди-Сан-Себастьяно, большая кружевная башня могилы Цецилии Метеллы. В глубине огромной зеленой чаши, усеянной захоронениями среди пиний и кипарисов, там, где она постепенно спускается к полю для игры в гольф Аквасанты, неожиданно вырастали первые дома Рима, чьи высокие белые стены из цемента, сверкающие стеклами, обрывали красно-зеленое дыхание римской равнины, как парус обрывает дыхание ветра.

Группы людей бегали туда-сюда по равнине, временами люди останавливались, оглядываясь по сторонам, потом снова начинали растерянно метаться, как преследуемые собаками звери. Другие группы настигали их, окружали со всех сторон, зажимали в кольцо, отрезая пути к бегству и спасению. Сухой треск перестрелки долетал до нас с морским ветром, оставлявшим на губах сладкий вкус соли. То были последние стычки между арьергардом немцев и отрядами партизан, и аквариумная прозрачность вечера придавала сцене охоты патетический оттенок, пробуждая в памяти далекие, полузабытые отзвуки и краски. Был мягкий, зеленый вечер, как тот вечер, когда троянцы с волнением следили с высоких стен города за последними стычками кровавого дня и Ахилл, словно яркая звезда, выйдя из вод Скамандра, уже бежал по долине реки к стенам Илиона.

В этот момент показалась луна, восходящая из-за седловины гор Тиволи, это была огромная луна, сочащаяся кровью. Я сказал Джеку:

— Посмотри вниз: это ведь не луна, это Ахилл.

Генерал Корк удивленно взглянул на меня:

— Это луна, — сказал он.

— Нет, это Ахилл, — сказал Джек.

Я стал тихо читать по-гречески стихи из "Илиады", где Ахилл выходит из Скамандра похожий на "осеннюю звезду печали, что Орионом зовется". Когда я замолчал, Джек подхватил стихи и, глядя на восходящую над холмами Лацио луну, стал певуче скандировать гекзаметры Гомера, как это принято в Виргинском университете.

– I must remember to you, gentlemen... Я вынужден напомнить вам, джентльмены... – сурово сказал генерал Корк, но не закончил, медленно сошел с могилы Горациев, сел в машину и раздраженно отдал команду двигаться дальше.

– Go on, go on! – крикнул генерал, он казался не только раздраженным, но и глубоко удивленным. Колонна тронулась, но возле могилы атлета у Капо-ди-Бове мы были вынуждены замедлить ход, чтоб дать GI время покрыть статую кулачного бойца своими автографами.

– Go on! go on! – кричал генерал.

Когда мы подъехали к знаменитой остерии под названием "Здесь никогда не умирают с голоду", я повернулся к генералу Корку и прокричал, указывая на вывеску:

– Здесь никогда не умирают с голоду!

– What? Что? – крикнул генерал, стараясь перекричать грохот гусениц "шерманов" и ликующий вопль своих GI.

– Here we never die! Здесь мы никогда не умрем! – крикнул Джек.

– What? We never dine? Что? Мы никогда не поедим? – крикнул генерал.

– Never die! Никогда не умрем! – повторил Джек.

– Why not? Почему бы и нет? – крикнул генерал Корк. – I will dine, I'm hungry! Go on! Go on! Я хочу поесть, я голоден! Поехали! Поехали!

Перед могилой Цецилии Метеллы я попросил Джека остановиться на минуту и крикнул генералу, что это могила одной из самых знатных матрон Древнего Рима, родственницы Суллы.

– Silla? Who was this gay? Сулла? А кто был этот парень? – крикнул генерал Корк.

– Silla, the Mussolini of the ancient Rome! Сулла – Муссолини Древнего Рима! – крикнул Джек.

Мне пришлось почти десять минут объяснять генералу Корку, что Цецилия Метелла "wasn't Mussolini's wife", не была женой Муссолини.

Новость пролетела от машины к машине, и толпа GI бросилась на осаду могилы Цецилии Метеллы, жены Муссолини. Наконец тронулись в путь снова, преодолели спуск к катакомбам Сан-Каллисто, затем подъем к Сан-Себастьяно. Когда мы добрались до небольшой церквушки Quo vadis[1], я крикнул генералу, что здесь надо остановиться даже с риском войти в Рим последними, потому что это – церковь Quo vadis.

– Quo what? – прокричал генерал Корк.

– The Quo vadis church! Церковь Quo vadis! – крикнул Джек.

– What? What means Quo vadis? Что значит Quo vadis? – крикнул генерал.

– Where are you going? Куда идешь? – ответил я.

– To Rome, of course! На Рим, конечно! – прокричал генерал Корк громовым голосом.

1. Куда идешь (*лат.*).

Тогда, стоя в джипе, я громко рассказал о том, что именно в этом месте, где сейчас стоит церквушка, святой Петр встретил Иисуса. Вся колонна поняла, о ком идет речь, только один GI крикнул:

— Which Jesus? Какого Иисуса?

— The Christ, of course! Христа, конечно! — громовым голосом крикнул генерал Корк.

Колонна молчала, а GI почтительно и молча столпились у дверей церкви. Они хотели войти, но дверь была заперта. Кто-то стал плечом вышибать створки двери, другие стучать кулаками и ногами, а водитель одного из "шерманов" принялся высаживать дверь железным ломом. Вдруг открылось окно в домике напротив, высунулась женщина, швырнула камнем в солдат, плюнула в них и крикнула:

— Стыдитесь! Немцы вонючие! Сукины дети!

— Скажите этой смелой женщине, что мы не немцы, мы — американцы! — крикнул мне генерал Корк.

— Мы — американцы! — крикнул я.

При этих словах все окна вдруг распахнулись, сотни голов высунулись наружу и ликующий хор закричал отовсюду:

— Да здравствуют американцы! Да здравствует свобода!

Толпа женщин, мужчин, детей, вооруженных дубинами и камнями, высыпала из ворот и калиток и, бросая свое первобытное оружие, кинулась навстречу GI с криками: "Американцы! Американцы!"

Пока GI обнимались с людьми под неистовые крики всеобщего ликования, генерал Корк, оставаясь в своем джипе, подозвал меня и тихо спросил, правда ли, что святой Петр именно на этом месте встретил Иисуса Христа.

— А почему это не может быть правдой? — ответил я. — Чудеса в Риме — самая обычная вещь.

— Nuts! Чепуха! — воскликнул генерал Корк. И после небольшой паузы попросил меня рассказать подробно, как это было. Я рассказал ему о святом Петре, о его встрече с Иисусом Христом, о том, как святой Петр спросил: "Quo vadis, Domine? Господи, куда ты идешь?"[1]

Мне показалось, генерала Корка очень обеспокоил мой рассказ, особенно слова святого Петра.

— Вы уверены, что святой Петр спросил Господа, куда он идет?

— А что еще он мог спросить? Вы на месте святого Петра что спросили бы у Иисуса?

— Конечно, — ответил генерал, — я тоже спросил бы, куда он идет. — И замолчал. Потом, покачав головой, добавил: — Так, значит, это Рим! — И больше не сказал ничего.

Прежде чем дать приказ отправиться дальше, генерал Корк, не лишенный определенной осторожности, попросил меня спросить у кого-нибудь из ликующей толпы, кто сейчас в Риме.

Я обратился к молодому парню, показавшемуся мне посмышленей, и передал ему вопрос генерала Корка.

— А кто может быть в Риме, — ответил тот, — как не римляне!

Я перевел ответ парня. Генерал Корк слегка покраснел:

1. Евангелие от Иоанна. 13:36.

— Of course, конечно, — воскликнул он, — там римляне! — и взмахом руки дал команду двигаться дальше.

Колонна тронулась, и скоро мы вошли в Рим через арку Порта-ди-Сан-Себастьяно, проехав по узкой улочке, зажатой между высокими красными стенами, покрытыми застарелой зеленой плесенью. Когда мы проезжали мимо могилы Сципионов, генерал Корк долгим взглядом посмотрел на могилу победителя Ганнибала[1].

— That's Rome! Это Рим! — прокричал он мне; похоже, генерал был растроган.

Мы проехали перед термами Каракаллы, и чудовищная громада имперских развалин, освещенная легким касанием лунных лучей, вызвала у солдат восторг в виде ликующего свиста. Пинии, кипарисы и лавры яркими зелеными, почти черными мазками ложились на пейзаж из пурпурных развалин и светлой зелени.

Продвигаясь вперед с оглушительным железным грохотом, мы выкатились к Палатинскому холму, согнувшемуся под тяжестью Дворца цезарей, поднялись по Триумфальной улице, и вдруг перед нами в ясном свете луны выросла величественная громада Колизея.

— What's that? Что это? — крикнул генерал Корк, пытаясь перекричать свист, поднявшийся над колонной.

— Колизей! — ответил я.

— What?

— The Coliseum! — крикнул Джек.

Генерал Корк встал в джипе, долго молча всматривался в гигантский скелет Колизея и, повернувшись ко мне, крикнул с нескрываемой гордостью в голосе:

— Наши бомбардировщики поработали на славу! — Потом, как бы извиняясь, широко развел руками и добавил: — Don't worry, Malaparte, that's war! Не огорчайтесь, Малапарте, это война!

В тот момент, когда колонна въезжала на Имперскую улицу, я, протянув руку в сторону Форума и Капитолийского холма, прокричал:

— А вот и Капитолий!

Сильный шум заглушил мои слова. Огромная толпа с криком спускалась к нам по Имперской улице. Большей частью это были женщины, казалось, они собрались атаковать нашу колонну. Они бежали к нам расхристанные, растрепанные, обезумевшие, они размахивали руками, плакали, смеялись, что-то кричали. В один миг мы очутились в окружении, колонна исчезла под неразберихой тел, ног и рук, под потоками распущенных черных волос, мягких, цветущих грудей, чувственных губ и белых плеч. ("Как всегда, — скажет на следующий день в своей проповеди молодой настоятель церкви Святой Екатерины на Корсо Италия, — как всегда, немецкая пропаганда лгала, говоря, что американская армия, едва войдя в Рим, бросится на наших женщин, — это наши женщины бросились на американскую армию и нанесли ей поражение".) Грохот моторов и гусениц был заглушен криками обезумевшей от радости толпы.

Когда мы подошли к Тор-ди-Нона, один мужчина, бежавший навстречу колонне с криком "Да здравствует Америка!", поскользнулся,

1. Имеется в виду Публий Корнелий Сципион Африканский (235—183 до н. э.), разгромивший войска Ганнибала при Заме в 202 г.

упал и был затянут под гусеницы танка. Крик ужаса поднялся над толпой. Я соскочил на землю, растолкал толпу и склонился над бесформенным трупом.

Мертвый есть мертвый. Это не что иное, как мертвый человек. Больше, а может быть, и меньше, чем мертвая собака, или мертвая кошка. На дорогах Сербии, Бессарабии, Украины мне не раз приходилось видеть впечатанных в грязь мертвых собак, раздавленных гусеницами танка. Собачья морда, нарисованная красным на классной доске дороги. Коврик из собачьей шкуры.

В 1941-м, на Украине, в Ямполе, что на Днестре, мне случилось видеть в дорожной пыли, прямо посреди деревни, коврик из человечьей шкуры. То был человек, тоже раздавленный танком. Лицо приняло квадратную форму, грудь и живот расплющились в виде ромба. Ноги раздались вширь, руки немного отделились от туловища, руки и ноги стали похожи на штанины и рукава выстиранной одежды, разложенной на гладильной доске. То был мертвый человек, нечто большее или меньшее, чем мертвая собака или мертвая кошка. И сейчас я не мог бы сказать, чего в том мертвом человеке было больше или меньше, чем в мертвой кошке или собаке. Но тогда, в тот вечер, когда я смотрел на человека, впечатанного в пыль дороги посреди поселка Ямполь, я мог бы, наверное, сказать, был ли тот мертвый человек нечто большее или меньшее, чем мертвая собака или кошка. Отряды евреев в черных кафтанах с лопатами и кирками собирали по селу мертвых, оставленных русскими. Сидя на пороге разрушенного дома, я смотрел на поднимающееся над болотистыми берегами Днестра легкое, прозрачное облако и на далекий, завивающийся в черные тучи дым над домами города Сороки на другом берегу. Похожее на красное колесо солнце катилось в облаке пыли в долину, где очертания танков, машин, людей и лошадей четко выделялись в пыльном золоте заката.

Посреди дороги прямо передо мной лежал раздавленный танком человек. Евреи подошли и принялись соскабливать с дороги силуэт мертвого человека. Кончиками лопат они осторожно отколупывали края коврика. То был коврик из человечьей шкуры, его утком была тонкая арматура ребер, паутина из раздавленных костей. Человеческая шкура была похожа на накрахмаленный костюм. Жестокое зрелище, но вместе с тем легкое, призрачное, будто отдаленное во времени. Евреи что-то говорили между собой, их голоса были далекими, легкими, приглушенными. Когда весь коврик из человеческой шкуры соскоблился с дороги, один еврей надел его той стороной, где была голова, на кончик лопаты, и с этим знаменем они пошли.

Знаменосец был молодой еврей с длинными, распущенными по плечам волосами и худым лицом, на котором сверкали глаза с болезненно напряженным взглядом. Он шагал, высоко подняв голову, он нес человечью шкуру на кончике лопаты, как знамя. Она и впрямь колыхалась и билась на ветру, как знамя.

Я сказал Лино Пеллегрини, он сидел рядом:

— Вот знамя Европы, вот наше знамя.

— Это не мое знамя, — сказал Пеллегрини, — мертвый человек не может быть знаменем человека живого.

— А что там написано, на том знамени? — спросил я.

— Там написано, что человек мертвый есть человек мертвый.

— Нет, — сказал я, — читай внимательней: там написано, что человек мертвый — это человек не мертвый.

— Нет, — сказал Пеллегрини, — человек мертвый — не что иное, как мертвый человек. Что еще это может быть, по-твоему?

— Э, ты не знаешь, что такое мертвый человек. А если бы ты знал, то не заснул бы вовек.

— Теперь вижу, — сказал Пеллегрини, — что написано на том знамени. Там написано: "Предоставь мертвым погребать своих мертвецов"[1].

— Нет, там написано, что это знамя нашей родины, нашей истинной родины. Знамя из человечьей шкуры. Наша настоящая родина — наша шкура.

Позади знаменосца с лопатами на плечах шел кортеж могильщиков. Все в застегнутых черных кафтанах. Ветер развевал знамя, шевелил испачканные в пыли и крови волосы, жестко торчащие над широким лбом, как нимб святого на иконе.

— Пойдем на похороны нашего знамени, — сказал я Пеллегрини.

Евреи шли к братской могиле, выкопанной на въезде в село со стороны Днестра. Они несли знамя, чтобы швырнуть его в помойку братской могилы, уже полной обгоревших трупов, лошадиной падали, крови и грязи.

— Это не мое знамя, — сказал Пеллегрини, — на моем знамени написано: "Бог, Свобода, Справедливость".

Я стал смеяться, потом посмотрел на противоположный берег Днестра. Я смотрел на берег Днестра и думал о Тарасе Бульбе. Гоголь был украинец, он заезжал в Ямполь, ночевал в одном из домов в глубине села. И именно оттуда, сверху, с того крутого берега, верные казаки Тараса Бульбы бросились с лошадьми в Днестр. Привязанный к пыточному столбу, обреченный на смерть Тарас Бульба призвал своих казаков броситься в реку и спасаться бегством. Именно с того места перед Ямполем, немного выше Сорок, Тарас Бульба смотрел, как его верные казаки, преследуемые поляками, скакали на своих мохнатых быстрых лошадях, как бросались они в реку с высокой кручи, как раз напротив места, где находился я. На высоком берегу появлялись и исчезали в зарослях акаций лошади итальянской артиллерийской батареи, а внизу, под колхозным навесом из волнистого железа, лежали обгоревшие, еще дымившиеся трупы лошадей.

Знаменосец шагал под своим знаменем с высоко поднятой головой, с неподвижными глазами, замершими в долгом ожидании, с напряженным, сверкающим взглядом Безумной Греты, Dulle Griet. Он шел, как Dulle Griet на картине Питера Брейгеля идет с рынка с корзиной в руке, безумные глаза смотрят прямо перед собой и, похоже, не замечают дьявольской возни вокруг, бесовского разгула, сквозь который она шагает, решительная и упрямая, под охраной своего безумства, как под защитой невидимого архангела. Знаменосец шел прямо в своем наглухо застегнутом черном кафтане и, казалось, не замечал потока людей, машин, лошадей, телег, артиллерийских упряжек, стремительно пролетавших через село.

1. Евангелие от Матфея. 8:22.

— Пойдем, — сказал я, — на похороны знамени нашей родины.

И, влившись в процессию могильщиков, мы пошли за знаменем. То было знамя из человечьей шкуры, знамя нашей родины, то была сама наша родина. А мы шли, чтоб увидеть, как знамя нашей родины, знамя родины всех народов и всех людей, швырнут в помойку братской могилы.

Толпа верещала, обезумев от ужаса. Стоящая на коленях рядом с простертым на Имперской улице ковриком из человечьей шкуры женщина причитала, рвала на себе волосы, протягивала руки, она не знала, как обнять мертвого. Мужчины грозили "шерманам" кулаками и кричали:

— Убийцы!

Их грубо отталкивала военная полиция, размахивая дубинками, полицейские пытались оттеснить от головы колонны разозленную толпу.

Подошел генерал Корк, я сказал ему:

— Он мертв.

— Of course, he's dead! Конечно, мертв! — крикнул генерал Корк. И раздраженно добавил: — Вы лучше постарайтесь узнать, где живет вдова несчастного.

Я протиснулся через толпу к женщине, помог ей подняться, спросил, как звали погибшего и где его дом. Она перестала причитать и, давясь рыданиями, вперила в меня испуганный взгляд, не понимая, что мне от нее нужно. Другая женщина вышла из толпы, она назвала имя мертвого, его улицу, номер дома и добавила злорадно, что причитавшая — не жена погибшего и даже не родственница, а только соседка. Услышав эти слова, бедняжка принялась причитать еще сильнее и стала рвать на себе волосы с еще большим ожесточением и неизбывностью своего горя, пока громовой голос генерала Корка не перекрыл шум толпы и колонна не тронулась в путь. Один GI высунулся из джипа и бросил цветок на бесформенные останки, другой сделал то же, и скоро гора цветов покрыла жалкий коврик.

На площади Венеции огромная толпа встретила нас громкими криками, перешедшими в бешеные рукоплескания, когда один из солдат, взобравшись на знаменитый балкон[1], обратился к народу на итало-американском диалекте:

— Вы думали, Муссолини выйдет говорить с вами, эй, you bastards! Но это говорю с вами я, Джон Эспозито, солдат и свободный американец, и я говорю вам, что вы никогда не станете американцами, никогда!

Толпа вопила:

— Никогда! Никогда! — и смеялась, и хлопала в ладоши.

Скрежет гусениц "шерманов" заглушил восторженный крик народа.

Наконец, мы въехали на Корсо, поднялись до Тритоне и остановились у гостиницы "Эксельсиор". Генерал Корк послал за мной. Он сидел в кресле во внутреннем дворике, стальная каска на коленях, лицо еще покрыто пылью и потом. В другом кресле рядом сидел полковник Браун, капеллан генерального штаба.

1. Муссолини имел обыкновение произносить речи с балкона Дворца Венеции.

Генерал Корк попросил меня проводить капеллана в дом погибшего, выразить соболезнование семье несчастного и передать вдове и сиротам деньги, собранные среди солдат Пятой армии.

— Скажите бедной вдове и сиротам, — добавил он, — что... я хочу сказать, что... у меня тоже есть жена и двое детей в Америке и... Нет, мои жена и дети здесь ни при чем.

Он замолчал и улыбнулся мне. Я заметил, что генерал глубоко взволнован.

Когда мы ехали с капелланом в его джипе, я грустно смотрел по сторонам. Улицы были полны пьяных американских солдат и ликующих римлян. Ручьи мочи текли вдоль тротуаров. Американские и английские флаги развевались из окон. Флаги были из ткани, не из человечьей шкуры. Мы доехали до Тор-ди-Нона, свернули в переулок и, не доезжая немного до Торре-дель-Грилло, остановились у бедного на вид дома. Поднялись по лестнице, толкнули прикрытую дверь и вошли.

Комната была полна людей, они тихо разговаривали. На постели лежали страшные останки. У изголовья сидела женщина с опухшими от плача глазами. Я обратился к ней и сказал, что мы пришли выразить соболезнование от имени генерала Корка и от всей Пятой американской армии. Потом добавил, что генерал Корк передает вдове и сиротам приличную сумму денег.

Женщина ответила, что у несчастного не осталось ни жены, ни детей, сам он из Абруцци, приехал в Рим искать прибежища после того, как его городок и дом были разрушены американскими бомбардировками. И сразу добавила:

— Простите, я хотела сказать, немецкими.

Беднягу звали Джузеппе Леонарди, он был из городка неподалеку от Альфедены. Вся семья погибла под бомбами, он остался один,

— Поэтому, — сказала женщина, — он торговал немного на черном рынке. Но совсем немного.

Полковник Браун протянул женщине пухлый конверт, та, поколебавшись, взяла деликатно двумя пальцами и положила на комод.

— Пригодятся на похороны, — сказала она.

После этой короткой церемонии все принялись громко разговаривать, женщина спросила, имея в виду полковника Брауна, сам ли это генерал Корк. Я ответил, что это капеллан.

— Американский священник! — воскликнула женщина, вскочила на ноги, предлагая стул, на который полковник Браун, покраснев и смутившись, присел, но сразу встал, словно сел на иголку.

Все уважительно смотрели на "американского священника", кланяясь и с симпатией ему улыбаясь.

— А теперь, — прошептал мне полковник Браун, — что я должен делать? — И добавил: — I think... yes... I mean... Я думаю... да... Я имею в виду... что делал бы на моем месте католический священник?

— Делайте все, что хотите, — ответил я, — но, главное, не дайте им заметить, ради бога, что вы протестантский пастор!

— Thank you, спасибо, — сказал капеллан, побледнев, приблизился к кровати, сложил руки и погрузился в молитву.

Когда полковник Браун встал и отошел от кровати, женщина покраснела и спросила меня, как собрать останки. Я сначала не понял. Женщина указала на мертвого. Труп походил на бумажную выкройку, на

картонную мишень для стрельбы в цель. Больше всего меня потрясли ботинки, раздавленные, продырявленные местами чем-то белым, может, костями. Две руки, собранные на груди (о, на груди!), были похожи на бумажные перчатки.

— Как быть? — сказала женщина. — Нельзя же хоронить его в таком виде.

Я ответил, что можно попробовать смочить его немного горячей водой, может это заставит его немного раздуться и придаст ему более человеческий вид.

— Вы хотите сказать, что его надо помыть губкой, как это делают с... — сказала женщина, покраснела и замолчала, неожиданный стыд закрыл ей рот.

— Именно так, помыть губкой, — сказал я, покраснев.

Кто-то принес тазик с водой, извиняясь, что вода холодная: уже много дней не было ни угля, ни дров, чтоб развести огонь.

— Хорошо, попробуем холодной, — сказала женщина и вместе со своей товаркой стала руками брызгать воду на мертвого: увлажненный, тот немного раздулся, но мало, не больше, чем на толщину плотного фетра.

Издалека, с Имперской улицы, с площади Венеции, с форума Траяна, от Субурры доносились гордые звуки фанфар, победные крики. Я смотрел на нечто ужасное, простертое на кровати и смеялся про себя, думая о том, что все мы считали себя Брутами, Суллами, Аристогитонами, а на самом деле мы все, победители и побежденные, были как это лежащее на кровати нечто: шкура, имеющая форму человека, жалкая человечья шкура. Я отвернулся к распахнутому окну и, глядя на высокую башню Капитолия, смеялся про себя, думая, что это знамя из человечьей шкуры было нашим знаменем, настоящим знаменем всех нас, побежденных и победителей, единственным знаменем, достойным в тот вечер развеваться на башне Капитолия. Я смеялся про себя, воображая знамя из человечьей шкуры развевающимся на вершине башни Капитолия.

XI. П*роцесс*

Мальчишки, сидящие на ступеньках церкви Санта-Мария-Новелла, небольшая толпа любопытных вокруг обелиска, у подножия церковной лестницы партизанский командир, оседлавший табурет и облокотившийся о железный столик, взятый из какого-то кафе на площади, группа молодых партизан-коммунистов из дивизии имени Потенте, выстроившихся с автоматами на церковном дворе перед сваленными в беспорядке трупами, — все это казалось фреской Мазаччо, написанной по серой штукатурке. Освещенные сверху грязным светом, падающим с облачного неба, все молчали, не двигаясь, повернув головы в одну сторону. Струйка крови сбегала вниз по мраморным ступеням.

На церковной лестнице сидели фашисты, мальчишки пятнадцати-семнадцати лет, — спадающие на лоб челки, живые черные глаза на удлиненных бледных лицах. Самый молодой, в черном свитере и коротких штанах, из которых выглядывали голые худые ноги, — совсем ребенок. Среди них одна девушка, молоденькая, черноглазая, с темно-

русыми распущенными волосами, такие волосы часто увидишь в Тоскане у женщин из народа. Она сидела, запрокинув лицо, глядя на летние облака над вымытыми дождем крышами Флоренции, на тяжелое гипсовое небо, местами потрескавшееся, как небо Мазаччо на фресках церкви дель Кармине[1].

Когда раздались выстрелы, мы были на Виа-делла-Скала, около садов Оричеллари. Выехав на площадь, мы подрулили к подножию лестницы церкви Санта-Мария-Новелла и остановились за спиной партизанского командира за железным столиком.

Скрип тормозов двух наших джипов не заставил командира обернуться. Секунду помедлив, он указал пальцем на одного из мальчишек и сказал:

— Твоя очередь. Как тебя зовут?

— Сейчас очередь моя, — сказал, вставая, мальчишка, — но будет день, придет и ваша.

— Как тебя зовут?

— Как меня зовут, мое дело, — ответил мальчик.

— Ты еще отвечаешь ему, этому подонку? — сказал его товарищ, сидящий рядом.

— Отвечаю, чтоб научить этого типа хорошим манерам, — ответил мальчик, вытирая со лба пот тыльной стороной ладони. Он был бледен, губы дрожали, но он посмеивался с независимым видом, глядя в упор на командира. Тот опустил голову и принялся крутить карандаш.

Мальчишки вдруг оживленно и со смехом заговорили между собой. В их разговоре слышались простонародные интонации жителей Сан-Фредиано, Санта-Кроче, Палаццоло.

— А эти бездельники чего уставились? Или никогда не видели, как убивают христиан?

— Им лишь бы поразвлечься, этим нехристям!

— Хотел бы я видеть их на нашем месте, что бы они делали, педерасты.

— Спорим, ползали бы на коленях!

— Визжали бы, как свиньи, бедняжки!

Смертельно бледные, мальчишки смеялись, внимательно следя за руками командира.

— Посмотри на этого красавчика, — красная косынка на шее!

— Зачем она ему?

— Как это зачем? Он же Гарибальди!

— Что мне претит, — сказал стоявший на лестнице мальчик, — так это умереть от рук этих засранцев!

— Он и так слишком долго возится с вами, недоносок! — крикнул кто-то из толпы.

— Если спешите, встаньте на мое место, — парировал мальчик, засовывая руки в карманы.

Командир партизан поднял голову и сказал:

— Давай быстрее. Не заставляй меня терять время.

1. Речь идет о фреске Мазаччо (наст. имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи, 1401–1428) "Первородный грех" в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции.

— Если ему не терпится, — сказал насмешливо мальчик, — то я потороплюсь.

И, отделившись от товарищей, он встал перед вооруженными автоматами партизанами, рядом с кучей трупов, прямо посреди лужи крови, растекавшейся по мраморным плитам церковного двора.

— Смотри не запачкай ботинки! — крикнул один из друзей, и все рассмеялись.

Джек и я соскочили с джипа.

— Стой! — крикнул Джек.

Но в тот миг мальчик крикнул:

— Да здравствует Муссолини! — и упал, прошитый пулями.

— Good gosh! Черт возьми! — воскликнул Джек, смертельно бледный.

Командир партизан поднял голову и посмотрел на Джека снизу вверх.

— Канадский офицер? — сказал он.

— Американский полковник, — ответил Джек и, указывая на сидящих на церковных ступеньках мальчишек, добавил: — Прекрасное занятие — убивать детей.

Командир медленно повернулся, бросил косой взгляд на два джипа с канадскими солдатами, на пулемет, остановил взгляд на мне, оглядел мою форму и, положив карандаш на стол, сказал с примирительной улыбкой:

— Почему ты сам не ответишь своему американцу?

Я посмотрел ему в лицо и узнал: это был один из помощников Потенте, молодого командира партизанского отряда, вместе с канадскими частями бравшего Флоренцию, который погиб несколькими днями раньше на наших глазах за рекой Арно.

— Союзное командование запретило массовые расстрелы, — сказал я. — Оставь мальчишек, если не хочешь неприятностей.

— Ты один из наших и так говоришь? — сказал командир.

— Я — один из ваших, но считаю, что нужно уважать приказы союзного командования.

— Я тебя видел, — сказал командир, — ты был там, когда погиб Потенте?

— Да, я был рядом с ним.

— Тебе нужны еще трупы? Не знал я, что ты заделался могильщиком.

— Мне нужны живые. Эти мальчишки.

— Бери тех мертвых. Много за них не возьму. Сигарета есть?

— Мне нужны живые, — сказал я, протягивая пачку. — Этих ребят будет судить военный трибунал.

— Военный трибунал? — сказал командир, зажигая сигарету. — Не слишком ли жирно?

— Ты не имеешь права судить их.

— Я не сужу, — сказал командир, — я убиваю.

— Почему ты их убиваешь? По какому праву?

— По какому праву? — сказал командир.

— Почему вы хотите убить этих мальчишек? — сказал Джек.

— Я их убиваю потому, что они кричат "Да здравствует Муссолини!"

— Они кричат "Да здравствует Муссолини", потому что ты их убиваешь, — сказал я.

— Чего им нужно, этим двум типам? — крикнул голос из толпы.

— Мы хотим знать, почему их убивают, — сказал я, повернувшись к толпе.

— Они стреляли с крыши, — крикнул другой голос.

— С крыши? — сказала пленная девочка. — Вы что, за котов нас держите?

— Что-то эти на жалость бьют, — вышел парень из толпы, — так я вам говорю, они стреляли с крыши!

— Вы их видели?

— Я — нет, — сказал парень.

— Тогда почему говорите, что они стреляли с крыши?

— Кто-то же должен был быть на крыше, раз стреляли, — сказал парень, — и еще остались. Не слышите, стреляют?

Из глубины улицы долетал редкий треск ружейных выстрелов и отрывистые автоматные очереди.

— В таком случае и вы могли стрелять с крыши, — сказал я.

— Ну, ты, думай, что болтаешь, — сказал парень угрожающим тоном и сделал шаг вперед.

Джек подошел ко мне, прошептал на ухо:

— Take it easy, спокойно, — и, повернувшись к канадским солдатам, сделал знак, те соскочили с джипов и встали за нами, выставив автоматы.

— Ну, теперь они не отлипнут, — сказала девушка.

— Чего вы вмешиваетесь в наши дела? — спросил один из мальчишек, со злостью глядя на меня. — Думаете, мы боимся?

— Он боится больше, чем мы, — сказала девушка, — смотри, как побледнел. Дайте ему сердечных капель, бедняге!

Все рассмеялись, Джек сказал командиру партизан:

— Этих ребят я заберу. Их будут судить по закону.

— По какому закону? — сказал командир.

— По закону военного трибунала, — сказал Джек. — Надо было убить их сразу, на месте. Теперь поздно. Теперь очередь за трибуналом. Вы не имеете права судить их.

— Они ваши друзья? — спросил Джека командир партизан с издевательской улыбкой.

— Они итальянцы, — сказал я.

— Они? Итальянцы? — сказал командир.

— А что, может, вы нас за турок держите? — сказала девушка. — Глядика, вроде большая роскошь — быть итальянцем!

— Если они итальянцы, — сказал командир, — при чем здесь тогда союзники? В наших делах мы разберемся как-нибудь сами.

— По-семейному, — сказал я.

— Именно по-семейному, а ты что — за союзников? Если ты из наших, должен быть за меня.

— Они итальянцы.

— Итальянцев должен судить народный трибунал! — крикнул голос из толпы.

— That's all, разговор закончен, — сказал Джек.

По его знаку канадцы окружили ребят и, подталкивая в спину, повели к джипам.

Командир партизан с белым лицом пристально смотрел на Джека и сжимал кулаки. Вдруг он резко протянул руку и схватил Джека за плечо.

— Руки прочь! — крикнул Джек.

— Нет, — сказал тот, не двигаясь с места.

Тем временем из церкви вышел монах. То был добрый монах, высокий, плотный, с круглым красным лицом и с метлой в руках. Он принялся мести церковный двор, захламленный обрывками бумаги, соломой и стреляными гильзами. Увидев гору трупов и кровь, стекающую вниз по мраморным ступеням, он остановился, расставил широко ноги и сказал:

— А это еще что такое?

Он повернулся к партизанам, стоявшим в ряд с автоматами в руках перед телами расстрелянных.

— Что это за мода убивать людей прямо под дверями моей церкви? А ну, вон отсюда, бездельники! Идите и творите свои дела перед своим домом, а не здесь! Понятно?

— Успокойтесь, святой отец! — сказал командир партизан. — Сегодня не день для проповеди.

— Ах, не день? — крикнул монах. — Так я вам покажу, что сегодня за день!

И, взмахнув метлой, он принялся охаживать ею партизанского командира по голове. Сначала хладнокровно, с осознанной злостью, потом, все больше распаляясь, он раздавал тычки направо и налево и кричал:

— Ишь, придумали: приходить поганить ступени моей церкви! Идите работать, бездельники, вместо того, чтобы убивать людей перед моим домом!

И, ловко орудуя метлой, он наносил удары по партизанским головам, наскакивая то на одного, то на другого и приговаривая:

— Кыш! Кыш! Вон отсюда, охальники! Кыш! Кыш!

Оставшись хозяином положения и продолжая осыпать "бездельников" и "дупиц" руганью и проклятиями, святой отец принялся со злостью мести окровавленные ступени.

Толпа молча разбрелась.

— Ты мне еще попадешься! — сказал командир партизан, с ненавистью буравя меня взглядом, и, оглядываясь, медленно удалился.

Я сказал Джеку:

— Хотел бы я тоже встретить этого несчастного.

Джек подошел, положил мне руку на плечо, грустно улыбнулся и только тогда я заметил, что весь дрожу и глаза мои полны слез.

— Спасибо, падре, — сказал Джек монаху.

Тот оперся на метлу и сказал:

— И вам кажется праведным, синьоры, что в таком городе как Флоренция убивают христиан на церковных ступенях? Люди всегда убивали друг друга, тут ничего не скажешь. Но здесь, перед моей церковью, перед церковью Санта-Мария-Новелла! Почему не идут убивать на ступени Санта-Кроче? Тамошний настоятель разрешил бы. Но здесь — нет. Я правильно говорю?

— Ни там, ни здесь, — сказал Джек.

— Здесь — нет, — сказал монах, — здесь я не желаю. Видели, как я их? А захочешь с ними по-хорошему, ничего не получится. Тут нужна метла.

Она столько походила по немецким головам, почему не всыпать немного и итальянцам тоже? Пусть поостерегутся и американцы, — если взбредет им в голову пачкать мне кровью ступени церкви, получат метлой и они. Вы американец?

— Да, я американец, — сказал Джек.

— Ну, в таком случае беру свои слова обратно. Но вы меня понимаете. У меня тоже есть соображения на сей счет. Учитесь у меня: нужно действовать метлой.

— Я военный, — сказал Джек, — и не могу ходить, вооружившись метлой.

— Худо. С ружьем воевать нельзя, нужна метла, — сказал монах, — на этой войне, хочу я сказать. Эти бездельники — хорошие парни, они многое перенесли, и в известном смысле я их понимаю, но их портит то, что они победили. Стоит христианину победить, он сразу забывает, что он христианин. Становится турком. Как только христианин побеждает, прощай Христос. Вы христианин?

— Да, — сказал Джек, — я еще христианин.

— Тем лучше, — сказал монах, — лучше христианин, чем турок.

— Лучше христианин, чем американец, — сказал Джек, улыбаясь.

— Понятно, лучше христианин, чем американец. И потом... До свидания, господа, — сказал святой отец и направился к воротам своей церкви, сжимая в руках окровавленную метлу и бормоча что-то себе под нос.

Я устал видеть, как убивают людей. Я четыре года только и делал, что смотрел на убийства. Смотреть, как люди умирают, — одно, а видеть, как убивают людей, — совсем другое. Тебе кажется, ты на стороне тех, кто убивает, что ты — один из убийц. Я устал и больше не мог. При виде убитого меня тянуло на рвоту, и не от отвращения или ужаса, а от злости и ненависти. Я стал ненавидеть трупы. Жалость закончилась, начиналась ненависть. Ненавидеть мертвых! Чтоб понять, в какую бездну отчаяния может впасть человек, нужно понять вначале, что значит ненавидеть мертвых.

За все четыре года войны я ни разу не выстрелил в человека, ни в живого, ни в мертвого. И остался христианином. Но оставаться христианином в то время значило быть предателем. Оставаться христианином означало предавать Христа, потому что та мерзопакостная война была не против людей, а против Христа. За четыре года я повидал множество людей, рыскавших в поисках Христа, как охотники — в поисках добычи. В Польше, в Сербии, на Украине, в Румынии, в Италии, по всей Европе за четыре года я повидал людей с бледными лицами, обшаривающих дома, кустарники, леса, долины и горы, чтоб найти Христа в его прибежище и убить, как бешеную собаку. Но я остался христианином.

И вот теперь, когда, по прошествии двух с половиной месяцев с тех пор, как в начале июня был освобожден Рим и мы преследовали немцев по Кассиевой и по Аврелиевой дорогам (Джек и я должны были поддерживать связь между французами генерала Жюэна и американцами генерала Кларка через горы и леса Витербо и Тосканы, через болота Гроссето, Сиены и Вольтерры), я начал чувствовать в себе зарождающееся желание убивать.

Почти каждую ночь мне снилось, что я стреляю и убиваю. Я просыпался мокрый от пота, вцепившись в приклад автомата. Такие сны никогда не снились мне раньше. Мне никогда не снилось до сих пор, что я убиваю человека. Я стрелял и видел человека, медленно оседающего на землю. Выстрела слышно не было. Человек тихо, мягко сполз на землю на фоне горячей, удушающей тишины.

Однажды ночью Джек услыхал, как я кричу во сне. Мы спали на земле, укрывшись под танком "шерман", под мягким июльским дождем в лесу у Вольтерры, где мы догнали японскую дивизию, дивизию американскую, но укомплектованную японцами с Гавайев и из Калифорнии, — ей была поставлена задача атаковать Ливорно. Джек услыхал мои крики, плач и зубовный скрежет. Как если бы внутри меня матерый волк медленно освобождался от кандалов моего сознания.

Это безумие убийства, жажда крови стала жечь меня между Сиеной и Флоренцией, когда мы стали замечать, что среди стрелявших в нас немцев есть итальянцы. В те дни освободительная война против немцев стала понемногу превращаться для нас, итальянцев, в братоубийственную войну итальянцев против итальянцев.

— Don't worry, не волнуйся, — говорил мне Джек, — то же самое творится во всей Европе...

Когда мы вели наступление на Флоренцию и от Порта-Романа, через Беллосгвардо и Поджо-Империале вышли к Ольтрарно, я снял магазин с моего автомата и, протянув его Джеку, сказал:

— Помоги мне, Джек. Не хочу стать убийцей.

Джек, улыбаясь, посмотрел на меня, он был бледен, губы дрожали. Он взял магазин и положил его к себе в карман. Я вытащил обойму из маузера и тоже протянул Джеку, и он, все с той же грустной и мягкой улыбкой, забрал у меня эту обойму и все остальные.

— Тебя убьют как собаку, — сказал он.

— Это прекрасная смерть, Джек. Я всегда мечтал быть однажды убитым как собака.

В конце улицы Порта-Романа, там, где она вливается в улицу Маджо, нас встретили бешеным ружейным огнем с крыш и из окон. Нам пришлось выскочить из джипа и, согнувшись, пробираться вдоль стен под пулями, отскакивавшими от плит мостовой с кошачьим взвизгом. Джек и канадцы отстреливались, а майор Брэдли, командир канадцев, всякий раз удивленно оглядывался на меня и кричал:

— Почему не стреляете? Может, вы conscientious objector[1]?

— Нет, он не conscientious objector, — отвечал Джек, — он итальянец, из Флоренции. Не хочет стрелять в своих, — и с грустной улыбкой смотрел на меня.

— Вы об этом пожалеете! — кричал мне майор Брэдли. — Такой возможности вам больше не выпадет в жизни.

Канадские солдаты тоже оглядывались на меня с удивлением, смеялись и кричали мне на своем французском со старинным нормандским акцентом:

1. Человек, отказывающийся от военной службы по религиозным или иным мотивам (*англ.*).

– Veuillez nous excuser, mon capitaine, mais nous ne sommes pas de Florence! Извините нас, капитан, но мы не из Флоренции!

И, смеясь, палили по окнам. Я чувствовал в их словах и в их смехе искреннюю, немного грустную симпатию.

Пятнадцать дней длились бои на улицах Ольтрарно, прежде чем нам удалось перейти реку и занять центр города. Мы забаррикадировались в пансионе Бартолини, на последнем этаже старого дворца Лунгарно Гвиччардини на набережной Арно, нам приходилось пригнувшись ходить по комнатам, чтоб не попасть под пули немцев, стрелявших из окон палаццо Феррони прямо напротив нас, за рекой Арно, возле моста Святой Троицы.

Ночь, я лежу рядом с канадскими солдатами и партизанами-коммунистами дивизии имени Потенте, прижимаясь лицом к кирпичному выступу, хотя мне безумно хочется вскочить и бежать по улицам, врываться в дома и стрелять в живот всем тем, кто прячется в погребах и дрожит в ожидании момента, когда минует опасность и можно будет выбежать на площадь с трехцветным бантом на груди и красной косынкой на шее и закричать:

– Да здравствует свобода!

Мне была отвратительна моя ненависть, пожиравшая сердце, пришлось ногтями вцепиться в пол, чтоб не пойти по домам убивать всех фальшивых героев, тех, кто в тот день, когда немцы оставят город, выйдут из своих убежищ с криком "Да здравствует свобода!" и с презрительной жалостью и ненавистью посмотрят на наши небритые лица и оборванную форму.

– Ты чего не спишь? – тихо спросил меня Джек. – Думаешь о завтрашних героях?

– Да, Джек, я думаю о героях завтрашнего дня.

– Don't worry, – сказал Джек, – то же самое происходит во всей Европе. Это герои завтрашнего дня окажутся спасителями Европы.

– Зачем вы пришли освобождать нас, Джек? Вы должны были оставить нас гнить в нашем рабстве.

– Я отдал бы всю свободу Европы за стакан холодного пива, – сказал Джек.

– Стакан холодного пива? – воскликнул майор Брэдли, вдруг неожиданно проснувшись.

Однажды ночью, когда мы собирались идти дежурить на крыши, партизан из дивизии Потенте подошел и сказал, что меня спрашивает итальянский артиллерийский офицер. То был Джакомо Ломброзо. Мы молча обнялись, меня била дрожь, когда я вглядывался в его бледное лицо, в его глаза, полные странного света, как у еврея, которому смерть садится на плечо, будто невидимая птица. Мы с Джеком сделали длинный рейд по крышам, изгоняя стрелков, засевших за трубами и в слуховых окнах, а на обратном пути залегли на крыше пансиона Бартолини, укрывшись за каминной трубой. Мы лежали той летней ночью на теплой черепице под далекими вспышками молний и тихо разговаривали, любуясь бледной луной, встающей медленно над оливами Сеттиньяно и Фьезоле, кипарисами на склонах Монте-Морелло и лишенной растительности Кальваной. Мне казалось, что внизу, в глубине долины, блестят в лунном свете крыши моего города.

Я говорил Джеку:

— Это Прато, Джек, это мой город. Там дом моей матери. Дом, где я родился, — рядом с домом, где родился Филиппино Липпи[1]. Ты помнишь, Джек, ночь, которую мы провели, прячась в том кипарисовом леске на холмах Прато? Помнишь, мы видели мигающие среди олив глаза мадонн и ангелов Филиппино Липпи?

— То были светлячки, — сказал Джек.

— Нет, не светлячки, то были большие глаза мадонн и ангелов Филиппино Липпи.

— Ты смеешься надо мной? Это были светлячки, — сказал Джек.

Конечно, это были светлячки, но кипарисы и оливы под лунным светом были написаны Филиппино Липпи.

Несколько дней назад Джек и я и еще один канадский офицер отправились за линию фронта, чтоб разведать, правда ли, как утверждали партизаны, что немцы отказались оборонять Прато, ушли по долине реки Бизенцио на Болонью и оставили город. Зная местность, я был проводником, Джек и канадец должны были по радио сообщить командованию, нужно ли подвергать Прато новой жестокой бомбардировке. Жизнь и смерть моего города зависели теперь от Джека, канадского офицера и от меня. Мы шли к Прато, как ангелы к Содому. Мы шли спасти Лота и его семью от огненного дождя.

Перейдя вброд Арно возле Ластре-а-Синья, мы пошли затем вдоль Бизенцио, реки моего детства, "Счастливая Бизенцио" называли ее Марсилио Фичино и Аньоло Фиренцуола[2]. Возле Кампи мы отошли от реки, чтоб обойти селение, сделали большой крюк и вернулись к Бизенцио возле моста Капалле. Оттуда, продвигаясь вдоль реки, мы шли, пока не увидели стены Прато, поднялись к Кверче по берегу Ретайи и, срезав наполовину путь, прошли выше моста Каппуччини, потом спустились к Филеттоле и уже там, спрятавшись в кипарисовой роще, провели ночь, любуясь бледными всполохами светлячков меж оливковых ветвей.

Я сказал Джеку:

— Это глаза мадонн и ангелов с картин Филиппино Липпи.

— Ты хочешь меня напугать? — сказал Джек. — Это же светлячки.

Я рассмеялся и сказал:

— Мягкое мерцание там внизу, возле поющего в тени фонтана, это отблеск накидки Саломеи с картины Филиппино Липпи.

— The hell with your Salome! Иди ты к черту со своей Саломеей! — сказал Джек. — Ты смеешься? Это светлячки.

— Надо родиться в Прато, — продолжал я, — надо быть земляком Филиппино Липпи, чтобы понять, что это не светлячки, а глаза ангелов и мадонн Филиппино.

Джек со вздохом ответил:

— Я, к сожалению, всего лишь бедный американец.

Мы надолго замолчали, я чувствовал глубокую нежность и признательность к Джеку и ко всем тем, кто — к сожалению, это были только бедные американцы — рисковал жизнью за меня, за мой город, за мадонн и ангелов Филиппино Липпи...

1. Филиппино Липпи (ок. 1457–1504) — итальянский живописец, уроженец Прато.
2. Марсилио Фичино (1433–1499) — флорентийский философ и гуманист; Аньоло Фиренцуола (1493–1543) — флорентийский писатель, последователь Боккаччо, умер в Прато.

Одним прекрасным утром мы перешли реку и взяли Флоренцию. Из помоек, погребов, с чердаков, из шкафов, из-под кроватей, из трещин в стенах, где они жили "в подполье" уже месяц, выползали как крысы герои последнего часа, тираны завтрашнего дня. Героические крысы свободы, которым однажды доведется захватить Европу, чтоб возвести на развалинах чужеземного гнета царство собственной тирании.

Мы прошли Флоренцию молча, как пришельцы и нарушители всеобщего счастья, под презрительными взглядами шутов свободы, украшенных кокардами, нашивками, галунами, страусовыми перьями, даже лица их казались трехцветными. Преследуя немцев, мы углубились в долины Апеннин и поднялись в горы. На еще теплую летнюю землю падал по-осеннему холодный дождь, и еще долгие месяцы мы слушали бормотание дождя по дубовым и каштановым лесам Монтепьяно, по елям Абетоне, по белым мраморным скалам апуанских Альп.

Потом пришла зима, и от Ливорно, где был командный пункт союзников, мы один раз в три дня поднимались к линии фронта, в сектор Версилия-Гарфаньяна. Иногда, застигнутые ночью, мы находили прибежище недалеко от расположения 92-ой Черной дивизии американцев в моем доме в Форте-деи-Марми, который в конце прошлого века построил скульптор Хильдебранд с помощью художника Бёклина на пустынном пляже между сосновой рощей и морем.

Мы проводили ночь возле камина, в большом холле, украшенном фресками Хильдебранда и Бёклина. Пули немецких пулеметчиков, засевших в Чинкуале, щелкали по стенам дома, ветер злобно терзал пинии, море волновалось под ясным небом, где Орион в красивых сапогах проносился со сверкающим мечом и луком.

Однажды ночью Джек тихо сказал мне:

— Смотри, Кэмпбелл.

Я посмотрел на Кэмпбелла, он сидел перед камином с офицерами 92-ой Черной дивизии и улыбался. Вначале я не понял. Но во взгляде Джека, устремленном в лицо Кэмпбелла, я прочел робкий привет и сердечное прощай, в глазах Кэмпбелла, когда он поднял голову и посмотрел на Джека, тоже был робкий привет и сердечное прощай. Я смотрел на них, улыбающихся друг другу, и испытывал чувство нежной зависти и легкой ревности. Тогда я понял, у них был секрет, у Джека и Кэмпбелла, как и у Джакомо Ломброзо и у моего маленького Джорджо, сына моей сестры, то был секрет, который они ревниво прятали от меня, и улыбались...

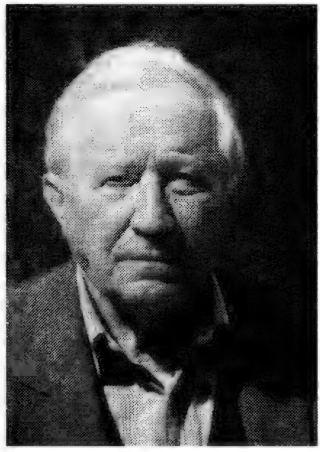
В тот вечер, сидя перед камином в моем доме в Форте-деи-Марми, слушая в тиши щелканье немецких пуль о стены, я начинал понимать, чего хотят от нас мертвецы, все те мертвые, что остались лежать на дорогах, в полях и лесах.

Я начинал понимать, почему мертвые звали нас. Они хотели от нас чего-то, что только мы могли им дать. Нет, не жалости. Чего-то другого, более значительного, покрытого тайной. Не мира, не мира праху, не прощения, не памяти и не любви.

Потом пришла весна, мы двинулись на последний штурм, меня послали проводником японской дивизии, шедшей на Массу. От Массы мы прошли к Карраре, оттуда пересекли Апеннины и спустились к Модене.

И только когда я увидел бедного Кэмпбелла, лежащего в пыли на дороге в луже крови, я понял: то, чего хотели от нас мертвые, не имело отношения к человеку и к самой жизни. Два дня спустя мы перешли По и, отбивая атаки немецкого арьергарда, подошли к Милану. Война близилась к концу, начиналась резня, страшная итальянская резня в домах, на дорогах, в полях и лесах. И наступил день, когда умирал Джек, когда я наконец понял, что́ умирало вместе с ним во мне и вне меня. Джек умирал улыбаясь, он смотрел на меня. Когда его глаза закрылись, я впервые в жизни отчетливо понял, что за меня умер человек...

Тадеуш Ружевич



Рассказы

Перевод с польского М. Курганской

Море

I

Был ноябрьский вечер. В лесу пахло гнилью. В шалаше друг подле друга лежали Корд, Дамба, Вентура, Франк, Ножик, Виктор. Тогда еще живые. Одно место было свободно. Старый сержант Гром бродил вокруг шалаша, разговаривая сам с собой и костеря всех подряд. В шалаш он вполз чуть ли не на карачках. Видно, снова ходил в деревню пить самогон с мужиками. Гром внимательно оглядел лежащих и набросился на долговязого Корда, тыча в него пальцем:

– Ты, скотина, за говядину воюешь! И вы здесь все что... сопляки! Вы знаете, кто я... Я Гром, сам комендант Гром... Мое имя еще прогремит в лесах, а вы... да идите вы все знаете куда... Ты за говядину, за быка этого сражался! Отбил быка и бочку капусты в придачу! А там кто лежит? Ножик! Ножик! Дай я тебя поцелую... Э-эх, да что вы понимаете.

– Ложись, старый, ложись, – ласково улыбаясь, сказал Корд. – Ребята, помогите деду...

© Copyright by Tadeusz Różewicz and Wydawnictwo Dolnośląskie
© М. Курганская. Перевод, 2005
Рассказы будут опубликованы в сборнике прозы Т. Ружевича, выходящем в издательстве "Текст".

— Что-о? — Коротышка-сержант вытаращился, грозно поводя маленькими серо-голубыми глазками. — Что-о? Старика выгоняете как собаку? Я в Пятой бригаде служил... когда к нам туда Сирко[1] приехал... — Гром махнул рукой. — А вы тут быка в плен взяли, быка. Бочку капусты...

Гром закутался в одеяло и какое-то время лежал тихонько, посапывая, а потом опять заладил:

— Я свинья, я свинья, ну ладно, не сердитесь, я свинья, я вам в отцы гожусь, я свинья, ни капли больше в рот не возьму.

— Спи, старый, спи, — сказал Корд. — Завтра поговорим.

— Рассказывай, Франк, рассказывай дальше, — отозвался кто-то. — А ты, дед, потише, не то мигом вылетишь.

И Франк, которому довелось поработать во Франции, продолжал. Он рассказывал, как его любила одна французская девушка. "Бабы ихние худые, — говорил он, — чернявые и худые, только очень шустрые и в любви знают толк".

Он описывает французские способы, кто-то гогочет.

— И в рот возьмет? Заливаешь, Франк, а может, и правда... — задумывается Ножик. — У нас один к корове в хлев повадился, а бабу свою вожжами прогонял, говорил, с коровой ему лучше...

— Когда кончится война, — говорит Франк, — я с бабы круглые сутки слазить не буду...

И тут начинается разговор из разряда "когда кончится война".

— Я, когда кончится, сразу напьюсь, в первый же день, и так целый месяц: буду валяться в канаве и пить, блевать и пить. Ничего поначалу не стану делать, только пить.

— После войны можно будет поездить, границ не будет, армий не будет, пускай только кончится эта заваруха, и я поеду в Африку, Австралию, Америку, по всему миру буду колесить. Еще мне надо на негров посмотреть, китайца-то я уже видел. Люди голодным не оставят, и выпить перепадет, да и какие-никакие доллары за эту войну, наверное, заплатят, вот всех немцев передавим, и настанет в мире покой.

— Я поступлю в гимназию, надо получить аттестат, потом хочу стать журналистом, писать в газеты, но сначала нужно в школу вернуться. Ну, чего ты, Гром? На сигаретку, хочешь?

Гром хлюпал носом, что-то бормотал и наконец заговорил:

— Ты, Ножик, твою мать... ни хрена ты не знаешь, от твоей болтовни толку что от козла молока. Городишь, невесть чего, да что тут удивляться, нигде вы не были, ничего не видели. Вот ты, Ножик, видел горы?

— Нет.

— А море?

— Не видел.

— А ты, Вентура, море видел?

— Нет.

— А ты, Корд?

— Нет, дед, не видел. Когда со школой ездили на экскурсию в Гдыню, у меня была ангина.

1. Вацлав Серошевский (псевдоним Сирко; 1858–1945) — польский писатель и политический деятель, служивший во время Первой мировой войны в Первой бригаде Польских легионов. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Ну вот, никто моря не видал, а ты, Ножик, небось еще сомневаешься, есть ли оно, море-то...

— Да отвяжись ты со своим морем, бывало попадется шкварка в картошке, вот и праздник.

Гром сполз со своего места. Подошел к столу, на котором коптила керосиновая лампа. Вытащил из кармана какой-то сверток и принялся разворачивать. В руках у него забелел плоский продолговатый предмет, похожий на кость. Он приложил его к глазу и долго смотрел сквозь него на желтое закопченное стекло лампы.

— Поди сюда, Ножик, покажу кое-что.

— У тебя что, колбаса осталась?

— А как же. Ну, иди.

Ножик слез с нар и подошел к Грому. Другие приподнялись, один Франк не пошевелился, продолжал лежать и курить. Он думал о своей девушке, оставшейся в городе. Руки у нее были толстые, теплые и всегда влажные, словно она только что мыла посуду; ноги толстые и неповоротливые, а тело словно колода из живой плоти.

— Глянь, Ножик, в окошечко.

Гром протянул Ножику белый предмет. Это была ручка — то ли костяная, то ли пластмассовая — со звездочкой эдельвейса на конце. В венчике цветка помещалось стеклышко, похожее на каплю воды. В это окошечко теперь напряженно всматривался Ножик.

— Ну, что видишь, Ножик?

— Картинку какую-то, но чего там, не пойму.

— Небо с облаками видишь?

— Вижу.

— А белый песок на берегу?

— Вижу.

— А воду видишь?

— Нет.

— Это тебе не колбаса, Ножик, это море.

— Вроде море, — пожал плечами Ножик и отдал ручку Грому. Гром еще с минуту смотрел в окошечко, что-то приговаривая, потом дал ручку Виктору.

— Видишь море?

— Вижу: черное, как будто неподвижное.

— А чайку в углу, под той большой тучей, видишь?

— Вижу, а вдалеке вроде как труба или дым, погляди, Гром.

— Это пароход.

Гром тщательно завернул ручку в бумагу и спрятал в карман. Виктор думал о том мире, который он увидел за стеклянной каплей. Будто кто-то проделал маленькое отверстие в черной стене; проткнул ночь, лес, беззвездное небо и отчаяние. На дне тьмы кусочек совсем другого мира — открытого, безбрежного. В залитом желтым светом пристанище, сплетенном, сотканном из вереска, мха и веток, отворилось маленькое окошко, волшебная капля, в которой было море, небо, светлый пляж на берегу, белая чайка под тучей. Фотограф заметил эту тучу и поймал. И теперь она застыла навечно в костяной ручке.

— Я туда после войны поеду, у меня дом на море, я всех приглашаю, слышите, всех, кто здесь сидит. И ты, Ножик, приедешь в гости к Грому, только его тогда уже будут звать не Гром, а... — Старик шлепнул себя по

губам, потом приложил к ним палец и громко прошептал: – Тссс, тихо, ша, конспирация. Гром, и точка. Всех приглашаю в особняк на берегу моря... и тебя, Ножик, приглашаю...

– Нам тут Гром заладил про свое море, а где самогон нюхал, небось не скажет.

Гром залез на нары и завернулся в одеяло. Укрылся с головой и больше не проронил ни слова. Ноябрьский вечер тянулся долго. Франк продолжал рассказывать о любви французских женщин. Корд задул лампу. Лежал и курил. Ножик думал о куске колбасы, оставленном на утро с ужина. Дамба спал. Вентура о чем-то докладывал во сне и вдруг засмеялся. Виктор думал о том, что хорошо бы иметь такую ручку.

"За четвертинку Гром уступит", – решил он.

В ту ночь все еще были живы. А потом погибли, один за другим. Из тех, кто был в шалаше, до дня победы дожил только Виктор. Другие остались лежать на сельских погостах или в лесах. В тех самых чахлых лесочках, где все труднее было скрываться партизанам.

II

8 мая 1945 года в Европе был объявлен Днем Победы.

Война закончилась, но мертвые остались с Виктором. Иногда они покидали его на несколько дней, но потом среди ночи вдруг являлись снова. Виктор кричал во сне, после лежал неподвижно с открытыми глазами, чувствуя, как по лицу текут теплые слезы. "Я жив, – думал Виктор. – Выходит, это я остался живой. Только во мне есть сегодняшний восход солнца. Розовый туман над июньскими лугами. Только во мне живет юная девушка в зеленом платье. Она стоит у стены деревенского дома и улыбается. Только во мне живет этот город, пахнущий, как догорающий костер в сентябре. Этот город во мне, со всеми домами и людьми. Даже с хозяином маленькой кондитерской, который стоит в белом халате у входа в свое заведение и продает мороженое. Белый приходский костел с апостолами Петром и Павлом на огромном алтаре. Не было, нет и не будет на свете другого человека, в ком бы жили эти картины. Каждый носит в себе свернутую пленку цветных и черно-белых фильмов. Каждый фильм смонтирован исключительно в памяти одного человека. Я исчезну вместе с ним. Робкие попытки пересказать его при жизни или показать после смерти всегда заканчиваются ничем. Свет, кадры, планы, диалоги – все не то. Бумажный кораблик плывет по водосточной канаве. Белый сахарный агнец стоит с красным флажком. Зеленые кузнечики шуршат в картонной коробочке. На стене портрет Костюшко в мужицкой сермяге. Яблоки, груши, вишни. Масло, завернутое во влажный лист хрена. В "Мухе"[1] рисунок, на котором лысый щербатый человечек в очках тянет за собой козу, а от него убегает, поджавши хвост, британский лев".

Изображения на экране движутся быстро и беззвучно. Люди энергично жестикулируют, но лишены дара речи. Ветер теребит ветки деревьев, но листья не шумят. Скрещиваются безмолвные мечи, дымятся дула винтовок, галопом скачут кони, но их копыта бьют о тишину. Только

1. "Муха" – юмористический иллюстрированный еженедельник.

музыка, вырывающаяся из жестяной трубы граммофона, стоящего рядом с экраном, пытается догнать немые картинки. Однажды люди на экране заговорят.

Отец надевает поверх рубашки жесткую, как панцирь, манишку. Прикалывает булавками целлулоидный воротничок и блестящие манжеты. Желтый, похожий на грушу воздушный шар поднимается в небо, исчезает в облаках. Уланы возвращаются с осенних маневров. У них карабины, сабли и пики. Тяжелые, будто напившиеся крови, георгины, белые астры украшают лошадиные головы и груди уланов. В октябре крестьянин везет торф, картошку, скрипучие кочаны капусты. Костры на полях. В длинном красном автомобиле проезжает премьер. Останавливается на рыночной площади перед ратушей. Окруженный серебряными вспышками, протягивает руку в перчатке постовому Боярскому. Постовой смотрит вслед автомобилю. Грудной младенец, который упал в кипяток, лежит в белом гробике, красный как рак. Школьники с красными и синими нашивками на рукавах мундиров — допризывники. Они стреляют по мишеням и черным человеческим фигурам, вырезанным из фанеры.

Виктор наклеивает на оконные стекла полоски бумаги. Затыкает щели в окнах и дверях от проникновения отравляющих газов. На окне стоит бутыль с молодым сидром, солнце светится в вине, источает золотистый блеск. Солдаты в противогазах беспокойно снуют по двору. Их приглашают в дом, они шутят, пьют вино. Воют заводские сирены.

Маленькая Ривка жила в подвале. В каменной сырой норе стояли корзины с зеленью и овощами. Ривка помогала матери, бегала по квартирам, разносила петрушку, морковь, редиску. Играла с детьми в крестный ход. Изящно приседая, зачерпывала рукой лепестки цветов из корзинки[1]. Однажды дети ее прогнали. Она стояла в углу двора у стены и плакала. Осколок бомбы оторвал ей голову. Обезглавленное тело лежало во дворе, а черную голову с обгоревшими волосами мать нашла в огороде...

Если бы сейчас ему пришлось уйти, он забрал бы все эти картины с собой. Идешь ли по суше, плывешь ли по воде, летишь ли по воздуху — этот мир всегда с тобой. Каждая картина ждет своего часа.

Из тумана выплывает дерево. Улыбка девушки, стоящей в зеленом платье перед беленой хатой. Двадцать лет она улыбается. Ничего не изменилось, только люди слишком долго убивали друг друга, убивали, убивали... С жандармов поснимали оружие, ремни, сапоги, часы. К рубашкам прицепили белые листочки с надписью ВОЗМЕЗДИЕ. Вражеская кровь на руках Виктора была прозрачна, светла, почти радостна. Никогда она не станет тяжелой. Сосенка, за которой он лежал с винтовкой, нарисована острой темной иглой. На ветке капля молочной смолы. Мертвые приходили к Виктору толпой. Иногда они бывали разговорчивы, веселы, и трудно было предугадать, когда они покажут свое истинное обличье. Часто покойники прятались среди живых, и тогда их нельзя было ни отличить, ни отделить. Бывали мертвецы, которые всегда являлись одни. Эти молчали. Их зеленые и раздутые, будто накачанные

1. Во время католического крестного хода девочки в белых платьицах разбрасывают лепестки.

воздухом, тела светились холодным гнилушечным светом. Они были злы и опасны. Молчком подбирались к Виктору и, разинув огромные рты, вдруг набрасывались на него. Виктор отбивался от них; кричал и просыпался. Мертвые были мелочны и злопамятны. Они припоминали ему какие-то пустяки из прошлой жизни, какие-то взгляды, жесты, улыбки, остывшие за долгие годы. Ночь поднимала на поверхность все то, что тонуло в дневном свете — ярком, бездушном и благоприятствующем жизни.

III

Поезд, покачиваясь и скрежеща, шел сквозь темноту осенней ночи. В купе было холодно. Горела газовая лампа. Виктор сидел с закрытыми глазами. В капельке света он видел лес. На вязанке соломы между темных сосен лежит под одеялом человек. Неподалеку от него повар раздает людям хлеб и сало, наливает в кружки и миски кофе из котла. Виктор идет к костру, будит лежащего на соломе. Но тот не отзывается. Виктор приподнимает одеяло и видит лицо Грома. Желтое с синими пятнами, далекое лицо покойника. Свет погас. Лес погрузился в темноту. Виктор почувствовал на плече тяжесть. Нетерпеливо шевельнулся. Но чья-то голова лежала тяжело и доверчиво. Виктор со злостью дернул плечом. Услышал "извините" и открыл глаза. Сидящая рядом молодая женщина поправляла прическу.

— Спите, — сказал он. Женщина закалывала волосы шпильками. Улыбнулась. — Спите, — повторил Виктор. Он смотрел в окно. Там, за окном, ночь тянулась как туннель, изредка мимо проносились огни. На пустых перронах мелькала рука железнодорожника, заканчивающаяся огоньком; видно было, как она поднимается и опускается.

Газовая лампа в купе померкла. Был день. По стеклам стекали струи дождя. Поезд раскачивался и гудел. Возле туалета стояли два оборванца и отхлёбывали из бутылки. Виктор встал с ними рядом.

— Хорошо идет на холоде?

— Э-э, да мы воду пьем.

— Родниковую, — сказал второй. Обтер рукавом горлышко и протянул бутылку Виктору. Виктор глотнул разок и вернул бутылку. Поблагодарил. Но те никак не отозвались.

Вернувшись в купе, Виктор увидел, что его соседка спит. Осторожно сел около нее. Женщина сидела выпрямившись и прислонив голову к стенке. Слегка раздвинутые губы шевелились. Из закрытых глаз текли слезы. Виктора это обеспокоило, но он ничего не сказал. Мелькнула глупая мысль, что нужно погладить ее по голове.

— Простите, я вас разбудил.

— Я не спала.

— Вы плохо себя чувствуете?

— О чем вы?

— Мне показалось, вы плакали.

— Не показалось.

— Я могу вам чем-то помочь, выручить?

— Нет. Чем тут поможешь.

Поезд замедлял ход. Хлопали двери. В коридоре выкрикнули название станции. Поезд остановился. Когда Виктор вышел на вокзале в С., уже наступили ранние осенние сумерки.

Фонарей на улицах было мало. Возле домов пустые осенние палисадники, в них деревья. Каштаны. Ограды с калитками. Дальше какие-то деревянные заборы. За ними – небольшие каменные дома. И снова заборы и ограждения. Сетчатые, каменные, обычный штакетник. Кое-где ограды лежали на земле, поваленные тяжелыми машинами. На тротуарах и на мостовой кучи листьев и бумаг. Консервные банки. Старые афиши и объявления.

Виктор стороной обходил дома, где за занавесками маячили тени их обитателей: ему казалось, что эти люди, тихие и недвижные, попались в сети, в ловушки. Он миновал ресторан. Перед застекленной дверью стояли двое мужчин, один, воздев руку к небу, обращался к другому, который уставился в землю:

– Говорю тебе, там что-то есть, понятно?

– Почему бы и нет?

– Там она. Высшая сила.

– Гм.

– Если бы там ничего не было, жизнь была бы совсем хреновая.

Поддерживая друг друга, они подняли лица вверх. Улочка была тупиковая, и Виктор повернул назад.

– Мне нужно верить в высшую силу!

– Ясное дело.

– Там что-то есть, уж ты поверь.

Виктор снова прошел мимо этих двоих и оказался около знакомого столба, на котором болтались клочья объявлений.

За изгородями, за домами в темноте дышал кто-то огромный. Виктор увидел впереди женщину. Нагнал ее.

– Простите, как пройти к морю?..

Она обернулась к нему и вдруг фыркнула.

– Гляньте-ка, проходимец, море ему понадобилось... не знает он где что.

Виктор, открыв рот, остановился, хотел что-то ответить, но так и остался стоять с опущенными руками и разинутым ртом, а женщина тем временем уходила по улице. Вопрос действительно был дурацкий, но он и вправду не знал, как пройти к морю.

Ему встретились трое пацанов, сидевших на выгоревшем гробу немецкого бронетранспортера. Один из них, лет восьми, дымил сигаретой, двое помладше, видно, ждали, когда им тоже дадут курнуть. "Спрошу у детей, – подумал Виктор, – дети не станут смеяться. Дети все принимают всерьез и отвечают по существу".

– Послушайте, ребята, где тут море? Как пройти к морю?

– Да вы пришли! Море за теми деревьями!

– Идите вдоль забора!

– Да. Спасибо вам.

– Но там теперь уже пусто. На пляже никого нет!

Старший вынул изо рта погасшую сигарету и спрятал в карман.

– Хотите, мы вас проводим.

– Идите прямо вдоль забора, и сразу будет море!

– Спасибо.

Мальчишки принялись бегать вокруг бронемашины. Гонялись друг за другом с дикими криками.

Виктор пошел вдоль забора, потом по аллейке, обсаженной кустами. Тут уже было вроде как открытое поле. Он шел по песку. Песок чувствовался под ногами. Миновал три-четыре пустых плетеных кресла-кабинки. Остановился. Перед ним лежали будто две темноты. Одна – слепая, неподвижная – наверху, а под ней – сверкающая и живая. Виктор стоял, а навстречу ему из темноты бежала волна. Его слабое человеческое дыхание смешивалось с огромным дыханием моря. Он сделал шаг вперед и, когда волна снова подкатила к его ногам, опустил руку в воду. На мгновение задержал в горсти влагу, утекавшую сквозь пальцы. Коснулся губами мокрой и соленой ладони. В темноте по небу и по воде скользила капелька света.

Новая философская школа

I

Был конец октября, а может, конец ноября 1945 года. Я постучался в белую дверь. За дверью послышалось какое-то ворчание, фырканье крупного зверя. Я вошел в кабинет профессора. Это был выдающийся современный польский философ, кажется, ученик Гуссерля.

Той осенью я поступил в университет. Профессор читал на нашем курсе "Введение в теорию познания". Мною владело странное желание, минуя все промежуточные стадии посвящения в тайны науки, записаться в его семинар.

Я поздоровался с философом, представился и, кратко изложив, что меня привело в его кабинет, попросил принять в число участников семинара. Профессор улыбнулся. И объяснил – голос у него был хрипловатый, теплый, – что сначала мне надо походить на семинар для начинающих. Я поморщился. Профессор внимательно посмотрел на меня и сказал: "Ну что ж, расскажите, кого вы читали из философов, что вы знаете? Прошу".

Я начал лихорадочно вспоминать.

Мне очень нравился светлый ум профессора. Это был совершенный механизм, сконструированный пятьдесят лет назад в знаменитых немецких университетах. Военная разруха его не коснулась – работал он превосходно. Поистине необыкновенное явление. Лишь иногда во время лекции профессор на мгновение замолкал, глядя в окно. За окном виднелась часть стены, осеннее небо.

Стоя перед ним в сапогах с короткими голенищами, в которых ходил еще в партизанском отряде, я вспоминал философов.

– Я читал Сократа, – заявил я решительно и замолк.

Профессор улыбнулся и кивнул.

– Точнее, не самого Сократа, а Платона о Сократе, – уточнил я. – Читал Платона, Ницше...

Профессор снова поощрительно улыбнулся.

– Еще я читал "Творческую эволюцию" Бергсона, – прибавил я с гордостью.

Больше никаких фамилий и названий мне на ум не приходило, а профессор будто еще чего-то ждал... В голове стали всплывать какие-то фамилии из школьных времен. "Философы" и однокашники, с которыми мы разговаривали о смысле жизни, о целях, которых нам хотелось достичь, о Боге.

– Еще я читал Спенсера и Драпера.

Обе фамилии я произнес не слишком уверенно, потому что запамятовал, о чем они писали. Кого-то из них мы со Збышеком читали в парке. За год до начала войны. Это была книжка, а вернее, брошюра в порванной зеленой обложке. Автор – то ли Спенсер, то ли Драпер. Но ни названия, ни о чем она, я припомнить сейчас не мог. Вылетело из головы за время фашистской оккупации. Вполне возможно, впрочем, что эту книгу написал кто-то третий. Я вдруг вспомнил одно место оттуда – речь шла о догматах католической веры, и автор язвительно вопрошал: "Видел кто-нибудь перст Духа Святого?" Вот этот перст и застрял у меня в памяти, но что философ хотел этим сказать, я забыл и решил на данную тему не распространяться. Помолчав, я назвал еще одно имя – Фрейд. Профессор пошевелился. Тут в моем сознании с удивительной ясностью всплыли чьи-то остроты по поводу сновидения, где спящий открывал нижний ящик комода и испражнялся в него; этот сон якобы означал подавленное в детстве желание вступить в половое сношение с няней. Но это все были шуточки. Зато о роли ноги я совершенно точно читал в книге Фрейда – роль ноги в сексуальной жизни человека. Выводы ученого показались нам со Збышеком настолько смешными, что мы выучили их наизусть. Даже сейчас я мог бы процитировать по памяти посвященные ноге отрывки: "Уже в древних мифах нога являлась сексуальным символом, соответственно, башмак или туфля символизировали женские гениталии; сообразно с этим, такое половое извращение, как фетишизм, предполагает, что только грязная и дурно пахнущая нога может служить сексуальным объектом... Нога рассматривается как заменитель пениса у женщин, отсутствие которого они так сильно переживают в детском возрасте..." Конечно, некоторые звенья в логической цепочке научных рассуждений Фрейда мы со Збышеком опустили, и получился такой идиотизм, что мы просто помирали со смеху.

Профессор, подавшись ко мне, казалось, ждал продолжения. К сожалению, я уже выложил все свои познания в философии. Упомянул пессимиста Шопенгауэра. Из глубокой какой-то темноты, из бездонного колодца, из тумана детства вынырнула еще одна фамилия. Но я не стал называть ее профессору. Она была иностранная, и позже, уже выйдя из детского возраста, я нигде ее не встречал: Малфорд. Так звали этого таинственного философа. Малфорда я не читал, потому что в то время еще не знал букв, а читал его на дубовом ложе старец, у которого была жена с черными горящими глазами. К сожалению, о Малфорде я знал очень мало. Он писал то ли о гипнотизме, то ли о гигиене, а может, о гиппопотамах или даже о гашише – я уже позабыл. Во всяком случае, он, кажется, был англичанином.

Это было последнее имя, которое я упомянул, вернее, только подумал о нем. Малфорд, впрочем, мешался у меня в голове с муфлоном. Но

какой он, этот муфлон, я понятия не имел. Где этот зверь живет и чем питается? И все же, если взять муфлона, то тут была хоть какая-то определенность: у него наверняка изогнутые рога и длинная мягкая шерсть. Может, он дает молоко. Правда, это уже мои домыслы. Зато о Малфорде я не знал вообще ничего.

Конечно, я слыхал о Канте, он фигурировал в наших шутливых разговорах. Кажется, Кант сказал: "Звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас". Это, пожалуй, все. Теперь я ждал, что мне скажет профессор.

Серые глаза ученого вспыхнули на мгновение и погасли. У него был утомленный вид, но в душе он, наверное, здорово повеселился; а может, просто устал и был озадачен.

— Вы сражались с оружием в руках, мы сберегали человеческую мысль. Вы в лесу, а мы — где придется... Я принимаю вас в семинар для начинающих. Мы там сейчас читаем Хьюма, "Трактат о человеческой натуре"[1]. — Он протянул мне руку. Я поклонился и вышел из кабинета философа.

После этого разговора я направился в студенческую столовую обедать. Встал за спинкой стула, на котором сидел какой-то малый, и принялся ждать, когда он, постукивая ложкой по жестяной миске, расправится со своей порцией. Здесь поглощали пищу очень быстро, потому что у каждого над душой стоял другой желающий поесть, с чеком или ложкой в руке. Шум и духота тут были ужасные.

Домой я вернулся в середине дня. Лежал на кровати и смотрел в потолок. Закрывал глаза. Думал. Говорил сам с собой о вещах, наверное, самых важных в жизни. И убедился еще раз: все бессмысленно. Все. Жизнь. Что к этому прибавить? Несколько месяцев назад я назначил себе день. Дату самоубийства. Точное обозначение года, месяца, дня и даже часа принесло облегчение. Казалось, это развязывает мне руки, предоставляя свободу действий. Я твердил про себя: "Мне ни до кого нет дела, я ни с кем не связан".

Главное, я не выношу людей. Пожалуй, отсутствие доброжелательности в отношениях с представителями своего вида — характерная черта современного человека. Пока всё всех устраивает, тебе еще улыбаются, но стоит войти в переполненный автобус... Каждый смотрит на соседа со злобой и отвращением. Только идиоты шутят и делают вид, что им все нипочем. Остальные с тупым равнодушием смотрят в мутные стекла. В плохие минуты мне кажется, что люди — это живая навозная масса. Для себя я, разумеется, исключения не делаю. Если уж я и свою персону ни во что не ставлю и часто гляжу на себя с ненавистью, то почему я должен уважать и любить других людей?

Они не хуже меня, но и не лучше.

Эти чувства, однако, никак не влияют на мое поведение. Я не способен пнуть маленького ребенка, даже зная, что рядом никого нет. Преодолевая гадливость и ругаясь в душе последними словами, я нагибаюсь, чтобы поднять перчатку, которую уронила какая-нибудь провонявшая ду-

1. Дэвид Хьюм (1711–1776) — английский философ, изучавший теорию познания. В своей этической теории утверждал, что чувство симпатии является главным источником нравственности и социальных связей, объединяющих людей.

хами баба. Но есть в человеке скрытые побуждения, по сравнению с которыми поступок Раскольникова кажется грешком слабого, милого мальчика, разбившего горшок с цветком.

Впрочем, времена людей-демонов миновали. Сегодня величайшие преступления совершают полные ничтожества, утверждающие, что стали убийцами случайно. Рудольф Гесс, комендант Освенцима, написал в автобиографии:

"Я бы попросил, однако, тех, кто будет использовать эти записки, опустить фрагменты, касающиеся моей семьи и жены, а также все, что связано с проявлением мягкости с моей стороны и внутренними колебаниями. Пусть в глазах общественности я навсегда останусь кровожадным зверем, жестоким садистом, умертвившим миллионы людей. Широкие массы не в состоянии представить себе коменданта Освенцима иначе. Они никогда не поймут, что у него тоже было сердце, что он не был плохим".

Эти слова, на мой взгляд, — самое страшное обвинение современному человеку. Просто руки опускаются. У него было сердце. И это правда. Но вернемся к нашим мелким, скучноватым, будничным делам.

Я задаю себе кое-какие вопросы и честно на них отвечаю. Возможно, эти размышления студента-гуманитария помогут разным там психологам, социологам, теологам и другим ученым лучше понять тот мир, в котором мы сейчас живем. Я один из вас, я тоже человек. Впрочем, откровенно говоря, мне попадались люди и похуже меня. Я — обыкновенный молодой человек, которому исполнилось восемнадцать, когда началась Вторая мировая война.

В данный момент я лежу у себя в комнате на кровати и думаю. Думаю о том, что, если на расстоянии ста метров отсюда поставить толпу людей, в том числе "женщин, стариков и детей", дать мне в руки автомат и приказать их расстрелять, я сделаю это без лишних вопросов. Был бы приказ начальника. И чтоб на начальнике был мундир. Гитлеровцы, конечно, убийцы. Но сдается мне, что и мы, жертвы, пусть со скрипом и не по своей воле, постепенно тоже превращались в убийц.

Так вот, я дал бы несколько длинных очередей по этим "женщинам, старикам и детям", и всё. Мне кажется, что с большого расстояния легко положить кучу народа, даже не поморщившись. Ведь летчики, ровнявшие с землей целые города, отличались от других военных известной элегантностью и благородством. В каком-то смысле, все дело лишь в дистанции между палачом и жертвой. Главное — не забрызгать руки кровью и чтобы ноги не вязли во внутренностях жертв. Это скорее вопрос эстетики и гигиены. Не каждый, ясное дело, способен вступить в рукопашный бой или пытать другого. Но каждый нормальный мужчина способен убить с некоторого расстояния. Разорвать собственными руками маленького ребенка — совсем не то, что выстрелить в него с нескольких сотен метров. Впрочем, и в самые мирные времена жены четвертуют мужей и разносят куски в чемоданах по вокзалам, кинотеатрам и залам ожидания. Поэтому, может, и, говоря о войне, не стоит впадать в истерику. Может, не в качественных различиях суть, а в сострадании?

Теперь можно вернуться к рассказу о себе. Я лежу одетый на кровати и размышляю о том, что вот стоит тут разная мебель, лежат книги, висят картины, и все это не имеет никакого смысла. И я тоже тут лежу, и во мне тоже нет никакого смысла. Если я перестану есть, умываться,

читать, разговаривать, ходить в магазин, то что мне с собой делать? Жаль, что я не могу это лучше объяснить. Может, из дальнейшего рассказа все само станет ясно.

Сейчас я лежу на кровати. Но как лежу? Я так интенсивно в это лежание погружен, что сливаюсь с кроватью в одно целое. Наслаждаюсь, упиваюсь своим лежанием. Дверь заперта на ключ, горит лампочка под колпаком из старой газеты вместо абажура. Никто ко мне не ворвется, не вышвырнет из постели, не заставит топать в темноту и дождь. Никто не станет меня пинать, бить по лицу. Я могу лежать здесь хоть час, хоть два, хоть пять. Потом встану и буду есть. Горячие, сочные сосиски. Сейчас они разогреваются в кастрюльке. Никто не отберет у меня сосиски, хлеб, чай.

Я набросился на сосиски и две проглотил сразу, а две оставшиеся смаковал, высасывая из них водичку. До полуночи я могу съесть этих сосисок еще с десяток. А завтра снова можно купить колбасы, белого хлеба, бормотухи. Запереться и есть, и лежать, и читать старую газету, которой была обернута какая-то книга. Я сделал неожиданное открытие, что новости годичной давности не менее интересны, чем свежие. А может, даже более. Оказывается, события — только видимость. Все остановилось. Как это здорово. Мертвые похоронены. Живые больше не умирают. Возможно, и вовсе не умрут. Внизу, в столовой, можно поболтать с кухаркой, с девицами, которые там прибирают. Посмеяться. Безмятежные, веселые женщины. Словно вчера родились, словно явились сюда с другой планеты. Стоит с любой из них пошутить о том, что у нее между ног, как она готова лопнуть со смеха. Жизнь побеждает смерть. Любовь побеждает смерть. Бедная смерть. Все от нее отступились. Приелась.

Но я не иду вниз. Сижу в своей норе. Лежу на кровати и читаю старую газету. Закрываю глаза и размышляю о том, остались ли у меня какие-нибудь желания. Желаний нет. Кроме одного — чтобы сюда никто не ввалился. Хочу так лежать. Не хочу ни в Америку, ни на Луну. И в оперу я идти не хочу, и не хочу болтать со знакомыми в кафе, не хочу стать императором или киноактером. Ничего не хочу. Мне настолько хорошо, что я даже не чувствую своего существования. Теперь мне не надо за него бороться. У меня есть квартира, еда, одежда, кровать, печь, дрова за печью.

Под вечер я вышел за своими сосисками. Мчался с ними домой, как пес, который, схватив кусок мяса, убегает от мясника. Я по-прежнему, раздобыв еду, ощущаю в душе огромную радость. Я по-прежнему все время боюсь, что кончатся продукты, рухнет дом. Возвращаясь домой из какой-нибудь поездки, я со страхом ожидаю увидеть стену с выжженными окнами или груду развалин вперемешку с покореженными трубами. Застав дом на прежнем месте и снова, после недельной отлучки, отпирая дверь своей комнаты, я испытываю приятное удивление. Неизменно радуюсь. Ключ. А к нему еще и дом!

Я лезу в шкаф, чтобы в который раз проверить содержимое картонной коробки, испещренной черными надписями на английском языке. Вот уже второй день я раскладываю на столе и на постели разнообразные пачки, пакеты и банки. Здесь есть даже жевательная резинка.

Моим ночным размышлениям грош цена. Толку от них — ноль. При свете дня они гаснут вместе с луной. Раньше мне случалось сочинять предсмертное письмо. Но и это прошло. Мне в самом деле нечего ска-

зать другим людям. Такого уж умного или полного отчаяния. В наши дни нужно уходить молча. Этак приличнее. Вообще следует ограничиваться только самым необходимым запасом слов. Поэтому я уйду, не поделившись ни с кем своими глубокими наблюдениями, без воплей отчаяния; да ничего плохого со мной и не было. Ничего особенного не стряслось. Я уйду, поскольку убедился, что могу завтра здесь еще быть, но свободно могу и не быть.

Могу умереть я, а могут — те пятеро мужчин и две женщины, что горланят сейчас в буфете. Любой в этом доме может умереть и навсегда отсюда исчезнуть. Кто хочет, пусть живет, а кто хочет — умирает. Для остальных это не будет иметь никакого значения. Другим все равно, живет кто-то или нет, ибо все поступки, слова, идеи рассыпаются, никак не складываясь в осмысленное целое.

Я часто задаю себе вопрос: возникло бы у меня перед смертью какое-нибудь последнее желание? захотелось бы о чем-нибудь спросить? И неизменно отвечаю: нет, нет. Именно в этом, так мне иногда кажется, главное отличие нашего времени от прежнего. Те, что придут после, уже не смогут нас понять. Когда-то люди, покидая сей мир, писали прощальные письма, завещания и даже сочиняли для себя эпитафии. Наше поколение умирало поскромнее. Эта наука осталась с нами на всю жизнь.

Ошибаются те, кто думает, что теперь, с окончанием войны, возникло множество сложных моральных проблем. Существует только жизнь, а она не знает морали. Остались какие-то объедки, огрызки, воспоминания о былой морали, а жизнь — она сама по себе. Люди живут и умирают. Нашему поколению все стало ясно до донышка.

После войны мы все под подозрением. Герои и предатели, конспираторы и спекулянты, шантажисты, палачи, провокаторы и их жертвы. Даже погибшие не внушают доверия. Все отравлены. Мертвые и живые. Наверное, я нарисовал ложную картину, не спорю. Я лишь говорю то, что думаю. И все же перед смертью мне бы хотелось сделать это признание. Может, оно пригодится тем, кто еще верит в человека и сохраняет надежду. Я таких вокруг не вижу.

Но к чему говорить о других. Речь обо мне. Говори за себя. Пусть каждый говорит за себя. Вероятно, умные и добрые люди существуют. Но это уже совершенно не важно. Пусть себе существуют. Мы идем дальше. "Нам суждена / гибель от жажды / у родника / жизни и правды". Это написал какой-то поэт в XIX веке. С тех пор стало ясно, что никакого "родника жизни и правды" нет.

Надеюсь, в коридоре никого не было, когда я принялся вслух разговаривать сам с собой. А хоть бы кто и был... Я словно обращался к другому человеку, прохвосту и своему врагу. С презрением и ненавистью. Мои речи были лишены логики. "Ты — куча дерьма, — говорил я, — куча дерьма, куча дерьма. Свинья. Проклятая жизнь. Гадость. Покончить со всем этим раз и навсегда. Вот тебе, скотина, трус". Я ударил себя по лицу. Потом заплакал. Я плакал в подушку, и в этом плаче был какой-то выход, какое-то объяснение. Недаром ведь чаще всего плачут дети.

Сполоснул лицо холодной водой. Меня подмывало немедленно побежать к одному знакомому. "Все ему расскажу, — думал я, — все". И даже начал надевать пальто, но тут же снял и повесил на гвоздь. "Никто тебе не поможет. Ты забыл, как он сам искал у всех спасения, бегал по каба-

кам, пил водку, мазал себе лицо горчицей, а теперь ты собрался к нему бежать. Сиди, где сидел. Сиди. Плачь, но сиди. Он морализатор. Ведь это он когда-то сказал, что смысл жизни — жрать, спать и совокупляться. Я его уважаю. Он способный, трудолюбивый, порядочный человек. У него в самом деле много достоинств. А вот сказал же такое о смысле жизни. Меня это шокировало. В претензии ли я к нему за подобные слова? Нет. Он произнес их с глубокой убежденностью".

II

Моя соседка скоро умрет. Пусть умирает. А пока она лежит и из последних сил клянет всех подряд. Даже меня называет скотом. Кричит оттуда, из-за двери: "Нужно быть последней скотиной..." — и я прекрасно понимаю, что это она обо мне. Я на нее не в обиде и даже посылаю ей в какой-то мере доброжелательные улыбки, когда прохожу по нашему темному коридору и слышу этот скрипучий голос. Делаю, что могу. Хожу на цыпочках, осторожно закрываю дверь, не включаю радио, которого у меня нет, не привожу девиц, не пью горькую. Я знаю, это она просто со злости на весь белый свет бормочет: "Скотина, скотина, скотина". Ее жизнь подошла к концу. Она страдает. Видимо, ей уже нечего сказать окружающим — ни приятного, ни полезного. Браво, старушенция! Ты не кривишь душой. На смертном одре не лгут. Здесь следует коротко и ясно выразить свое отношение к "человечеству", которое, впрочем, совсем на тебя не сердится.

Человечество доброе, да что там — оно равнодушное. "Скоты" живут себе и им настолько некогда, что они не обращают внимания на твои самые страшные проклятья. Счет равный. Умирай. Людей и так хватает.

Вот такие мы, значит. Вам наверняка знакома присказка: "О, если б мне довелось родиться заново, я прожил бы свою жизнь иначе". На редкость пустые и напыщенные слова. Я не плохой человек. Я знаю, что это ничего не значит, но все же повторяю: я не плохой человек. Мне было бы куда приятнее жить и трудиться с верой в светлое будущее человечества, вместо того чтобы предаваться размышлениям: утопиться или повеситься? Может, в туалете?

Ночь все глубже. На небе тучи и черные продолговатые кроны тополей. Откуда-то доносится шум. Окна гаснут, люди ложатся спать. Я не хочу спать, я боюсь заснуть. Теперь человек должен жить беспрерывно, сидеть с открытыми глазами и думать. Сколько можно продержаться без надежды — засыпать и просыпаться? Я пока что живу и собираюсь протянуть еще какое-то время, но меня уже нет. Ужасное ощущение. Лучше бы на меня сейчас кто-нибудь плюнул или начал пинать, осыпая грубыми ругательствами; я почувствовал бы, что живой. Мое существование должны подтвердить другие.

Внизу, в буфете, тихо. Свет потушен, девицы отправились спать. Идет дождь. Стучит по бетонным плитам двора.

Оставить одежду, книги, документы. Оставить имя, знакомства, "среду". Оставить прошлое. Есть только настоящее и будущее, которое рождается на глазах и о котором я ничего не знаю. Я должен сам прожить свое будущее. Сорваться с цепи и убежать. Не хочу завтра идти на

лекцию. Нет никакого университета, нет архитектуры, нет итальянского Возрождения. Нет города Парижа. Когда я еще был жив, я мечтал увидеть город Париж. Далекий город. На знакомых, которые там бывали, я смотрел как на пришельцев из космоса. Я просил их присылать мне в письмах описания воздуха, улиц, цветов и мусора, картин и шляп. Теперь мне это безразлично. Неправда, что вы вернулись из Парижа. Не рассказывайте мне об этом городе. Я лучше знаю: такого города нет. Вы все просто сговорились распространяться о его театрах, вернисажах, реке Сене и красном вине. Но я-то знаю. Нет такого города. Если бы он существовал, моя улица не была бы такая серая, а я был бы повеселее. Ни мой отец, ни дед не видали этого Парижа. Здесь во дворе есть стена из красного кирпича. Кирпичи плотно прилегают друг к другу, и за ней ничего не видно. Я всегда стоял так, что у меня перед глазами была эта стена.

Сосед с самого утра бегает с бледным, перекошенным лицом, которое уже стягивается в песью морду. Носится, как бешеный, по коридору с банкой из-под лимонного сока — таскает воду в туалет. Там опять вышел из строя сливной бачок, и теперь обитатели этого большого дома ощущают свой смрад слишком явственно, чтобы с приятной улыбкой говорить друг другу: "Здравствуйте". Дочь соседа, плоская, понурая, в ветхом черном халате, караулит за дверью: кто не смыл за собой. Вспыхивают злобные свары. У этого господина на книжных полках стоят прекрасно изданные в "Insel-Verlag-Leipzig" томики Рильке, Платона, Шопенгауэра. Он был вспоен нектаром поэзии Клоделя, Малларме, Нерваля и питался им всю свою чахлую жизнь... А теперь с остервенением деревенской шавки гоняет по зловонному коридору и клацает зубами. С радостью покусал бы кого-нибудь. Я лежу на кровати и прислушиваюсь к собачьим бегам культурной семьи. Только что в туалете побывала старуха и не смыла после себя. Она все равно скоро умрет, а пока лежит и трясется от страха в своей постели. Утонченный господин орет: "Свиньи, свиньи". Я-то знаю, что это он не просто мне или соседям, нет, он вопиет, адресуясь ко всему человечеству.

"Бедняга, — сочувствую я ему, правда, не без доли злорадства, — бедняга, просрал свои лучшие годы на ниве культуры, а теперь хочет отыграться. Жалко, зубы уже не те, а то мог бы сейчас кусать стену или грызть дверную ручку".

Тихо в коридоре. Тихо во всем доме. Дождь прекратился, и видны темные тополя на грязном серебрящемся небе.

III

Мы живем мертвецами. Ушлые, злобные, вероломные, услужливые мертвецы, тронутые тлением. Мы знаем друг друга как облупленных и знаем нашу общую тайну. Говорят, мятежные художники и поэты-бунтари в конце девятнадцатого века бежали в Африку... А мы можем взбунтоваться? Ты видишь этих тихих людей с глупым выражением на лицах? Они тоже великие бунтовщики, но никто об этом не знает. Их уже успокоили, усмирили, они стоят на улице и ждут, когда милиционер подаст им знак, когда зажжется зеленый свет. Только пьяных еще, бывает, вырвет, и они начнут посылать проклятья своим недругам, искусству и Господу

Богу. Но стоит появиться жене или даже не жене, и мятежник сразу присмиреет. Прежде бежали в Африку, на острова в Тихом океане. А нам куда бежать? Может, тоже на экватор? Нет, мы бежим в туалет. И на тебе – теперь, оказывается, и туалет перестал уже быть тем спокойным и укромным уголком, каким был раньше. Все стали чересчур подозрительны. Кто будет платить слесарю? Все злобно следят друг за дружкой. Кто не смывает за собой, неизвестно. Так, может, лучше уйти в себя? Ну уж нет, лучше оказаться на вокзале в Гожковице, в зале ожидания третьего класса, чем внутри себя. Мы свое нутро – нутро современного человека – знаем. Где тот герой, который выдержит один вечер и одну бессонную ночь наедине с собой? Мою жизнь лишили смысла. Когда наступил час испытаний, я взял оружие и пошел воевать, я "проливал кровь" и свой долг перед собой, другими и отечеством выполнил. Но смысл жизни мне спасти не удалось.

Для меня все закончилось раз и навсегда, и что бы я теперь ни делал, я мертв. Кто здесь опять говорит о музыке? Кто говорит о поэзии? Кто говорит о прекрасном? Кто там болтает о человеке? Кто посмел даже заикнуться о человеке? Какое шутовство, какая комедия. Мертвые, я с вами. Как хорошо.

Бедная бабуся, она рассчитывала на мою комнатушку. Она знала, что я намереваюсь убраться из этого огромного дома. И уже давно задумала устроить себе кухню в моей комнате. Скончалась она в тот самый день, когда я паковал чемоданы. Кажется, умирала два дня и две ночи. Но точно не скажу, это происходило в полной тишине, за закрытой дверью.

Коридорчик у нас узкий, захламлен всякой рухлядью. Оттуда послышался какой-то шум, словно двигали деревянные ящики. Я открыл дверь, но мне сразу пришлось попятиться. Дверь уперлась в гроб, в котором старуху выносили из комнаты. Он встал поперек, и – ни туда ни сюда. Задевал то о стены, то о мебель, то о двери. Я видел его сверкающий желтым лаком бок и слышал сопение тех, кто его тащил. Порядком намучавшись, они в конце концов как-то с ним управились, и я услышал их шаги на лестнице. Я сидел на кровати, на утрамбованных и жестких, как доски, матрасах. Вот здесь я проспал, прожил некоторое время. Кажется, несколько лет. Два чемодана, уложенных и закрытых на ключ, стоят у стены.

Поселившись здесь, я надеялся, что найду в этом новом доме, среди незнакомых людей, человека, который поможет мне вернуться к жизни. Но все они плакали, блевали, жаловались своим подругам. Я быстро почувствовал отвращение. Позже, все последующие годы, мы обходили друг друга стороной.

В ту пору все казалось мне каким-то ненастоящим, и так продолжалось довольно долго. Я видел людей: обтянутое кожей мясо, а внутри пусто – я имею в виду душу. Ужас какой-то. Я видел литераторов, чьи тела заканчивались головами. В головах имелись рты, которые почти не закрывались, а в них зубы, большей частью испорченные. Все эти люди очень много тогда говорили. Шли первые послевоенные годы. Произносилось такое количество слов, что в конце концов они смешались в одну кучу. Потом еще долго какая бы дискуссия (беседа) ни затевалась, к концу ее никто уже понятия не имел, о чем шла речь. Среди спорщиков были католики, коммунисты и те, что прямо на глазах превраща-

лись из католиков в коммунистов; были и обыкновенные клопы, и инфузории, и черт знает кто, старые, молодые, идиоты, моралисты... Эти впечатления, впрочем, не относятся к жильцам нашего дома, я помянул их здесь так, между прочим; они мне, в конце концов, были так же безразличны, как и все люди на свете. Вспомнил я о них, вероятно, потому, что чаще с ними сталкивался. Я видел всё с излишней отчетливостью. В головах людей, которых я в то время наблюдал, меня интересовали глаза. Часто я замечал дикий, непреклонный, издевательский и жестокий взгляд. По обеим сторонам головы у людей имелись уши. Особенно комично уши смотрелись под шляпой у мужчин. Торчащие, голые, белые или красные, по одному слева и справа. Должен признаться, что в иные моменты и носы казались мне чем-то немыслимым. Они ни с того ни с сего вырастали между глаз; природа, казалось, махнула рукой на их форму. Носы слишком агрессивно торчали на плоских лицах. Кроме того, у людей имелось по две руки и две ноги. Ногами они пользовались обыкновенно, скромно, а вот что касается рук, тут у всех явно были проблемы. Никто не знал, что делать с руками. Даже самые интеллигентные и образованные. Пока они прятали их в карманах или держали сплетенными за спиной возле задницы, то еще ничего... Иногда задорно упирали их в бока, хотя и в этом было не то чтобы очень много смысла. Неплохой выход из столь затруднительного положения — держать в руке газету, перчатки, трость. Можно взять кого-нибудь под руку. Но стоит оказаться с пустыми руками, сразу возникает неловкость и дурацкая путаница. Руки свисают по обеим сторонам туловища и в основном болтаются без дела. Головы у многих поросли волосами. Я встречал людей, над верхней губой которых, под носом, были усы. Страшное дело. Я пытаюсь описать, объяснить эти свои состояния обостренного зрения и замечаю, что только все запутываю. Вот так и умрешь, не сумев сказать самого главного. Умирают в немоте. Проболтаешь добрых пятьдесят лет, но твои слова, от первого до последнего, в конце превратятся во что-то дикое и нечленораздельное. Теперь все говорят одновременно. Каждый только и ждет случая выговориться. Я проходил мимо людей, как мимо закрытых газетных киосков. Знакомые взяли абонемент в филармонию, поэтому иногда я посещал концерты. Однажды отправился, если не ошибаюсь, на Девятую симфонию Бетховена. На возвышении я увидел оркестрантов в темных костюмах. Они сидели перед пюпитрами и держали в руках разные инструменты. Потом играли. Я сидел и рассматривал хор. Бедные старые ангелы в белых кофточках... Хор пел патетическую песнь, и складывалось впечатление, что все эти низкооплачиваемые исполнители вознамерились сейчас же вознестись на небо. В последнем ряду музыкантов стоял аккуратно причесанный мужчина с черными усами. Невозмутимо и с величайшим достоинством этот человек ударял в бубен. Он смахивал на Гитлера. Было скучновато, да и немного утомительно. Определенно симфония показалась мне затянутой. К тому же в зале было жарко и отсутствовала вентиляция. Я чувствовал, что это какая-то циклопическая музыка, великая, но для меня лишенная всякого смысла и значения. Ведь в небеса мы так и так не взлетим, невзирая на нечеловеческие усилия мучеников искусства. С музыкой этой дела обстоят так же, как с собором, который высится на холме и якобы царит над городом, хотя, честно говоря, он играет гораздо меньшую роль, чем местная скотобойня, стадион, кинотеатр "Аполлон" или водо-

напорная башня. Впрочем, я отдаю себе отчет в том, что сравнивать симфонию и собор с городской скотобойней – натяжка, демагогия и просто глупость.

Мне уже стукнуло двадцать пять лет, и тем не менее я хочу постичь смысл своей жизни. С детским упрямством все жду какого-то откровения. Прежде я обращался с таким вопросом к другим людям, но это было несуразно, смехотворно, и я оставил попытки.

Бывали целые периоды, когда я словно впадал в анабиоз. Меня как будто не было. Тогда я резко принимался шевелиться и даже действовать. Мне хотелось почувствовать, что я существую. Я бросался знакомиться с людьми – в поезде, на улице. Даже подкарауливал соседей на лестнице, чтобы поговорить. Мне все чудилось, что я обязан произнести какую-то речь, принять участие в споре или положить руку на колено одной знакомой женщины. В такие минуты я собирал чемодан и шел с ним на вокзал, шатался по залам ожидания и, измотанный, возвращался домой.

Я даже забегал в общественные уборные, чтобы в их звуках услышать шум жизни.

Мольба

Я хочу остаться один и ищу одиночества. Когда стучат ко мне в комнату, я замираю и сижу затаив дыхание. Кто-то там, за дверью, стоит и ждет, чтобы я открыл, но я делаю вид, что в отъезде.

Люди так мне обрыдли, что я решил быть один. Но и сам себе я в тягость. Иногда я долго, монотонно твержу: "Почему я не сдох? почему не сдох? почему не сдох?" Ужасны минуты, когда мне кажется, что я не существую. Я сижу на стуле, лежу, читаю, хожу на лекции, но меня нет. Природа, натура, так мне опостылела, что я годами не бываю ни в лесу, ни в поле. Не вижу цветов, пчел, бабочек, с остервенением пялюсь в закопченную стену и на стопку старых пожелтевших газет.

Один: Я думал, что человек может быть один. Теперь мне хочется бежать из дома, теперь я на грани помешательства. Я бегу, чтобы быть поближе к людям. Как это здорово, когда тебя толкают, как хорошо оказаться в злой, потной, нетерпеливой толпе. Ах, я с вами, я ваш навсегда. Все, что вы со мной сделаете, будет нас объединять. Зло и добро. Только не бросайте меня одного. Я был заносчив и глуп. И вот сижу у себя в комнате и жду. Я страшно тоскую по живому человеку. Жду его прихода. Каждый звук голоса во дворе, каждый стук на лестнице заставляет чаще биться мое сердце. Я замираю, вслушиваясь.

Пусть бы пришел наконец тот невысокий щуплый неряха, у которого дурно пахнет изо рта. Ни новые страны, ни звезды, ни горные вершины не приветствовал бы я с таким восторгом, как его появление. Именно его я жду в этот осенний день через три года после окончания Второй мировой войны.

Не надо мне ни Бога, ни золота, ни славы. Человек, который соблаговолит меня навестить, не обязан быть Сократом, Эйнштейном, Наполеоном... Только бы он сдержал слово, этот мой товарищ – стареющий, разуверившийся, ослобленный, провонявший пивом и заношенной одеждой. Мы сядем за стол, закурим отвратительные сигареты и начнем в который раз делиться друг с другом своими убогими истинами, злословить, сплетничать и жаловаться. Он поведает мне о том, какой он смелый, отзывчивый, благородный и талантливый, насколько он не чета остальным нашим знакомым. Он и не догадается, как я ему

благодарен за то, что он ко мне зашел. Он никогда не узнает, что я смотрю на него, как на прекрасного бога, своего творца, спасителя и благодетеля. Я любуюсь им с тайной радостью, я благодарен ему за то, что он сидит у меня за столом, что он существует.

Но он все не идет.

Он не знает, что нужен мне как глоток воздуха или воды, как пища и свет.

Если б он знал, он бы пришел.

Часов одиннадцать вечера, холодно, пусто. Я сижу в кругу света от электрической лампочки, за окном темень. Я запираю дверь на ключ, медленно спускаюсь по лестнице. Останавливаюсь. Вслушиваюсь.

Тамия Торахико

Рассказывает девочка

Рассказ

Перевод с японского О. Исаевой

ОТЕЦ до сих пор не вернулся из Сибири. Говорят, там не осталось больше японцев. Наверное, он умер. Когда я говорю так, бабушка пугается: "Твой отец — выдающийся человек, вот русские и не хотят его отпускать". Она теперь совсем состарилась, высохла как щепка, без палочки уже не ходит. Волосы белые, как у призрака. Иногда смотрю на нее, и мне кажется, что она умерла еще тогда, в Пхеньяне. Кажется, она до сих пор каждый день ждет, что отец вернется. Правда, я почему-то тоже не верю, что он умер. Тетя запрещает говорить с бабушкой об отце, но когда мы вдвоем, это как-то само получается. Бабушка говорит: он выдающийся, поэтому его не отпускают, но недавно отпустили генерал-лейтенанта, а отец только генерал-майор. Его-то ведь точно отпустили бы.

В тот год, девятого августа, когда мы бежали из Чанчуня[1], я спросила маму, почему отец не едет с нами.

— Он получил приказ Императора.

Мама умерла в том же году в Пхеньяне, и я все не могу забыть эти ее слова. Тогда же не стало Цуёко, старшей сестры. Обеих убил сыпной тиф, обе, умирая, звали отца. С тех пор бабушка, когда видит меня, вглядывается глазами привидения, зовет: "Цуёко, Цуёко..." Потом понимает, что это я, и разочарованно: "Тидзуруко, ты? Ты совсем как она стала..." Иногда, когда я подхожу к зеркалу, мне кажется, что оттуда смотрит сестра, и у меня падает сердце. Когда они умерли, мы обрезали

© О. Исаева. Перевод, 2005

1. Чанчунь — крупный город в южной части Китая. В Чанчуне располагался штаб Квантунской армии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

им волосы и ногти — на память, но теперь, когда бабушка с тетей видят эти волосы и ногти, бледнеют: тяжело вспоминать.

Это случилось в полдень девятого августа. Мать с бескровным лицом вышла из телефонной будки и почти прокричала: "Собирайтесь! Скорей собирайтесь!" Потом метнулась в гардеробную в глубине дома, тут же выбежала обратно и, остановившись, крикнула белой как смерть тете:

— Марико, собери поесть в дорогу.

Когда наконец погрузились в поезд, было уже около часа ночи. Легли в товарном вагоне без крыши, подложив под голову маскировочный брезент, а в чистом небе красиво мерцали звезды.

Все заботы свалились на маму с тетей: бабушке тогда было уже под семьдесят, а мы пятеро были еще детьми. Я уже ходила в первый класс, но младшей сестре было шесть, а Масуо — самому маленькому — четыре года. Их еще никуда не отпускали без взрослых. Но, так или иначе, запасшись рисом, хлебом и консервами, мы благополучно доехали до Пхеньяна. Сошли с поезда, и бабушка сказала:

— Все, здесь и остановимся.

Тогда мы еще надеялись вернуться домой, если Квантунская армия вытеснит русских из Маньчжурии. Со станции солдаты проводили нас в пхеньянские казармы. Туда же в машине доставили и наш скарб; вместе с нами в товарном вагоне приехали семьи всех офицеров Квантунской армии. В казарме мы провели три ночи. В полдень четвертого дня мы с сестрой Таэко играли в саду среди желтых корейских георгинов, когда мимо нас прошел пожилой, высокого роста офицер. Неловко согнув руки в белых перчатках, он утирал глаза. Не замечая нас, странный человек стонал и всхлипывал, и слезы текли по его щекам. Он ушел в казарму, а следом за ним пробежали четверо совсем молодых офицеров — старшие лейтенанты или лейтенанты — тоже плачущие, с покрасневшими глазами. Я схватила сестру за руку, и мы кинулись в дом, к своим. Но в казарме на каждом шагу встречали обнявшихся, плачущих людей. Плакали и мама с бабушкой. Мы не знали, в чем дело, но мне вдруг стало тоскливо, и на глаза навернулись слезы. Увидев это, мать обняла меня.

В тот день Япония проиграла войну.

Вскоре после этого русские вошли в Пхеньян, и население казармы вместе с корейцами толпой двинулось по раскаленной дороге, чтобы перебраться в здание пхеньянской школы для девочек. Только теперь уже пожитки свои мы несли сами. Часть с трудом привезенных из дома вещей бросили: не было сил тащить. С того дня начались наши мытарства в Корее. В школе, в просторном классе для уроков хороших манер, с полом, застеленным татами, нас было около ста человек. Заняться было нечем. С утра и до вечера все просто сидели, тихие, потерянные. В урочное время выстраивались с розданными нам мисками — получали от корейцев рис с приправами. Только и было дела, что есть. Заслышав голос корейца: "Идите, готово", и стар и млад кидались к нему. Но в чашках наших так мало было и риса и приправ, что мы скоро забывали, поели мы или нет. Поэтому каждый день мы ходили на кухню рядом с классом смотреть, как на очаге варят рис на несколько тысяч человек. И не только мы: там собирались все дети, жившие в школе. Увидев нас среди других, глотающих слюнки, мать отводила нас — только своих — за школу и совала нам рис и кусочки дыни, которые тайком покупала у корей-

цев. Но и это длилось недолго. Однажды корейцы из подразделения общественной безопасности толпой ввалились в школу и отобрали у нас все деньги. С тех пор не было больше ни дыни, ни риса.

В сентябре нас снова переместили, на этот раз во что-то вроде постоялых дворов, рядком расположившихся вдоль берега Дайдоко[1]. Три тысячи человек, населявших школу, затолкали в десять-двенадцать домишек. Теснота была страшная. И без того мелкие клетушки разделяли перегородками. Нас поселили в доме с самыми большими комнатами: одна на четыре с половиной, другая на восемь татами[2], но зато там помещались все бывшие обитатели класса хороших манер. Сидели, по очереди вытягивая ноги, спали обнявшись. В комнате было не продохнуть, но зато за окном тихо бежала Дайдоко и открывался очень красивый вид.

Старший брат спросил у матери — тогда она еще была здорова:

— Это что, постоялый двор?

Мама сидела, обернувшись к бабушке, и не отвечала. Тогда ответила ее соседка, женщина средних лет: "Это бордель!", и почему-то, взглянув на маму, громко засмеялась.

Еда тут была гораздо хуже, чем в школе: что-то вроде жидкой кашицы из гаоляна, а приправ — и вовсе никаких. Правда — ее было много, а если в ней случались редкие ошметки овощей, то все мы отчаянно боролись за нее.

Потом появились вши. Мы давно не мылись. Грязные, спали так тесно, что прямо на глазах все обовшивели. Мать с теткой обирали их с нас, но обирай, не обирай, — они скоро опять наползали, и по ночам спать было невозможно от зуда. А потом начался сыпняк. Сперва заболел один, наутро еще у нескольких поднялась температура и им было плохо, а болезнь переходила от одного к другому. Кроме гаоляновой жижи есть было нечего, больные быстро и страшно худели.

В Пхеньяне наступили холодные дни. Все говорили, что скоро Новый год, что в новом году вернемся в Японию: подбадривали тех, кто слег.

Больные тоже только и говорили что о возвращении: "Дома-то я быстро поправлюсь..." Но всем им суждено было умереть раньше. Скоро разговоры прекратились. Прошло немного времени, и однажды утром мать сказала хриплым шепотом: "Все. Заразилась-таки". Мы посмотрели: по ее груди расползалась алая сыпь. Тетка сказала: "Держись, сестричка". Мама тоскливо усмехнулась, и из глаз ее покатились слезы: "Марико, родная, ты уж позаботься о них потом..." Пять или шесть дней лежала она тихо, не жалуясь. Лишь как-то вечером вдруг вскочила: "Отец!" Позвала нас всех: "Отец вернулся! О, а ты еще в штабных погонах... Как же это? Мы ведь проиграли, а ты все в генерал-майорских..." Мы все в испуге обернулись к дверям, но там никого не было. А мать радовалась: "С приездом!" Она рванулась было к порогу, но тетка и старшая сестра, с трудом удержав ее, уложили на подстилку. Но и с подстилки мать все тянула руки, все смеялась, все звала: "Отец, Отец!"

1. Дайдоко — приток реки Тэдонган на окраине восточного Пхеньяна.
2. Татами используется как единица измерения площади комнаты. Одна татами — одно спальное место. Площадь татами — 1,5 кв. м.

В тот же вечер сестра пожаловалась, что у нее болит голова. Она ходила за матерью и тоже заразилась. За три дня до Нового года, двадцать девятого декабря, они умерли. Я почему-то была тогда как во сне, совсем не печалилась. Пристально смотрела, как бабушка с теткой обрезают им волосы и ногти на руках. Бабушка тогда страшно похудела, еще сильней матери, ходила вся белая, как привидение. Когда она обрезала маме волосы, то казалась мне рисунком, сошедшим с фарфора. Я до сих пор помню это чувство. Потом, на третий день нового года, даже без погребальных церемоний мужчины унесли куда-то мать и сестру.

Через несколько дней заболела я. У меня был сильный жар, и я ничего об этом не помню. Когда поправилась, вспомнила только, что в тот день, когда забрали мать и сестру, я пожаловалась на головную боль. У тети вдруг округлились глаза, и она что-то сказала громким голосом.

Вслед за мной заболел мой младший брат Масуо, а за ним и тетя. Когда я очнулась, то увидела, что лежу рядом с ней, закутанная в футон[1]. Потом мне показалось, что за ней тоже кто-то лежит. Я попыталась заглянуть туда и услышала голос Масуо: "Тидзуруко, сестричка!"

Утром и вечером старший брат приносил нам жидкую болтушку, которую выдавали для больных. Мы ели ее каждый день, добавляя туда уни[2]. И мы выжили — все трое, поправились один за другим и могли уже сидеть поверх нашего футона. Выздоровев, тетя устроилась прислугой в один русский дом — стирала, готовила. До сих пор не могу забыть ту еду, что она иногда приносила оттуда. Порой это были два куска сосиски, по половинке доставалось каждому из четырех детей. Это было так вкусно, что мы все как зачарованные смотрели ей в лицо.

С приближением весны русские устроили для нас баню. Пока мы мылись, вещи наши пропарили в специальной печи для дезинфекции. Благодаря этому эпидемия постепенно сошла на нет. Да и ели мы теперь уже не жидкую кашу. Каждый раз нам давали белый рис, но порции были такие маленькие, как если бы кто-то выпарил наше прежнее гаоляновое варево. Говорили даже, что если новой еды так мало, то кормили бы уж лучше по-старому.

Те, кто выжил, стали покупать где-то отжатый тофу[3]. Когда мы бежали из Чанчуня, у нас было столько багажа, что мы едва могли тащить его, — теперь же эти горы истаяли до кучки личных вещей. В рюкзаках матери и сестры оставалось еще кое-что, и бабушка продала все это, чтобы купить нам творогу.

Тофу застревал в желудке. Когда мы впервые поели его, мой живот раздулся, как мяч. Тофу брали на базаре у старенькой кореянки, крошили в него лук, и так ели. Приправить было нечем, и когда по берегам Дайдоко прорезались зеленые ростки, тетя вместе с нами ходила туда, и мы рвали щавель, осот и другие съедобные травы. В то время купленный на рынке печеный батат или обжаренная смесь из разведенной в воде муки, мелко нарубленного зеленого лука и красного перца казались нам бог знает какими яствами. Стоило мне услышать шкворчание жарящейся снеди, как во рту у меня брызгал фонтанчик сладкой слюны: пш-ш-ш... Однако полакомиться доводилось нечасто.

1. Футон — ватное одеяло, тюфяк.
2. Уни — морской еж.
3. Тофу — соевый творог.

В мае наступил долгожданный день репатриации, и внезапно все вокруг наполнилось радостными голосами. Только мы не могли ехать: не успел Масуо отболеть сыпняком, как у него что-то случилось с желудком. Он все жаловался, плакал: "Живот болит". Осунулся: кожа да кости, шага не мог ступить. Казалось, лежит маленький скелетик. И тетя тогда лежала. С двумя больными разве уедешь? И нас оставили, приписали к другой группе беженцев. Мы там никого не знали, но когда пошли слухи о репатриации, тетя ушла из того русского дома, перебралась к нам, и мне стало не так одиноко. У тети были знакомые среди русских, она давала им уроки английского, приторговывала овощами. Мы со старшим братом взялись продавать газеты: брали их в корейской лавке, а продавали на вокзалах, на людных перекрестках. Поначалу трудно было угнаться за другими ребятами, но постепенно и у нас появились покупатели.

Когда день выдавался удачный, старший брат вел меня на рынок и там покупал мне шипящий жареный батат. Ели, сидя на корточках, перед лавкой. Острый красный перец щипал язык, было очень вкусно, хотелось еще, но брат говорил, что тетя заругается, если придем без денег, и всегда покупал только одну порцию. Если я принималась клянчить, он стискивал зубы и за руку тащил меня домой. Однажды, когда я опять упрашивала его: "Ну купи еще, ну пожалуйста!", пожилая хозяйка лавки спросила по-японски: "Эй, вы двое, денег-то небось нет?" И еще спросила: "А лет вам сколько?" Брат ответил: "Девять и одиннадцать". Тогда, утирая нос, она сказала, что поджарит нам еще. Кроме лука и перца, в коричного цвета муку она добавила свиного сала, она взяла много муки и поджарила ее и дала нам с братом два толстеньких, увесистых комочка.

Прошел месяц, и Масуо начал понемногу подниматься. По счастью, русский, тетин ученик, был начальником коменданта Чанчуньского вокзала. Тетя попросила его помочь нам сесть на поезд. Тот все быстро устроил, но, не доезжая Кэсэна, когда поезд стоял на станции Хакчэн, объявили о вспышке холеры, и состав дальше не пропустили. Пассажиров снова разбили на несколько групп и отправили обратно.

И поезд двинулся на север, мимо той самой станции, до которой едва дотащился день назад. Все побледнели, увидев в окне название — мы снова приближались к Пхеньяну.

Рядом седой старик все бормотал себе под нос как безумный:

— Если в Токио вернемся, министров, военных — всех перевешать. Это военные меня до такой жизни довели. — Вдруг с ненавистью вперился в нас и как заорет: — Тут-то все тоже небось из военных семей?

Мы дрожали, прижавшись к тете.

Нас ссадили с поезда в Сайвэне и под присмотром людей из отряда общественной безопасности отвели в унылую деревушку под названием Анъаккунъочэнъи. Ночевали в японских казармах, там было, в общем, довольно чисто, но вот с питанием худо. Газетами торговать тут было нельзя. Учеников для тети тоже не было: английский никому не был нужен. Два или три дня она осматривалась, а потом нанялась помогать корейской семье, строившей дом неподалеку. На высоком помосте стоит кореец и поет, мешая корейские слова с японскими: "Ну-ка тянем!!" Тетя вместе с кореянками тянет канат, и привязанный к нему противовес опускается. Тогда кореец снова запевает. Все смеялись, только у тети было испуганное лицо. Потом работать там стали в основном японки.

Тетя кем только не была – и уборщицей при горячих источниках, и пололыщицей в яблочных садах. Садов было много, так что работы хватало. За день в саду она получала что-то около пятнадцати иен. Она брала на прополку старшего брата, но он как маленький получал всего три иены. А я готовила с бабушкой гаоляновую похлебку или ходила на поле к китайцам – они давали мне очистки овощей, и тогда мы варили суп из мисо[1]. За пять иен в садах можно было купить прекрасные яблоки, но мы платили одну иену и на следующее, ветром продутое утро шли собирать что получше из падалицы. За все время, что мы были в деревушке, мы ели яблоки три раза. Надкусываешь кожицу – хруп! – и рот заливает прохладный кисло-сладкий сок. Мы с сестренкой получали по половинке и не замечали, как проглатывали свою долю.

Как-то незаметно начался сентябрь. По утрам стали мерзнуть пальцы. К октябрю наступят настоящие холода, а почти ни у кого нет даже футона. Так ведь мы все насмерть замерзнем еще до нового года.

Решили бежать в Японию, разбились на несколько групп. Если перебраться через тридцать восьмую параллель, то на той стороне будет американская зона, а оттуда, говорят, и до Японии недалеко.

С нами жила бездетная пара по фамилии Синодзаки. Обоим было лет по пятьдесят. Ночью восьмого сентября мы вместе тайком бежали из деревеньки. На звук наших шагов из теней яблочного сада залаяла собака. Лаяла так, словно хотела укусить, потом опустила хвост и завыла: у-у-у. И тут зашлись псы по всей округе. А та, первая, все выла волчьим голосом так, что брала тоска. Небо затянулось, собирался дождь. "Поймают – Японии не видать", – твердила тетя и тянула Масуо за собой. Госпожа Синодзаки тащила за руку Таэко. Меня вел старший брат. Он крепко сжал мою ладонь и упорно волок меня вперед. Рука у него была холодная как лед. Только бы выбраться из деревни, а там уже не поймают, можно идти спокойно. Только бы до рассвета покинуть район Анъак. Двигаясь на север, мы из осторожности выбрали полевую дорогу и на ней-то столкнулись с корейцами. Впереди меня шел господин Синодзаки. Когда из темноты возникли корейцы, его всего затрясло. Я думала, они окликнут нас, прикажут остановиться, но они прошли мимо и только посмотрели пристально. Когда их шаги затихли, Синодзаки хрипло шепнул тете: "Они вернутся с погоней". Голос его дрожал от страха.

Мы побежали. Тетя поверх рюкзака посадила на закорки Масуо. У него еще не прошел живот, и он не поспевал за господином Синодзаки. Полчаса бежали как сумасшедшие, потом поняли, что погони не будет. Тетя спустила Масуо на землю, но он был страшно худой и едва мог идти. У тети был самый тяжелый рюкзак, она не могла тащить еще и Масуо, хоть весу в нем почти и не было. Она уговаривала его идти дальше, обещала дать яблоко, если он пройдет еще немного. Вечно голодный, он старался изо всех сил. Незаметно начался рассвет, стали смутно видны наши лица. Масуо – кожа да кости – сжав зубы, шатаясь брел вперед, но по лицу было видно, что он вот-вот расплачется. Может быть, он понял, что тетя каждый раз только обещает и яблока он не получит. Когда совсем рассвело, Масуо сел посреди дороги. Тетя попыталась поднять

1. Мисо – соевая паста для приготовления супов и приправ.

его, но он не мог стоять, можно было только волочить его по земле. "Подымайся, а то уйдем без тебя", – сказала тетя. Он не пошевелился. Делать нечего, мы оставили его посреди поля и двинулись вперед. Когда, то и дело оглядываясь, мы отошли шагов на тридцать, он заплакал. Плакал беззвучно, не пытаясь встать. Мы потому только и поняли, что Масуо плачет, что он вытирал глаза худыми ручонками. Будь он здоров, он, наверное, смог бы еще идти, но он так долго болел, ему было всего пять лет, и тащить его за двенадцать-пятнадцать километров было безумием. Но нужно было идти, и нам ничего не оставалось как бросить его посреди поля. Несколько минут мы шли и все оглядывались на него, а он сидел и плакал. Потом господин Синодзаки сказал: "Вы дайте ему яблоко – может, он пойдет". Тетя вернулась, достала из кармана яблоко, разрезала пополам, еще пополам и четвертинку дала Масуо. Он радостно заулыбался сквозь не просохшие еще слезы, сунул дольку за щеку, поднялся и пошел.

Начался дождь. Сперва только моросило, потом все сильней и сильней – настоящий ливень. У бабушки совсем кончились силы. Жена господина Синодзаки тащила ее почти волоком. Часа через два футон у меня в рюкзаке пропитался водой и стал тяжелый как камень. Нажмешь пальцем – и по руке струйкой вода. Тянуло плакать, но я крепилась: не хотела быть похожей на Масуо. А футон становился все тяжелее, лямки как ножом резали плечи. Больше не было сил его тащить. Я захныкала. Тетя сердито посмотрела на меня, но потом подошла, молча вынула из моего рюкзака футон и выбросила на дорогу. Потом дала мне оставшуюся дольку яблока. Дождь лил все сильней, и мы промокли до нитки. К полудню вышли к мосту через большую реку. Г-н Синодзаки сказал: "Ну слава богу. Из Анъак наконец выбрались". На мосту перекусили засохшим поджаренным рисом. Потом снова пошли под дождем и часов в десять вечера добрались до железнодорожных путей возле Сайвэна.

После Сайвэна на второй день пришлось разделиться. Синодзаки ушли вперед: Масуо опять стало хуже, к тому же мы все вымотались и, как ни старались, все равно отставали. На той дороге все спешили на запад – в Японию. Поначалу г-н Синодзаки, жалея нас, нес Масуо на закорках или поддерживал бабушку. Но мы все время останавливались: пройдем чуть-чуть и сядем, и в конце концов, пожелав нам всего доброго, наши спутники ушли вперед. Я плакала, когда мы прощались. И Масуо плакал, и госпожа Синодзаки. Но иначе неизвестно, добрались бы они когда-нибудь до Японии. И тетя сказала: "Пожалуйста, не ждите нас, идите вперед". Госпожа Синодзаки перестала плакать, и они пошли дальше.

Глядя вслед госпоже Синодзаки, я думала, как бы все было, если бы были живы мама и сестра. Бабушке тоже стало одиноко; когда супруги исчезли из виду, она сказала: "Господи, где же наш-то Фудзио?" Это об отце. До сих пор никто из нас ни словом о нем не обмолвился, хотя в глубине души мы все о нем думали. Если бы папа был здесь, он бы только приказал, и нас бы отвезли на машине с желтым флагом, мечтала я.

И мы снова шли – день за днем. Спать было негде, ложились под большими деревьями на обочине. Начинался ноябрь, по ночам от холода кости промерзали насквозь. Мы лежали, сбившись вместе: тетя с ба-

бушкой по краям, а посередине Масуо, Таэко, я и старший брат. Футон мы бросили еще тогда, под дождем, и теперь укрывались большим фуросики[1]. К утру он был весь мокрый от ночной росы.

Сначала мы боялись корейцев из подразделения общественной безопасности, старались не попадаться им на глаза. Думали, если нас поймают, то отправят обратно. Но со временем оказалось, что и среди них есть хорошие люди. Однажды, когда нам, как обычно, негде было спать, они отвели нас на ночлег в камеру предварительного заключения при полицейском участке. Это была тюрьма, но по сравнению с ночевкой под деревом и мокрым фуросики она показалась нам раем небесным.

Японцы, шедшие на запад, сбивались в группы по тридцать-сорок человек. Но семьи вроде нашей, со стариками или детьми, в такие группы не брали, они брели отдельно, и казалось, что люди вот-вот свалятся замертво. Иногда на обочине неподвижно лежал человек. Бабушка каждый раз останавливалась и, сложив руки, читала над ним молитву. Сколько дней провели мы в дороге? Тридцать восьмой параллели все не было. Бабушка едва шла. Однажды, когда мы добрели до большого дерева неизвестной породы с целым облаком листьев, она вдруг села наземь и сказала: "Все, не могу больше. Идите без меня". Тетя схватила ее за руку и крикнула: "Но ведь это же глупо, глупо!" С того дня, как мы бежали из Чанчуня, я ни разу не видела, чтобы она плакала, но тут по ее лицу, растянутому напряженной улыбкой, ручьем потекли слезы. Тетя плакала. Она плакала и тянула бабушку за руку. Та совсем исхудала, сил у нее не было, и тете удалось поднять ее с земли. Бабушка встала, словно привидение. Тетя поменялась рюкзаками с братом и поверх рюкзака посадила на закорки бабушку. Бабушка молчала. Отдохнув немного, она снова пошла сама.

Дальше к югу люди шли цепочками. Все такие же, как мы: оборванные, черные от солнца и грязи. Иногда нам помогали: кто-нибудь сажал Масуо на закорки или двое вели его за руки. А то за деньги брали на повозку бабушку и Масуо. Таэко грустнела: ей тоже хотелось на повозку. Но ей было уже семь лет, и она молча шла рядом с нами и несла рис в узелке из фуросики.

На одиннадцатый день подошли наконец к тридцать восьмой параллели — оставалось только перевалить гору. Стояла темная ночь. Мы тогда были с группой в двадцать-тридцать человек. Один за другим мы карабкались вверх. Гора была невысокая, но дорога все время петляла. У подножия к нам подошли корейские парни и предложили за плату помочь перебраться старикам и больным. Тетя в темноте отсчитала деньги за бабушку и Масуо, но корейцы все повторяли: "Мало, мало". Тетя дала еще, но и этого оказалось недостаточно. Тогда кто-то из них сказал: "Если денег нет, можно вещами". Мы отдали им опустевший рюкзак. Они взяли на спину бабушку и Масуо и понесли их в гору. За ними двинулись японцы. Было темно, дорога все кружила, и не помню уж, сколько раз мне казалось, что я сейчас упаду. Но я боялась отстать и карабкалась изо всех сил. Бывало, что сильные взрослые люди спотыкались и падали. Подбадривали друг друга: "Держись, вон уже сколько прошли. Теперь уж немного".

1. Фуросики — цветной платок, нередко используется вместо сумки.

Наконец добрались до вершины, на которой весело горел костер. Вокруг огня сидели корейцы. Здесь парни ссадили бабушку и Масуо на землю и пошли обратно.

Мы не знали, где лучше спуститься. Главный в нашей группе, мужчина лет шестидесяти, подошел к корейцам и спросил у них дорогу. Те ждали этого вопроса — сразу поднялись и предложили за деньги провести нас вниз. "У кого нет денег — можно вещами". Все сложили у костра свою рухлядь, только у нас ничего не было. Оставалась лишь фляга для воды, и мы отдали ее корейцу, но тот только усмехнулся: одна фляга — за шесть человек? Тетя чуть не расплакалась, но потом придумала: сняла свою латаную-перелатанную рабочую блузу и отдала корейцу. Тот посмотрел ее на свет костра и бросил поверх кучи других вещей. Потом повел нас вниз.

Я и теперь иногда кричу во сне и просыпаюсь от собственного крика. Четыре года прошло, как мы перевалили гору, а я до сих пор не могу забыть то время. Мне так не хватает мамы и сестры. Я до сих пор плачу, когда вспоминаю, как бабушка обрезала им волосы. Масуо добрался с нами до Токио, но так и не поправился, умер. Мы никому не сделали зла, за что же мы страдаем? Тетя говорит, это потому, что мы проиграли войну. А если бы мы победили — кто-то другой мучился бы так же, как мучимся мы. Война убивает тысячами; прячась от нее, беженцы скитаются по земле. Дети теряют отцов и матерей. И все это понимают. Почему же тогда снова и снова люди начинают войну?

Я вот все мечтала, как отец вернется из Сибири. А что, если его уже нет?.. Нет, он должен быть жив.

Вчера мне снилось, что я в Чанчуне. Что со мной отец в военной форме, мама, старшая сестра. Что мы разговариваем. И Масуо тоже с нами. Проснувшись, я заплакала.

Август 1950 г.

Арно Шмидт

Черные зеркала

Повесть

Перевод с немецкого и послесловие Т. Баскаковой

I

(1.5.1960)

Огни? (я приподнялся на педалях) — : — Не видно нигде.

(Подтверждение тому, что ничто не изменилось за последние пять *лет.)*

Но: лаконичная луна перемещалась над искрошенным шоссе (трава и пырей, наступая с обочин, взорвали гудроновое покрытие, и только посередине осталась пригодная для проезда двухметровая полоса: ну, мне и этого хватит!).

Чуть дальше: остроконечная серебряная личина выглядывает из можжевельника — что ж, едем дальше.

Жизнь человеческая: это значит лет сорок петлять кругами, как заяц. От силы (что случается не так уж редко!!) — лет сорок пять; и, считай, тебе еще крупно повезло, если было в ней не больше пятнадцати военных лет и всего три инфляции.

Стоп: (визг тормозов; завтра надо бы все хорошенько смазать). Я осторожности ради направил дуло карабина на грязную развалюху: стекла под толстым слоем пыли; автомобильная дверца приоткрылась только после того, как я ее толкнул прикладом. На заднем сиденье пусто; за рулем — скелет дамы (обычное дело в последние пять лет!); что ж: желаю ей вечного блаженства! Однако

© 1951 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© Т. Баскакова. Перевод, послесловие, 2005

уже стемнело, а этот "креаториум" к доверчивости не располагает: как знать, засада ли в папоротниковых зарослях, птичьи ли насмешки... — на крайний случай, десять автоматических выстрелов в запасе у меня есть: стало быть, поехали.

Вертикально над перекрестком: посреди приятной вечерней равнины взметнулись тончайшие покрывала пыли, между которыми выделывал пируэты г-н Ветер: когда ж он угомонится?! А по ту сторону — щитовой забор; и я устало потащился мимо, "Деревообрабатывающее предприятие Кордингена" — значилось на окольцованных — адски-серно-желтым и черным — столбах. Рядом, на вплетенной сюда опушке леса, — островерхая геодезическая вышка. И я немножко поломал голову, расшифровывая выгравированную по металлу надпись: ах ну конечно: Т. О.! И рассмеялся лениво: один офицер Шупо как-то чистосердечно рассказал мне, что полицейские раз в полгода обязаны проверять все тригонометрические ориентры — стоят ли на месте. А так как одна из вышек четвертью своего основания вклинивалась в пешеходную дорогу, офицер, вместе с заинтересованными крестьянами, передвинул эту штуковину на полтора метра вправо, в лес, где она никому не мешала, и потом продолжал — в течение многих лет — рапортовать начальству о ее "наличии"! С тех пор я не доверяю отчетам гражданских геодезистов по поводу образования новых складок в Альпах или поднятия уровня почвы в Северной Германии: cherchez les constables[1]! — Да, но теперь направо или налево?

Что ж: capita aut navim[2]. Я подбросил пенни, и Эдуард Седьмой[3], fidei defensor[4], вкупе еще кое с чем, указал мне направо: *Bon*[5]! (И мой маленький двухколесный прицеп тут же начал громыхать и подпрыгивать.)

Железнодорожный переезд (шлагбаум, и на том спасибо, поднят), за ним еще больше рытвин. Мост, сработанный неумехами-томми[6] (почти совсем развалившийся; еще со времен Второй мировой) над извилистой тихой речкой (красивый пруд справа, отлакированный последним вечерним золотом); потом дорога свернула влево, и я с меланхолической элегантностью, как и подобает владыке мира, описал плавную кривую: si quis, tota die currens, pervenit ad vesperam: satis est[7].

Я достал из прицепа ломик и пистолет: SUHM было написано на двери, а рядом — реклама тотализатора. Я размахнулся и вогнал тяжелую заостренную железку в дерево, выше замка; потом — ниже; замок вместе с петлями, тявкнув, отвалился, flash and report[8].

1. Ищите констеблей (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Орел или решка (*лат.*).
3. Эдуард VII (1841–1910) — старший сын королевы Виктории, английский король в 1901–1910 гг.
4. Защитник веры (*лат.*).
5. Прекрасно (*франц.*).
6. Томми — английские солдаты.
7. "Если кто-нибудь, странствуя целый день, прибудет к цели ввечеру, — он доволен" (*лат.*). Цитата из трактата Петрарки "Об истинной мудрости", использованная в авторском предисловии Артура Шопенгауэра к третьему изданию книги "Мир как воля и представление". (Перев. Ю. Айхенвальда.)
8. Вспышка и хлопок (*англ. военный жаргон XIX в.*) — обозначение звука ружейного выстрела.

Как всегда: пустые скорлупки домов. Атомные бомбы и заразные бактерии сделали свое дело. Пальцы мои механически нажимали на ручку карманного динамо-фонарика. В одной из комнат — мертвец: запах от него как от дюжины живых: так что по крайней мере в смерти он стал Зигфридом[1] (между прочим, редко бывает так, что от них еще пахнет; все случилось слишком давно). На втором этаже — больше десятка скелетов, мужских и женских (их различают по тазобедренным костям). Итак, шесть мужчин (или мальчиков-подростков); пять женщин и девочек.

Снаружи: Раньше, наверное, здесь все выглядело опрятно; теперь же разросшийся сад болтался вокруг опустевшего дома, как просторное, не по фигуре, платье. Сосны, правда, красивые и крепкие... Серые стены, перед которыми поникли серые травы, вперемешку с люпином и подорожником. Из серых стен люди составляли дома; из домов — города, из городов — континенты: попробуй не потеряться там! Хорошо, что все уже кончилось; я смачно сплюнул: финиш! Отвязал прицеп и потащил его за собой через порог (теперь сразу направо; к чему церемониться).

В соседней комнате что-то зашуршало: Лис! Рыжеволосый домоправитель, дерзко огибая предметы мебели, выскользнул наружу, в одноглазую ночь. Я расстелил одеяло; сходил к ручью за водой; свеча коптила над кухонным столом, пока я искал на карте это место. (В печи еще сохранялась тяга, и порубленного топором стула хватило, чтобы мутная вода закипела, начала постанывать; где же чайная заварка — ах вот.) Варнау звалась здешняя речушка, как я установил в паузе между галетами и тушенкой (а хотел бы еще хоть раз на своем веку полакомиться сыром: зеленым, например; или швейцарским, эдамским; еще лучше — пахучим лимбургером!).

Рядом, в жилище Лиса: фотографии на стенах; семейные снимки с доморощенными улыбками. (Сколько же на мне наросло жирной грязи: если трижды обмотаю вокруг бедер бечевку, с гарантией получу готовую свечку. Завтра, значит, длительный отдых и помывка!)

Пианино: я попытался соединить горсть диссонансов с ахероническим жужжанием — no use[2]. Я настоятельно нуждался в Орфее: он бы утешил меня песней о дровах и об угольных брикетах. Или о настоящей ванне. Я коротко выругался и опять поднялся наверх.

У некоторых на костях грудных клеток еще лежали удостоверения личности: сбереженные для кого? Ведь эти документы, если и были подлинными, выдавались представителями давно исчезнувшей власти. Я долго смотрел на фотографию одной девушки, на волнистые волосы, на блузку: сейчас у моих ног лежали ее кости, и еще волосы — да, темно-русые; в конце концов я останусь один на один с Левиафаном (или даже сам превращусь в него). Вокруг дома кто-то тихо потявкивал; наверное, там крадучись передвигались лисички, но я на всякий случай нащупал рукоять топора (недалеко от Майнца, в Гаубикельхайме, мне однажды встретились сразу шесть волков!).

1. В "Песни о Нибелунгах" рассказывается, как Зигфрид, надев шапку-невидимку, обрел силу тринадцати мужчин.
2. Бесполезно (*англ.*).

Разложить одеяло и — ринуться в нетленные охотничьи угодья фантазии: давно пора отождествить Летучего голландца и Одиссея в пределах одной истории. Поднялся ветер, большие сосны заговорили глубокими гортанными голосами. Небесполезно задуматься над тем, что человечество использовало для своей картины мира — одну за другой — все три геометрические системы: во времена Гомера — евклидову (ойкумена как плоскость); потом — Космы Индикоплова, чей террариум, собственно, представлял собой кусок псевдосферы, с "Северной горой" как полюсом, и продержался несколько столетий; и, наконец, геометрию поверхности геоида[1]; очень любопытно. Луна, печальная и сияющая, возникла за перекрестием окна. Уже пять лет я не встречал ни одного человека, что не особенно меня огорчало; а это уже кое-что. При матово-желтом свете не почитаешь; я, правда, достал из чемоданчика книжку — нет, видно только название, "Палец Сатаны"[2]; я с сожалением всплеснул руками (еще раз зажигать свет поленился). Лучше всего заснуть. Часы? Тикают на подоконнике. Больше ни о чем не думать... Лис, наверное, тоже хотел спать, потому что за стенкой что-то шуршало, будто звереныш ворочался в соломе. Наверняка так оно и было.

Ночь (как овальный камень в оправе из эбенового дерева): а я все не мог и не мог заснуть! Наконец выругался. И, хотя поначалу не хотел, все-таки выпил (чего-то); энергия — счастье; я, всегда отличавшийся величайшим легкомыслием, тут же почувствовал себя бодрым и способным на любые безумства. Не суетясь, повесил на себя обе винтовки и

смешался с ночью: сражался с ветками, подражал разным человеческим голосам, гладил мох; вспугнутый мною Ветер, до того сидевший в кустарнике, неохотно выскочил из листвы, покружился на месте и лишь потом с шумом унесся прочь. Даже малюсенькие сосенки по-кошачьи царапались, когда я неловко хватался за них рукой (Меня тоже щетина не красит — завтра с утра побреюсь). Один раз уловил такой неприятный запах, что тут же схватился за карабин: то было явно не растение, они все приличные — так может пахнуть только что-то зоологическое! Но подойти ближе я не решился, а поспешил дальше в глубь леса; потом стволы поредели, кусты на опушке сплелись в решетчатую изгородь. Я, наклонившись, перешагнул через канаву и увидал впереди болото, дикую, отрадно монотонную даль, в черном сиянии, — смотрел на нее, пока не затекли плечи. Это и есть самое лучшее в жизни: глубокая ночь и луна, опушка леса, безмятежно поблескивающая полоска воды посреди непритязательной в своем одиночестве пустоши — я долго праздно сидел на корточках, склонив голову вправо; время от времени падала искорка-звезда, где-то очень далеко, за

1. Геоид — фигура, которую образовала бы поверхность Мирового океана и сообщающихся с ним морей при некотором среднем уровне воды, свободной от возмущений приливами, течениями, перепадами атмосферного давления и т. д.
2. "Палец Сатаны" (1845; в рус. перев. "Мисс Анна") — роман Джеймса Фенимора Купера, в котором рассказывается об англо-голландских переселенцах XVII в., живущих в болотистой местности под Нью-Йорком, в селении Hell-Gate (Адские Врата), и о разлагающем влиянии цивилизации.

Штельлихте[1]; несколько раз ко мне неуклюже подкрадывался Ветер и взлохмачивал волосы, как грубоватая девочка-возлюбленная; даже когда я пошел по нужде в кусты, он увязался за мной.

Медный тазик небесного цирюльника висел на сосновой ветке, уже когда я направлялся туда. Теперь было самое время возвращаться "домой", на востоке курились серые дымчатые полосы; искривленные кусты со впалыми глазницами сгрудились вокруг, неприлично таращась друг на друга (и на меня). Утро мне не понравилось; поскольку

утреннее солнце, явившееся среди хорошеньких облачков в стиле "Кете Крузе"[2], так напоминало располневшую и пышущую здоровьем тещу, что я в ярости запустил в него, выглянувшего из-за железнодорожной насыпи, камнем: боже, каким посвежевшим и полным сил выглядело это ничтожество! Укутаться в одеяла (лисята снова проснулись и тихонько жаловались друг другу на нового беспокойного постояльца). Геракл: античный ассенизатор (и после такого рекордного марш-броска я наконец-то заснул).

Небо непрерывно шумело надо мной; мои волосы подрагивали, пока я брился возле окна. В одном из шкафов даже отыскалось свежее белье; а на дворе я заприметил велосипед; и еще, лихо щелкнув пару раз ножницами, сумел укоротить шевелюру на собственном затылке: разве мы, мальчики, не красавчики[3]?! Так что я был готов для прогулки по поселку, с огнедышащей палкой и топором. (Еще на всякий случай взял бинокль.)

Поселковые дома, со вкусом построенные и расположенные в пространстве; местные жители даже многие сосны оставили на месте, не стали рубить, так что я одобрительно выпятил губы (а слева, внизу, плескалась речушка, удалялась, пересекая маленький луг, исчезала под железнодорожным мостом, очень славно!!). Холм, почти лишенный растительности, и дома там попроще; в крошечной витрине — два радиоприемника; потом улица опять свернула вправо, и я без особой радости остановился на пятачке возле входа: везде одна и та же хреновина!

Барак: "Мелочная лавка". Я вошел внутрь (может, найдется что-нибудь съестное); однако в жалком торговом помещении были только запыленные ядовито-желтые леденцы, давно выдохшийся кофе, вспученные и помятые консервные банки (три более или менее нормальные, с говяжьей тушенкой, я все-таки прихватил с собой; после попробую). Пошарил ногой под прилавком: ага: бутылки! Уксус, уксус, подсолнечное масло (это стоит взять!), уксус, уксус (что они делали с таким количеством уксуса?!); наконец, бутыль "Мюнстерлендера", всего 32 процента, и я пренебрежительно качнул головой: ну пусть — и ее в мешок! (Хуже всего с мукой и хлебом! Но что тут поделаешь!) Я еще раз окинул все хмурым взглядом, спустился по ступенькам вниз и уже снова стоял возле

1. Штельлихте — небольшое селение в Люнебургской пустоши, посреди болот и лесов, центр которого образует старинный рыцарский замок.
2. "Кете Крузе" — старейшая немецкая мануфактура, изготавливающая кукол и другие игрушки; существует с 1915 г.
3. Чуть переиначенная строка из сказки братьев Гримм "Гномы".

своего велика (как хорошо, что у него массивные шины, не будь их, я бы давно ходил пешком). Нет, все-таки небольшая велосипедная прогулка для тренировки ног — самое милое дело.

Спортплощадка: трава достигала мне до пояса, и 400-метровая беговая дорожка тоже почти целиком заросла травой. У входа еще желтел под стеклом лист бумаги, отпечатанное на машинке объявление за подписью некоего делопроизводителя Струве: спортивное общество "Бенефельд-Кординген", состав игроков на ближайшее воскресенье (до которого они не дожили!): Розан, левый защитник, Млечко и Ленхардт, крайние нападающие, Нибер в центре; ах, дорогуша Левиафан, их (радовавшая болельщиков) форма была, наверное, бело-красной — или желто-черной; ну, шелести себе дальше... Ниже по улице я насчитал еще около десятка домишек.

Слушая граммофон: ("Хоровод песен и мелодий", как ничтоже сумняшеся сказали бы на Юго-Западном радио) я вдруг испугался встречи со Смертью: вообразив себе, что у нее будет лицо Дюка Эллингтона!! (За это он, может, и не несет ответственности; но продуцирование таких вот акустических отбросов для репутации музыканта — несмываемое пятно.)

"Вам знаком старый шейх, старый шейх из Пакистана?" — "Пакистана?" — глухо отозвался послушный хор,

"Тот, что жен себе брал из Ирака и Ирана..." — "Из Ирана..." Я тут же проиграл пластинку[1] еще раз, уж больно сладкие завывания вырывались из глоток этих нигилистов, а потом...

"Люблю тебя, дорогая!!" — пр-р-ризнался (именно с тремя "р") мужской хор, вложив в это заверение такую инфернальную угрозу, что у меня по спине пробежали мурашки; ну ладно, еще пять минут...

"Мне так страшно / в те-е-мнате – : да-мой вазращаюца..." Что ж, пора кончать с ихним неустрашимым идиотизмом; использовать с этой целью Моцарта было как-то неловко, и я поставил "Sousa, Washington Post"[2]: "У красотки Кэти, говорят, есть дети... Ну а я про что толкую? Дети-ктивы эти": "тити-мити, пети-мети: ох уж эта Кэти"; *Mann inne Tünn*[3], чего только не бывает в этом лучшем из миров, чего только в нем не придумывают! Я изловчился и пнул ногой табличку с именем владельца пластинок, зубного врача, после чего освободил помещение, в котором еще надрывались лихие оркестранты: "Как пошла, как пошла, как пошла она кутить... Мы решили, мол, бабенка прожигает свою жисть..."

Обалдевшее майское солнце жарило во всю мочь, и я уселся прямо посреди мостовой, на асфальте, комфортно вытянув ноги. (Велосипед, верного товарища, оставил в тени, да? А почему, собственно?) Но мне не сиделось на месте, я снова вскочил: кататься на велике — такое чудо! И без людей даже лучше; на перекрестке сделал восемь кругов; потом нажал на тормоз и остановился как вкопанный.

1. Песня, исполнявшаяся джазовым оркестром Дюка Эллингтона (1899–1974).
2. Название пластинки. Джон Филип Суса (1854–1932) — американский дирижер, с 1880 г. руководил Военно-морским оркестром США.
3. Букв.: человек в бочке — северонемецкий фразеологизм, выражающий удивление или восторг.

Иллюстрированные еженедельники: чума нашего времени! Дурацкие картинки и еще более дурацкие тексты: на свете ничто не заслуживает большего презрения, чем журналисты, которые любят свою профессию (ну и еще, конечно, адвокаты!). "Гондель": почти обнаженные девицы, потупив невинные взоры, пялятся на свои же ляжки — я невольно сглотнул слюну и отъехал на несколько домов назад.

Мне везет! Я замер перед щитом, удовлетворенно кивнул: это ж надо, всего в 8 милях отсюда когда-то располагался английский продовольственный склад, я сверился с атласом Конти[1]. Если там сохранилось хотя бы что-то, для меня это означает возможность долгого пребывания в здешних краях, и я снова с интересом огляделся вокруг. Лучше всего перекусить прямо здесь, чем придется, — и сразу туда, не возвращаясь за прицепом. Но тут я увидел почтамт и решил сперва быстренько его обследовать.

Цак: лезвие топора вошло в дверную щель, расширило ее, что-то поддело — и засовы не выдержали: маленькое помещение. Напротив двери — телефонная будка; я с холодной невозмутимостью шагнул внутрь, поднес к уху трубку: "Меня?!"; гудки на том конце провода; "мертвая" линия, и я положил трубку, осторожно положил.

Интерьер: три окошечка, в коричневом деревянном обрамлении; три пульта, скамья для посетителей, maid in waiting[2]. Я одним прыжком вскочил на выступ перед окошечками и перемахнул на ту сторону, в святая святых. Полистать книги. Бланки заказных отправлений, здесь считали деньги, печати возлежали на теряющих влагу подушечках, подсыхали красные и переливчато-зеленые чернила, бесполезно свисали со своих ножек-стеблей молочно-белые круглые лампы — нелепые, старомодные, как слепая кишка. Здесь же находился и местный телефонный коммутатор; нежные девичьи ягодицы касались этой пыльной обивки (с ужасным рисунком!! Большущие желтые не(!)-цветы по синему полю. И призрачное сопрано : Вы еще говорите?!)

Из папки-кляйсера я с важным видом достал одну почтовую карточку (просто чтобы показать, как сильно презираю уже не существующий закон) с наклеенной на нее 10-пфенниговой маркой: а почему бы мне в самом деле не написать письмецо — и я, заняв сидячее положение, растопырил поверх карточки пальцы. (На случай, если и вправду остался в живых еще кто-нибудь, кроме меня. И если он случайно окажется здесь. И увидит открытку...); но я уже писал:

Для г-на Клопштока (Готлиба — пусть будет так), суперинтенданту гимназии Шульпфорта под Наумбургом[3] — насчет почтового индекса я засомневался: Наумбург: это, кажется, на территории бывшей ГДР; что ж, поставим вопросительный знак и обведем кружочком, порядок есть порядок...

1. Атлас Конти был выпущен в 1938 г.
2. Очевидно, отсылка к английской считалке, где упоминается "maids in waiting" — зд.: девушки, работающие на почте.
3. Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803) в 1745 г., по случаю окончания им гимназии Шульпфорта, произнес речь о задачах эпической поэзии, в которой фактически сформулировал программу собственного творчества.

"Возвращаю – за ненадобностью – 'Мессиаду'"[1]. И подпись. (Для первого раза сойдет.)

Когда я проталкивал открытку в щель, мой взгляд невольно задержался на деревянном почтовом ящике; я тут же обошел вокруг и открыл его – за неимением ключа, пинком ноги (как оказалось, то была всего лишь фанера, 5-миллиметровая). Внутри обнаружилось около 50 писем и почтовых карточек: белых, белесых, серо-голубых и зеленых, все – с именами, цифрами, датами, неизменными *"Любимая, верь мне"* и лотерейными таблицами (нож для вскрытия писем не понадобился).

"Большое спасибо за Ваше любезное письмо. Ваш супруг, вероятно, все еще служит на границе. Что ж, рано или поздно ситуация должна измениться к лучшему..." (слово "должна" подчеркнуто; тут у меня напрягся затылок и злорадство так и полезло наружу из всех пор)... "...Люкс разродилась семью малышами..." (Люкс: большая песочно-бурая овчарка; это мне подсказала интуиция, и я уважительно кивнул; но читать дальше не стал, потому что этих щенят они наверняка просто – – н-да).

"Вчера я проходил мимо дома твоих родителей на Брюдерштрассе и, остановившись в тени церкви, долго вглядывался в светлое пятно фонаря, пока окна не стали казаться завистливыми и лицемерными, словно глаза соседей; болезненно-бледный вечерний воздух был холодноватым и желанным, как стройная возлюбленная с рано поседевшими волосами; "нежная и медлительная", пришло мне на ум, и еще: "туман"; ах, наша жизнь..." Я строго нахмурил брови, горько искривил рот и уставился на проломленную фанерную стенку, даже фыркнул сквозь ноздри, набычил голову, невесело рассмеялся – ладно, поехали дальше: "...Завтра же брошу все здешние дела и поеду к тебе! Долго все это в любом случае не продлится, а я так мечтаю, чтобы мы с тобой провели вместе еще хотя бы час..."

Я, пристыженный, опять сложил лист бумаги, кивнул и поднял руку, приветствуя этого странника в царстве теней, моего коллегу: да, спеши к своей Иоганне! Надеюсь, ты успел разыскать ее, прежде чем гриб водородной бомбы вознесся над вашими переплетенными телами; я и сам когда-то жил как древние боги, однако более ни в чем таком не нуждаюсь (хотя готов признать, что подобные чувства в наши дни – редкость; cosa rara, если воспользоваться названием оперы Мартини[2]).

Еще одна почтовая карточка: "Позвольте мне... обратиться к Вам..." Тарабар-барабар... Короче: этот тип хотел уклониться от уплаты взносов за купленную им в кредит пишущую машинку. Деньги, деньги... В общем, мне это наскучило, и довольно скоро. Так что я поднялся на ноги и, беззвучно насвистывая, покинул почтамт.

Перекусить (две консервные банки оказались вполне пригодными!) и выпить полфляжки чаю – вполне достаточно; самое большее через

1. "Мессиада" – христианский эпос Ф. Г. Клопштока.
2. Полное название этой оперы-буфф – "Редкое сочетание, или Красота и порядочность" ("Una cosa rara, ossia Bellezza e onestà"). Висенте Мартин-и-Солер (1754–1806) – испанский композитор, живший с 1776 г. в Италии (и известный там как Мартини Испанец).

час я уже буду на месте. Вернуться за прицепом? Пожалуй, хватит и рюкзака; потом окажется, что там пусто, или все разрушено, или давно сгнило, или...? Я, злясь на собственную нерешительность, почесал в затылке; ладно, ограничусь рюкзаком. Потом — смотря по обстановке; в конце концов, не так уж это далеко.

Писатели тоже бывают fideles u bravos[1] (так испанцы различали индейцев) : мне это пришло в голову, когда я доставал из рюкзака Купера; мы с ним оба — bravos. (Подобно тому, как у Шопенгауэра и Будды из преступника без всякого перехода получался святой, жизнь превратила меня из педанта в ваганта; правда, порой обе ипостаси удивительным образом смешиваются. А "Палец Сатаны" — хорошая книга: остроумная и выразительно воссоздающая культурно-исторический фон; очень славная!)

Все время держаться красно-синих щитов (но не упуская из виду саму местность): красивы эти большие косматые леса и пустые луга; и светло-зеленый буковый туннель справа (пусть подождет до моего возвращения: но как красив!).

Проклятый туман! : опять поперек шоссе лежал телеграфный столб, и между желтыми одуванчиками запутались провода. (Если я и впрямь собираюсь часто ездить по этой дороге, в следующий раз надо будет захватить с собой пилу и топор: неизбежные хлопоты! Хорошо еще, что то была не стальная мачта, такую рухлядь наверняка пришлось бы взрывать!)

Шесть: одичавших лошадей, неужели? Быть не может! Я молниеносно повернул колесико настройки: Точно: лошади! Они медленно прохаживались по опушке леса, жевали траву своими широкими губами: меня отделяло от них не больше 300 метров. Странно! Я только раз, под Фульдой, видел маленькое стадо коров и с большим трудом подстрелил одну. Дичь, значит, водится и здесь!

Захолустная дыра: Вальсроде (две улицы, вывески, дурацкие адвокаты, еще более дурацкие судьи, хорошо, что всему на свете когда-нибудь приходит конец!).

Хоть бы один чиновник остался в живых; из тех, что заштриховывают любую записочку, прежде чем ее порвать и выбросить: прохвосты! Я тут же запустил горшком с каким-то засохшим цветком в окно участкового суда; и подождал, уперев дуло винтовки в подсумок, не высунется ли возмущенная харя секретаря — увы! Опустил ногу на жаркий бордюрный камень; другая — на левой педали : Многое пронеслось в те минуты в моем отяжелевшем, как туча, летнем сознании, ни в какой поэме не описать, ни в каких прозаических томах не высказать. Упомяну лишь, что в какой-то момент я с уважением склонил голову — главу — перед Августом Штраммом: великим поэтом! (И перед Альбертом Эренштейном, что бы о нем ни говорили!)[2].

Вскоре после : Меня несколько раз пронесло.

1. Верные и храбрые (*исп.*) — так называли в период завоевания Америки соответственно уже покоренных, признающих власть завоевателей, и непокоренных, "диких" индейцев.
2. Август Штрамм (1874—1915) — поэт-экспрессионист и драматург, для его стихов характерны нагромождения инфинитивов и широкое использование неологизмов. Альберт Эренштейн (1886—1950) — прозаик-экспрессионист.

Шоссе было отличное, я мчался, как выпущенная из лука стрела... Одинокая железнодорожная станция без каких-либо следов примыкающего поселка: ДЮЗХОРН, я одобрительно кивнул: без поселка! Замечательно. И сразу за ней –

ангары из гофрированной стали : (я свернул вправо; много проходов; гравиевые дорожки; висячие замки посбивал выстрелами).

Ангары: канистры с галетами; одну я сразу же вскрыл : Все еще в полной кондиции; и вкусные! Сколько их тут: пять тысяч? или десять?! Эхо моих шагов отдавалось в высоких металлических сводах, гасло среди стеллажей; из дощатых ящиков выглядывали головки жестяных банок; сладкое плотное повидло я выковыривал карманным ножом из золоченых цилиндров: тоже безупречное!

Обмундирование? Ну, это пока не к спеху (правда, мягкое защитного цвета сукно смотрелось красиво); возьму, самое большее, одно одеяло.

Канцелярия с пишущими машинками: хм.

Отдельное маленькое строение: шнапс и боеприпасы! Какой у них общий знаменатель? : Огонь? Но патроны были позеленевшие, то есть отсыревшие, хотя и хорошо смазанные. Только 80 штук показались мне отвечающими стандарту; их-то я и прибрал к рукам.

Один бочонок с краном: и даже функционирующим! Недоверчиво: попробовать, что ли? (Лучше не надо; отравляющие вещества проникли повсюду; доверять можно только стеклянным бутылкам со станиолевыми притертыми крышками.) И я, вздохнув, вылил содержимое кружки на разграфленный желобками цементный пол. Куревом я не балуюсь (с 43-го года); так что эти бессчетные пачки мне как-то ни к чему – все эти "Craven A" с пробковым мундштуком: прощевайте!

Ветер? (Я предусмотрительно выглянул за дверь) : голубой Ветер, словно большие знамена, неумолчно шумел вокруг дома; кроме того, отдельные облака тоже двигались складчато, и пузато, и неспокойно. Зато ангары были действительно безупречны: могли бы поддерживать мою жизнь годами! Я привязал канистру с галетами к багажнику и задумчиво поехал назад, со всяческими деликатесами в рюкзаке.

Под липами посреди пустоши[1] (точнее – в буковом туннеле между Вальсроде и Эббингеном) : Ливерный паштет был хорош; прямо-таки божественный вкус; в следующий раз доверху наполню им весь прицеп : "Наше вам окаянное спасибочко!", "Вы, собаки: мы за все расплатились"; это силезские присказки.

И бессчетные гранитные кубики скрипели подо мной: влево, мол, теперь – вправо; через семь минут я, задохнувшийся от быстрой езды, вновь оказался на асфальтовой полосе между Эббингеном и Кордингеном: маслянисто поблескивали щиты – и с чиновничьим рвением предупреждали меня обо всех поворотах велотрека: этакие молодцы!.. Широко и зелено раскинулась подо мной позднепосле-полуденная земная колыбель, вся сплошь украшенная кружавчиками – деревцами, какими-то рощицами; и ветер был свежий и, посвистывая, звал меня вернуться на родину, в луга; и я

1. Строка из стихотворения Вальтера фон дер Фогельвейде (ок. 1170 – ок. 1230).

скользил, покачиваясь над собственными (крепкими, механически двигавшимися) ногами, вдоль волнистой гудроновой ленты: хвала одиночеству!

Недостроенный крестьянский дом (на полпути, справа). Я подошел к колодцу и наклонился над влажной гулкой шахтой (велосипед мой еще на месте? Угу).

В современных руинах: здесь, вероятно, располагалась кухня. А здесь: хлев? Из жилых помещений открывался вид на леса по ту сторону Остермоора, Пасхального болота. Дело шло к вечеру, и солнце уже достигло облачных берегов; но все пока оставалось теплым и ясным, меркло постепенно, медленно; травы и обочина дороги, рассеянный свет: и где-то там, далеко, пара соек, качающихся над лесом...

Глубокая грусть: я провел рукой по стене, в которую было вложено столько человеческого труда; уголки моих губ опустились, ноги увязали в проломах между половыми досками: что ж, это закономерный результат! Люди усердно работали на протяжении многих столетий: но не напрягая своих мыслительных способностей! Если бы они по крайней мере — посредством узаконенных абортов или презервативов — поддерживали постоянную численность населения на уровне около ста миллионов человек; тогда на земле для них оставалось бы достаточно места, и ежевечерне — вот как сейчас — над этими нарядными лугами и сумеречными пашнями свет и растения заключали бы между собой "Союз рощи"[1]. Но все эти "государственные деятели", эти болтуны, с каких бы букв ни начинались их фамилии, всеми силами противились такому повороту событий — ах, да что говорить, хорошо, что все они уже сгинули: я смачно-паштетно сплюнул, да так энергично, что даже щавель внизу вздрогнул: не о чем жалеть!! Что заслужили, то и получили. И велосипед опять загромыхал по дороге, но теперь вниз с холма (слева — яблоневая аллея, ведущая в колонию Хюнцинген; справа — филиал Тремпенау), "домой". (Я не боюсь возвращаться домой в темноте.) А кто позарится на мою "летающую крепость"[2], получит в придачу к ней блокбастер.

Malepartus[3] (но хозяева, похоже, от возмущения моим поведением смылись; ничего: навечно я здесь не останусь!). Ибо в этом доме совсем нет туалетной бумаги; я с треском взламывал ящики письменного стола; кожаная с тиснением папка, игра "Приятель, не злись"[4] (она будто глумилась надо мной) — я быстро терял самообладание; наконец, какая-то книжка: Рильке, "Истории о Господе Боге", это мне в самый раз; и я сразу вырвал из ювелирной прозы нужное число страниц: уже одно название меня возмутило; изыс-

1. "Союз рощи" — объединение поэтов в Гёттингене (1772–1774), близкое "Буре и натиску". Члены этого объединения публиковались в литературном журнале "Гёттингенский альманах муз".
2. "Летающая крепость" ("Flying Fortress") — тип английских бомбардировщиков времен Второй мировой войны.
3. Охотничий домик под Гамбургом, в 1938–1945 гг. использовался как помещение Имперской почты. В поэме Гёте "Рейнеке-Лис" так назывался замок Лиса.
4. Поочередно бросая кубик, каждый из игроков передвигает свои фишки на соответствующее число полей. Фишки раньше обычно представляли собой миниатюрные бутылочки с ликером и шнапсом.

канное словоблудие; тоже мне pneumatomache[1]: пошел ты ко всем guacharos[2]!

На сей раз я решил прогуляться в противоположном направлении, в сторону фабричной трубы. Пешеходная дорожка вскоре свернула влево и вывела меня к железнодорожной насыпи, прямо к мосту, и уже оттуда я увидал, что рельсы когда-то тянулись через всю территорию фабрики – значит, айда за ними, по буро-торфяным кочкам.

Древесина, прорва древесины! В виде штабелей досок под навесами; в виде фанерных листов, прислоненных друг к другу. И балок, но их меньше... Во дворе еще – гигантские стволы, слоновье-серые, в основном буковые, от 80 до 100 сантиметров в диаметре: жалко красивых деревьев. Но зато все – сухое, по высшему разряду, зимой будет гореть, как адское зелье. Ну-ну; я поднялся, тяжко вздохнув (представив себе, сколько придется корячиться, чтобы перепилить и порубить топором все эти горы добра), и в задумчивости покинул огороженную территорию, перед которой опять-таки уже знакомый мне щит застыл в ожидании на своих негнущихся зеброногах: здесь, значит, тоже было деревообрабатывающее предприятие.

Березы, сочащийся сок... Где-то (когда-то) я прочитал, что из него и вправду можно делать вино. "Березовое вино", сами эти слова – как колышущаяся девчоночья юбка (не слишком ли ты сентиментален, приятель? И я сердито шагнул через порог).

Что это?: ах, ну да. Через стекло видна та геодезическая вышка с ведущими наверх перекладинами; и мне на мгновение привиделось: как я стою наверху, ветер ласкает мое лицо и волосы, а далеко вокруг – только сияющие одинокие кроны; Нэтти[3] был прав: ничто не сравнится по красоте с лесом! И мне ведь сейчас только сорок с небольшим; если все сложится удачно(?), я еще долго буду бродяжничать по обезлюдевшей земле: а без попутчиков как-нибудь обойдусь!

Вокзал: маленький и опрятный. Красные товарные вагоны: вот они стоят, по отдельности и целыми составами; и я невольно опять подумал о том, как в позапрошлую (Вторую) мировую войну мы запихивали в эти теплушки военнопленных, по пятьдесят душ; голландцы тогда швырялись комьями грязи и обломками кирпичей, так что трещали стены – тоскливо и страшно. На запасном пути – маленькая дрезина, и я развлечения ради опробовал на ней свои силы: стронулась с места относительно легко (правда, рельсы шли под уклон).

Караван-сарай напротив: реклама пива, кричаще яркие краски... В качестве украшения – забавный книжный шкаф, застекленный; в дверце услужливо торчит ключ; я наудачу раскрыл один из томиков: "...ее разбивают / дубиной удвоенного веса..." – и тотчас бросил

1. Пневматомахами, то есть противниками Святого Духа, называли христиан, отрицавших единосущноть Троицы. Это учение было признано еретическим в конце IV в.
2. Guacharo – неоперившийся птенец, в прямом смысле "нытик" (*исп.*). В Латинской Америке так называют ночных птиц, днем прячущихся в пещерах.
3. Нэтти Бампо – герой романов Джеймса Фенимора Купера "Пионеры" (1823), "Последний из могикан" (1826), "Следопыт" (1840) и "Зверобой" (1841).

книжку. (Еще в передней на моих широких губах дрожал смех: как знать, может, когда-то в лагере гуннов имелись ПД-53, "(легкие) полевые дубинки"; а также ПДУТ-17, "полевые дубинки удвоенной тяжести", для особо сильных бойцов: в какие только дебри не завлекает прирожденного ритора его богатый лексический запас!)

Внизу: мельница возле двух красивых прудов; мостки посередине прогнили, но я удерживал равновесие, стараясь наступать только на концы балок. Маленькая площадка с необычно высокой туей — не меньше 15 метров; довольно большой двор; слева — длинный ряд сараев и гаражей: что мне делать в этих человеческих норах? Опять рассматривать неизбежные скелеты? Опять думать: этот, наверное, был толстяком, ежевечерне умиротворенно жевал колбасу; тот — лептосомом[1], в берете, с бородкой клинышком; вон там лежит идиот с лысой яйцеобразной макушкой; здесь — набожная старая дева, в очках или без. Еще один — маленький бодрячок с походкой почтальона и с философской трубкой-носогрейкой в зубах (втайне, однако, надеявшийся на лотерейный выигрыш). — — Кроме того, вот-вот должен был начаться короткий ливень, и я предпочел загодя двинуться на север, к своей штаб-квартире (укутав велосипед и прицеп плащ-палаткой). Справа, успел я заметить, стояла циркулярная пила.

Сумерки: мне пришел в голову сюжет для фантастического рассказа: крылатые ядовитые змейки, которые с наступлением темноты буквально роятся в воздухе; ужасные последствия. (Я даже сразу придумал подходящее псевдостаринное название:

Ахамот[2],
или
Беседы обреченных,
сиречь
пространное и правдивое описание
путешествия, совершённого Джованни Баттистой Пиранези,
неаполитанским мореплавателем, осенью 1731 года
в Вайлагири, адский город,
содержащее исчерпывающий отчет о земле и о людях,
их обычаях и нравах (а паче — безнравственных обычаях),
редкостных адских привычках и институтах,
своеобычных и достойных сострадания муках, с присовокуплением
удивительных диалогов, которые упомянутый Д. Б. П.
при различных обстоятельствах и с величайшей опасностью
для души и тела либо вел сам, либо слышал из чужих уст; все сие
изложено в соответствии с собственным его рассказом,

1. В 1921 г. немецкий психиатр Эрнст Кречмер опубликовал книгу "Телесное строение и характер", в которой разделил человечество на три физико-психологических типа: Leptosomen (худые, с удлиненными пропорциями), Pykniker (склонные к полноте) и Athletiker (физически крепкие, с нормальными, усредненными пропорциями). Темперамент лептосомов, по Кречмеру, отличается либо повышенной чувствительностью и переменчивостью настроений, либо, напротив, абсолютной эмоциональной холодностью.
2. Ахамот, или Энтюмесис, у гностиков (в системе Валентина) — низшая мудрость, которая отпала от высшей мудрости (Софии), очутилась в царстве материи и стала матерью Демиурга. От нее происходит духовное начало в людях.

многократно клятвенно подтвержденным,
в точности как он сам излагал это на итальянском языке
вечером 11 мая anno domini[1] 1738
и последующей светлой лунной ночью
на Piazza di Pesci[2] в Неаполе, в присутствии давно уже
там проживающих господ doct. utr. jur.[3] Маркмана и Фольквардта,
странствующего Past. emerit.[4] Штегемана из Дрездена,
а также составителя настоящих записок, при большом скоплении
народа
из самых разных сословий; ныне в назидание и
ради духовного укрепления
заинтересованной публики самым тщательным образом
переведено на немецкий язык.)

Прошел сильный дождь.

Кто-то загонял лунный клин в тучу, и она медленно раскалывалась; жиденький маргариновый свет падал на портрет унтер-офицера, висевший рядом с дверью: благодарность отечества: еще в старые добрые времена после Первой мировой: шарманка и табличка на шее — "остался без пенсии". (Но ведь немцы потом еще дважды кричали, что, мол, надо вести себя по-мужски и что "Так прекрасно быть солдатом, солдатом..."[5]: they asked for it, and they got it![6])

Я проснулся: потому что луна пялилась через боковое окошко на мое неподвижное лицо. Неустанно сменяют они друг друга: день и ночь. А я, в отличие от них, рано или поздно испущу дух (надеюсь, достаточно быстро, без излишних мучений; но хотя бы один патрон в кольте — даровой билет для странствия в голубые страны[7] — должен оставаться всегда). Я прислонился к стене, подтянул колени и задумчиво следил своими совиными глазами за медленными метаморфозами света.

Обратные радиусы (эта мысль очень занимала меня в течение 5 минут). Представьте себе графическое изображение функции с комплексным переменным, а именно только что упомянутый специальный случай: это и будет самый уместный символ человека во Вселенной (которая есть единый круг, в котором все отражается, и вертится, и преломляется! Бесконечность становится тогда самой глубинной, внутренней, срединной точкой, из которой мы выводим свои оси координат, строя систему отсылок и мер для всех вещей. Только наша периферийная оболочка идентична своему отражению: она — пограничье между макро- и микромирами. В единой сфере можно даже создавать проекции трехмерного бесконечного пространства.)

Красивая, умная "мысленная игра"; на 5 минут.

1. Года от Рождества Христова (*лат.*).
2. Рыбной площади (*итал.*).
3. Докторов юридических наук (*лат.*).
4. Достопочтенного пастора (*лат.*).
5. Строка из марша времен Третьего рейха.
6. Что просили, то и получили (*англ.*).
7. "Старая книга и странствие в голубые страны" (1835) — поздняя новелла Людвига Тика.

Итак, чем дальше от нас любимое: тем глубже оно проникает в нас. И я прижал лоб к коленям, обхватив руками свои ступни.

(Вскоре вышел на двор.) Луна: как недвижный валун посреди волокнистого облачного болота. Черные зеркала, во множестве разбросанные повсюду; ветки царапали мне лицо и поспешно роняли капли. ("Изрядно накапало", так это в просторечье.) Под такой дождь хорошо спится.

Я засунул за пояс маленький топорик и двинулся в последнем еще не исследованном направлении, к северо-востоку. Судя по походному компасу, рельсы проложены почти точно на север, а по шпалам идти трудно (промежуток между ними меньше человеческого шага, если же ступать через две шпалы — слишком велик. Следовало бы поставить это на вид властям).

Поперек путей – пешеходная тропа (сзади солнце висело за белой завесой туч, как пылающий аэростат: и я вскинул руку, приветствуя Пилатра де Розье, разбившегося 16.6.1785 — первым в длинном ряду других жертв; Икара, свободного от предрассудков); я пошел по этой тропе, которая, слегка изгибаясь, вела на запад, налево, вдоль кромки леса; она пролегала посередине луговой полосы шириной в 500 (примерно) метров — одичавшего пшеничного поля; а потом опять потянулись леса, то светлые, то более темные. Ветер был прохладным, порывистым, прелестным, и я ухмылялся, как странствующий подмастерье, дивясь окружавшему меня зеленому чуду. Колючий куст ежевики оставил красную ссадину на правом указательном пальце; я едва глянул на нее, когда поправлял на плече винтовку, и моя крошечная боль утекла в леса.

Много развалившихся грибов (еще прошлогодних); неподалеку струился ручеек, с трудом пробиваясь сквозь ярко-зеленые побеги; он собирал воду с большой лужайки — не подчиняющийся никаким законам и прекрасный...

Я потерял направление и внезапно вновь оказался на той же опушке леса, всего в ста метрах от рельсовых нитей, на маленькой площадке. Заросли можжевельника образовывали два почти правильных концентрических круга: это были очень старые растения, судя по их величине (они могут жить лет до 800 или даже до 1000; я — нет). Почва тоже казалась такой плотной и опрятной, что я, охнув от удовольствия, помочился. Красота!

Кричаще-яркое солнце скрылось за наплывавшими тучами: пушистое серое руно медленно раскатывалось; двадцать минут спустя оно уже накрыло (на час примерно) все болото.

Майский дождь: я сидел под ним, невозмутимый как камень: хорошо вот так промокнуть насквозь на опушке леса, при полном безветрии (в Майланде — я имею в виду, конечно, вовсе не старое название Милана), — и я в восторге шевелил повлажневшими плечами, разминал икры.

Походная фляга? : Ага! (Я всегда пью исключительно для того, чтобы укрепить присущую душе силу воображения; чтобы освободить свой истерзанный дух от земных тормозных колодок; чтобы расширить периферию единого круга: того самого, с обратными радиусами; ну, будем!) И молниеносно явилась картинка из вчерашнего дня:

красивая березовая аллея, от Борга; маленькое кладбище с остроконечными деревцами в Таксусе; неуклюжее здание церкви — тамошние крестьяне явно не отличались изысканным вкусом! Рядом с придорожным столбом — кустик бузины, не выше метра...

Я с удовольствием сделал глубокий вдох и шагнул в серо-пестро-зеленое последождевое пространство : остановился : обняв за шероховатые талии сразу две молоденькие сосны. Две птицы вспорхнули из кроны поваленного дерева, с пронзительными криками описали круг у меня над головой и полетели прочь, прочь от этого облачного прибоя в западной части неба, издали в последний раз индейский боевой клич и наконец пропали где-то за неподвижными земляными волнами, подобно брошенным в воду камням. (Частота вращения пули: $N = (V_o \cdot \tan \xi_e) / (2 \cdot R \cdot \cdot p)$, где ξ_e — это конечный угол нарезки ствола, а R — половина калибра в метрах: потому что ведь и V_o указывается в метрах!)

Вечер: зловещий и красивый! Огненно-красные и белесые клочья тумана внезапно появились из-за стволов деревьев, словно контрабандисты с пылающими факелами, с серебряной утварью в руках; они собрались вместе и держали совет в низине, поросшей серой травой (тогда же вернулись и большие сойки — можно сказать, осуществили вторжение на эту территорию).

Карта: я разложил ее на коленях и попытался сообразить, в каком месте нахожусь: на равном расстоянии от Гамбурга, Ганновера и Бремена. (Те, в низине, похоже, приняли какое-то решение: пригнувшись, серые фигуры делились на группы; и бесшумно исчезали в березовой аллее, ползли сквозь пожелтевший прошлогодний камыш: только один остался стоять во весь рост, часовой.)

Английский центр продовольственного снабжения, прямо под рукой: собранных в нем запасов хватит на 10 лет! Внизу, на фабрике, древесины достаточно для целого клана, захоти он здесь поселиться. (Теперь часовой медленно наклонился вперед и крадучись, используя любую возможность для маскировки, стал перемещаться к лесопитомнику.)

Вода : Где-то поблизости я видел ручей; да и вообще, благодаря столь частым в Северной Германии дождям о воде можно не беспокоиться. Физическая же нагрузка, связанная со строительством, работой с пилой и топором, транспортировкой нужных материалов, пойдет мне только на пользу (растолстеть: значило бы согрешить против собственного — сакрального — тела!).

Я поднялся во весь рост под средних размеров луной; я сказал: "Господин фон Баер (или как там звали здешнего хозяина): благодарю вас за передачу мне этих лесных угодий: я собираюсь построить здесь дом и потому принимаю все это, — тут я нетерпеливо обвел рукой горизонт, — в собственность". ("Как передающееся по наследству имущество", — пришла мне на ум юридическая формула: а есть ли такая?)

Я сунул топорик за пояс (косо!): вспомнив о тявканье случайных обстоятельств. И уверенно шагнул на — мою! — тропу. Вечер догорал широкой полосой уже тлеющего угольного жара с выбивающимися сверху серебряными язычками пламенеющих облаков (но мне было лень вчитываться в эти знаки). Я хорошо представлял себе,

куда направляюсь: на востоке в окустарниковленном русле бежала Лютт-Варнау; подо мной — плодородная земля; за спиной и по сторонам — большие лесные массивы — мои! — обрамленные дорогами; и, опять-таки сзади, — луна, как придорожный камень: на лицевой стороне, если не ошибаюсь, значится "17" (или "18"; тоже очень щедро). Молодые листочки охотно — волнообразно — со всех сторон наклонялись к моему разгладившемуся лицу: что, хотите загодя подластиться к новому хозяину? (Все они будут моими подмастерьями!)

Перед тем как заснуть: несмотря на усталость, успел набросать план дома. Завтра с утра нужно будет сходить еще раз к можжевеловому кругу и точно измерить ту площадку, высоту склона и пр. (И найти место для сарая. Лучше всего — сразу разметить колышками. Но сперва поискать в поселке миллиметровку.)

Долго сидел перед ними : (штабелями досок на складе): тяжкая предстоит работенка! Прежде всего — продумать возможности транспортировки: вчера на вокзале я видел маленькую дощатую платформу; ее я смогу нагружать балками и прочим, толкать до пересечения путей (но прежде надо бы отскрести ржавчину и все хорошенько смазать); от вокзала к северу местность немного понижается: это очень кстати. Какого типа балки, вообще-то говоря, мне по силам? Там были четырехдюймовые, шестидюймовые, восьмидюймовые: в конце концов я остановился на 15-сантиметровых для каркаса дома и подсчитал: специфический вес — приблизительно 0,7; поперечное сечение — 225, при умножении на 10 уже дает килограмм, то есть один метр такой балки весит примерно 15 кило, и я про себя выругался: пятнадцать! Тут же встал и попытался сдвинуть с места 10-метровое чудище: ну-кось! С помощью рычага, может, и сумею. Потом вновь погрузился в изучение соединений, используемых в деревянном строительстве, изображение которых нашел в одном старом словаре.

Да: теперь она покатилась! (И даже стрелочный перевод, тот самый, который мне позарез был нужен, хоть и со скрипом, но удалось переставить: это ли не добрый знак!) Четыре чудища я-таки взгромоздил, с помощью брусов и веревок, на низкую платформу — и начал

свой первый пробный маршрут: эт-то-было-нечто! Я оцепенело пялился на битый щебень и на собственные побуревшие от пыли ботинки, упрямо переступавшие через шпалы: скорее бы добраться до верха, до железнодорожного переезда! Со лба уже неритмично капало, и я в отчаянии наклонялся вперед, подталкивая платформу даже этой, самой благородной своей частью; деревья, как тени, сопровождали меня, один раз я чуть не оступился ("Оступившийся может начать сначала..."), и ноги сгибались все с большим трудом (если я хлопнусь затылком: вот будет номер!). Но тут показался запыленный деревянный настил, в подвижном поле моего зрения: а сразу же вслед за ним, хвала владыке небес, и стрелочный перевод. Я, задыхаясь, протопал еще сколько-то шагов и наконец доставил свой груз в нужное место: все, на подобные загородные прогулки меня больше никакими коврижками не заманишь!

Переложить рычаг: теперь внимание: слегка подтолкнуть платформу, запрыгнуть сверху, нажать на ручной тормоз: по идее она должна поехать сама :

И она мягко тронулась с места; Ветер дул не в мою небритую физиономию, а сзади — непрерывно и со знанием дела. Мы замечательно прогромыхали сквозь лесной туннель, еще замечательнее было то, что почти сразу за ним показалась поперечная проселочная дорога; я сбавил скорость и потом резко остановился, немного до нее не доехав: voilà! В аккурат как надо. Но разгрузка была ужасной, ужасной; тут ведь приходилось еще следить, чтобы ничего не сломалось...

Обратный путь (я медленно толкал дрезину): все другие балки можно предварительно распилить; самые длинные, которые мне теперь потребуются, будут от силы 5-метровыми! (Платформу — вернуть на склад древесины, и — всё на сегодня; нужно бы еще составить точный план; и раздобыть инструменты, гвозди, винты.)

Три столяра жили раньше в этом поселке: так что выбор у меня был (и писчего материала хоть завались, из вальдорфской школы внизу); я сидел долго, пока ночь не стала подмигивать огоньками, и думал: рядом с вокзалом находится заведение торговца углем, и там на складе, по моим прикидкам, осталось еще центнеров 500—600 обыкновенного угля и в брикетах; а может, и вся тысяча; на глаз оценить трудно — такая прорва; в любом случае сколько-то лет о топливе можно не беспокоиться. А после наверняка кое-что сыщется и в погребах здешних домохозяев. С этим, значит, проблем не будет.

"Вобановский фронт" вдруг вспомнился мне, пока я вычерчивал план: всякие рассуждения о "лицевой" линии укреплений, защите флангов, куртинах, равелинах, кавалерах, взятии противника в клещи[1]... (Интересные; Бусмара[2] я когда-то тоже читал.) Однако продолжим:

Горе тому мужчине, который хотя бы раз десять за свою жизнь не пожалел о том, что не выучился на столяра! Мужчине, в чьей памяти при виде новенького гвоздя не всплывают образы аппетитного, ждущего обработки полена и маленького крепкого молотка!

Я сперва опробовал коловорот на перилах лестницы: смогу ли просверлить бревно, которое втрое толще? Я ведь собирался строить дом так:

1) пять длинных 10-метровых балок уложить параллельно одна другой, с промежутками в один метр; потом:

2) под прямым углом к ним — пятиметровые бревна (это как раз не особенно трудно; нужно лишь на местах пересечений вырезать, выдолбить входящие "в лапу" пазы и выступы, глубиной 7,5 сантиметров и шириной — 15; проложить еще бревна по диагоналям, связав таким образом все четыре угла, чтобы получились крепкие

1. Себастьян Ле Претр де Вобан (1633—1707) — французский военный инженер и теоретик, с 1669 г. генеральный инспектор французских крепостей, с 1703 г. маршал; автор работ "Трактат об атаке и обороне" (1737), "Трактат об осадах" (1747) и др.
2. А. Ж. Бусмар (ум. 1807) — французский военный инженер, после революции 1789 г. эмигрировал в Пруссию; автор трактата "Общий очерк фортификации" (т. 1—4; 1797—1799).

треугольные соединения; и потом эту "донную сеть" заполнить галькой). Далее:

3) вертикальные столбы: тут мне придется с помощью стамески выдалбливать в стыках, описанных в пункте (2), квадратные отверстия, скажем, 6 × 6 сантиметров, а на столбе оставлять соответствующего размера шип. То есть высота столба должна быть не просто 2,20, а (с учетом прибавки внизу 15 сантиметров) — 2,35; плюс та же прибавка наверху; итого — 2 метра 50.

4) потолок: опять поперек — 15-сантиметровые бревна, длиной 5 метров. Но в качестве длинных соединительных балок теперь сойдут 4-дюймовые, как и для

5) крыши. Углы: у основания — 50 градусов; наверху соответственно — 80; и края балок должны чуть-чуть выступать, с каждой стороны на 50 сантиметров. Вот так. (Каркас — самое трудное; обшивать его досками мне казалось делом несложным; приладился же я делать шпунты). Класс!

Так я сидел и занимался подсчетами.

(4 недели спустя): и все это время зубастая стальная пила неустанно вгрызалась в пеструю древесину; белая древесная пыль сыпалась на мою левую ногу, славная, бархатисто-жесткая, и каждая ее крупинка была отчетливо различима: написать бы биографию каждой крупинки: ведь нет такого существа, которое не хотело бы пожить вволю и оставить после себя след! "Жизнеописание Можжевелового Куста"; "О Сосне, которая росла там, справа"; "Мы, Мхи"; "Меня звали Птицей Ястребом"... Разве не может и Просека быть самостоятельным существом? Иметь, как железнодорожная насыпь, "свою историю"? Какой-нибудь камушек из щебеночной засыпки: он, между прочим, живет дольше, чем вы, уважаемый читатель Имярек! "След Ноги". "Еловая Шишка" (эти предпочитают жить общинами). На моем окне стояли 24 цветочных горшка с семенами различных растений: а зубастая стальная пила вгрызалась в пеструю древесину; неустанно.

22 июля 1960: праздник по случаю завершения каркаса! (Правда, была только пятница, но что мне до того?!) Профессиональные плотники надорвались бы от хохота, глядя на такую работу, но каркас стоял. И стоял крепко; я с ним достойно накорячился. (Теперь меня ожидала вторая, более легкая часть: обшить каркас досками; потом еще раздобыть мебель — да, но сперва попразднуем!) И бутылка не отлипала от моего рта (я еще собирался проверить свои часы; 5.9 — ближайшее полное лунное затмение, тогда и проверим, не запутался ли я в датах. Впрочем, любое прохождение солнца через меридиан позволяет приблизительно зафиксировать полдень по местному времени: уже хорошо! И малага — от фирмы "Штольц Херманос" — вливалась, как ароматный огонь, в мою плотницкую глотку).

"Печка" – вспомнилось вдруг: мне неоткуда взять настоящую дымовую трубу! — Ну да ладно; это будет не первая кафельная красавица с трубой, выходящей непосредственно через стену (но я тут же посерьезнел: придется быть очень аккуратным, чтобы не наделать лесного пожара!). И еще я пока не обзавелся табличкой с номером дома! При этой мысли я так развеселился, что, еще раз радо-

стно кивнув себе самому (в знак признания своих достижений), тут же отправился — обружьившись и отопорившись — на поиски подходящей таблички.

Через окутанный дымкой луг: на сей раз я зашел на мельничный двор сзади; при первой попытке сориентироваться мне бросилось в глаза окошко возле маленького крылечка (правильно: оконницу надо будет вынуть откуда-нибудь целиком и потом просто переставить на новое место!), после чего я проник внутрь : Убогая обстановка: кровать из досок, без подушки и матраца, накрытая пятью одеялами. Поцарапанный письменный стол, на нем штук двадцать книжек — в картонных коробках, заменяющих полки; треснувшая крошечная плита (такая наверняка не могла согреть эту большую сырую лачугу!); я сочувственно постучал по треснувшему железному корпусу и, помрачнев, занялся осмотром помещения. Бумаги в выдвижных ящиках; рукописи; "Массенбах борется за Европу"[1]; "Дом в Холечковом переулке"[2]; здесь, значит, бедствовал какой-то нищий писака, самоуничижения ради взявший себе псевдоним Шмидт. Кости, впрочем, у него длинные: ростом был не менее шести футов. Что ж, такова жизнь. Я отсалютовал костям Неизвестного Поэта бутылкой (череп его как-нибудь при случае заберу, буду хранить у себя); потом выпрыгнул через глубокий оконный проем и зашагал вверх по склону холма, мимо одичавших садиков.

Спортплощадка: я прислонился к посеревшим столбикам футбольных ворот, в глубокой задумчивости скрестив обе пары конечностей: здесь когда-то толпились сотни болельщиков, просто стояли за ограждением и в восторге подбрасывали в воздух свои головные уборы, когда "дедуля" особенно ловко вел мяч. Я пробежал половину почетного круга — до других ворот (и чуть дальше перелез через ограду; потому что там приметил крошечное цементное зданьице, взорванное — возможно, еще англичанами, этими психами, — в позапрошлую мировую войну).

Развалины: обломки блочной конструкции, каждый величиной с обеденный стол. Сперва от взрыва лопнули стены — накренились, подались наружу; потом, естественно, обвалилась крыша; позже все это превратилось в холм, заросший травой и щавелем, крапивой и пастушьей сумкой: неужели и такую невзрачную мишень нужно было расстреливать с воздуха! Я подошел вплотную и пошуровал пустой бутылкой в куче мусора.

Темно-синим с белым: был эмалированный уголок, вдруг показавшийся на дне пробуравленной мною ямки; я присвистнул и не успокаивался до тех пор, пока не откопал всю табличку: 12 × 20, B.1107. И тогда я шире открыл глаза и рассмеялся, злорадно и одобрительно: *très bien*[3]! Теперь, значит, у моего дома есть номер: В точка (да: со-

1. Кристоф Карл Август Людвиг фон Массенбах (1758–1827) — прусский математик, военный инженер и топограф. Написал книгу "Исторические заметки к истории постепенного упадка прусского государства после 1794 года", в которой доказывал необходимость союза Пруссии с Францией и создания системы политического равновесия в Европе. В 1949 г. Арно Шмидт посвятил ему эссе "Массенбах. Исторический обзор".
2. Рассказ Арно Шмидта, написанный в 1941 г., опубликованный посмертно.
3. Прекрасно (*франц.*).

лидная жирная точка!) одиннадцать—ноль—семь. Я носовым платком смахнул пыль, расчистив сине-белую поверхность: такой табличкой любой дог вправе мордиться (или: "любой дом — гордиться"; а, все едино...). И с триумфом вернулся в свое временное пристанище, поел того, что мне показалось самым вкусным (а больше всего хотел бы обыкновенных яиц!), и пробездельничал весь остаток (невыносимо жаркого) дня: завтра буду настилать пол, из двухдюймовых досок! (Вздор: сперва, ясное дело, нужно будет заняться крышей. Кровельный толь я видел где-то неподалеку, в Хогрефе; его там столько, что хватит на два слоя.)

Три помещения. Я разделил дом на три помещения, каждое — во всю его ширину (кроме первого); наружные стены обшил двойным слоем досок; внутренние — тоже: ни во времени, ни в стройматериалах недостатка у меня не было.

Опять о лунном затмении (такой уж я педант, люблю точные даты!). По моим подсчетам полное лунное затмение произойдет 5.9, в 5 часов 23 минуты по среднеевропейскому времени; солнце здесь у меня восходит без чего-то 6; значит, за час до того луна будет стоять на западе, над самой кромкой леса; альфа обманывает только на 0,5 градуса: такая осадка — максимум: итак, спектакль начнется около 3 часов утра. Но до него еще месяц.

Окна: в жилой комнате я поставил два больших, трехчастных; в кухне — одно маленькое, выходящее на восток; совсем узенькое (из общественного туалета) — в сенях, в северной стене (почти под потолком). Прежде чем я научился правильно обращаться с рубанком, дом уже был готов: так всегда... (но сараю это определенно пошло на пользу!).

Возня с хозяйственным комплексом (я все еще ночевал на Уферштрассе): пристроенная крыша — это тебе не абы что (я, между прочим, удлинил ее на два метра; так как собирался хранить там много всякой всячины. Включая велосипед и разные инструменты!).

Я написал на табличке: "Проход закрыт" и укрепил ее на пешеходной тропе, выныривающей слева, из леса (по которому *они* обязательно должны пройти! sic!), и ведущей в колонию Хюнцинген. Старую лесную тропу вдоль железной дороги, которая приближается ко мне петляя, намеренно оставил свободной: психологический расчет, mon vieux[1]! — Все продовольствие, естественно, убрал на чердак — под вместительную двускатную крышу.

С метлой в руках (как коверный клоун): закончил уборку, а печки (одна, облицованная коричневым кафелем, в жилой комнате; еще — кухонная плита; и, наконец, колонка с трубой в домовой прачечной) к тому времени уже стояли на своих местах. Кроме того: юные сосенки вокруг; и я пьянствовал, пока мне не стали мерещиться всякие седоволосые существа.

Совершенно неуместные здесь: например, дерзкая смуглянка-Луна в платье с облачными рюшами. Два дня, допустим, уйдут на обзаведение мебелью; лучше рассчитывать на три. До 2.9. Перед затмением у меня еще будет время, чтобы заняться мелочами (раздобыть книги; ло-

1. Старина (*франц.*).

паты, кирки, грабли; козлы для распиливания бревен не нужны — мои еще крепкие). 6-го я планировал отправиться в Гамбург, чтобы поискать подходящие "осветительные приборы" для своего обустройства; а заодно оприходовать дефицитные бульварные романы и пр. Числа 10-го — вернуться назад. И вплотную заняться проблемой отопления; то есть: 4 недели запасать уголь; пилить бревна и колоть дрова; доставлять запасы продовольствия с Дюзхорнского склада (и не забыть о таблетках, обеззараживающих воду!). Когда закончу, определенно будет уже октябрь или даже ноябрь; и начнется вожделенный период блаженного одиночества, который растянется на много-много лет; завтра же раздобуду где-нибудь водосточные желоба и три металлические бочки для сбора серой дождевой воды. А также кастрюли, лотки, сковороды: уж я докажу, что умею жарить эту вашу свиную тушенку! Может, к следующей весне даже подготовлю участок под картофель (хотя на мой взгляд сельскохозяйственные работы — чуть ли не наихудший из всех видов человеческой деятельности; кроме воинской службы, понятное дело; воинской службы и еще текстильной промышленности).

Покрытая патиной, истертая золотая монета (накануне я поставил будильник на час ночи, вовремя проснулся и теперь вглядывался в этот желтоватый кругляк); я уже усадил себя на дорожке в легкое кресло; небо по обеим сторонам от меня, над большими лесами, казалось бледным и ясным. Поеду в Гамбург — поищу там хорошую подзорную трубу; а пока мне хватит большого бинокля и карманных часов. Все вокруг было безмятежно-прохладным; и влажным; не стрекотал ни один сверчок; только иногда сквозь растительную гущу проплывало легкое дуновение — то справа от меня — то слева. Раньше примерно в это время здесь проходил "состав": сперва очень далеко, на севере, внезапно возникал приглушенный рокот, он приближался, превращался в глубокий органный звук, далекий и близкий, толчкообразно набухал громыханием, будто гнался за кем-то, огоньки — нанизанные на нитку жемчужины — проносились мимо, исчезали на юге: под приглушенный рокот. Сейчас все безмолвствовало: и было красивее, чем тогда! Раньше над асфальтовыми лентами бесшумно скользили автомобильные фары: теперь здесь безраздельно господствовала Луна:

Медный гонг! Вон он висит, бледный медный гонг, еще высоко в эфире. (С датами, значит, все в порядке!) Странные выпуклые огоньки на поверхности диска. Мэдлер посвятил им много работ; то были подлинные знатоки селеноведения: Лорман, Мэдлер, Й. Шмидт[1] — и, может быть, еще Фаут[2]... Сова заухала в глубине леса: ей тоже показалось, что призрачный диск изменился? (Надеюсь, мосты через Эльбу не разрушены; в противном случае придется переправлять-

1. Иоганн Генрих фон Мэдлер (1794—1874) — немецкий астроном, создатель лунного атласа "Mappa selenographica" (1834—1836), автор двухтомного сочинения "Луна в ее космических и индивидуальных взаимосвязях, или Общая селенография" (1837) и других работ. Вильгельм Готхельф Лорман (1796—1840) — дрезденский астроном, исследователь Луны. Результаты своих исследований опубликовал в книге "Топография зримой лунной поверхности" (1824). Этот труд завершил астроном Й. Шмидт (1825—1884), издавший в 1878 г. "Карту Луны на 25 листах".
2. Филипп Фаут (1867—1941) — немецкий астроном-самоучка, с 1895 г. публиковал карты лунной поверхности.

ся на лодке.) Внизу, в поселке, я нашел альманах: "Описание ганзейских департаментов, 1812"; эти земли когда-то принадлежали старофранцузской империи; сам я тоже — когда-то — был чьим-то подданным... Остался ли в живых хоть кто-нибудь помимо меня? Едва ли; разве что на южных окраинах континента, предположительно менее всего пострадавших во время войны; надо бы постараться заставить функционировать радио... Ветер прилетел с далекого запада, как могучая беззаботная птица; и травы качнули узкими зелеными бедрами, сосны негромко заворковали, можжевеловые кусты в чем-то торжественно поклялись — Луна же осталась какой была, круглолицей и коричнево-смуглой... Так я провел ту ночь. (И: dic mihi...[1]!)

На перекрестке за Шнефердингеном, Имперская дорога номер три: нет, так дело не пойдет! На обратном пути, с перегруженным прицепом, я тут никак не проеду. (До Виссельхёведе дорога была еще ничего; но дальше и досюда она вся заросла травой, местами достававшей до колесной оси и выше; после Нойенкирхена я вообще распознавал ее только по тому признаку, что вылупившиеся на ней елочки еще не вышли из возраста сосунков: вот что осталось от булыжного покрытия, уже сейчас! А через 20 лет никто — во всем мире — уже не сыщет никаких дорог; от автобанов, может, что и останется, но лет через 30 и они сгинут.) Эта большая Имперская дорога в срединной части еще выглядит вполне прилично; хотя и ее уже занесло песком: итак, возвращаться придется окольным путем, через Солтау; Солтау, Фаллингбостель... Ну да: потом через Вальсроде и — сделать крюк, чтобы подступиться к дому сзади! Я поднялся на ноги, не желавшие гнуться (потому что в последнее время отвыкли от велопробегов), и еще раз осмотрел автобус, на подножке которого отдыхал: выглядит восхитительно: машина с травяным плюмажем на радиаторе! Прекрасно, но я ведь еще не проехал и трети пути; что ж: "По коням!"

Сразу за Шпрёттце (где в Имперскую впадает большое Бременское шоссе): езда по пустоши, по луговым травам превратилась в сказочное удовольствие; только приблизившись к длинному мосту, я понял, что здесь — истинная ловушка для всех и каждого (впрочем, что это значит — "для всех", "для каждого"? Для меня! А понятия "все" и "каждый" вообще пора упразднить!): потому что сперва дощатый настил подозрительно трещал, а вскоре оказалось, что каждая четвертая доска и вовсе отсутствует. Но "проблема" состояла не в этом, а вот в чем: на подступах к Гамбургу и вокруг него (и в нем) в самом начале войны "разыгралась" великая битва (бесчисленные воздушные атаки с той и с другой стороны — как тогда говорили, "Для непрошеных гостей нам ничего не жалко"); только ребенок мог бы надеяться на то, что хотя бы один из мостов через Эльбу остался невредимым! Поэтому я решил, что вернее всего будет попытать счастья где-нибудь в низовьях Эльбы, в маленьком сельском местечке; там, кстати, больше шансов найти и пригодную к употреблению лодку. — Но до Нойенфельде еще 25

1. Начальные слова третьей из "Эклог" Вергилия: "Ты мне, Дамет, скажи: скотина чья?" (перев. С. Шервинского).

километров; и времени в обрез — уже три часа: ничего, успею, светло будет до 19.30, если считать "светом" и предзакатные сумерки; и солнце жгло на мне, "Единственном"[1], легкие льняные шорты (раньше я никогда не носил укороченные штаны: насекомые бы меня сожрали; приятели мои — те разгуливали в чем хотели, не опасаясь укусов: все комары и мошки тучами слетались ко мне! Зато теперь, когда бомбы многоцелевого назначения уничтожили или заметно сократили почти все популяции этих крылатых извергов, а с оставшимися успешно справлялись птицы, я от души наслаждался тем, что могу не прикрывать свою кожу). Да и пялиться на меня было уже некому: так что шорты я вообще снял и позволил себе часок позагорать: прямо на перекрестке.

А, пропадать – так с музыкой, понежусь еще час! (Всего, значит, два!) После, заметно помрачневший, я опять присоединил прицеп к задней оси и, нажав на педали, поехал дальше (с солнечными ожогами на всех пикантных местах!).

Вульмсторф: как хорошо, что дорожные щиты пока еще соответствовали своему целевому назначению; иначе мне пришлось бы прикладывать массу усилий, чтобы идентифицировать каждый населенный пункт (скажем, вскрывать почтовый ящик и читать адреса отправителей; или осматривать — на почте либо в конторе бургомистра — должностные печати: что, пожалуй, проще!). Теперь, сидя на ступеньках парикмахерской, я принял внутрь давно обещанный себе глоток виски: холодного и очень крепкого! И еще один, маленький: тут важно не ошибиться в дозировке, чтобы хватило до Бланкенезе. Только дураки или этиолированные[2] эстеты воздерживаются от спиртного: им, бедолагам, никогда не доводилось прочувствовать, какие чудеса творит шнапс, когда ты физически полностью измотан. Я, впрочем, на дух не переношу людей, которые не имеют слабостей. Вообще никаких!

Добавив себе куражу из фляги с виски, я прошелся вдоль дамбы: вода у маленькой пристани стояла высоко, а слева обнаружились 5 ботиков. (В обезлюдевшем речном ресторанчике г-н Сквозняк радушно распахнул двери, и в то же мгновение местный клуб чаек — в полном составе — взмыл в воздух.)

Что же у нас с ветром? Почти в аккурат — западный, силою в 2—3 балла. Исходя из этого я выбрал самую маленькую парусную лодку (в ней даже лежали весла; очень с ее стороны любезно).

Шкот в правой руке, штурвал в левой, и самое время начинать переправу — я ведь намеревался еще найти себе удобное место для ночлега. Как там по правилам: парус должен разрезать пополам воображаемый угол между направлением ветра и направлением, в котором движется судно: так я и скользил по длинной голубой реке, подтрунивая над грациозными маленькими волнами, — удовольствия ради держал курс на Флотбек[3]; и часто оглядывался, чтобы лучше

1. "Единственный и его достояние" (1845) — главный труд немецкого философа Макса Штирнера (наст. имя Иоганн Каспар Шмидт, 1806—1856), провозвестника индивидуализма и анархизма.
2. Этиолированными (от *франц. étioler* — делать блеклым) называют растения, выросшие при недостатке света или в темноте.
3. Курортное место в окрестностях Гамбурга.

запомнить нойенфельдерский бакен как ориентир для обратного пути.

Тщательно привязать лодку (но оставить для каната люфт на случай, если позже вода спадет). Потом я поднялся к ближайшей "породистой" вилле: воздух в комнатах слишком спертый; и я предпочел расстелить свое одеяло на веранде.

Юнгфернштиг[1]: я сел в трамвай, застывший перед универмагом, и попытался меланхолично смотреть в окно; однако надолго меня не хватило, и я опять покинул вагон: взялся рукой за левый поручень; спрыгнул в отвратительном настроении — не по ходу движения, а против, — обогнул этот Желтый Жестяной Ковчег и оказался у балюстрады.

Бормоча себе под нос, вычеркивал из списка: лампочки для динамо-фонарика, 2,5/01, я, к счастью, уже нашел (что совсем не так просто: вот 0,2 и т. п. — тех полно повсюду!); четыре красивых позолоченных бра, каждое на две свечи (и — латунные винты к ним); вычеркнул также № 6, 7, 8; осталось: главным образом книги и одна-две картины.

Или, может, лучше поискать карту с графическими изображениями?

Альстерский пароход показался из-под Ломбардного моста — эй, на судне! — свернул в сторону, попал в боковую качку (потому что и здесь, в городе, свежий ветер с подвываниями носился среди развалин) и какое-то время топтался, то приподнимаясь, то опускаясь, на одном месте (похоже, то было последнее еще способное двигаться судно; у всех других давно сгнили швартовочные канаты, изуродованные корпуса постепенно погружались на дно: слева от меня еще виднелась на метр выступавшая из воды, покосившаяся пароходная кровля). Однако и этот, альстерский, уже приобрел заметные вмятины в бело-серой обшивке своей носовой части, вновь и вновь ударялся, что было очень рискованно, о каменную облицовку берега, от чего у меня каждый раз болезненно сжималось сердце.

Перед витринами: нужна мне еще одна островерхая шляпа? Или лакированные ботинки (тоже остроносые)? Волосы растрепались на ветру (что совсем не в моем стиле!), и я на минутку зашел под портал Петерскирхе, чтобы привести себя в порядок (беглый взгляд вовнутрь: не-ет, славный Назарянин: мне до тебя нет дела! Пусть твоей душой занимается Бог Отец; ибо, как считают твои же приверженцы, это — именно его задача).

И опять я взламывал двери, распахивал окна погребов, пробивался сквозь стены, крушил топором шкафы, пересыпанные блестками пыли пирамиды товаров (груды костей, сваленные как попало корзины человеческих ребер меня уже не смущали: не есть ли небо просто выдумка Дьявола, помогающая ему терзать нас, навеки проклятых?).

К клетчатой – как в тетрадках по арифметике – бумаге я неравнодушен с самого детства; так что и отсюда прихватил одну толстую тетрадь в крепком переплете (хотя понимал, что потакаю собственной глупости: такие я видел и в Солтау!).

1. Одна из двух главных улиц в Гамбурге, представляющая собой бульвар.

Новые Метаморфозы (подражание Овидию, попались мне в разрушенном доме): бог ветра, Флёзе, превращает одну беженку из Берлина, спасающуюся от русских, в вечно стенающую дымовую трубу. А преследуемого полипами спекулянта, торговца контрабандным оружием, — в пароход трамповой[1] судоходной компании Рикмера. В подземных бомбоубежищах Речного вокзала все еще сидели, на чемоданах и шляпных коробках, люди в темных и клетчатых одеждах, ожесточившиеся или погруженные в молитву; младенец-мумия личиком прижимался к иссохшей, серо-шелковистой груди своей молодой мамы : а я гулко шагал, уперев карабин в патронташ и держа палец на спусковом крючке, между рядами обтянутых кожей черепов : один умник, видите ли, сказал обо всем этом (почесывая свой волосатый живот): "Вот, хорошо весьма"[2]! Перед проходом к причалу, где громоздилась целая гора трупов, я повернулся и пошел по "главному проспекту" назад: вот для чего, значит, человеку был дан разум...

Меня вдруг захлестнула такая безумная ненависть, что я вскинул ружье, наставил его в небо; а там зияла его — Левиафанова — пасть, отделенная от меня тысячами спиральных галактик: как бы я хотел расстрелять в упор эту мерзкую гадину![3]

Рядом – адвокатская контора? Последний недостающий штрих! Чтобы эти продажные фигляры за деньги в любой момент демонстрировали свое красноречие; получив гонорар, тут же начинали кривляться, передразнивая подлинное правосудие; просто в силу своих профессиональных интересов инициировали всякого рода грязные сделки: ведь даже убийцы, Ильза Кох[4], военные преступники, ворюги, старухи-процентщицы всегда находят себе "право"-защитников! И вот еще о чем нелишне было бы вспомнить, чтобы осознать не(!)-необходимость этого "сословия": в эпоху античности сикофант считался презреннейшим из всех существ: так что теперешнее отсутствие этой шайки, можно сказать, примиряет меня с Катастрофическим Финалом. Адвокаты в моем представлении даже хуже профессиональных боксеров — тех, что перед толпой зевак за деньги расквашивали друг другу морды: и хорошо, что со всем этим теперь покончено навсегда! (Когда меня не станет, с лица земли исчезнет последнее позорное пятно: и дурно пахнущий эксперимент "Человек" наконец прекратится!) Такого рода мысли опять настроили меня на оптимистический лад. И даже то, что у театра, попавшегося мне по пути, отсутствовала вся фасадная стена, что прямо с улицы можно было шагнуть в партер, я тоже воспринял как благоприятный знак.

Перед Каменноликим: я выпучил тенорские глаза, плавным (как мне казалось!) движением раскинул руки: "Ты словно чудо мне яви-и-и... / :

1. Трамповое судоходство (от *англ.* tramp – бродяга) — нерегулярное судоходство, осуществляемое без определенного расписания движения.
2. Аллюзия на Книгу Бытия. 1:31. "И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма".
3. Левиафан, по Шмидту, — бог-демиург, творец несправедливого мирового устройства. Свое отношение к нему Шмидт выразил в фиктивном письме к покойному Вернеру Муравски, погибшему в 1943 г. под Смоленском, брату его жены Алисы: "...разорвать Бога в клочья; и даже если он раззявил свою пасть на расстоянии тысячи спиральных галактик от меня, я бы все равно постарался добраться до него!"
4. Ильза Кох (1906—1967) — жена Карла Коха, коменданта концлагеря Бухенвальд, садистски издевалась над заключенными.

Взор твой: меня очаровал...” (и дальше очень тихо, но выразительно): “Ты в сердце властно воцари-и-и...! Тогда навек твоим я стаааааааалллллллл!!!”[1] (и удовлетворенно кивнул: но где же овации??). Обиженный, я прервал свое сольное выступление и удалился уязвленным шагом (на ходу отчаянно горланя песню о Ли-Ла-Лодочке[2]; и потом еще “Поздним вечерком под одним зонтом...”[3] — но последнюю уже только насвистывал).

В университетской библиотеке (“Свободный вход только для студентов: просьба: иметь при себе соответствующие документы!”). Но я уже поднялся в читальный зал и стяжательски оприходовал фонд открытого доступа: будь моя воля, я бы набрал полный грузовик! (Слава богу, в Целле тоже имелись важнейшие справочные издания.)

В каталоге. Я деловито разыскивал, сверяясь со списком, свои desiderata[4]: барочные романы; какое-нибудь обстоятельное исследование по истории костюма; Эрнст Теодор Амадей Гофман в издании Эллингера... (300 книг уже стояли у меня дома; я собирался набрать еще около 200.)

Надо же: старина Франц Хорн, паладин Шекспира[5]: писал чистейшую ерунду! И я кивнул ему как старому знакомцу, кисло-сладко. — Ранке[6]; “историк” Ранке! (Как он обращался с правдой, нетрудно понять уже из того, что он сказал в 1850 году по поводу воспоминаний Марвитцена о Фридрихе Вильгельме III: сейчас, мол, еще не пришло время — не пришло время! sic! — отнимать у народа веру в покойного короля, иными словами, не пришло время для правды! — И потому он предпочитал писать в стол!) Так я и перетаскивал книги — на скрещенных руках — к черному жестяному ящику внизу. Но хороших карт и здесь не было; только старая рухлядь; хоть бы кто из издателей набрался, наконец, мужества, чтобы напечатать географический атлас с одними физическими картами! Ведь политические границы менялись каждые десять лет! Это была бы действительно достойная работа; и мне теперь не пришлось бы разыскивать то, что нужно, по отдельности. Зато, по крайней мере, Купера оказалось так много, что я смог добрать все, чего недоставало в моем домашнем собрании; но, конечно, никакой его биографии опять не нашел.

В скобяной лавке: маленький точильный камень, пожалуйста, — такой, чтобы привинчивался к столешнице; если можно, со сменными дисками: поскольку никто не пришел меня обслужить, я сам выбрал оселок и в придачу — два стальных лезвия (потому что собирался сделать себе два копья и лук со стрелами; от ружейной стрельбы слишком много шума, что не всегда удобно). И самодовольно выложил на прилавок купюру в сто марок: Роберт всегда ведет себя как джентльмен! (“Ослепи его своей купюрой”!)

1. Ария Хосе из оперы “Кармен” (перев. С. Рожновского).
2. Немецкий танцевальный шлягер времен нацизма. Музыка и слова Ундины фон Медвей.
3. Шлягер 1942 г. Музыка и слова Александра Штайнбрехера.
4. Книги, которые желательно приобрести (*лат.*; библиотечный термин).
5. Франц Хорн (1781—1837) — немецкий романист и литературовед, автор пятитомного сочинения “Пояснения к пьесам Шекспира”.
6. Леопольд фон Ранке (1795—1886) — немецкий историк, профессор Берлинского университета, официальный историограф Прусского королевства (с 1841 г.).

Обнаженный бронзовый всадник (в Кунстхалле[1]) со своей дурацкой шляпенцией (вряд ли, разгуливая вот так, в чем мать родила, он захотел бы дополнить свой костюм этим вычурным защитным шлемом!); я, неодобрительно покачав головой, прошел мимо вышеупомянутой фигуры и опять оказался в вестибюле. Застекленный прилавок: здесь за 20 пфеннигов когда-то можно было купить любую фоторепродукцию (но я уже позаимствовал в музее три оригинала, и даже с рамами; хотя резные золоченые рамы наверняка будут плохо смотреться в деревянном доме). Я еще раз нерешительно взглянул на афишу: выставка местного Объединения художников-графиков[2]; и еще раз, обожебожебоже; но потом вздохнул и все-таки стал осторожно спускаться по ступенькам вниз.

Столы с проспектами : (зеленовато-линолеумное покрытие на полу); с редко разбросанными проспектами... Я живо вообразил себе за одним из столов миловидную грациозно-серьезную девушку; сотрудницу музея, с маленькими славными грудками и в синей шевиотовой юбке; моим порочным улыбкам она противопоставляла секретутскую деловитость, вокруг нас солнце ромбовидно пятнало пол — и, глотнув еще раз 50-процентного шнапса (после чего ее взгляд холодно и неодобрительно списал меня со всех счетов), я даже как бы услышал невнятный гул голосов и шарканье ног послеполуденных посетителей. Приободрившись, сдвинул набекрень свой берет и прошелся вдоль висевших на стене рам.

"Слухи". А. Пауль Вебер[3]. Я к тому времени уже порядочно набрался, но все-таки тотчас отреагировал: "Лучшая аллегория со времен Леонардо". (Хорош также и "Большой паралич": этому чудищу не хватало только гитлеровской фуражки!) А. Пауль Вебер, значит. И я подмигнул воображаемому смотрителю зала, но уже без всякой надежды: до́рого бы я дал, чтобы они — смотрители — сейчас были здесь; je pouvais prendre un chien[4], как сказал бы Тухольский[5]. Стулья из гнутых стальных трубок интересовали меня гораздо меньше, я лишь старался не натыкаться на этих наглецов.

"Корова у моря": Не-е! Я, скривив губы, уставился на несказанно гадкую зелень: нет! Рамы были развешаны ровно и красиво: одну я перевернул, чтобы посмотреть, как крепились рисунки: ага! : зажимы на оборотной стороне; то есть любой лист можно легко вынуть. Но только не твой, дружище: в твоем исполнении крупный рогатый скот мне на фиг не нужен.

Магнус Целлер[6] : приятно : Ха! Еще один хороший художник: лунные пейзажи; и "Итальянский городок"; он — особенно. Я долго покачивался на пятках, топтался на месте, прежде чем вынул этот лист и присовокупил к двум другим (потом решился-таки и взял еще оба

1. Музей изобразительных искусств в Гамбурге.
2. Это объединение существует в Гамбурге с 1925 г.
3. Андреас Пауль Вебер (1893–1980) — немецкий художник-карикатурист. Одно из самых известных его произведений — "Слухи" (1943), позже использованное как титульная иллюстрация к памфлету Эрнста Никиша "Гитлер — немецкий злой рок".
4. Я бы, пожалуй, взял себе одного из этих кобелей (*франц.*).
5. Курт Тухольский (1890–1935) — немецкий поэт и автор сатирической прозы, в 1929 г. эмигрировал во Францию, покончил жизнь самоубийством.
6. Магнус Целлер (1888–1972) — немецкий художник.

"Полнолуния"). Запомним – Магнус (хотя фамилия Целлер была для меня одиозной; так звали одного подлеца-обер-лейтенанта, времен Второй мировой: вот кого бы я сейчас хотел встретить! Эту сволочную спирохету! Я бы разрядил свой карабин в его брюхо, пусть у него "кишки повылезут" – между прочим, цитата из Шиллера[1], если вы не можете догадаться сами, по стилю!).

"Прыжок", "Конец", "Радостная поездка": опять А. Пауль Вебер – и я не сдержался, стукнул кулаком по стене: voilà un homme[2]! (В рюкзак!) Дальше – "Стая обезьян" Марка, с красивым колоритом; оригинально будет смотреться у лестницы: совсем неплохо. Потом, на цоколе, – что-то из желтого полированного дерева, отдаленно напоминающее женские бедра (...а также "Бембергзайде"[3]). "ДЗЕН (сокровенный)" – значилось на табличке внизу, и я остановился перед фигурой, дотронулся до ее левой ягодицы: "сокровенный": об этом я и сам мог бы догадаться, глядя на аппетитные выпуклости. (Они, казалось, обещали не просто что-то хорошее, но "самое лучшее"; и даже про пресловутую щель скульптор не забыл!) Я покачал головой. Покачал головой. Потом взял с лестничной площадки обоих "мальчиков" и медленно двинулся вперед.

Солнце прорвалось, где-то в срединной части, сквозь серо-голубую облачную гряду – как выпущенная из лука стрела, – и я застыл посреди еще одного, наполненного живописными полотнами зала:

Сперва я ничего не видел: d'abord je ne vis rien; mes yeaux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement[4]: я и представить себе не мог, что такое еще бывает в наше время! Опустился на колени, спиной к Магнусу Целлеру (черт бы побрал этого негодяя: офицера, а не художника, само собой!).

"Дети с бумажным драконом": один бежал, высоко подняв руку. Другой, бедняга, босоного семенил рядом, зажав под зеленым локтем катушку с бечевой, а над травой отвесно поднималась голубая с белыми прожилками небесная стена! Казалось, это я сам разбивал головой недвижный золотистый воздух; сам на бегу отфыркивался через нос; и тянул вверх потерявшие чувствительность руки: вот! : Вот он летит!

Демон: милостивый, с гибким золотым телом; божество и его лукавая свита, им сотворенная, но оторвавшаяся от него, преследующая Блаженно-Неистовствующего: я и сам хотел бы быть таким Блаженно-Неистовствующим... Я подошел вплотную, провел пальцем по желтоватой раме; и рассмеялся, когда холст с хрустом лопнул под моим ножом: уж без тебя-то я точно не уйду!

Спасибо и Объединению художников-графиков, Гамбург-Лангенхорн, 2, Тиммерло, 25: за то, что я познакомился с величайшим из наших современных мастеров: А. Паулем Вебером! (В кабинете гравюр ви-

1. "Разбойники". Акт второй, сцена третья (перев. Н. Ман).
2. Вот это человек (*франц.*).
3. Немецкая фирма, производящая искусственный шелк, прежде всего дамские чулки; существует с 1901 г.
4. "Глаза, привыкшие к темноте, невольно закрылись" – цитата из XXX главы "Путешествия к центру земли" Жюля Верна (перев. Н. Егорова).

сели и другие его работы; из них я взял "Воздушные качели" и "Новейшее": последняя мне особенно понравилась.)

"Carceri" Пиранези[1] и "Balli di Sfessania" Калло[2]. Потом — еще раз наверх: не-ет. Портрет девушки: голубые — всмятку — глаза, близорукие, как пиво: дурацкое, жиденькое, бледное. Тем не менее: под ее пуловером вырисовывались приятные округлости, и я долго на них глядел: быть может, "пиво" на поверку все же оказалось бы крепким. Какой-то монах в почтительной позе перед Богом... (Потом еще бегло осмотрел коллекцию шлемов!! Пора было возвращаться во Флотбек!) (К вечеру ожидалась буря.)

Поселок Велле горел : (Жар был таким, что я побоялся ехать по широкой Имперской дороге, над которой нависали шипящие пламенные своды.) Вчера, наверное, где-то поблизости ударила молния; огонь сперва сколько-то часов незаметно тлел, и лишь потом внезапно вспыхнул пожар. (Я изо всех сил старался ехать быстрее: непременно надо будет завести в своем хозяйстве ручной насос и бочки для воды!)

2 полных дня ушло у меня, чтобы добраться до дому, и прибыл я совершенно измочаленным от непосильной нагрузки; потом задвинул изнутри железный (избыточно мощный) засов и занялся всякими кунстштюками, связанными с приготовлением спального места и пищи. На второй день разыскал на ближайших крестьянских дворах 20 больших корзин, чтобы перетаскивать уголь: 15 штук, пять рядов по три, помещались на платформе.

За 4 дня перевез к себе 80 центнеров угля и 40 брикетов. Начертыхался вволю.

Внизу, на складе древесины: мускулы стали жесткими и выпуклыми: но я продолжал орудовать топором; широкие щепки, крепкие поленья, сучки, на которые я набрасывался как бешеный... Каждый раз к вечеру набиралось целое море деревянных призм (которые на другой день еще предстояло доставить домой и сложить в поленницу под козырьком крыши). Я то и дело облизывал верхнюю губу, уголок рта, нижнюю губу, уголок рта, уголок рта...

Проблема silent killing[3] (потому что 300 патронов навечно явно не хватит). Имелась, прежде всего, дубинка; любовно изготовленная из дуба и как раз по моей руке (не "удвоенной тяжести"). Из 2-метровой бамбуковой палки получилось хорошее смертоносное копье, легкое и крепкое. (От лука и стрел я все же отказался; это не для моего зрения.) Зато напоследок еще вырезал себе шиллилу[4], которой позавидовал бы сам Майк О'Хирн[5]. Долго упражнялся с копьем: эта наука давалась мне с трудом (даже с 15 метров я не всегда попадал в фанерную мишень. Хм). Часто моросил дождь.

1. Цикл гравюр Джованни Б. Пиранези (1720—1778) "Воображаемые темницы" ("Carceri d'invenzione"), 1745—1761.
2. "Танцы Сфессании" — цикл из 24 гравюр французского художника Жака Калло (1592—1635), созданный в 1621 г.
3. Бесшумное убийство (*англ.*) — так называют боевые искусства, технику ближнего боя без применения огнестрельного оружия, которой обучают современных солдат элитных подразделений.
4. Шиллила — узловатая ирландская дубинка из древесины дуба.
5. Майк О'Хирн — комический персонаж романа Ф. Купера "Вайандотте, или Хижина на холме" (1843): слуга-ирландец, недавно приехавший в Америку.

Boletus subtomentosus[1] *по Линнею:* я заметил, что по мере того, как осень вступала в свои права, шляпки этих грибов постепенно темнели и на них появлялось все больше красноватых пятнышек; зато Селадонов Гименеум: выглядел совершенно роскошно. (Грибы я когда-то изучал очень основательно и до сих пор помню их латинские имена, длинно-нескладные, как рука девятилетнего пацаненка.) Между прочим, лесные шампиньоны на вкус ничуть не хуже, чем нежнейшее куриное филе. По вечерам подолгу читал Диккенса, "Часы мистера Хамфри"[2]: это и "Холодный дом" — его несомненные шедевры.

Кошку надо бы приручить (чтобы она по-собачьи предупреждала о всяких неожиданностях?). Я как будто несколько раз замечал возле своей мусорной ямы, у железнодорожной насыпи, одичавших собак и кошечек (если не ошибаюсь, это уже пятое или шестое дикое поколение; и все-таки их, наверное, не так уж трудно ре-доместицировать).

Нерешительно повертел в руках лопату: да, конечно: шесть канистр картофельных хлопьев в запасе у меня есть. И все-таки надо бы разбить небольшое поле, прежде чем картофель на старых полях окончательно выродится. Я тихо чертыхнулся и решил, что буду копать по ту сторону дороги. Полчаса прилежного вкалывания под аккомпанемент своего же безостановочного брюзжания окончательно меня доконали! Я воткнул лопату в землю (чтобы потом отыскать это место) и пошел передохнуть, почитать книжку. (Позже все-таки вскопал около 500 квадратных метров; удобрение собственного производства, которое я, содрогаясь от отвращения, постарался равномерно распределить по полю, установило между нами, так сказать, персональную связь, а потом на соседних полях я накопал каких-то картофельных ошметков. Скорее всего, ничего у меня не выйдет!)

Детекторный радиоприемник (знаю: это было чистым безумием!) — но я все равно попытался. Позаимствовал в магазине Аппенродта хорошую антенну из медного провода; тщательно ее заземлил. Все без толку. Ночью напрасно просидел перед ней три часа, в медных наушниках; после чего как будто бы услышал, на волне 42,5, слабое попискивание, источник которого находился где-то "в Турции далекой"[3]; возможно, мне это только почудилось; потому что вскоре оно затихло и больше не повторялось. Нельзя ли, используя велосипед как генератор, заставить работать ламповый радиоприемник? И тут я проклял свое половинчатое образование (точнее: моих учителей!), нисколько не просветившее меня на сей счет. Может, обыкновенный вольтажный столб... Может, где-нибудь на юге Австралии, в Перте, еще сохранилось несколько человеческих групп, и я бы с удовольствием послушал, о чем

1. Латинское название одной из разновидностей белого гриба.
2. "Часы мистера Хамфри" — еженедельник, основанный Диккенсом в 1840 г., в котором частями печатались диккенсовские романы (например, "Лавка древностей"), объединенные воспоминаниями рассказчика, мистера Хамфри.
3. Цитата из "Фауста" Гёте: "По праздникам нет лучше развлеченья: / Чем толки за стаканчиком вина, / Как в Турции далекой, где война, / Сражаются друг с другом ополченья" (перев. Б. Пастернака).

они болтают. Хотел бы я знать, зачем вообще продолжаю заниматься этой поденщиной; желание бессмысленно ковыряться в земле у меня окончательно пропало: каким чистоплотным и уверенным в себе мог бы я быть, если бы жил как рабочий ("О, если бы я был столяром..."). А сейчас мои руки воняют хуже сыра "Чеддер"; и задница чешется: интересно, чем она пахнет! (Это не шутки – меня всегда тошнило от органики.)

Дикие кабаны; и я передернул затвор: пальнуть?! (В порядке обороны картофельного поля!) Но тут внезапно последний солнечный свет поблек; его заслонил облачный морлок, косматый, с серо-белесой шерстью. Что ж, я поднялся с колен и, раздосадованный, побрел домой через кусты и буйные заросли трав – домой, к своим можжевеловым кругам. Последние теплые деньки; бабье лето (по вечерам – плюс 16).

Совершенно пустое: небо. Удалой Месяц – в треть лунного диска – взял в свою дружину только 20 самых осанистых звезд; привет вам, Сильные. А на просторе бушевал Ветер, так что волосы мои взвихривались и трепетали. Блестящей и светло-серой казалась стена дома со сколоченной из теней сторожевой башенкой – крыльцом; над крышей – черный блеск и дивная сребросинь, чернота и синь, от которых у меня взвихривалась и трепетала душа. Так я и стоял посреди темного лесного подворья, пока под тонкой рубашкой не похолодели плечи и я не понял, что мне остается одно из двух – либо немедленно вусмерть напиться, либо опять понестись куда-то вдаль на своем пружинистом железнобоком коне...

И я предпочел шагнуть в пятно лунного света, винтовка была при мне, зажатая под мышкой, пистолет оттягивал карман брюк. Я плавно свернул направо и заскользил между фалангами сосен, а сверху скользил вместе со мной Он: все быстрее. Что-то рокотало в кронах деревьев и шебуршилось в черном резном перелеске, листья болтали между собой в стремительно нараставшем темпе, пружинисто меня подгоняли... Я спрыгнул возле толстого пихтового ствола и закурил на сияющей поляне: кряхтели ветки, шевелились травы, несли свою службу лесные егеря, посверкивал Месяц. Схватил за округлые бедра походную флягу, отвинтил ей головку; цепочка звякнула, и только тогда, робко... Я приложился губами к алюминиевому резному горлу; моя гортань заработала как насос; и лунный блеск показался еще более стальным. Налетел Ветер, по прямой пересек поляну, но это была только первая попытка : Что, вздумал атаковать меня?! Я перескакивал через старые пни, выделывал немыслимые кульбиты под ветками, лес наконец расступился: сейчас покажется дорога...

На дороге еще оставались жесткие колеи, со времен человеческого господства. Я мчался по ней, наперегонки с Ветром, до самого своего двора; и, миновав его, рванул дальше; яблони непрерывно бубнили что-то себе под нос, но – каждая по отдельности, а не единым хором. Я покатил еще шибче, губы уже потеряли всякую чувствительность, подо мной, неподвижным, равномерно и механически двигались мои же шенкеля, оседлавшие плоскую велосипедную раму: ать-два, айн-цвай, работай ногами – не отдыхай, двигай вперед, на месте не стой, ржавчина – плата за каждый простой!

Колония Хюнцинген: раньше здесь горели фонари, освещавшие дорогу ночным путникам: кто-то читал заметки в календаре, какая-нибудь маленькая девчушка забавлялась, щупая себя под трусиками, люди считали деньги, сияли электрические лампочки, по радио передавали сообщения "из мира спорта". Плуги мирно дремали в темных амбарах; сторожевые псы агрессивно рвались со своих цепей; тополь, растущий у пруда, каждый день видел уток. Был. Видел.

Во второй дом справа (и в неутомимой руке жужжит фонарик). После четырех ударов дверь поддалась: кухня. Еще приглушенно вскрикивали алюминиевые кастрюли, а на тарелках и чашках сохранялись синенькие цветочки. Мои пальцы одеревенели, и сперва я не видел ничего, кроме непроглядной тьмы; но потом Месяц заглянул в четырехугольник окна. И я ощупью вскрабкался наверх по темной лестнице, забарабанил кулаками в двери, одна из них многообещающе поддалась: девичья спальня! За разбитым оконным стеклом тявкал фригидный гермафродит – Ветер; я спрятал голову между стеснительными думочками и услыхал, как жесткая бязевая ткань хрустнула, соприкоснувшись с моей бородой. Неодолимая – княжеская – усталость овладела мною: опасный симптом; и я проглотил то немногое, что еще оставалось во фляге, – покачиваясь на ногах и почти захлебываясь.

Вниз! над улицей Месяц разбрызгивал жидкий свет. Я на негнущихся ногах доковылял до велосипеда: последний на сегодня пробег, уже не такой скоростной... Поля, хотя и облитые лунным сиянием, оставили меня равнодушным: я отмахнулся от них ленивым движением руки: на что мне эти запятнанные белой эмалью одичавшие злаки: я бы предпочел (предпочел бы видеть перед собой!) одну-единственную полевую мышь. Или, скажем, зубного врача. Я, несмотря на слабость в ногах, намеренно подгонял себя, пока наконец не рухнул на крылечке своего дома: все, финиш!

Кто создавал культурные ценности?! Только греки, римляне, германцы; индийцы; если говорить о философии. Славяне же суть типичный пример бескультурной расы: тоже мне достижения: шахматы и немножко музыки!

Дождь целыми днями. Одряхлевший Ветер, как упрямый баран, вновь и вновь атаковал стены дома – наводил тоску (а бочки между тем наполнялись славной мутноватой жидкостью!). Я подошел к другому окошку и посмотрел на восток.

Снаружи (я все-таки надел ботинки покрепче и набросил на себя плащ-палатку; по дороге мне шагалось удобнее, и Никто не мог подсмотреть из-за сосновых кулис, что я опять ношу военную защитную форму). Дождь на швейной машинке прострачивал козырек фуражки, теребил меня пальцами за плечо и при этом еще умудрялся выстукивать морзянку – но, по крайней мере, когда я завернул за угол, неугомонный Ветер от меня отстал.

Железнодорожная насыпь: плосковерхий искусственный вал зернисто убегал вдаль, в водяную морось. Здесь когда-то работали камнедробильные машины, люди что-то измеряли и распиливали; укладывали в ряд никому не нужные железки, чтобы потом без устали мотаться по ним туда и обратно ради пополнения своей презренной мошны: все это давно поросло быльем. В подлеске капало, и

в лужах закипало, оставаясь холодным, шелковисто-серое варево, подпрыгивали и плавали пузыри: если бы только эти идиоты послушались Мальтуса и Анни Безант[1]; так нет же, в 1950-м они докатились до того, что население земного шара каждый день увеличивалось на 100 000 человек: на сто тысяч!! Я бросил удовлетворенный взгляд в просвет между черными стволами сосен: все же неплохо, что все кончилось именно так!

Второе ноября оборвало с деревьев последние листья, повсюду на земле валялись разнокалиберные медяшки, и так продолжалось целую — огнецветную — неделю; после чего я без всяких переходов перенесся в раннюю, но суровую зиму (если не ошибаюсь, периодичность таких явлений приблизительно совпадает с одиннадцатигодичным циклом солнечных пятен?!). В январе ручей замерз, и приходилось растапливать много льда; однако моя широкобокая печка гудела и щедро дарила тепло: как бело-голубым днем, так и тогда, когда на смену ему прибегала черно-полосатая Зебронощь.

Луна разбрасывала вокруг четкие тени, вновь и вновь выныривала из бархатистых бездн. Однажды 50 часов кряду дул восточный ветер, и я прочитал на градуснике: "Минус 33". (В то утро произошло затмение Юпитера.)

Черный купол ночи: и круглое светило, стоявшее в зените, излучало столь ядовито-яркое, издевательски-светлое сияние, что снег, казалось, обжигал глаза и подошвы. Я уселся на верхнюю из двух ступенек крыльца и написал на большом листе бумаги:

Теорема Ферма: В равенстве $A^N + B^N = C^N$, при условии, что все величины будут целыми числами, N никогда не может быть больше 2. Я быстро доказал это таким образом:

(1) $A^N = C^N - B^N$, или $A^{2 \cdot N/2} = (C^{N/2} - B^{N/2}) \cdot (C^{N/2} + B^{N/2})$, или же

(2) $A^{N/2}$ = квадратному корню из правой стороны; пусть $C^{N/2} - B^{N/2} = x^2$, а $C^{N/2} + B^{N/2} = y^2$, тогда мы автоматически получаем

(3) $A^N = (x. y)^2 = a^2$ и далее:

(4) $C^N = [(x^2 + y^2)/2]^2 = c^2$, а также

(5) $B^N = [(y^2 - x^2)/2]^2 = b^2$.

Таким образом, уравнение $A^N + B^N = C^N$ в принципе всегда можно свести к квадратичной форме $a^2 + b^2 = c^2$, где x и y являются фундаментальными величинами. Для того чтобы a, b и c были целыми числами, x и y тоже должны быть целыми числами, а кроме того, должно выполняться условие $y - x = 2$ и т. д. и т. д. (И сразу приходят на ум несколько возможных вариантов: при $y = 4$, $x = 2$ мы имеем: $8^2 + 6^2 = 10^2$. При $y = 5$, $x = 3$: $15^2 + 8^2 = 17^2$; причем 8 может возникать дважды — как a и как b.)

А теперь важное общее правило: Для того чтобы соблюдалось условие целых чисел, выражение $A^N + B^N + C^N + D^N + \ldots = Z^N$ в своей наикратчайшей форме должно иметь с левой стороны не меньше чем N членов! Причем — как было показано выше, в примере с восьмеркой — одно и то же число может возникать здесь самое большее N раз, как числовое выражение A^N, B^N и т. д. Например, при $N = 3$ возможны следующие варианты: $3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$; $18^3 + 3^3 + 24^3 =$

1. Анни Безант (1847–1933) — английская активистка движения за сокращение рождаемости, автор книги "Законы народонаселения".

27^3; $36^3 + 37^3 + 3^3 = 46^3$. Быстро соскальзывали символы с кончика карандаша, и мне было весело возиться с ними: подумать только: я решаю теорему Ферма! (Время при этом утекало с предельной незаметностью.)

With all its numberless goings on of life / inaudible as dreams[1]: Я в ту зиму часто читал Колриджа. И еще — "Ле" Марии Французской[2] (сюжет одной из этих баллад лег в основу "Рыцаря Элидюка" Фуке[3]. Не исключено, конечно, что Фуке знал историю Элидюка и в версии Гальфрида Монмутского[4]).

Об универсуме как продолжении системы органов чувств[5]...

II

20.5.1962

Культура США: Ни один человек, каким бы ничтожеством он ни был, не отказывается от претензий на то, чтобы хотя бы домочадцы величали его великим! Я запустил в стенку номером *Reader's Digest*, сунул в пишущую машинку лист бумаги и застучал по клавишам (боже, как же я злился!):

Господину профессору Джорджу Р. Стюарту[6], Калифорнийский университет, США.

Многоуважаемый господин профессор!

Я с большим интересом прочитал поучительный отрывок из Вашей новой книги "Человек: автобиография", опубликованный в июльском — 1947 года — выпуске "Reader's Digest"[7], и глубоко изумился, когда воссоздал в своем воображении описанную Вами историю человечества.

Анонимный автор короткого предисловия справедливо пишет об "оригинальности Ваших сочинений" и о том, что Вы сумели выкроить из этой вечной темы "увлекательный добротный рассказ", rattling good story, — без обычного балласта труднозапоминающихся имен и дат. Правда, у нас в стране многие до сих пор не доверяют "увлекательной" болтовне о культурно-исторических проблемах; но такие люди тем более оценят гарантированную в том же предисловии "добросовестность, с которой Вы отбирали свои примеры".

Для начала позволю себе одно замечание именно по этому поводу. Когда-то я посвятил много времени изучению географии древних народов и продолжаю интересоваться ею до сих пор. Поэтому Ва-

1. "Море, и холм, и лес / со всеми их бессчетными движениями жизни, / Неслышными как сны" — строки из стихотворения С. Т. Колриджа (1772—1834) "Мороз в полночь".
2. Мария Французская (2-я пол. XII в.) — французская поэтесса, написавшая большинство своих произведений в Англии. Ей принадлежат двенадцать баллад "Ле".
3. "Рыцарь Элидюк" (1823) — роман немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843).
4. Гальфрид Монмутский (ум. 1154) — автор написанной на латинском языке "Истории бриттов", которая способствовала распространению в европейских странах легенд о короле Артуре.
5. Название трактата Лоренца Окена (1779—1851) — йенского натурфилософа и врача.
6. Джордж Р. Стюарт (1895—1980) — американский культуролог, автор научно-популярных брошюр и романов. Книга "Человек: автобиография", в которой вся история человечества рассматривается как жизнь одного человека, была опубликована в 1946 г.
7. Отрывок, о котором идет речь, действительно был опубликован в упомянутом номере журнала.

ше утверждение (на с. 170-а) особенно меня задело и внушило мне не вполне благоприятное мнение относительно Ваших знаний и Вашей добросовестности: "Несмотря на достижения греков и финикийцев, древние народы, по сути, были сухопутными крысами (landlubbers), плававшими исключительно вдоль побережий. В отличие от них, тем людям, что жили на побережье Атлантики, приходилось либо осваивать морское дело, либо сидеть дома. И они выбирали первое, и строили надежные корабли, и отправлялись под парусами во все более далекие плавания: викинги, фламандцы и англичане, ганзейские купцы, бретонцы и португальцы..." (Я уж не буду останавливаться на Вашем многозначительном "либо – либо": лев рычит, когда не молчит...) Вновь и вновь восхваляя викингов, Вы (и другие), очевидно, прежде всего имеете в виду первое открытие Америки; однако Вы забываете о том, что ни один из этих морских разбойников никогда не попадал в Винланд[1] прямым путем из Норвегии или Англии, но всегда – только через промежуточные станции, Исландию и Гренландию (которые, между прочим, лежат на расстоянии видимости друг от друга!): ни один из этапов не превышал 1000 километров в открытом море; да и решались они на подобные авантюры чаще всего не по своей воле.

Я не стану в оправдание древних ссылаться на то обстоятельство, что в морях, по соседству с которыми они жили, – Средиземном, Черном и Красном, – попросту не было места, чтобы удаляться от берегов на такие расстояния. Как только люди в достаточной мере осваивали тот или иной водный бассейн, они, конечно, отрывались от берегов и начинали регулярно пересекать его по всем направлениям; а расстояние, скажем, от Византия до Фанагории уже превышает 700 км! (Я, впрочем, не хочу недобросовестно умалчивать о том, что на этом маршруте, по сообщениям шкиперов, находился некий пункт, откуда можно было увидеть и мыс Криумпетопон[2] на севере, и Каравис[3] на юге – как невесомые туманные силуэты.)

Однако я могу привести и другой, гораздо более яркий пример – торговлю с Индией! После того как Евдокс[4] в правление Птолемея Эвергета первым из греков официально заявил об открытии морского пути в Индию, торговля с индийцами приобрела поистине гигантский размах. Я Вам рекомендую включить в свой репертуар следующие, действительно интересные "факты": как купцы от Александрии спускались по Нилу к Коптосу; оттуда караванным путем направлялись к городу Беренике[5] на Красном море, где их уже ждал готовый к отправлению "индийский" флот, включавший до 120 (!) больших грузовых судов. Вплоть до Окелиса[6] на выходе из Красного моря суда, просто в силу тамошних природных условий, еще не особенно отдалялись от берегов; однако далее – в июле/августе, когда дуют муссоны, – этому конвою предстояло *40-дневное непрерывное плавание в открытом море:* слыши-

1. Винланд – название, данное норманнами части северо-восточного побережья Северной Америки, открытой Лейфом Эриксоном ок. 1000 г.
2. Западная оконечность Крита.
3. Современные острова Керкенна.
4. Евдокс из Кизика (II в.) – греческий географ.
5. Современный Бенгази.
6. Окелис – один из самых древних красноморских городов Аравии.

те, господин профессор, 3000 км пути до Баригазы[1] и других пунктов на Малабарском побережье; а в декабре — снова тот же путь, но в обратном направлении! И этот маршрут со времен шкипера Гиппала[2] большие караваны судов преодолевали на протяжении столетий, год за годом, так что Плиний приблизительно оценивал общую стоимость вывезенных за это время товаров в 50 миллионов сестерциев, стоимость же ввезенных — в 5 миллиардов.

Плавания за золотом через Бенгальский залив (1300 км в открытом море) должны рассматриваться в том же контексте; ибо эти путешествия совершались регулярно, и Птолемей упоминает о них как о достаточно известном факте. После, вплоть до Колумба, никто не предпринимал ничего подобного, ни один из народов пресловутой альтернативы "либо — либо", превозносимых Вами в качестве высшей расы; да и сам Колумб начинал, уже имея кое-какие сведения о Винланде.

Тем не менее Вы противопоставляете этим европейским народам народы древние, обзывая последних "сухопутными крысами", не так ли?! Что ж — я бросаю Вам упрек в невежестве!

Нет, я вовсе не отвергаю огульно все Ваши положения; ибо, как Вы сами верно отметили (на с. 165-а): "Continual talking is likely to be associated with some thought here and there"[3]; да только тот, кто захотел бы честно следовать этой максиме, вообще не должен был бы писать никаких книг, и уж по крайней мере — по истории культуры. Однако для Вашего "Человека..." решающее значение имеет "цивилизация", то есть, согласно Вашему же определению на с. 175-в: "The mass of such things as agriculture, metalworking and social tradition"[4] (но не, скажем, искусства или науки, ничего в таком роде! Слово "культура" у Вас вообще ни разу не упоминается: только на с. 168-а Вы — в одной строчке — иронически высказываетесь о тех оторвавшихся от своей почвы интеллектуалах, для которых стихотворение важнее, чем плуг); другое дело цивилизация: она обеспечивает человеку "control over the outside world"[5], а степень такого контроля, по Вашему мнению, как раз и является "rough and easy way"[6], решающим критерием, позволяющим сравнивать между собой эпохи — или "тестировать" их, как Вы сами более точно определили характер Вашего метода.

И словно бы для того, чтобы с самого начала наглядно продемонстрировать нам действенность Вашего цивилизационного теста, Вы сразу же прикладываете его (более распространенное у нас слово "применяете" не передает в достаточной мере суть этого метода) — с достойной всяческих похвал беспристрастностью — к древним грекам.

Сперва Вы доступным языком рассказываете нам о возникновении древнегреческой цивилизации: "Не сталкиваясь с необходимостью

1. Современный Бхаруч — порт в Камбейском заливе на северо-западном побережье Индии.
2. Гиппал во II в. открыл муссоны.
3. "Если постоянно что-то говорить, то время от времени, вероятно, могут возникать и какие-то мысли" (*англ.*).
4. "Такие вещи как сельское хозяйство, обработка металлов и социальные институты" (*англ.*).
5. "Контроль над внешним миром" (*англ.*).
6. "Элементарным способом" (*англ.*).

много и регулярно работать, они должны были изыскивать различные способы приятного времяпрепровождения. *Так греческие граждане изобрели искусство, атлетику и философию*". Звучит вполне убедительно, не правда ли? А главное, просто! И в самом деле: вся эта политическая и религиозная элита, существовавшая на протяжении тысячелетий и до древних греков, и после них, такого сомнительного (с нравственной точки зрения) досуга не имела?! И жители тихоокеанских островов (не меньше греков склонные к тунеядству), и древние германцы, и обитатели средневековых монастырей, и прочая и прочая – тоже нет! Или же – все-таки имели, но почему-то не только не внесли заметного вклада в развитие каких-либо искусств и наук (не говоря уже о философии!), не только вообще их не понимали, когда так или иначе с ними сталкивались, но, больше того, прилагали максимум усилий, чтобы их искоренить! Потому что культура для людей определенного типа – составляющих около 99 процентов всего населения – скучна: Вы этого не знали?! Разумеется, художникам и мыслителям досуг необходим; но связывать досуг и творчество напрямую было бы неверно.

"О греках вообще, и о Греко-персидских войнах в частности, было написано много всякого вздора..." : согласен: я ведь держу в руках Вашу книжку!

"Наихудшее несчастье персов заключалось совсем не в том, что они проиграли войну с греками, а в том, что позволили грекам написать – и потом передать потомкам – историю этой войны..." Боже правый: о том, что сочинение Геродота – ведь именно он стоял у истоков нового исторического мышления, а не греки вообще – стало несчастьем для персов, может болтать только тот, кто никогда этой книги не читал! Ибо: "Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивительные деяния, *как эллинов, так и варваров,* не остались в безвестности"[1]! – и в самом деле, персы у него предстают в ничуть не менее выгодном свете, чем греки.

Здесь мы имеем дело с чем-то таким, чему любимые Вами "интеллигентные египтяне и вавилоняне" или "во многих отношениях заслуживающие большего восхищения" персы могли бы поучиться у греков: как человек, наделенный гениальной способностью видеть целое объективно, пишет настоящую всемирную историю – вместо того чтобы воспроизводить тупоумный, заносчиво-лживый, трескучий тон египетских или ветхозаветных хроник локальных междоусобиц. После такого рода вводных замечаний Вы беспощадно пытаетесь приложить к грекам свой "тест" (я уж не буду останавливаться на Ваших дешевых и притом даже не оригинальных рассуждениях относительно взаимосвязи между болтовней и мышлением; некий Джеймс Буркхардт[2], на мой взгляд куда более, чем Вы, заслуживающий доверия, еще до основания Калифорнийского университета написал весьма ценное исследование феномена agorazein[3]). Результаты теста Вы резюмируете так: "Нигде во

1. Геродот. История. В 9 книгах. М., 2001. Начало первой книги (перев. Г. А. Стратановского).
2. Имеется в виду Якоб Буркхардт (1818–1897) – швейцарский историк и культуролог.
3. Общение на агоре (*древнегреч.*).

всем мире люди не пользуются ни одним важным изобретением, которое мы могли бы с уверенностью приписать грекам ... На основании этого я (*Я*, профессор Джордж Р. Стюарт!) делаю вывод, что греки и не создавали цивилизацию, и не спасали ее, и даже не обновляли сколько-нибудь заметным образом": Thank you! Теперь, наконец, мы увидели во всей красе западного невротика с его комплексом praejudicium antiquitatis[1]!

Правда, "летучие листки" уже давно просветили нас насчет характера настенной живописи в Арканзасе, а Марк Твен — насчет организации газетного дела в Теннесси; а пару месяцев назад я с чувством глубокого удовлетворения прочитал в "Нью-Йорк пост" о том, что в Кейзновии за пять миллионов долларов вскоре будет построен наконец столь необходимый нам всем "Зал славы футболистов" (тоже, кстати сказать, идея, заимствованная у греков: те постоянно возводили в Олимпии памятники своим борцам и атлетам); зато Вашей книге, этому образцу бессмысленности, выпала честь информировать нас о том, как в США изучают историю человечества!

На самом деле, если говорить вкратце, заслуги греков состоят в следующем: они первыми разработали и начали применять на практике то, что потом стало методикой и духом западной науки. Именно им мы обязаны такими важными конкретными открытиями, как точное измерение поверхности земного шара или географические карты с объектами, зафиксированными соответственно их длине и ширине. В астрономии каталоги звезд, гео- и гелиоцентрическая картины мира и пр. тоже являются изобретениями греков; к ним же, грекам, восходит и нынешнее представление о биологических системах; а диофантовы уравнения[2] — как бы Вы их решали без греческих математиков?

Теперь попробуйте сами сравнить достижения греков в сфере художественного творчества — статуи, храмы, эпос, драму и т. д. — со всеми предшествовавшими им и одновременными с ними аналогичными достижениями: греческим искусством восторгались такие великие умы, которым не ровня мы с Вами!

Философия — — ну, о ней не будем, до нее Вы в своей книжке не добрались.

Мы же придерживались и до сих пор придерживаемся мнения, что, вопреки стюартовскому тесту, вся наша духовная жизнь в том виде, какой она приобрела в результате двух последних культурных волн, Ренессанса и Классицизма-Романтизма, как и сами эти волны, базируется на греческой творческой мысли. Вы утверждаете, будто творческая мысль никогда и нигде не была "плодом цивилизации", и, познакомившись с Вашим определением цивилизации, я готов с Вами согласиться.

Но ведь Вы, господин Стюарт, выбрали в качестве темы своего сочинения "Человека"! "Человека", а не Вашу нелепую цивилизацию! Отождествление этих двух понятий — Ваша оригинальная

1. Предубеждения против античности (лат.).
2. Диофант (III в. н.э.) — древнегреческий математик из Александрии, его сочинения явились отправной точкой для исследований П. Ферма.

идея, Ваша духовная собственность; я, правда, сомневаюсь, что из-за нее у Вас появится много завистников. Стыдно, наверное, что Ваша нация — за исключением Эдгара По — пока еще не внесла никакого весомого вклада в великую общечеловеческую сокровищницу культуры; но наверняка придет время, когда эта ситуация изменится! (Правда, без Вашей помощи!)

Пусть же Ваш ватерклозет всегда исправно функционирует;
искренне Вас не уважающий:...

Сложить, "конвертировать"; сверху, согласно традиции, наклеил 30-пфенниговую марку и на велосипеде доставил готовое послание к поселковому почтовому ящику: тоже мне остряк! (Я еще и на обратном пути через каждые сто метров захлебывался возмущенными тирадами: у этих американкашек по горло забот с их ядерными бомбами и говяжьей тушенкой: на все остальное их просто не хватает!)

Гордая окустарниковленная Луна (еще почти полная). Я же все никак не мог успокоиться и решил — в порядке мести — тоже придумать тест (настоящий фелибр[1] ни при каких обстоятельствах не покладает пера). Итак: поехали:

1) Знаете ли вы — и цените ли — "Диа-На-Соре..." Мейерна, "Антона Райзера" Морица, "Остров Фельзенбург" Шнабеля[2]?

2) Придерживаетесь ли того мнения, что художник должен плевать на вкусы своих соотечественников и на уровень их культурного развития?

3) "Человеческая воля не свободна"[3]. Согласны вы с этим?

4) Предпочитаете ли "Аристиппа..." Виланда[4] "Саге о Форсайтах"?

5) Доводилось ли вам испытывать презрение к своим родителям?

6) Суеверны ли вы?

7) Есть ли у вас друг, способный всерьез посоветовать вам прочитать "Рафаэля де Аквиласа" Клингера[5]?

8) Ненавидите ли вы все армейское и униформированное?

9) Можете ли вкратце пересказать содержание романа Жан Поля "Кампанская долина"[6]?

1. Фелибры — представители литературного движения, ставившего своей целью возрождение и развитие литературы на провансальском языке. В 1854 г. было создано общество поэтов-фелибров, которое проводило литературные конкурсы и выпускало периодические издания.

2. Вильгельм Фридрих фон Мейерн (1762—1829) — немецкий писатель, автор популярного в свое время философского романа "Диа-На-Соре, или Странники: история, переведенная с санскрита", герои которого странствуют по Индии и Тибету в поисках страны истины и счастья. Карл Филипп Мориц (1756—1793) — автор незаконченного романа в четырех частях "Антон Рейзер" (1785—1790), в котором описывал "внутреннюю историю человека", внутренний мир, расширяющийся в результате чтения книг. Иоганн Готфрид Шнабель (1692 — ок. 1752) — автор четырехтомного романа "Остров Фельзенбург", соединяющего черты робинзонады и политической утопии.

3. Несвобода человеческой воли — одно из главных положений философии А. Шопенгауэра.

4. "Аристипп и некоторые из его современников" (1800) — роман в письмах Кристофа Мартина Виланда (1733—1813). В этом романе, в частности, идет речь о несовпадении интересов индивида (общества) и государства.

5. Фридрих Максимилиан фон Клингер (1752—1831) — немецкий драматург и романист, с 1780 г. жил в Петербурге. В романе "История Рафаэля де Аквиласа" (1793) рассказывается о национально-освободительной войне в Испании XVII в.

6. "Кампанская долина, или О бессмертии души" — роман немецкого писателя Жан Поля, написанный между 1797 и 1804 гг.

10) Полагаете ли вы, что Ницше был посредственным философом (но великим оратором)?

11) Смехотворны ли в ваших глазах бокс, кинофильмы, мода, хорошие манеры?

Потом Дьявол кольнул меня острым когтем в мягкое место, и я еще приписал (я могу писать и говорить *что угодно*: потому что остался в полнейшем одиночестве!!):

12) Сомневались ли вы, хоть раз в жизни, в следующем: что, если вы попытаетесь использовать какую-нибудь священную книгу в качестве туалетной бумаги, она всенепременно спалит вашу задницу?

Поставьте себе за каждое "да" +1, за каждое "нет" – –1, а потом подсчитайте общий результат:

В любом случае самое лучшее для вас – собственноручно повеситься.

(Дописав эту фразу, я наконец избавился от своего комплекса.)

Попытки заняться фотографией (хотел бы я знать, не засветились ли те пленки; я ведь их никогда не проявлял; они и без того стимулируют мои чувства и, главное, помогают убить время). В общем, я в какой-то момент пристрастился щелкать фотоаппаратом: пятна на солнце; поляна величиной с небольшую комнатку; ржавая колючая проволока (на вокзале, возле свалки металлолома; руины пожранного личинками гриба; какая-то ветка в лесу – о, вечно ускользающий образ; один раз – северонемецкое облачное небо, увиденное сквозь пушистую елочку. Конечно, я и себя снимал (с помощью автоспуска): на ступеньках крыльца, глубокомысленно погруженного в изучение какого-то фолианта (но при этом – как всегда – скорчил такую гримасу, что меня затошнило уже от одного негатива).

Генрих Гейне: читается очень легко (и так же легко забывается). Напиши он только один том – такого размера, как в моем четырехтомнике, – он был бы великим человеком: но подобной роскоши – из-за вечной угрозы нищеты – не мог позволить себе ни один поэт: каждому в силу необходимости приходилось быть Луи[1], сутенером своей Музы, (то есть, выражаясь по-простому: выпекать, как блины, фельетончики для газет; договариваться о выступлениях на РИАС[2]; усердно переводить иностранных авторов и т. д. – я рад тому, что и этот балаган навсегда закрылся!).

Период хорошей погоды, и я этим воспользовался, чтобы пополнить свою топографическую карту в масштабе 1:10 000. (В качестве базисной выбрал воображаемую линию между уже упоминавшейся мною геодезической вышкой и башней, с которой когда-то стреляло зенитное орудие, напротив подворья Людеке; и, ориентируясь на нее, стал уточнять местоположение разных пунктов; для нанесения контуров маленьких поверхностей я вполне обходился компасом и небольшим зеркальцем, расстояния же промерял шагами.)

Мне важно всегда держать под контролем свою территорию.

В помещении дюзхорнского продуктового склада я на всякий случай устроил себе временное пристанище: самым примитивным манером: привел все в порядок, доставил туда одеяла, немного одежды и всякой утвари; ведь никогда не знаешь заранее...

1. Так в Германии называют сутенеров.
2. Rundfunk im amerikanischen Sektor (RIAS) – радиостанция в американском секторе Берлина.

24.6: обезумевшими руками, сидя в кустарнике, переворачиваю бумажные листы (а котел уже испускает пар, и вода вот-вот закипит; я могу писать свой отчет только в паузах).

К лесной опушке я отправился "просто так", буквально: то есть без определенных намерений. Как Робинзон – вооружившись двумя стрелялками и, из-за полуденного солнца, в белой фуражке (урок на будущее: никогда больше не шататься по округе с такой чудной мишенью на голове!). Вдруг я увидал, как вдали, в зарослях, что-то сверкнуло – и стал наводить бинокль на резкость, для удобства прижав его к сухой ветке; то, что при этом сам я оказался за стволом ели, вероятно, спасло мне жизнь; потому что мне на нос посыпались кусочки коры и пуля, прожужжав над моей головой, затерялась где-то сзади, в кустарниках. Я, не утратив присутствия духа, мгновенно спрыгнул в канаву и распластался в ней (едва не наткнувшись на свою же винтовку).

Собраться с мыслями: я ведь ничего подобного не ждал! (Успокоился; холодно подумал: я-то эти места знаю, а вот тот, другой, – нет!) Осторожно поднял вторую, резервную винтовку и пальнул наугад: потом опять положил ее на ровную лесную землю, перед собой, а фуражку – на круглый валун рядом: сам же предусмотрительно прополз 10 метров вправо (по направлению к дому). И еще 20 – дальше канава мельчала.

Прицел 500 (оптический прицел рассчитан на расстояние от 300 до 500 метров): но тут опять невдалеке что-то вспыхнуло и комья грязи фонтанчиком взметнулись вокруг гипотетических ушей под моей фуражкой-обманкой, так что она осела на целый дюйм: прекрасно! Теперь противник наверняка попробует выстрелить еще раз. После короткого размышления я прополз еще метров 30 по подстилке из хвойных игл, нейтрализовавшей неровности почвы. Поднялся на ноги в сосновом бору и выбежал, миновав два можжевеловых куста, к опушке:

Теперь я видел этого паренька отчетливо, в бинокль: он лежал за кучей битых камней и, безрассудно выглядывая из-за нее, пытался определить, попали ли его выстрелы в цель; все же железное спокойствие сотворенного мною чучела показалось ему подозрительным, и он опять спрятал голову (похоже, тоже чем-то прикрытую) за грудой щебня.

За железнодорожной насыпью, с трудом переводя дух: я ведь, миновав свой дом, молниеносно перескочил через рельсы, пробежал, пригибаясь, какое-то расстояние вдоль них, по правой стороне, и теперь залег на той же высоте, что и *он* – приблизительно – : он же за все это время так и не стронулся с места! Алчущий-Крови как раз вновь поднимал приклад к плечу (а я, высоко подпрыгнув – потому что знал, что он увлечен охотой и оглядываться не станет, – рванул по краю леса туда: Бац!!; ну давай, сынок! Развлекайся по полной программе!).

Теперь предстояло самое трудное: я притаился метрах в 20 за его спиной и размышлял...

Например, такая возможность: просто сковырнуть подлеца, прежде чем успеет охнуть. (Его дамский велосипед, прислоненный к кривой сосне. С прямой нижней трубкой: дешевка; контрастирующие цвета –

красно-коричневый и светло-желтый; грязный; картонная коробка на багажнике. Плохо уложенный рюкзак валялся в траве: с привязанной к нему походной флягой, какими-то кухонными причиндалами, картами, торчащими из кармана.) (А вдруг он подумал – когда я отступил за дерево и, может быть, стеклышко бинокля сверкнуло, – что это я в него целюсь и что нужно меня опередить?)

Или : взять в плен и "обезопасить" : мне тут же захотелось почесать в затылке: что значит – обезопасить?! А если этому бошу вдруг взбредет на ум спалить мой дом или прирезать во сне меня самого?! *Он* когтисто почесал себе бедро и так яростно засучил ногами, отбиваясь от насекомых, что я невольно ухмыльнулся; но тут же опять помрачнел: может, этот псих прямо сейчас вскочит на ноги и, увидав меня, ринется в атаку!

Еще 8 метров (что, у такого юнца – и седые волосы?!). Я безо всякого удовольствия набрал в легкие побольше воздуху, сделал над собой усилие, подпрыгнул к нему – и ударил, для первого раза несильно, прикладом по голове!

В комбинезоне и кепке: лежала предо мной *она*!! С белыми, огрубевшими от работы руками...

Мои ненасытные взгляды: на руки, плечи, лицо. Руко-плече-лицо. Глаза-губы: Н-да! Все еще натужно дыша, я поднялся и разрядил ее пистолеты в землю; потом, плохо соображая, что делаю, выдернул из ее винтовки затвор.

Маленькие очень мягкие груди: маленькая, но очень твердая кисть.

Спотыкающимися пальцами я нащупал у бедра флягу с ромом, боязливо поднес к ее безвольно искривившемуся бледному рту (под стриженными седыми волосами теперь прощупывалась здоровенная шишка: какой же я идиот! Хорошо хоть, что сегодня с утра побрился...).

Глотнула: наконец! В честь такого события я готов был сочинить гимн! Глотнула... Я опять опустил ее голову на скатанное одеяло, и мои ладони – две фибулы – легли на худенькие женские плечи.

Серые глаза (всё ещё без проблеска сознания; серые и ясные: красиво!):

Как гибкий прут (с удивительной силой): дернулось ее тело! Но я держал крепко: "Лежите! – сказал ей совершенно спокойно. – А о шишке не беспокойтесь – дней через 8 исчезнет"; и улыбнулся. Она же вздохнула; дышала, правда, пока еще неритмично и неуверенно. Пауза. Я для пробы убрал руки и присел на корточки совсем рядом, справа (все еще не сводя с нее глаз). "Как вас зовут?" – пришел мне в голову удачный вопрос. "Лиза" (ей, похоже, показалось забавным, что два последних на земле человека обращаются друг к другу на "вы"; и тем не менее...); потом я рассказал ей, как именно все произошло[1]; не торопясь.

Она устало удивилась: "И вы меня не изнасиловали!" Я положил ладонь на ее висок, с состраданием; качнул головой: "Бедняжка; представляю, с кем вы имели дело!" (Когда убрал руку, кончики пальцев долго еще скользили вдоль щеки.) Над пыльно-серой дорогой сияла синью небесная пустошь; я медленно повернул к Лизе нелгущее лицо и смущенно сказал: "На самом деле такая мысль у меня мелк-

1. "И теперь я расскажу вам, как именно все произошло" – фраза из зачина "Элидюка" Марии Французской.

нула. Но лишь на мгновение". Теперь ее измученный рот рассмеялся — коротко, мудро, насмешливо, добродушно: "Ваше счастье, что вы в этом признались!" И, лукаво: "Потому что в противном случае я бы сочла себя оскорбленной..." Дать ей еще немного времени, чтобы пришла в себя? (Дома, кажется, был аспирин — да.)

Дикая кошка: не успел я подняться на ноги и начать собирать ее пожитки, как она уже воздвиглась передо мной: в каждой руке по маузеру, рот гневно полуоткрыт, глаза — холодные, злодейские: la donna è mobile[1] (Или: *La belle Dame Sans Merci*[2]; так, пожалуй, будет точнее!).

"*Теперь, браток,* – сказала каменным голосом, не очень громко, — руки вверх!" (Почему бы и нет? : может, так мы скорее перейдем на "ты"!) Я не без удовольствия повиновался; но когда заметил, что она собирается подойти к моей винтовке, преградил дорогу: тут-то оба пистолетных ствола и уперлись мне под ребра. Мы стояли грудь против груди и смотрели прямо в лицо друг другу.

Она окинула меня оценивающим взглядом: рост, плечи. Я предложил (зачем мне ставить ее в неудобное положение, вынуждая палить из незаряженных пистолетов? Пусть лучше у нее сохранится ощущение нашего с ней равенства, добровольности принятого ею решения); предложил: "Давайте заключим перемирие. Для начала хотя бы до завтрашнего полудня..." Потом пересилил себя и добавил: "Я вас прошу". Она нахмурила лоб и долго прислушивалась к спору своих противоречивых желаний. В конце концов я поднял (очень медленно) правую руку и накрыл ладонью ее левый кулачок; позволил своей руке целую минуту предаваться этому земному блаженству, а потом — мягко — потянул маузер на себя (мы с ней смотрели в глаза друг другу с такой нарочитой серьезностью, как если бы были двумя подслеповатыми совами). Правую руку она сама решительно отвела в сторону; и с наигранной холодностью сказала: "Ладно! : До завтрашнего полудня!" Я нагрузил ее велосипед, и мы направились — непринужденно, как бы гуляя — к моему дому. (Теперь ей бы надо помыться; вода уже закипает.) И я таскал ведра, наполнял ванну в домовой прачечной, пока *она* жевала галеты с ливерным паштетом, пила чай (подслащенный редким в наших краях тростниковым сахаром; а он-таки отличается от обыкновенного, свекловичного!); потом прилегла на кушетку.

Я тихо-тихо сидел на корточках рядом (долго).

"Лиза..." (прикоснулся к ней голосом; совсем легко; как кончиками пальцев). И сразу понял, что она вовсе не спала, а втайне наслаждалась моим перед ней преклонением — так восхитительно-озорно сверкнули радужки ее глаз и зубы.: "Вода уже почти..." — сообщил ей обиженно, но тут же снова взглянул в ее расплывавшееся перед моими глазами лицо.

Ладони на дереве (дверной рамы; боже, я 8 лет не видел ни одной женщины! А сейчас там, в прачечной, что-то плещется, напевая дичайшие попурри, сама Марион Керби[3] не могла бы петь лучше. Раз

1. Женщины непостоянны (*итал.*). Первая строка арии герцога из оперы Дж. Верди "Риголетто", в русском переводе: "Сердце красавицы склонно к изменам / И переменам..."
2. Прекрасная Дама, не знающая пощады (*франц.*). Название стихотворения Джона Китса.
3. Марион Керби — американская певица, исполнительница фольклорных произведений времен освоения Дикого Запада.

десять, по крайней мере, я уже подходил к двери и прислушивался: "Приди в шалаш моей любви"[1]: черт бы ее побрал!).

"Лиза": я пробовал новое слово на вкус — "Лиза"; повторял его шепчущимся травам — "Лиза"; выдыхал, раздувая ноздри (все это происходило за домом, у ручья), и был несказанно счастлив: Лиза!

Картофель: она прямо-таки светилась от радости, срезала совсем тонюсенькие шкурки (сидя на ступеньках моего крыльца, между двумя чистыми тазами); и я кивнул с глубоким удовлетворением: good for squaw to do that[2]. (Она, казалось, так по-доброму смотрела на меня из своих глазниц, что я почти попался на эту удочку: и попался бы, если бы в какой-то момент Лиза не выпятила насмешливо губы: заметив, как я, примостившись напротив, форменным образом выжучиваюсь перед нею, будто она — шедевр из картинной галереи.)

С сахаром ела она картофельные оладьи: значит, родилась к востоку от Эльбы. (Да: пора переходить к делу!)

И она начала рассказывать, удобно устроившись в кресле, очень тихо, без всяких там игривых взглядов или рукоблудства (только раз я прервал ее рассказ возмущенным окриком: когда Лиза попыталась разбавить ром водой!).

С востока прибыла она сюда (и в этом смысле мы с ней прекрасно дополняли друг друга; мне пришлось помотаться по западной и юго-западной частям континента): с Украины, куда ее в свое время угнали; она двигалась вверх по Днестру, через Лемберг, Краков, Варшаву (там дважды перезимовала). Потом — через Познань, Штеттин (хотела и дальше пользоваться водным путем, но не нашла ни одной парусной лодки: пыталась плыть на веслах по Уздому, против ветра, но чуть не погибла от голодного истощения). Потом был Берлин (там она снова перезимовала; в точности как я в свой бродяжнический период: угнездилась в какой-то квартире; рубила топором мебель, чтобы топить печку; мародерствовала в брошенных продовольственных лавках — и я с важным видом кивнул: "who should know but me!"[3]), потом — Дрезден, Прага: однако чуть дальше к югу она попала в одну из тех радиоактивных зон, где и теперь еще на протяжении сотен километров не зеленеет ни одно растение, не пролетает ни одна птица: она тогда опять повернула на север и через Карлсбад добралась до Лейпцига. Однако — по какой-то причине — покинула его еще в прошлом ноябре, пересекла Гарц и оказалась в Кведлинбурге, где ее и застигла врасплох ранняя суровая зима; там лишь с большим трудом можно было разыскать хоть какие-то продукты. В начале мая Лиза опять отправилась в путь: Брауншвейг, Ганновер, Целле; 10 дней провалялась в Фаллингбостеле с чудовищной простудой, до позапозавчерашнего дня. Потом — Вальсроде (там переночевала); на следующее утро, почти сразу же после старта, подобрала в Борге старый велосипед-развалюху и потом целый день кое-как протрусила на нем.

1. "Приди в шалаш моей любви, / ведь в нем так сладко грезить..." — ария из оперетты венского композитора Карла Л. Хошны (1877—1911) "Мадам Шерри" (1910).
2. Хорошо, когда скво (женщина-индианка) этим занимается (*англ.*).
3. "Кому же знать, как не мне!" (*англ.*). Цитата из романа Р. Киплинга "Ким" (1901) (перев. М. Клягиной-Кондратьевой).

Поспала немного в одном крестьянском доме; потом по ошибке попала на Арсенское шоссе; чертыхнувшись, сверилась со своей маленькой картой и хотела было "наискосок, через Эйфель" выехать на главную дорогу, идущую в западном направлении, но вдруг заметила на опушке "какого-то психа", который в нее целился: я, значит, не ошибся в своей догадке! (Она упорно избегала в речи форм сослагательного наклонения, возможно боясь, что от частого употребления они могут поизноситься.) Но сейчас она не чувствовала себя уставшей и, хотя за окнами бушевал ветер, ей не терпелось увидеть на месте подстроенную мною ловушку; и мы прошли эти 400 метров — в последнем вечернем свете.

Ветер раздувал паруса ее вьющихся волос, видно было, как под одеждой ритмично наклоняются вперед ее белые плечи; ее глаза оказывались то справа, то слева от меня, иногда насмешливо прищуренные, иногда — расширенные и устремленные к горизонту; и при всем том моя Охотница напевала, да так, "that it would have done your heart good to behold"[1].

Она наконец выдохлась (и я тоже: но и с 20 метров чучело смотрелось на удивление правдоподобно!). "Так нечестно", — рассердилась она и махнула в ту сторону сразу обеими имевшимися в ее распоряжении руками: ну да, оптическая обманка, что ж тут поделаешь... Это был splendidum mendacium[2] (хотя данное выражение "означает", собственно, не совсем то; знаю-знаю...). Но теперь Лиза все-таки сбегала за фуражкой, с вызовом протянула ее: "Что скажете, достопочтенный?!" : мне стало как-то не по себе, когда я увидел два отверстия над самым козырьком: и она, торжествуя, снова исчезла в ветряной Ниагаре — maid of the mist[3]. (Это все-таки нечто: попасть с 400, по меньшей мере, метров и без всякого оптического прицела! Правда, белое на черном всегда видно замечательно. И тем не менее! Такая меткость!)

Ее худощавое селадоново[4] *лицо* треугольно проплыло мимо меня в колючих хвойных сумерках; гибкий стебель тела немилосердно его раскачивал; плавно скользящая темная богиня с железным оружием...

Опять в креслах: под мирным светом керосиновой лампы. (И нам обоим было хорошо, как во сне, — или: мнилось, что мы во сне.) Но оставался еще один важнейший вопрос:

"Неужели за все эти годы — во всех ваших странствиях — вы ни разу не встречали людей?" Она сперва не хотела отвечать; но потом, осознав, насколько важно сопоставить наш опыт, все-таки начала:

"Да нет, почему же – дважды. Один раз, еще в России, четырех женщин: трех молодых и старуху. Кроме того, мужчину. Старая карга сперва отравила своих молодых спутниц. А потом я из предосторожности пристрелила ее саму — прямо над кучей трупов". Меня чуть не стошнило: "А — мужчина?!" Она отрицательно качнула головой: "Умер от заражения крови. Через 6 недель". Тишина. Я ме-

1. "Что от этих звуков должно было согреться сердце" (*англ.*) — цитата из романа Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба" (перев. А. В. Кривцовой и Е. Ланна).
2. Великолепный обман (*лат.*).
3. "Дева тумана" (*англ.*). Так называется англо-канадская компания, организующая пароходные туры к Ниагарскому водопаду.
4. Селадон — герой пасторального романа Оноре д'Орфе "Астрея" (1610); как имя нарицательное — обозначение сентиментального любовника.

ханически поднялся, подошел к книжным полкам; потом повернулся и оперся о них плечами, волосами, икрами, ладонями — всем; хрипло, но с наигранной бодростью спросил: "Ну? И каков же был случай номер два?" — Залитый желтым светом лоб нахмурился: "Та, когда мы встретились, уже отдавала концы: 80-летняя полька". С шумом вытолкнула воздух через сморщенный нос: "Одним словом, ничего хорошего!" И опять покачала головой; потом, с натугой улыбнувшись, взглянула на меня: "А вы? С кем *вы* встречались?" Я выпятил нижнюю губу, задумался, пытаясь дополнить только что услышанным уже сложившуюся у меня в голове картину. "Никого, — выдал требуемую справку. — Значит, южнее Праги теперь атомная пустыня..." — "Наверное, — взволнованно перебила она, — это тот самый коридор от Данцига до Триеста, которым в начале войны хотели разделить Восток и Запад, — и я лишь случайно нашла проход у Лемберга?" — "Очень может быть, — согласился я и достал карту Европы. — А вторую разделительную линию, Генуя—Антверпен, видел я сам". И пояснил в ответ на вопросительный взгляд: "Она проходит через Швейцарию".

Резюмировать: "Итак, самолично проведя аутопсию, мы теперь знаем, что вся Центральная Европа обезлюдела..." Лиза кивнула. "Но и в примыкающих к ней районах не могло остаться достойных упоминания групп, иначе за прошедшие годы они давно просочились бы сюда". Это тоже казалось убедительным. "Видели вы хоть раз какой-нибудь самолет?" Ни одного. "Россия и США окончательно доконали друг друга: так что и там вряд ли что-то сохранилось". (Мы уже раскрыли атлас Андре на том развороте, где помещена карта мира.)

"Что ж..." — протянула она задумчиво, и я одобрительно кивнул: пора переходить к сути! Холодно объяснил: "По моему мнению, нынешняя ситуация такова: Азия и Европа (лучше говорить: Азиопа); а также Северная Америка..." И я провел рукой, будто смахивая его, по сине-желтому северному полушарию; Лиза в знак согласия поджала губы. "Южная Африка тоже погибла; как и индустриальные центры Австралии и Южной Америки. Моя теория такова: кое-где, разделенные очень большими пространствами, еще кочуют немногие отдельные индивиды. Возможно, на южных окраинах нашего континента... (пытаясь сформулировать то, о чем так часто думал, я невольно впал в наукообразный тон) еще существуют и небольшие общины. Что касается одиночек, то они, не привыкшие к грубой жизни и к дикарским болезням, скорее всего, очень быстро вымрут". Лиза дышала теперь меланхолично, но все равно уютно: горевшая лампа усиливала впечатление, будто я читаю по книжке. "Упомянутые мельчайшие группы в принципе могут положить начало новому заселению земного шара; однако для завершения этого процесса потребуется — даже при самых благоприятных условиях — не меньше тысячи лет. И замечательно!" — с вызовом закончил я свою речь.

Мои аргументы?: "Лиза!! : Вы только вспомните, каким было человечество! Культура!? : носители культуры — один на тысячу; производители культурных ценностей — один на сто тысяч! : Нравствен-

ность? : Ха-ха-ха! : Каждый, кто прислушался бы к голосу своей совести, сам бы признался, что его давно пора повесить!" Она кивнула, сразу с этим согласившись. "Бокс, футбол, лотерея: вот к чему всех влекло! И еще все великолепно разбирались в оружии! Идеалы юноши: автогонщик, армейский генерал, чемпион мира по бегу. Девушки: кинозвезда, "художник"-модельер. Зрелых мужчин: владелец гарема и директор фирмы. Женщин: собственный автомобиль, оборудованная новейшими электроприборами кухня и обращение "милостивая госпожа". Стариков: государственный служащий..." Тут у меня от возмущения перехватило дыхание.

"*Представим себе,* – продолжил я после паузы, — что имеется на какой угодно планете некий вид существ, рождающихся на свет с такими дурными задатками, что из тысячи едва ли один — да и тот только в результате тщательнейшего и трудоемкого окультуривания, при условии стечения многих благоприятных обстоятельств, из которых не должно отсутствовать ни единое, — может со временем обрести хоть какую-то ценность: что бы мы сказали о таком биологическом виде?!!"

"*Человеческий род* от природы обеспечен всем, что необходимо для восприятия, наблюдения, сравнения и различения всевозможных феноменов. В его распоряжении — не только непосредственно существующее; он может, чтобы стать мудрее, использовать не только собственный опыт: но и опыт всех уже прошедших эпох, соображения многих проницательных людей, которые очень часто, если не всегда, правильно видели суть вещей. Благодаря этому накопленному за века опыту и этим соображениям уже давно установлено, по каким естественным законам должен жить и действовать человек, — в каком бы обществе он ни обретался и в каком бы состоянии духа ни пребывал, — чтобы быть, насколько сие возможно, счастливым. Уже было неопровержимо продемонстрировано, что полезно, а что вредно для человеческого рода, в любые времена и при любых обстоятельствах; уже найдены правила, применение коих может предохранить нас от ошибок и ложных выводов; мы с отрадной определенностью знаем, что надлежит считать красивым или уродливым, правильным или неправильным, хорошим или дурным; мы знаем также, почему это так и — в какой мере это так; невозможно измыслить никакой глупости, никакого порока и никакого злонамеренного действия, нелепость или вредоносность которых не были бы уже давным-давно доказаны с не меньшей очевидностью, чем любая из теорем Евклида : И тем не менее! Невзирая на это, человечество вот уже несколько тысяч лет вертится все по тому же замкнутому кругу глупостей, ошибок и преступлений; не становится, благодаря чужому или собственному опыту, умнее, а только, да и то в лучшем случае (если вспомнить об отдельных высокоразвитых личностях), — проницательнее, образованнее, остроумнее; но мудрее — никогда".

"*Ведь люди обычно* резонерствуют совсем не по резонам разума. Напротив: естественный для них и общераспространенный способ умничать таков: из единичных случаев выводить общие заключе-

ния, на основании бегло или односторонне воспринятых фактов делать ложные выводы, постоянно путать слова с понятиями, а понятия — с данностями. Подавляющее большинство людей — приблизительно 999 из 1000 — почти во все, в том числе важнейшие, переломные моменты своей жизни принимают решения, исходя из первых попавшихся чувственных впечатлений, предубеждений, страстей, капризов, фантазий, настроений, случайных комбинаций слов и представлений в их сознании, кажущегося сходства между разноплановыми явлениями и втайне пестуемого эгоизма, который побуждает их всегда и везде выдавать своего осла за лошадь, а лошадь соседа — за осла. Из упомянутых 999 человек как минимум 900 даже не пользуются для этого собственными чувственными ощущениями, но по причине своей непостижимой инертности предпочитают неправильно видеть — *чужими* глазами, плохо слышать — *чужими* ушами, оставаться в дураках — из-за *чужого* неразумия; вместо того чтобы, по крайней мере, совершать ошибки, руководствуясь своими собственными соображениями. Я уж не говорю, сколь многие из этих девяти сотен самодовольно рассуждают о тысяче важных вещей, вообще не сознавая, о чем, собственно, идет речь, и ни на мгновение не задумываясь над тем, содержат ли их рассуждения хоть какой-то смысл или же представляют собой полную ахинею".

"*Машина,* примитивный инструмент, которым пользуются (порой во вред себе и другим) чужие руки; пучок соломы, способный в любую секунду вспыхнуть от одной-единственной искры; пушинка, меняющая направление своего полета от легчайшего порыва ветра, — с тех пор как стоит мир, эти метафоры никогда не применялись для характеристики деятельности разумного существа: а между тем к ним издавна прибегали, чтобы описать, как ведут себя люди, особенно когда собираются в большие толпы. Мало того, что механизмы влечения и отвращения, страха и надежды, приводимые в действие чувственностью и самовнушением, как правило, являются двигателями всех повседневных поступков (кроме, конечно, тех, что зависят от инстинктивных рефлексов); дело обстоит еще хуже: в самых критических случаях — именно тогда, когда речь идет о счастье или несчастье всей жизни данного индивида, о благополучии или упадке целой нации и особенно когда принимаются решения, касающиеся всего человечества, — определяющую роль начинают играть *чужие* страсти или предрассудки, руки немногих избранных, нажимающие на кнопки опасной машины, хорошо подвешенный язык одного-единственного болтуна, искра, брошенная каким-нибудь безответственным идеалистом, наигранный пыл очередного ложного пророка, призыв единственного смельчака, самовольно возглавившего толпу; именно такого рода пружины приводят в движение тысячи и сотни тысяч людей, даже не подозревающих, куда они направляются и к чему это приведет: по какому же праву столь неразумные создания именуют себя..." (пора перевести дух).

Итак: "Балаганные кривляки, знахари-шарлатаны, фигляры, фокусники, сводники, воры и беспринципные борзописцы давно поделили между собой мир; бараны же всегда покорно подставляли свои

глупые головы, чтобы "пастухам" было удобнее их стричь; при этом дураки продолжали как ни в чем не бывало откалывать свои дурацкие фортели. А умные, как только у них появлялась такая возможность, уходили куда подальше и становились отшельниками: вот вам и вся всемирная история in nuce – так сказать, ad usum Delphini[1]".

"Кто в этом виноват? Разумеется, *Primo Motore*[2] Целого, наш Творец, которого я окрестил Левиафаном и которого нахожу очень скучным, уныло-никчемным божком"... На протяжении всей этой красивой тирады Лиза – видимо, чтобы сконцентрировать внимание – сидела с закрытыми глазами; и открыла их только теперь, когда моя мельница, так сказать, перестала молоть. "Н-да, – сказала медленно, – а у меня что-то побаливает зуб". – "Вам нужно немедленно обратиться к святой Аполлонии[3]", – подал я совет, но получил вместо благодарности только злобный взгляд: "Спасибо вашему прикладу!" – прошипела она (красивый эллиптический оборот).

Постелить постель: Она будет спать на гигантской тахте (шириной метр тридцать!), и: "А я лягу в кухне", – обреченно предложил я. "Хм-хм..." – не без благожелательности откликнулась Лиза: это обещало, как мне показалось, настоящий роман, со всем отсюда вытекающим. "Доброй ночи", – произнесла она очень мягко, предупредительно (а рука уже рассеянно теребила пуговки на груди). – Доброй ночи". – – "Лиза!" – опомнился я в последний момент, но услышал только ее довольное мурлыканье и щелчок задвигаемого засова, а после, уже не прислушиваясь специально, – беззаботные шорохи за стенкой : Волшебство, да и только! Еще сегодня утром – : что утром! : в полдень – ! Внезапно меня накрыла волна невыразимой нежности и блаженства: я поднял голову и светло рассмеялся, стоя посреди обрызнутой той волной комнаты; подскочил к двери, уперся в нее руками и крикнул – ах, что-то совсем несуразное: "Зуб еще болит?!" – "Нет: ни чуточки" – откликнулось с той стороны так быстро и солнечно, и затем последовал такой чудный короткий смех, что все опять стало хорошо. "Доброй ночи: Лиза!" – "До-бро-ночи", – пропело что-то радостно-утомленно примерно оттуда, где, как я знал, стояла тахта; пружины звенели эолово-арфично, волшебно-флейтово, паганинически, music-at-night; пока я наконец не отнял ладони от косяков двери и не уставился – с нежностью – на ее деревянную панель.

Еще раз выйти из дома (проверить паровой котел в прачечной; не слишком ли нагрелся – не натворить бы беды).

Потом – к ее окну (свободной правой рукой урезонить Ветер: чтобы хоть на минутку успокоился) : да, внутри кто-то дышит, равномерно.

1. Аллегорически (*лат.*). Буквальный перевод этих выражений – "в зародыше", "чтобы пользовался дельфин".
2. Перводвигатель (*итал.*). Первым о "перводвигателе" Вселенной, понимаемом как сфера неподвижных звезд или нечто, находящееся за ней, писал Аристотель. В "Божественной комедии" Данте (и в христианской модели мира вообще) "перводвигателем" Вселенной является Бог, Любовь. Шмидт полемизирует с этой концепцией в письме "Господину Данте Алигьери, в Берлин, Имперское управление безопасности, отдел организации концентрационных лагерей".
3. Раннехристианская мученица, жившая в III в. в Александрии, которая считается покровительницей зубных врачей.

Уже восемнадцать градусов! (В 5.30 утра!) Над верхушками сосен туго натянут шелковый девичий платок — голубой со светло-желтым и розовым. В котле вчерашняя вода еще не совсем остыла: и я побрился с комфортом, как король, а в качестве аксессуаров к своей загорелой обнаженной груди выбрал только серые брюки соблазнителя (клеш 30 см) и широкий черный ремень с большой — по пиратской моде — латунной пряжкой (вниз поддел спортивные трусы цвета морской волны: день обещал быть жарким).

Маленькие кулачки забарабанили в дверь:

"Можно и мне помыться?

Который час?

Вы давно встали?"

Я добросовестно ответил на все вопросы, поставил на табурет алюминиевый тазик с водой и от нетерпения стал без толку бегать взад-вперед: cibiat ischtinem[1]: не такие уж большие поверхности ей предстояло помыть (но тут мое внимание переключилось на более актуальную задачу; пожалуй, лучше всего: чай, галеты с повидлом и арахисовым маслом; а пока пусть по-восточному расслабится, понежится вволю!).

Шершавый Ветер молол что-то на ручной мельничке[2] в кустах позади дома; в то время как здесь, в прачечной, зеленоватый мох как бы струился меж светло-желтыми пальцами *ее* ног, невесомо над ним парившими, шевелившимися.

"Теперь нужно будет вдвое увеличить запасы", — сказал я, сияя; я, стоя на коленях перед ней, насухо вытирал тазик, который тоже сверкал в моих руках и казался щитом Гефеста. "Это еще зачем, — возразила она ледяным тоном. — С чего вы взяли, что я останусь?!" И сердце у меня екнуло, пальцы замерли на металлическом ободке; я понурил крупную свою голову и тихо вздохнул: а ведь верно! : Никто не давал обещания, что божественная Диана останется со мной. (Один-ноль в пользу Лизы.)

"Что у нас на завтрак?" Она мечтательно вытянула одну ногу и помахала ею в свежем голубом воздухе; хрустнула пальцами ног (sic!); пропела задумчиво: "Ну, если бы я могла выбирать..." Тишина, вздохи; потом, по-девичьи мечтательно: "Макароны, пожалуй, — пробормотала моя милая фантазерка. — Макароны с сыром; и к ним зеленый горошек. Кусок жареного мяса; кетчуп. А сверху — глазунья из двух яиц!" — закончила, окончательно проснувшись; и по мне скользнул ее отрешенный, исполненный трансцендентной горечи взгляд: "Ну, — сказал я бодро, — макароны, сыр, м-м-м: все это, кроме яиц, у меня есть: идемте же". — "Правда?" — воскликнула она недоверчиво, но уже нетерпеливо качнувшись вперед (и мне пришлось немедленно растапливать печку, а в качестве доказательств представить ей — и открыть — соответствующие консервные банки).

Полдень! Мы стояли друг против друга, держа миски с дымящейся едой, и она по-змеиному шипела: "Срок перемирия истек! Мою винтовку! Патроны!" Я поспешно поставил все эти яства на стол, принес винтовку и подал ей: "Где затвор?!" — выплюнула она мне в лицо

1. Значение неясно. Авторская комбинация из латыни и диалектного немецкого.
2. В Германии камни с выемками называют "мельницами эльфов".

свой яд. "Но – у нас же было перемирие, – пошел я ва-банк, – затвор я спрятал еще вчера!" Тут она неуверенно повела носом: почуяла жаркое! Я предложил: "Перемирие ведь можно продлить!"; и придвинулся к ней почти вплотную: чтобы сильнее почувствовала и мое естество, и аромат мяса! Потом серьезно добавил: "Лиза, – внезапно охрипшим басом, – на сто лет, да?" Она кивнула, не глядя в мою сторону: "Ладно, – выдохнула со странной улыбкой – для начала – на сто лет". И тогда мы с ней торжественно вынесли поднос из дома, торжественно уселись на траве и торжественно принялись орудовать остроконечными и закругленными инструментами – изобретением наших предков. (После, конечно, ей захотелось полежать: "Хоть часик", – попросила она заискивающе и даже коснулась рукой моего плеча. Я нехотя согласился: "Ну хорошо – пока я сосчитаю до 3600"; и был вознагражден: ее рука промедлила три лишние секунды – подушечки пальцев словно проверяли качество моей кожи. Н-да...)

Гроза уже стояла над нашим двором, в виде тяжелых скобяных туч (а воздух был как горячее серое стекло). Все птицы попрятались; только издалека доносились равномерно-визгливые крики двух соек.

Она вышла из дома, в шортах и миниатюрном лифчике; не произнеся ни слова, улеглась на сером одеяле, постеленном у самого края леса, поверх матраса из сосновых игл; повернулась ко мне худенькой спиной, колени прижала к подбородку, крепко стянув руками-ремнями свои голени. За зеленым с резным орнаментом сосновым задником по-ландскнехтски громыхал жестяной барабан; вздрагивал, тяжело дыша, запыленный Ветер; потом черная жара внезапно спала, так что нас обоих пробрал озноб. Еще какое-то время лес подсвечивался сбоку зеленоватым лучом, а взлохмаченное поле перед нами оставалось пыльным и ядовито-желтым; потом купол неба окончательно и беспросветно закрылся, и Ветер-янычар, неуклюже кружась вокруг собственной оси, приблизился – как бы пританцовывая – к нам. Моя белокожая дикарка: он, Ветер, погладил ее по волосам, и я ревниво запротестовал: пусть немедленно оставит свои штучки! Нахал в розово-полосатых шальварах не удостоил меня ответом; а у нее, когда она глубоко вздохнула, еще рельефнее обозначились драгоценные пряжки – ребра.

(Глубокий сумрак): с ее бледным поджаро-натренированным телом я не мог соперничать – и почти задыхался. Дождь, завывая, пронесся над нами и мимо. Наши руки знать не желали никаких пауз; ноги, сгибаясь под острыми углами, вспарывали ночь, которая сразу же опять срасталась; время от времени я безучастно поднимал глаза на деловито стремившийся к неизвестной мне цели караван туч – ветреных обожательниц путешествий :

Платформа Серосвет[1]: Мы помогли друг другу одолеть крыльцо, в одеревеневших ладонях пронесли друг друга по коридору. Мы. Друг друга. По коридору.

Все еще ночь: "Надень как следует плащ!" – приказал я неумолимо; плащ, небрежно наброшенный на ее плечи, непривычно косо и кофей-

1. В рассказе "Либуша" немецкого писателя Августа Музеуса (1735–1787) богемский юноша Крокус влюбляется в дриаду – "серосветлый образ".

но-коричнево маячил впереди. "Я, конечно, сердечно благодарна тебе..." — сказала Лиза с нарочитой угрозой в голосе (но на самом деле растроганная моей заботливостью); ее лицо внезапно приподнялось под моим; и мы обменялись жаркими поцелуями; она обхватила ртом мое ухо и до тех пор нашептывала всякие несуразности, пока мы не занялись ими на самом деле. Потом — опять в теплую ночь; но прежде:

"Послушай-ка: Твой головной платок, — твердо сказал я, — определенно граничит с пиратством (тут она довольно хихикнула), не хватает только кухонного ножа, зажатого в зубах (благосклонно-неодобрительно), бутылки рома и обнаженного торса". Она решительно, с полной убежденностью кивнула: "Все это скорее подошло бы тебе, — пробормотала сквозь остренькие раздвоенные зубки, — ну, посмотрим: может, когда-нибудь после (и скользнула под мою левую руку). Во мне же на самом деле есть что-то цыганское". И я кивнул озабоченно, задумчиво: верно-верно.

So I'm for drinking honestly and dying in my boots. Как старый боевой товарищ Лизы Вебер[1]. Итак: "Bibe Gallas!" ("Bibe Piccolomini"[2], — откликнулась она невозмутимо; того, что однажды постиг, потом вовек не забудешь).

"Кулинарную книгу Откера[3] — вот чего я хочу". ("Varium et mutabile semper femina"[4].) Ты только представь, какие деликатесы я бы могла для нас приготовить!" — "Н-да", — медленно и покорно протянул я, а она рассмеялась и сразу придвинулась ближе: "Должны же мы в конце концов что-то есть", — пробормотала совсем по-домашнему; и: "Сегодня тебе не придется спать на кухне, — вчера я так измоталась..." — доверительно покаялась мне. (Георгины: они — красивые, без фальши; и логарифмы тоже. В ближайшие дни я посвящу ее во все свои секреты.)

"Неужели эти писаки нисколечко не смущались... — спросила задумчиво (лежа под сводами раскидистых сосен) : — когда придумывали такие вот ромáны о будущем?" (Она как раз читала один, из своего рюкзака: Йенс, "Обвиняемые"[5]; дневной объем работ был выполнен: я в очередной раз доставил две фуры с продовольствием; а потом еще в течение часа методически распиливал бревна и колол дрова: зимы нам все равно не миновать.) "Дело даже не в их величавой уверенности в неопровержимости собственных аргументов, — предупредила она мой уточняющий вопрос, — а вот в чем: когда некто, например, пишет, что такой-то вечер в конце июня 2070 года будет погожим..." — тут она умолкла и глубокомысленно

1. "Я ж за то, чтобы честно пить и умереть, не снимая сапог, / как старый боевой товарищ Генри Моргана" — строки из стихотворения английского поэта Джона Мейсфилда (1878–1967) "Конек капитана Стрэттона".
2. "Пей же, Галлас!" — "Пей, Пикколомини" (*лат.*). Маттиас граф фон Галлас (1584–1647) и Октавио Пикколомини (1595–1656) — полководцы времен Тридцатилетней войны, близкие к Альбрехту Валленштейну, но возглавившие заговор против него, закончившийся его убийством. Цитата из трилогии Шиллера "Валленштейн".
3. "Д-р Откер" — крупнейшая немецкая компания, владеющая булочными и кондитерскими.
4. "Изменчива и ненадежна женщина" (*лат.*): цитата из "Энеиды" Вергилия. Эту фразу говорит Энею явившийся ему во сне Меркурий.
5. В романе "Мир обвиняемых" (1950) Вальтера Йенса (р. 1923) описывается тоталитарное государство, в котором все население делится на обвиняемых, свидетелей и судей.

тряхнула головой. "Ну, – осторожно начал я, – может, это успокоительно действует на сегодняшних читателей – когда им объясняют, какая погода будет через сто с лишним лет..."; однако она, Лиза-из-лесных-зарослей, уже успела бросить две лаконичные фразы и, привстав на коленках, с изяществом горностая наклониться над моей грудью: "Что ты хочешь сказать? Ты, филистер?!" (Как быстро – будто инстинктивно – делала она выводы; в том числе и обо мне, ее верном поклоннике.) Одной рукой схватила меня за горло, в то время как другая что-то искала, шаря по земле: "Возьми свои слова обратно! Ты городишь чушь!" – сердилась, давая полную волю своему возмущению, но я только поднял домиком брови и с сожалением покачал головой.

Тогда она драматично вонзила мне в грудь широкое лезвие травяного кинжала, и это у нее получилось так естественно, так разрядило нагнетавшуюся атмосферу, что я – глубоко внутри себя – о многом задумался, хотя на поверхности уже лучился морщинками смеха: настоящая лесная кошка! И я погладил это артистически фыркавшее существо по серой шерстке, да так, что от удовольствия ее шея прогнулась, а рот приоткрылся.

В легких деревянных шезлонгах, на лужайке. Бутылки стояли на земле между нами, празднично посверкивая в последних красно-золотых лучах. Она, положив ноги на удобную скамеечку, медленно курила одну за другой сигареты "Кэмел" (но все бычки благоговейно складывала в консервную банку – выбрасывать их у нее рука не поднималась!).

"Да: таковы мужчины", – вздохнула многозначительно и лениво. Прохлада и тишина... Ярко-синий с желтой оторочкой вечер еще едва начался. Я повернулся к ней: "Оставь все преамбулы, – сказал строго, – и сразу переходи к сути: каких мужчин ты считаешь более других наделенными истинно мужскими качествами? – И прибавил, чтобы принудить ее к скорейшему ответу: – Ну?" Она взмахнула книгой в плакатной обложке, и я мельком увидал примитивную картинку. "Ах вот как, – сказал упавшим голосом, догадавшись, что Лиза держит в руках мой же экземпляр Хемингуэя. "Фиеста" и "Иметь и не иметь". – Не-е, – отклонил я такой выбор, – сам я предпочитаю вершины американской литературы, По и Купера: зачем мне это выпавшее из общей цепи звено?" – "А Вулф и Фолкнер?" – "И без Вулфа с Фолкнером обойдусь". Она пару секунд смотрела на меня, раскрыв рот, потом провела рукой по обложке: "Но ведь его романы и мужественны, и полны жизни", – сказала с обидой. "А в этом, который ты сейчас читаешь, больше стрельбы? – полюбопытствовал я. – Или же бокса: потешного мордобития? Мир, состоящий исключительно из барменов, торговцев живым товаром и бывших солдат; ни одной девушки, которая при ближайшем рассмотрении не оказалась бы нимфоманкой; и бесконечные гонки на автомобилях: хороша, ничего не скажешь, его Америка!" Однако Лиза уже беспечно болтала ногами: думать вообще утомительно, а главное, для этого нужен покой, особый душевный настрой. Она вздохнула. Потом запустила в меня еловой шишкой; тихо сказала: "Брось мне ее обратно; хочу с ней поиграть..."; после чего опять углубилась в соблазны Нового Света. ("Каким же силь-

ным он, наверное, был..." — ну в точности как госпожа Салабанда из "Абдеритян"[1]!)

Предложение: "Лиза: а не раздобыть ли нам в Гамбурге парусную лодку? Чтобы потом оснастить ее и отправиться путешествовать по всему миру?" (Ибо она, Лиза, определенно относилась к цыганскому типу.) Но меня самого, если уж говорить начистоту, такая идея не особенно привлекала (с морем я близко познакомился 3 года назад, на норвежском побережье, и с тех пор не очень доверял прогнившим парусным ботам: тем не менее я ей это предложил). Но она лишь задумчиво-протестующе качнула головой (умная: знает меня). В это мгновение светло-желтый треугольник вдруг вынырнул на горизонте — латинский парус над невидимым кораблем; и она исподтишка проводила его глазами, затуманившимися тоской: разве ей мало нашего штельлихтского леса? И зарослей орешника: или они уже не полнятся маленькими тенями? (Сигареты "Кэмел": ей уже не доставляет удовольствия их вкус? Где-то на задах моего сознания все это как-то рифмовалось с мыслью о спаривании[2]...) Небесный лоцман причалил свое судно к далекому сумрачному берегу; моя же беспокойная пассажирка закинула руки за голову и стала напевать, тихонько и по-вечернему небрежно, то и дело сбиваясь с ритма: "Вашу руку целую, мадам..." (как в 1930-м: где мои молодые годы?!!). "А в мечтах своих вижу губы"[3]: ну, за этим-то дело не станет. И я неуклюже поднялся на ноги. (Ночь будет холодной; а после — период дождей.)

У Лизы сегодня выдался "порядочный" день: уже за завтраком она с многозначительным видом отодвинула в сторону две чашки и пожелала, как добрая матрона, накрыть стол по всем правилам, того и гляди она еще попросит у меня вязальные спицы... Я в хмуром молчании пил чай, а когда она, перевернув вверх тормашками один из стульев, взгромоздила его на мой письменный стол, до меня наконец дошло, что у нее на уме: генеральная уборка! Открывание окон, подметание, вытирание пыли, хождение за водой, отскребание пола, опять хождение за водой, о любви вообще не было сказано ни слова, только: вытряси, мол, покрывало, — я лишь походя, выполняя это поручение, с тяжелым вздохом бросил взгляд на тахту; но она заметила — и лицемерно-коварно предложила выколотить пыль из тахты: "Я тебя правильно поняла, дорогой?" И мы с ней артистически выпороли ни в чем не повинный предмет мебели, так сказать, в благодарность за дарованный боженькой погожий денек и — per ben fare[4]. (Но шихтова-

1. Речь идет о романе немецкого писателя Кристофа Мартина Виланда (1733–1813) "Абдеритяне", о том эпизоде, где женщины обсуждают достоинства Гиперболоса, творца "национального героического эпоса". Прекрасная Салабанда как раз сомневается в том, что такой поэт должен обладать исключительной мужской силой, и приводит пословицу: "Хороший хвастун — плохой вояка".
2. О "спаривании" идет речь в романе К. М. Виланда "Аристипп": там приводится точка зрения Платона, согласно которой человеческий род нужно культивировать, как породистых животных, а потом говорится, что ко всему, связанному с человеком, точные законы неприменимы — все это "предметы, к которым не приложишь ни измерительный шнур, ни угольник".
3. Немецкий шлягер, слова и музыка Детлева Лаиса.
4. И хорошо сделали (*итал.*).

ло оттуда так, что мне и вправду стало не по себе – вечером надо будет, по крайней мере, устроить баню, достойнейшая моя диктаторша!)

"Намылил бы ты мне спину..." – попросила банно-расслабленно; и я дал своим рукам волю: осторожно блуждать по выпуклым белопенным поверхностям; нащупал лопатки, тонкие ребра, еще кое-что. – "М-м-м", – лениво и сладострастно пробормотала она, что означало: повторить еще раз, da capo al fine[1]; – "Но спереди я уже..." – с запозданием запротестовала чертовка (лишь после того, как я успел-таки пару раз забраться... чересчур далеко).

Когда мы чистили грибы: "Завтра у меня день рождения", – явно нервничая, призналась она (то есть 22.8; в каком году она родилась, я, как джентльмен, уточнять не стал: ибо "50" звучит как-то уж слишком... она, наверное, предпочла бы, чтобы я думал, будто ей не больше 35); "а мой теперь – только после Нового года, 18.1[2], – ответил я доверием на доверие. Так слушай: давай устроим завтра большую оргию". Ножи наши проворно мелькали в воздухе, но тут Лиза подняла свой широкий лоб: "Тогда я хотела бы получить от тебя в подарок...", – обронила и невозмутимо ждала ответа; "Ну же: Лиза, – тотчас с княжеским великодушием откликнулся я. – Все, что могу: ты только намекни – : – ?" – "Честное слово?!" – спросила недоверчиво, и я скептически поджал губы: чего такого особенного могла бы она пожелать?? "Не глупи! – оборвал я странное препирательство. – Просто скажи, чего хочешь, и я это сделаю. Ну?!"

Она удалила с лесного шампиньона praeputium[3], обрезала краешек шляпки и пододвинула изувеченное грибное тельце ко мне ("Ох уж эти слизни!" – пробурчала сердито и подула на спороносный слой следующего): "Ты должен будешь рассказать мне о своем детстве: где и как ты рос – о родителях и так далее". И холодно посмотрела на меня: такого я не ждал! Я совершенно растерялся; почесал в затылке; и взмолился: "Лизонька! Дорогая: может, я лучше подарю ~~тебе~~ венок сонетов: подумай: 14 штук, и 15-й, самый изощренный, целиком состоящий из строчек остальных? Только вообрази, что это будет!!" Теперь пришел ее черед терзаться сомнениями: "Венок сонетов?" – переспросила заинтересованно; и, не переводя дыхания: "Такого мне еще никто не дарил. – Хм..." Соблазн был действительно велик, потакал ее тщеславию. "Черт возьми!" – она беспокойно заерзала на стуле и бросила на меня горестно-обиженный взгляд.

Но через 20 минут решительно поднялась, достала два игральных кубика (этому способу выбирать один из двух вариантов научил ее я), и в пользу венка сонетов выпало 8 очков (увы!); в пользу же воспоминаний о детстве – 11 (хотя этот кубик "сгорел"; то есть он явно упал не на ровную поверхность, а на ошметок грибной кожицы!). Итак:

1. С начала до конца (*итал.*).
2. 18 января – день рождения самого Арно Шмидта.
3. Крайняя плоть (*лат.*).

22.8: тараттаттааааааа!!! Я приблизился к В-Меру-Принарядившейся, произнес небольшую речь и подвел ее к подаркам: там были: картина Фейербаха[1] "Лютнистка" (из Гамбурга); новый бинокль с 12-кратным увеличением, лейтцевский[2] (а у нее имелся обыкновенный, с 6-кратным); большой кольт (среди прочего оружия необходимо иметь и надежный револьвер; пистолеты слишком сложны в обращении); несколько книжек: 2 Купера (правда, в немецком переводе), "Королева Виктория" (женщин всегда интересуют подобные вещи) и виландовский "Дон Сильвио из Розальвы"[3]. Она растроганно и радостно поблагодарила меня (но когда я награждал ее официальным поцелуем, коварно-изысканно подставила мне свой язычок, quite unladylike[4]), а потом указала тонким, без украшений, пальцем на 10 исписанных листков: "Это и есть твои мемуары?"; и в ответ на мой молчаливый кивок снисходительно заметила: "Не густо, дорогой". А потом мы устроили symposion[5]: "Разом в отверстья горнильные двадцать мехов задыхали, / Разным из дул их дыша раздувающим пламень дыханьем"[6] (ей очень понравился громоподобный ритм этих строк: "Сам он в огонь распыхавшийся медь некрушимую ввергнул"[7]; она удовлетворенно кивнула: "kai tote de chrtseia pater etitaine talanta"[8]: ибо в тот момент сама взвешивала муку и сверкающий мусс в двух чашках).

Золотисто и знойно истекала вторая половина дня : "На следующей неделе будем копать картошку", — ворчливо напомнил я; но она лишь недовольно наморщила свой именинный носик и беззаботно сложила руки перед тимпаном. Немного ветра (и белые снежинки — овцы — у подножья лесистого Арсенского холма: увидеть их можно только с помощью нового лейтцевского бинокля, с 12-кратным увеличением: прибор ей определенно понравился!).

Вечер. Распахнуты окна: я еще немного посетовал на свою участь, а потом все-таки решительно протянул ей листки — мужчине подобает держать слово — и она погрузилась в чтение (удобно устроившись в кресле под торшером, вся уже процелованная): моих мемуаров. Мне же позволила молча при сем присутствовать, наблюдать.

...эта гостиная не замыкалась в себе; потому что, хотя такое случалось редко, можно было, пройдя ее насквозь и миновав плотную сумрачную завесу из уродливых телесного оттенка гардин, очутиться на твердо-зернистом балконе, который на уровне третьего этажа выступал, в виде примитивного каменного ящика, из стены доходного дома. Балкон казался таким тяжелым и мрачным из-за ограждавших его сплошных боковых стенок толщиной с ладонь, что ступить на него получалось только на цыпочках, да и то —

1. Скорее всего имеется в виду Ансельм Фейербах (1829–1880) — немецкий художник XIX в., писавший картины в основном на античные сюжеты.
2. "Лейтц" — немецкая фирма, производящая видеоаппаратуру и бинокли.
3. "Победа природы над мечтательностью, или Приключения Дона Сильвио из Розальвы" (1764).
4. Совсем не в духе настоящих леди (*англ.*).
5. Пир (*греч.*).
6. Илиада. Песнь восемнадцатая, 470–471 (перев. Н. Гнедича).
7. Там же, 474.
8. Продолжение предыдущей строки (по-гречески); в переводе Н. Гнедича: "Олово бросил, сребро, драгоценное злато" (строка 475).

преодолевая мгновенный сбой собственного сердца, робко предлагавшего добровольно спрыгнуть в шахту переулка, чтобы не пришлось обрушиваться туда вместе с бесформенными каменными обломками.

Правда, зеленый ящик для цветов, прикрепленный снаружи, очень привлекал; но он ведь стоял на краю; с убогой порослью сорной травки, которую глупые взрослые тщательно выпалывали бесчувственными своими руками, безнаказанно; тупорукий народ.

Так "балкон" положил начало странным мечтаниям о полете, в которых удавалось оставить за спиной оравших или приглушенно переругивавшихся родителей и, оторвавшись от угла дома, плавно помавая руками, парить — соскальзывая по диагонали вниз — над безлюдными серо-ночными улицами, не очень, впрочем, далеко; потом приземлиться где-нибудь между проспектом Кентцлера и Луизенвег — после чего шагать, все еще чувствуя себя как бы парящим в воздухе, под серо-кудреватыми шарообразными кронами предрассветной аллеи (в направлении школы Хаммервег)...

...*таким пустым и светлым* казался мир с его вместительными пространствами и чистой, холодной игрой красок. С широкого деревянного моста — смотреть вниз, на железнодорожные пути, которые с возбуждавшей неумолимостью прямолинейно, словно натянутые струны, убегали к блеклому горизонту; комковатая поверхность полей в самой дальней дали сливалась с небесной синью; ягоды огненными гроздьями висели в колючепроволочных рябиновых кустах; соцветья тысячелистника — тоже из проволоки, но золотой — наклонялись над полями; и повсюду порхали волшебно-цветастые листья, ветер тихонько гудел меж красными ветвями. Белые особняки безмятежно покоились за отторгающе-орешеченными садами, вдоль безлюдных пригородных дорог; в прохладном вечернем золоте шуршали чьи-то шаги. И часто, стоило только поднять с земли разлапистый желтый лист с гибким холодным черенком, под ним обнаруживался красный искристый каштан: в сем благородном жилище обитал крошечный лесовик, облаченный в пурпурную мантию. Потом налетал порывистый холодный ветер, переворачивал на ходу пришедшие в движение листья, и становилось очевидным, что и ветер тоже — самостоятельное живое существо, одно из многих, населявших этот большой суматошный пригород. Длинными вереницами проходили дети — чаще всего их вела какая-нибудь девчушка постарше — по тихим пустым улицам, вдоль зеленовато-желтого небесного задника, неся в руках пестрые ребристые шары: бумажные фонарики, внутри которых излучали свет маленькие горки воска.

Однажды вечер оказался чужим и льдисто-ранящим; и таким высоким, что небо, красивый оберегающий свод, вообще исчезло. Равнодушнее камней были бессчетные яркие звезды, ловко и насмешливо поддевавшие друг друга лучами; зачем, в самом деле, обменивались они этими многозначащими взглядоуколами, пока кто-то пытался согреть маленькие окоченевшие руки возле уличного фонаря? Все стало таким отчужденным.

А наверху были светло-желтая теплая кухня и горячий чай, мальчик пил его, сидя у железной плиты, в то время как остальные —

взрослые — степенно беседовали и обменивались незамысловатыми шутками. И всегда удивляло, как это они — существа с базальтовыми душами, но теплыми руками — не замечают, что, стараясь сделать свою жизнь хоть сколько-нибудь сносной, откалывают от мира маленькие кусочки — комнаты. Откуда черпали они эту отвратительную самоуверенность, это мертвящее беспамятство, не позволявшие им услышать доносившиеся из печи торжественно-мелодичные призывы (неизвестных высоких и низких голосов, которые — бесстрастно и меланхолично — передавали из омутов ночи непонятные сигналы; вежливые, но невнятные сообщения, протестующие); или то, как снаружи благородные деревья в отчаянии откидывались назад всем своим жилистым телом, уклоняясь от внезапно налетевшего ледяного ветра; или — как металлические звездные стрелы великолепно и смертоносно летели из Ничто в Ничто, from the Alone to the Alone[1]? Они, взрослые, вечно проводили границы внутри и вокруг себя; вечно все измеряли и взвешивали: но как же быть с Безмерным? с Не-Подлежащим-Взвешиванию?

(Поскольку сам мальчик не находил в себе никаких границ, он ненавидел все границы и межевые столбы — а также тех, кто их устанавливал.)

...*Аккуратно допив* свой жиденький чай, с дразнящим привкусом сахара в самом последнем глотке, он опускал чашку на детский столик и потом долго смотрел сквозь скудное пламя, как удлиненный угольный брикет — матово-черный кирпич — превращается во что-то совсем иное. Тонкие красные трещинки проникали в него со всех сторон, а сверху уже лежал слоисто-белый налет пепла, над которым порой беззвучно взвивались крошечные — голубоватые со светло-желтыми кончиками — языки пламени: когда из темных неведомых горных недр устремлялись наружу газовые потоки. И тогда на мгновение можно было вообразить, будто ты стоишь у подножия отвесной скалы и заглядываешь в уходящую глубоко вниз расщелину, на дне которой пылает пожар; или что путешествуешь по красным каменистым нагорьям, по раскаленным пескам пустынь; или что осторожно опускаешь свой бумажный кораблик на еще черные угли и с замирающим сердцем ждешь, когда же красное море беззвучно обрушится на уже обуглившуюся палубу, неся гибель наколдованным тобой морякам.

Серо-коричневая диванная обивка — и он оглядывал снизу вверх, сверху вниз старомодную высокую спинку: при газовом свете, когда по ворсистому, местами уже совершенно истершемуся плюшу плясали дикие тени, он иногда брал три швейные булавки, к ним еще обрывок нитки длиной с палец, и заставлял своих булавочных человечков — начиная с самого низу, где сиденье и спинка соприкасались — карабкаться вверх по отвесному диванному склону: и вскоре сам уже ощущал себя одиноким путником, затерявшимся в не-

1. От Одинокого к Одинокому (*англ.*). Перевод названия одного из разделов "Эннеад" Платона (205–270), где в частности, говорится: "Такова жизнь богов и богоподобных и благословенных среди людей... жизнь, не ищущая удовольствий в земных делах, полет "Одинокого к Одинокому".

описуемом горном мире, среди гремучих осыпей, под скальными козырьками, с которых свисал, раскачиваясь, его прочный канат.

...*большое солнце*, ярко-желто-красное, взошло и засветило сквозь замерзшие стекла, и, поскольку кухня еще как следует не прогрелась, на них сразу начало разворачиваться волшебное действо.

Он повернул голову и позвал свою мать, которая что-то готовила на плите и одновременно месила желтоватое тесто: "Мам!"; потом показал на окно — туда, где тянулись вверх, причудливо изгибаясь, ледяные растения с серебряными тенями. Мать поспешно приблизилась — до межевого столба, на мгновение заглянула в посветлевшее детское лицо, быстро сказала: "Хм — это ледяные узоры"; и опять, положив руку на газовый вентиль, стала следить за закипавшим варевом. Мальчик тоже увидел, как из загадочных недр большой кастрюли начали выскакивать на поверхность горячие пузырьки, как барашки волн внезапно устремились от краев к центру, после чего, тихонько зашипев, опять опали. Тогда он вернулся в заиндевелый сад, прошел вдоль шеренги лиственных деревьев с изогнутыми, как пластинки вееров, роскошно оперенными ветвями: по узкой белой тропе, которая — он это отчетливо видел — вела к большому замерзшему озеру, и там, по дальней кромке, катилось розоватое солнце.

Он очень хотел бы знать имена этих гордых чужеземных растений — нет, не то, как их называют люди, а нечто совсем другое; он уже замечал, что люди могут называть вещи и правильно, и неправильно. Слова "ледяные узоры" ничего ему не говорили; потому что наверняка каждый из этих "узоров" обладал отдельным, собственным именем: но такая мысль не принесла ему облегчения; наоборот, он с ужасом вспомнил о том, что и летние цветы, травы, или даже высокие деревья, как ему объяснили, не имеют личных имен. В подъезде ему часто встречался один крупный, бородавчатый господин с зычным голосом и кирпично-красной физиономией, которого звали Пфайфер: почему же этого человека величали г-ном Пфайфером, тогда как шесть стройных, любимых тополей, росших на Крестьянской горе, с их трепетными листьями и красивыми длинными ветвями, имен вообще не имели? Он не собирался "давать" им никаких имен; ему только хотелось узнать настоящие!

Он еще раз посмотрел на окно и с удивлением обнаружил, что уже не гуляет по саду, а опять сидит на высоком раскладном стуле; недвижный и матово-серебристый, маячил в отдалении волшебный сад, будто чего-то ждал...

Чашка вдруг материализовалась в воздухе (я это не сразу заметил), и ею нетерпеливо качнули, туда-сюда, не отрываясь, впрочем, от чтения; что означало: "хочу еще"; ну и славненько: я придержал рукой неустойчивый предмет вместе с обхватившими его прозрачными пальчиками и налил чаю. "Pre..." — начал было; но чашка уже перестала качаться, и я только порядка ради шепотом договорил: "...caucion"[1]. (Она хорошо смотрелась в этих угловатых очках и в

1. "Осторожно!" (*исп.*).

длинном облегающем платье; правда, после 8 лет вынужденного воздержания немудрено в любой женщине увидеть Елену, напомнил сидевший внутри скептик.) Вероятно, ее мнимый интерес к этим записям проистекал из желания сделать мне приятное.

Она медленно наклонила голову и, не взглянув на меня, взялась за следующий лист.

(Подобные вещи никого не интересуют.)

Полночь давно миновала: она тщательно сложила листки, но из руки не выпустила. Я стоял у окна и смотрел, как Месяц — четвертинка луны (он сейчас *crescit*[1]: и лжет) — медленно, ссутулившись, крался по-над лугами; луговой Месяц — сквозь осеннюю тишину; все часы когда-нибудь истекают; одним из бессчетных духов хотел бы я быть: парящим над осенним лугом — именно таким, таким же росистым представлялся мне райский сад. *Она* остановилась у меня за спиной, запутавшись в занавеске; положила руку мне на плечо: "Тебе это далось трудно?" — спросила с отсутствующе-деликатным видом; я, естественно, ничего не ответил, и мы долго слушали, как вокруг дома о чем-то шептались сосны.

Позже, когда мы прогуливались по дороге: "Я все-таки не могу остаться, — сказала ни с того ни с сего, — я хочу разыскать других выживших". Холодная ночь. Я ответил, растягивая слова: "А если никого не найдешь?" (Свернули у железнодорожной насыпи; постояли немного; Месяц медленно погружался в пучину хвои, в пенисто-туманную накипь: это существо, вообще серебристое, стало теперь багряным, нижнее его острие уже исчезло, скрылось под поверхностью сизого потока.) "Что ж, тогда я вернусь", — обронила она, будто утешая меня, и вздохнула. Печально и красиво.

Тихое дно той же туманной бездны, Остермоор: и мы молча выкапывали картофель. Земля — черно-красная, как тлеющие уголья; от перебирания холодных комков наши руки сделались винно-красными, с пятнами налипшей грязи; под ногтями — теперь черными по краям — неприятно давило что-то туда набившееся. Облачный пожар быстро догорел, место пожарища подернулось пеплом; только трава под нашими ногами все еще оставалась холодной и предзакатно-зеленой — пока я завязывал шишковатый мешок. Непривычная свежесть разлилась в воздухе, кусты мелко подрагивали, взвихривая черные листья. Осенняя целительная тишина обволокла "всю" землю.

Она спросила: "А зачем, собственно, ты до сих пор пишешь? Зачем вообще писал книги?" (Ответ: "Чтобы зарабатывать деньги. Слова — единственное, в чем я что-то смыслю". — "Неправда!" — запротестовала она. Раньше бывало и по-другому: "Ну и еще, конечно, мне просто нравится фиксировать в словах картины природы, разные ситуации, потом из этого словесного теста лепить короткие истории...")

Тут она стала насвистывать марш финских кавалеристов: pürpürpü: pürpürpü: pürpürpürerürpürpü (og frihet gar ut fra den ljugande pol[2]); потом, нахмурив лоб, сказала: "Значит, никогда — для читателей, так? Ни-

1. Растет, увеличивается (*лат.*).
2. Условно-скандинавское, что-то вроде: "Свобода проистекает из резервуара лжи".

когда — ради какой бы то ни было просветительской или "нравственной" задачи?"

"Для читателей?" — переспросил я с глубочайшим удивлением; да и выражение "нравственная задача" было мне, мягко говоря, в новинку. "Я имела в виду... — попыталась она меня успокоить, в то же время мягко настаивая на своем, — так ты мне ответь: — ?" — "Я всегда с воодушевлением читал Виланда: а также По, Гофмана, Сервантеса, Лессинга, Тика, Купера, Жан Поля — и иногда задумывался: доставили бы им удовольствие мои книги; или: Альфреду Дёблину, Йоханнесу Шмидту[1]? Думал ли я о "читателях" вообще?? — Нет!!" (Такого понятия для меня не существует.)

"Почитание героев? – я презрительно фыркнул: — Девочка! Если бы ты прожила с таким типом, как я, столько времени, сколько я жил наедине с собой, ты бы уже не верила ни в каких героев (ну, разве что в очень-очень немногих — однако все они, могу тебе гарантировать, давно мертвы)". Все-таки я попросил: "Лиза: останься!", но она уже была далеко, нас разделяли 10 прорезавших ее лоб морщинок; и она опять наполняла проволочную корзину светло-каменными нежными клубнями.

Frost at midnight[2]*:* среди ночи ударили заморозки, деревянная комната стала бело-черной от выкрутасов Месяца; в печи дремала последняя красная искра. Мы проснулись от холода, и Лиза остро вбуравилась в меня своим — любимым мною — плечом. Я один раз провел ладонями — по всему, сказал: "Пойду разведу огонь", поцеловал ее непроснувшиеся волосы и поплелся в пижаме: полосатый, как каторжанин, к благословенной печке. Теперь кроме печки я благословлял и все те вечерние часы, когда колол дрова или пилил бревна; я похватал иссеченные тенями чурки, быстро и искусно разложил их вокруг красной жирной точки, подул на эту точку из дельфиньей своей, сонной пасти — и пламя сразу взметнулось к железному своду очага, алчной тоненькой струйкой потянулось в дымоход; но тут голова моя стукнулась о холодную грудь, и я побрел назад, к Лизе.

Через 15 минут нас уже захлестнула волна тепла. Лиза постанывала умиротворенно и растительно, почти безвольно (и я еще раз на цыпочках отошел от нее, чтобы подтолкнуть к середине буковые поленья). Потом мы с ней стиснули друг друга руками и переплели ногами, спокойно и основательно. Когда согрелись по-настоящему, она — уже бодрым голосом — предложила:

"Вставай: пойдем можжевельничать!" Я повиновался без возражений, поскольку Месяц в ту ночь и меня сводил с ума; сосредоточенно нахмурив лбы, мы быстро оделись и потом один за другим прошли сквозь дощатые стены.

Месяц в можжевельнике: сверкал и белоголубил так, что света нам более чем хватало. Вокруг стояли черношелковые растения, застывшие в дивительных позах ("у" здесь пропущено ради сохранения ритма). Еще раз: Лиза вернулась в дом, чтобы принести бутылки. Мы

1. Йоханнес Шмидт — организатор производства на текстильной фабрике "Грайфверке", с которым Шмидт подружился в 1937 г.; оба увлекались математикой и астрономией.
2. "Мороз в полночь" — название стихотворения С. Т. Колриджа.

пили, сидя на сосново-игольчатом паркете, тихо и без лишних слов.

Вдруг ее шея напряглась, и знакомый голос произнес: "Я уезжаю". Я увидал, как кусты вокруг дернулись, потом снова оцепенели; я сам схватился за ближайшую ветку: "Как это?" — спросил сухо и без- — —. В глаза блеснуло зеленое бутылочное стекло: "Потому что мне слишком хорошо с тобой", — пронеслось, как выдох, над тремя пятнами мха. Я одним звериным прыжком настиг Белокожую, вкогтился в нее: "Лиза!!"

Я ей сказал: "Лиза : ..."

"Меня бросает в дрожь от одного вида брошенной тобою одежды. А сердце бьется как Птица-Найденыш[1], стоит мне только подумать о твоем имени: мы с тобой могли бы жить как принц и принцесса. Разве нет, моя Шам-Пиньон?"

Она ответила резко: "У меня нет туфель". (И правда: она была босая!) Я распахнул куртку и прижал ее маленькие ступни к своей груди, накрыл ее коленки ладонями. Трактирщик-Месяц пролил на нас сверху бешамель; рука, лежавшая справа от нее, была желтой, другая, слева — расчерченной полосами теней: и они, эти руки, поднявшись, прикоснулись ко мне. Я растер ей колени и хотел придвинуться ближе; но она, напружинив ноги, меня оттолкнула.

"Завтра я уезжаю: это последний срок, иначе я здесь совсем расслаблюсь. Ты ведь сильней меня". Она поднялась; и сказала спокойно: "Помоги: проверь то колесо и прицеп; пока я оденусь".

Колесо накачано; прицеп привязан. Я вернулся в дом; она стояла на кухне и собирала рюкзак, набивала его бутылками и консервами. Я ей крикнул: "Останься!" (так пронзительно охнуть могла бы только стеклянная или луженая глотка).

"Лиза!" — но бечева все так же бесстрастно завязывалась в узлы, шелестела... Тогда я вышел во двор и стал бездумно смотреть, как на земле образуются кристаллики инея.

В плаще и кепке спустилась она с крыльца, схватилась за руль велосипеда. Сделала еще один жадный глоток, после чего предложила остаток мне; и я поцеловал, дрожа от холода и тоски, холодный и влажный бутылочный рот, холодный и повлажневший от шнапса рот женщины.

"Иначе нельзя! — сказала она не терпящим возражений тоном. — С тобой я буду — не знаю, как объяснить — все больше похожей на классическую домохозяйку. Наверняка все дело в моем цыганском характере и через 8 дней я пожалею о том, что сделала. Но ты-то ведь останешься здесь, и я всегда буду помнить, что в любой момент могу вернуться к тебе как в последнее прибежище: — ?!" Она подала мне руку над велосипедной рамой, но я, качнувшись вперед, обхватил ее за шею и целовал все, что мне попадалось, пока мы едва не упали вместе с велосипедом.

"Я сумасшедшая! — сокрушалась Лиза. — Но ведь невозможно перечить своей натуре. А я, увы, пережила 3 войны и превратилась в пере-

1. В подлиннике: *Fundevogel.* Так звали героя одноименной сказки братьев Гримм, мальчика, которого нашли на дереве и который полюбил дочку своих приемных родителей, а потом вместе с нею спасался бегством от кухарки-ведьмы, пытавшейся его убить.

кати-поле...” Оборвав фразу, вдруг деловито скомандовала: “Теперь отойди назад. К кустам”. Я повиновался. Она как ни в чем не бывало влезла на велосипед и напоследок еще раз оглянулась:

Луга тихо и воздушно сияли в раме из черно-пенистых сосен. Месяц теперь был замковым камнем накренившегося небесного свода. Я сказал механически: “Ты взяла спички – а, Лиза?” Она словно пробудилась от сна и озабоченно откликнулась: “Забыла! Сходи, принеси мне: ну?!”

В доме: куда они подевались?! Я расшвыривал содержимое ящиков, упаковочную бумагу: где они, черт возьми!!

На дворе: Ее уже не было! Конечно! И я стоял, опустив голову, заточенный – так мне казалось – внутри прозрачного синего кристалла. С дурацким лицом. Посреди растений. Сжимая в руке ненужный коробок спичек.

Ближе к утру появились облака (и пролился дождик). В посвежевшем воздухе потянулась навстречу мне желтая струйка дыма: что-то не в порядке с печкой! Тогда я покинул лес и направился к дому: последний человек...

Еще раз поднять голову: вон Он, зеленый, среди алых рассветных облаков. Иней раскинулся в луговых травах. И Ветер тоже уже здесь. Ветер.

Об универсуме как продолжении системы органов чувств

Когда читаешь книги Арно Шмидта, запоминается прежде всего иллюзия (иллюзия ли?) живого присутствия этого человека, его неповторимого голоса, твоего с ним доверительного разговора. Разговора порой раздражающего, потому что непонятно, с чего он взял, что его читатель должен одинаково хорошо разбираться во всех тех материях, которые нравятся ему, Шмидту, — в математике и астрономии, геодезии и картографии, нескольких мертвых и живых языках и многом другом. На это он — устами рассказчика “Черных зеркал” — отвечает: “Я всегда с воодушевлением читал Виланда, а также По, Гофмана, Сервантеса, Лессинга, Тика, Купера, Жан Поля — и иногда задумывался: доставили бы им удовольствие мои книги; или: Альфреду Дёблину, Йоханнесу Шмидту? Думал ли я о “читателях” вообще?? — Не-ет!! (Такого понятия для меня не существует)”. Раздражаешься и потому, что герой Шмидта произносит человеконенавистнические тирады, позволяет себе очень нелицеприятно — несправедливо, думаешь ты, — высказываться о религии, о классиках немецкой и не немецкой культуры (о Рильке и Хемингуэе, например; или, в другом романе, о Гёте), а сам автор вытворяет невообразимые вещи с немецким языком и даже правилами пунктуации, разбивая свои предложения на фрагменты, связи между которыми придется разыскивать, восстанавливать тебе — “прикладывая” эти куски один к другому и так и этак, убеждаясь по ходу дела в их многозначности. Но почти сразу же, к счастью, приходит в голову мысль, что нелепо с твоей стороны было бы указывать Шмидту, о чем и как говорить, — ему, человеку другого поколения, прошедшему через войну и пережившему послевоенную разруху; ему, словесному чародею, чьи истории никогда не надоедают, ибо они устроены как лабиринты и за ними открываются все новые и

новые пространства. Лучше прислушаться, постараться вдуматься в его, твоего собеседника, слова. Тогда сделается очевидным, что никакого цинизма или человеконенавистничества в книгах Шмидта нет и в помине, а есть желание подвергнуть жесткой проверке все ценности европейской культуры, утратившие свою незыблемость в ходе Второй мировой войны; что герои шмидтовских книг, несмотря на будто бы присущий им эгоизм и категоричность суждений, нередко опровергают друг друга и самих себя, способны отказываться от однажды заявленных позиций и, главное, прежде всего заняты тем, что ищут и находят способы построить разумную, достойную человека жизнь. Шмидт, между прочим, не просто рассчитывал на "идеального" — вдумчивого и образованного — читателя, который со второй, с третьей книги привыкнет к его литературным аллюзиям, но, по мере своих сил такого читателя готовил, доступно и увлекательно рассказывая о значимых для него авторах. Эти рассказы, так называемые "беседы в библиотеке", в 50—60-е годы регулярно транслировались по западногерманскому радио и действительно способствовали возрождению интереса к литературе, к незаслуженно забытым именам... Так протекает этот странный диалог с живым голосом умершего, а через несколько лет может оказаться — как в моем случае, — что и своей переводческой профессии ты учился именно у него (он же делился с тобой своим опытом переводчика — очень всерьез, очень подробно — в романе "Сон Основы", который считал для себя главным, и не только там) и даже полюбил и стал переводить именно тех писателей, к которым привлек твое внимание он.

Если бы ко мне обратились с невыполнимой просьбой: объяснить в двух словах, о чем писал в своих книгах Арно Шмидт, которого критик Петер Хакс назвал "лучшим немецким эпиком второй половины XX века", я бы, пожалуй, сказала, что он писал о *несвободе* (с которой сталкивается любой человек) и о *свободе* (обретаемой, как он считал, только ценой постоянных усилий). Петер Хакс обосновывает свое мнение двумя аргументами: "[Шмидт] заслуживает такого определения, потому что в четырех своих самых важных романах трактует главную для Германии тему, а именно тему борьбы между американцами и русскими, и потому что пишет на единственном языке, достойном того, чтобы его именовали немецким: на полновесном немецком. Каждое немецкое слово, изобретенное со времен Лютера, для него является частью повседневной речи".

Это суждение представляется мне не то чтобы неверным, но — не исчерпывающим. Арно Шмидт очень остро и негативно реагировал не только на ситуацию послевоенной разделенности Германии, двух частей единой прежде страны, судьбы которых в эпоху "холодной войны" роковым образом зависели от перипетий борьбы между двумя сверхдержавами, Америкой и СССР, но и вообще на все "прелести" несвободы, которые "подарил" человечеству (или унаследовал от прошлых веков) XX век: на необходимость отупляющего фабричного труда, на воинские призывы, на растворение индивида в массовом обществе с его мощными средствами нивелирующего воздействия на человеческую психику. Между тем сам Шмидт не пережил каких-то чрезвычайных несчастий. Скорее можно сказать, что он сильнее других чувствовал наиболее распространенные, типичные, очень многими людьми пережитые, а потом благополучно забытые — вновь и вновь забываемые — проявления несвободы: такое, например, как оторванность (в результате миграций беженцев, государственной политики и пр. и пр.) от своих корней. Или: необходимость зарабатывать себе на жизнь тяжелым и, главное, нелюбимым трудом. Или: несвободу ребенка, целиком зависящего от произвола взрослых... Кульминацией этого опыта несвободы — засасывающим водоворотом душевной травмы, о которой Шмидт практически никогда не высказывался напрямую, — стали его впечат-

ления от пребывания на фронте и потом в брюссельском лагере для немецких военнопленных. В "Черных зеркалах" есть такая фраза:

...жиденький маргариновый свет падал на портрет унтер-офицера, висевший рядом с дверью: благодарность отечества: еще в старые добрые времена после Первой мировой: шарманка и табличка на шее — "Остался без пенсии".

А недавно был впервые опубликован хранившийся в архиве Шмидта фрагмент "Брюссель" 1948 года, который представляет собой воспоминание о реальном пребывании Шмидта в лагере и в котором, в частности, говорится:

12 мая. [...] Стоявший за моей спиной [во время вечерней поверки. — *Т. Б.*] Дамм сухо проронил: "Благодарность отечества? Она сводится к шарманке и табличке на шее: "Остался без пенсии", и нам, немцам, придется еще раз это пережить"; вслух никто ему возражать не стал, ибо все здесь чувствовали себя не слишком уверенно, но было отчетливо видно, что 12 лет опьянения криками "Хайль" и шуршащими знаменами оставили неустранимый осадок в их крови. К сожалению, в нашем мире приходится иногда отдавать приказы и повиноваться приказам, но тех, кому это доставляет удовольствие, следовало бы немедленно расстрелять, ибо такой человек отравлен и не поддается излечению! "Пусть Фюрер приказывает! Мы готовы повиноваться!" Было ли когда-нибудь что-то более противоестественное, чем эта просьба о приказе, каким бы он ни был?

Внешней несвободе Арно Шмидт всегда противопоставлял свой индивидуальный (постоянно расширявшийся, достраивавшийся) внутренний мир: мир свободной фантазии, выстраданных убеждений, связей со всем тем, чему можно доверять, — с любимыми авторами (жившими в разные века и в разных странах), любимой природной средой, любимыми людьми; наконец — свое постоянное, неутолимое желание писать. В этой внутренней свободе видел единственный смысл жизни, единственное оружие против несвободы. Впрочем, иллюзий относительно возможностей легкой победы над внешними обстоятельствами он не питал. Борьба с ними принимала, как правило, затяжной характер, растягиваясь на всю жизнь (так было и у него самого, и у его персонажей). В случае Шмидта два мира — внешний и внутренний — находились в постоянном взаимодействии, влияли друг на друга (второй мир пытался отвоевать или создать для себя место в границах первого). И это взаимовлияние двух миров стало главной темой его произведений.

Все его книги — о нем самом (они и написаны от первого лица), каждое представляет собой как бы карту мира с системой координат, по которым он пытается сориентироваться, проложить по этой карте маршрут своего дальнейшего (реального) жизненного пути. Одна из нанесенных на эту странную карту осей — ось времени, уходящая в глубь веков. Точнее, время на этой оси как раз и *не имеет значения*, имеют значение определенные вехи в истории культуры, остающиеся актуальными в сознании Шмидта, определенные личности — в основном писатели и художники, с которыми он на протяжении многих лет вел диалог и которые присутствовали в его сознании (независимо от того, сколько веков или десятилетий назад они умерли) как друзья, как единомышленники, как живые люди, способные и на гениальные прозрения, и на глупые ошибки. Приведу такой пример: в самом конце войны Шмидт берет отпуск и приезжает с фронта домой, чтобы помочь жене собрать необходимые вещи и уехать из Силезии, которой угрожает вторжение русских. Все почти вещи они отправляют багажом (в место назначения эти вещи так и не прибудут, пропадут), в свой же рюк-

зак Алиса, жена Шмидта, берет только самое ценное — рукописи первых сочинений Арно и 36-томное собрание сочинений Виланда. О другом своем пожизненном собеседнике, Э. Т. А. Гофмане, Шмидт высказался так: "...несказанно важно; и поучительно для любого стремящегося ему вслед... понять: как *такой* человек вынужден был голодать, пока учился, а потом всю жизнь играл в лотерею, надеясь *все-таки* выиграть однажды тысячу талеров, которые были нужны ему, чтобы в период написания своей ближайшей книги иметь возможность покупать три совершенно необходимые для этого вещи, кофе—шнапс—бумагу, — сегодня к сему прибавляются еще пишущая машинка, аспирин и снотворные таблетки". Тоже, по сути, проблема свободы и несвободы (для Шмидта, долгое время не получавшего никаких доходов от своих книг и зарабатывавшего на жизнь ежедневным многочасовым переводческим трудом, весьма актуальная)... Получается, что к цитатам, аллюзиям и именам, которыми пестрят все произведения Шмидта, следует относиться с величайшим вниманием — как к репликам невидимых участников диалога.

Но вернемся к "Черным зеркалам". На первый взгляд, перед нами обычный фантастический роман, антиутопия о последнем на Земле человеке, пережившем Третью мировую войну. Странно только, что роман этот, действие которого отнесено к совсем недалекому будущему (1960—1961 гг., а написан он был в 51-м), содержит множество конкретных подробностей о современной Шмидту Германии и практически никаких деталей, характерных для фантастических романов. Впрочем, чем пристальнее ты всматриваешься в шмидтовский текст, тем больше в нем обнаруживается странностей. Случайно ли день рождения рассказчика совпадает с днем рождения Шмидта? Случайно ли он, этот персонаж, находит в одном из домов скелет Арно Шмидта, своего создателя, и написанные им книги? Случайно ли упоминает, что три года назад побывал в Норвегии, как Шмидт — в 1945-м? Описанные в романе графические работы выполнены реальными людьми, сверстниками А. Шмидта, а книга ныне забытого американского автора Дж. Р. Стюарта (1895—1980), которую Шмидт так яростно критикует, вышла в свет в 1946 г. Стюарт написал еще и фантастический роман "Жизнь продолжается" (1949), очень в свое время популярный, на такой сюжет: человеческая цивилизация гибнет в результате природной катастрофы, единственный (?) оставшийся в живых американец ездит на машине по разрушенным городам, в Сан-Франциско встречает женщину, у них рождается много детей, и в конце концов он становится главой племени, с которого начнется возрождение человеческой расы... Читателю повести Шмидта такой сюжет определенно покажется знакомым. Ведь, если вдуматься, "Черные зеркала" — зеркальное отражение романа Стюарта.

Все эти странности перестают удивлять, как только ты понимаешь, что Шмидт описывает пространство собственного сознания, примерно так, как делал вряд ли знакомый ему поэт Пауль Целан, — "в свете у-топии". Это его — Шмидта — сознание послевоенной катастрофы загромождено руинами, отделено от остального мира "изгородью Гадеса", отмечено опознавательными знаками преисподней (например, "окольцованными — адски-серно-желтым и черным — столбами"), и там нельзя отыскать ни одного близкого человека, ни одного чувства, кроме презрения и ненависти к цивилизации. Таким это сознание остается до тех пор, пока... пока с ним не происходит что-то невероятное, дающее импульс к преображению:

Вечер: зловещий и красивый! Огненно-красные и белесые клочья тумана внезапно появились из-за стволов деревьев словно контрабандисты с пылающими факелами, с се-

ребряной утварью в руках; они собрались вместе и держали совет в низине, поросшей серой травой (тогда же вернулись и большие сойки — можно сказать, осуществили вторжение на эту территорию).

Происходит невероятное: человек, переживший душевную травму, убежденный циник, случайно переключает внимание с себя самого на окружающее, на скромный в своей красоте кусок северогерманского леса и вдруг испытывает желание начать жить сначала, сделать этот *чужой ему прежде* кусок земли своей родиной, построить здесь дом, поставить "жирную точку" (которая может стать центром новой системы координат), принять эту землю "в собственность" (под свою ответственность) и полюбить ее, а потом, укрепив себя этой любовью, сделать весь *универсум продолжением системы органов* [своих] *чувств*:

> Бесконечность становится тогда самой глубинной, внутренней, срединной точкой, из которой мы выводим свои оси координат, строя систему отсылок и мер для всех вещей.

Читая "Черные зеркала", невольно начинаешь верить, что подобная перемена осуществима — прежде всего потому, что эта вера находит подтверждение в самой словесной ткани повести, ибо нужно обладать особым, нехарактерным для современного человека взглядом на мир, как-то по-особому ощущать свое родство с природой, чтобы сказать такие, например, слова: "Даже малюсенькие сосенки по-кошачьи царапались, когда я неловко хватался за них рукой (меня тоже щетина не красит — завтра с утра побреюсь)". Или: "...написать бы биографию каждой крупинки: ведь нет такого существа, которое не хотело бы пожить вволю и оставить после себя след!" Но если вспомнить некоторые факты биографии Арно Шмидта, граница между литературным персонажем, рассказчиком "Черных зеркал", и реальным человеком, автором, вообще как бы расплывается у тебя на глазах: потому что в архиве Шмидта сохранилось отброшенное при публикации посвящение — тому самому куску леса, который описывается в повести и в котором вскоре после войны скитался ее временно оставшийся без работы и без пристанища автор; и потому что, едва материальное положение Шмидта как-то стабилизировалось, он купил деревенский дом неподалеку от этих мест (искал дом — именно в тех местах) и прожил в нем до конца жизни, в нем написал свои главные произведения...

С рассказчиком же повести происходит следующее: как только меняется его взгляд на мир, меняется — относительно него? — и сам этот мир, превращаясь из мрачного Гадеса во что-то иное: "...одним из духов хотел бы я быть: парящим над осенним лугом — именно таким, таким же росистым представлялся мне *райский сад*". И появляется еще один персонаж, происходит встреча с женщиной — женщиной ли?

В этом романе-кристалле, "в котором все отражается, и вертится, и преломляется!" и, как всегда у Шмидта, нет ни одного "проходного" слова, некоторые признаки, или "обмолвки" (их, пожалуй, можно заметить только задним числом, не при первом прочтении), заранее возвещают появление Лизы: "болезненно-бледный вечерний воздух был холодноватым и желанным, как стройная возлюбленная с рано поседевшими волосами..." — и т. д. Неслучайно непосредственно перед встречей с Лизой рассказчик рассуждает о том, что почти каждому поэту доводилось быть сутенером своей Музы; неслучайно потом Лиза сравнивается с la Belle Dame sans merci Китса (феей, удерживающей в своем царстве поэта), с Охотницей-Дианой, "плавно скользящей темной богиней с железным оружием", с Луной, с разбойницей и цыганкой, с Еленой. Неслучайно, отправляясь с

рассказчиком на ночную прогулку, она вместе с ним проходит "сквозь дощатые стены" — как тот дух в "Рождественской песне" Ч. Диккенса, что хотел показать герою этой новеллы его прошлое. Лиза и вправду имеет много общего с героиней романа "Каменное сердце" Линой, которая в персональной мифологии Шмидта воплощает духовную неуспокоенность человека и отождествляется с Еленой гностиков, с Софией.

О встрече с Музой Шмидт писал еще до "Черных зеркал", в письме д-ру Вальтеру Циземеру, которое предполагал включить в книгу "Волшебный пакет Арно Шмидта"[1]. В этом письме говорится:

> Иногда — — в мерцающий час... должен наступить *духовный май*; ветер, западный, спешит тебе навстречу, как стройный мальчик со светильниками в руках, и ты вдруг обретаешь способность рисовать людей и вещи, все... Иногда — — (только однажды!!) — человеку выпадает главный шанс его жизни...

А далее речь идет об Ундине из одноименной новеллы де ла Мотт Фуке; Шмидт видит в этом персонаже образ Музы своего любимого автора и одновременно — воспоминание о его первой юношеской любви (о девушке, встреченной Фуке в тех самых местах, в которых развертывается действие рассматриваемой нами повести, — в окрестностях Борга).

В "Черных зеркалах" встреча с женщиной-музой тоже описывается совсем не традиционным образом. Лиза ничего не дарит рассказчику (кроме разве что самой возможности его любви к ней, неутолимого влечения за пределы обыденности), наоборот, требует подарка от него: *рассказа о его детстве*. И рассказчик дарит ей такой рассказ : он, прежде чем стать писателем (?), дарит ей первый опыт осмысления своей жизни — первые поэтические и прозаические опыты *самого Шмидта*, дословно, большими фрагментами, включенными в ткань повествования. Кроме рассказа о детстве, который в свою очередь скомпонован из нескольких фрагментов ранних новелл, к такого рода вкраплениям в тексте повести относятся, между прочим, все стихотворные строки, название-замысел рассказа "Ахамот...", письма к Клопштоку и к американскому культурологу Стюарту. И получается, что по одним только "Черным зеркалам" можно проследить за изменением шмидтовской поэтики, что повесть эта (если мы вспомним содержание подаренных Лизе воспоминаний) рассказывает не только о "Повороте" (в хайдеггеровском смысле — к миру, к жизни), но и об истоках поэтического мышления, фантазии вообще...

Муза героя "Черных зеркал" не остается со своим возлюбленным, потому что не хочет быть похожей "на классическую домохозяйку", никаких "успехов" гарантировать не желает и ничьей власти над собою не терпит. Но зато остаются близкие ей и дружественные ему "демоны": Месяц, Иней, Ветер. И остается любовь, взаимное ностальгическое влечение этих двоих: поэта и его музы.

В бумагах Шмидта сохранился набросок окончания повести — набросок замысла, от которого ее автор впоследствии отказался. Копию этого маленького текста прислал мне Карл-Хайнц Мютер, знаток творчества Шмидта, коллекционер изданий его книг и составитель библиографии работ о нем. Приведу перевод этого отрывка:

1. Эту книгу, собрание "фиктивных писем" воображаемым собеседникам – Данте Алигьери, например, или погибшему на фронте брату жены – Шмидт полностью подготовил для печати, но опубликована она была только в 2004 г.

[ЧЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА II]: вот уже 40 лет, как он живет в одиночестве, теперь ему 80: и тут возвращается Лиза! Страшная, 90-летняя, тощая как жердь. / Пару осенних дней они проводят вместе, бранятся. / Суровая зима. / Они напиваются, поджигают дом; и ложатся — на расстоянии метров тридцати друг от друга — в снег: сверху начинают падать очень нежные и сухие снежные хлопья.

Как же все-таки понимать утверждение (которым заканчивается первая часть повести), что универсум есть — или может стать — "продолжением системы органов чувств"? Ответ на этот вопрос содержится в эпизоде посещения рассказчиком гамбургской картинной галереи. Уже осмотрев и оценив работы (современных Шмидту, реальных, названных по именам) художников, рассказчик замирает в изумлении перед картиной, изображающей бумажного дракона, — единственной, автор которой не назван: "...я и представить себе не мог, что такое еще бывает в наше время!", — и высказывает странное желание слиться с бумажным змеем, воплотиться в него: "...я и сам хотел бы быть таким Блаженно-Неистовствующим..." А потом вскользь упоминает еще два цикла гравюр, присутствие которых в гамбургском музее необычно и тоже явно нуждается в объяснении: "Carceri" Пиранези и "Balli di Sfessania" Калло. Пиранези упоминается чуть ли не в каждом крупном шмидтовском произведении, потому что "Carceri" (полное название цикла — "Воображаемые темницы") для Шмидта суть воплощение сковывающей человека несвободы — и отражения этой несвободы в фантазии художника. Второй же цикл гравюр, "Танцы Сфессании", показывает персонажей комедии дель арте. Гофман, любимый Шмидтом за необузданную фантазию и возникающий (поминаемый) в его прозе столь же часто, как Пиранези, в предисловии к своей легкой и радостной новелле "Принцесса Брамбилла" (1820) пишет о том, что источником вдохновения для него послужил именно этот графический цикл Калло. Что же касается "бумажного дракона", то это — сквозной образ в творчестве Жан Поля, пожалуй самого значимого из воображаемых собеседников Шмидта. Дело в том, что Шмидт перенял очень многие из стилистических приемов Жан Поля, которого современные исследователи считают предвестником постмодернизма, и вообще постоянно обращался к его идеям. У Жан Поля же "бумажный дракон" — это сложный, трансформирующийся от романа к роману образ писательского творчества, литературного произведения (которое, в представлении этого автора, подобно бумажному змею создается из разрозненных фрагментов), а также самого писателя. Дракон поэзии — посредник между землей и небом, а в каком смысле посредник, лучше всего объяснил сам Жан Поль в последней главе "Приготовительной школы эстетики"[1] (его рассуждения отчасти проясняют и название повести Шмидта — "Черные зеркала"):

Поэзия, рисуя на занавеси, скрывающей вечность, грядущую драму, — она не плоское зеркало реальной наличности настоящего, а волшебное зеркало времени — времени, которого сейчас нет. <...> Поэзия иной раз играет, но играет земным, а не небесным. Ее цель — не уничтожить и не повторить, но расшифровать действительность, в которой не может не заключаться божественный смысл. Все небесное — свет и утешение, но лишь тогда, когда оно пронизано земным...

И поэтому... быть может, никогда поэт не бывает так нужен, как в дни, когда считают его не столь уж нужным и важным. Как в наши дни. <...> Если когда-нибудь религии не будет и опустеют храмы божества и разрушатся, если наступят такие времена — да не

1. Перевод А. В. Михайлова.

увидеть их ни одному доброму человеку! — тогда люди станут поклоняться богу в храме Муз.

Концепция Жан Поля, подхваченная Арно Шмидтом, оказывается на удивление созвучной той новой поэтике, которую после катастрофы Второй мировой войны теоретически разработал и воплотил в своих стихах Пауль Целан, тоже считавший, что "реальность не существует сама по себе — реальность ищут и обретают"[1].

P. S. Я благодарю А. И. Жеребина, разговоры с которым часто помогали мне сориентироваться в лабиринтах шмидтовского текста.

1. Ответ на опросный лист издательства "Флинкер" (1958).

Никола Жалло

Их Сталин поймал в ловушку

Фрагменты книги

Перевод с французского Ирины Радченко

Почему они уехали

14 июня 1946 года. Шверник и Горкин[1] выходят из кабинета товарища Сталина. Задачи военного времени уже утратили актуальность, и глава государства возвращается к политике, проводимой до 1941 года. После упомянутой встречи высоких руководителей прошло совсем немного времени, и в посольствах СССР в Париже, Брюсселе, Белграде, Софии и в других столицах заработали телетайпы: полученные шифровки содержали указ Верховного Совета СССР об амнистии эмигрантов и восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих за границей, в том числе во Франции.

Этот указ стал основополагающим документом, позволившим тысячам изгнанников и их детям, покинувшим страну после Гражданской войны 1917–1922 годов, задуматься о возвращении на родину.

Неделю спустя, 22 июня 1946 года, указ был опубликован в парижской газете "Русские новости", призывавшей "апатридов"[2] ходатайствовать о предоставлении им советского гражданства, приезжать в СССР и участвовать в восстановлении народного хозяйства. Эту информацию мгновенно подхватили различные союзы русских эмигрантов и многие православные приходы. Были среди изгнанников и такие, кто отправился на землю предков, не дожидаясь никаких указов. После Ялтинских соглашений 1945 года за рубежом уже год как с успехом действовали многочисленные миссии по репатриации: советские власти готовились к массовому возвращению эмигрантов. <...>

© Belfond, 2003
© И. Радченко. Перевод, 2005

1. Шверник Н. М. (1888–1970) – в 1946–1953 гг. Председатель Президиума Верховного Совета СССР; Горкин А. Ф. (1897–1988) – в 1938–1953 гг. секретарь Президиума Верховного Совета СССР. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

2. Значительная часть русских эмигрантов не исключали для себя возможности вернуться на родину, если там изменится режим, и не обращались к властям приютившей их страны с просьбой предоставить гражданство им и их детям. (*Прим. автора.*)

Рассказывает Ольга Некрасова, живущая сегодня в Таллине. Она родилась в 1933 году в западном предместье Парижа Шату, в русской семье и детство провела во Франции:

Думаю, решение вернуться в СССР мои родители, как и многие другие, приняли еще в 1941-м. Точнее, 22 июня 1941 года. Вступление Советского Союза в войну вынудило Сталина изменить тон. Когда в 1941 году он начал свое знаменитое обращение словами "братья и сестры", эмигранты впервые со времени отъезда из России услышали "русскую", а не "советскую" речь. Некоторое время спустя Сталин распорядился открыть церкви и возобновить богослужения, и многие белоэмигранты, видевшие в его поступках лишь то, что хотели увидеть, твердо решили возвратиться в свое отечество в случае, если будут амнистированы. Немаловажную роль в массовом патриотическом порыве сыграла православная церковь, и когда в сентябре 1945 года в Париже митрополит Николай произносил "русская земля", каждый понимал, что речь идет о Союзе Советских Социалистических Республик. Для моих родителей это звучало равнозначно. Родители страшно тосковали по родине. Для меня же родина – это там, где ты родился. Поэтому я всегда считала своей родиной Францию. Иное дело родители, они чувствовали себя во Франции иностранцами. Родиной для них стал СССР образца 1945 года!

"Альянс между СССР и 'Свободной Францией'[1] – другая важная страница в истории 'возвращенцев'", – продолжает Ольга Некрасова. Еще до Освобождения страна, где они родились, и их второе отечество представлялись русским эмигрантам дружественными державами. В 1944 году Советский Союз выступал за признание союзниками легитимности участия руководителей Сопротивления в будущем французском правительстве. Триумфальная встреча, оказанная де Голлю в Париже в августе 1944 года, изменила настороженное отношение к нему Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. 23 октября англичане и американцы вслед за СССР признали *de jure* Временное правительство Французской республики и его председателя Шарля де Голля.

Франция тогда стремилась войти в число великих мировых держав. Де Голль и его министр иностранных дел Жорж Бидо хотели видеть ее посредницей между Западом и СССР. В конце ноября 1944 года генерал де Голль во главе французской делегации, включавшей генерала Жюэна и Жоржа Бидо, прибыл в Москву. Речь шла о заключении франко-советского антигерманского договора сроком на двадцать лет.

При том раскладе сил, какой сложился после Ялтинской конференции, Франция нуждалась в СССР.

Рассказывает Глеб Ратинский, уехавший в тот период в Советский Союз:

Эмигранты рассуждали следующим образом: не следует путать страну и режим, режимы приходят и уходят, страна остается. Русские за рубежом полагали, что СССР изменится. Так, собственно, и случилось, но позднее: сталинский режим – это одно, хрущевский – другое, брежневский – третье. Разумеется, перемены происходили маленькими шажками, но все же это были шажки в сто-

1. "Свободная Франция" (с 1942 г. "Сражающаяся Франция") – основанное Шарлем де Голлем в Лондоне патриотическое движение, примкнувшее к антигитлеровской коалиции.

рону большей открытости. А тогда, в 1945 году, многие считали, что строй изменится немедленно. То, как советские люди сражались в войне, заставляло думать, что живут они не так уж плохо. Эмигранты любили отчизну, а не советский строй, но в сложившейся ситуации они дружно приняли приглашение Сталина, и переезд в социалистическую страну их больше не пугал!

Не забывайте, что во Франции активно велась просоветская пропаганда, и воздействовала она не только на русских эмигрантов, но и на французских коммунистов.

После Освобождения партия французских коммунистов, приверженцев марксизма-ленинизма, Советского Союза и Сталина, была самой значительной политической организацией в стране. Популярность "партии расстрелянных", как она сама себя стала именовать, обеспечивалась в послевоенные годы ее участием в Сопротивлении, в борьбе с фашизмом, но подкреплялась она еще и престижем советской армии. Война превратила интернациональную рабочую партию в партию французскую, патриотическую. На муниципальных выборах, состоявшихся в апреле–мае 1945 года, то есть одновременно с капитуляцией Германии, коммунисты победили в шестидесяти муниципалитетах, образовав "красный пояс" вокруг Парижа. Генерал де Голль назначил Мориса Тореза[1] государственным министром, каковым тот оставался с ноября 1945 по январь 1946-го. Так война сделала ФКП правительственной партией.

На парламентских выборах в ноябре 1946-го компартия Франции получила 28,6% голосов избирателей и 157 мест в Национальной ассамблее, далеко опередив Народно-республиканское движение (МРП) и социалистов (последние получили 18% голосов и 98 депутатских мандатов). Пять миллионов французов отдали свои голоса организации, с 1920 года входящей в состав Коммунистического Интернационала. Партия Мориса Тореза, действовавшая по указке Кремля, была представлена в правительстве до осени 1947 года, она сохранила свои позиции и на парламентских выборах 1951-го, получив 26% голосов и оставаясь самой влиятельной политической силой в стране. Руководимая из-за границы партия обладала мощными рычагами воздействия на французское общество через профсоюзы, интеллигенцию, прессу. "Из полевевшей Франции было почти логично уехать в Советский Союз", – говорит Наташа, детство которой прошло в Кламаре.

Значительная часть населения Франции смотрела на Советский Союз восторженными глазами. Сразу после войны Сталин направил на Запад агентов влияния, которые должны были поставить под свой контроль различные организации русских эмигрантов. Повсеместно во Франции стали возникать союзы... советских патриотов. Заслон на пути всякой информации из СССР, государственная пропаганда и подконтрольная прокоммунистическая пресса оказались сильнее слабых попыток мыслить самостоятельно.

1. Морис Торез (1900–1964) – генеральный секретарь Французской коммунистической партии с 1930 по 1964 г., в 1964 г. ее председатель; в 1945–1947 гг. входил в правительство.

Наступил период, который Нина Кривошеина в своих замечательных мемуарах[1] называет "смутным временем", когда прилагательное "русский" стало исподтишка заменяться словом "советский". Этот семантический сдвиг свидетельствует о смещении политической ориентации многих эмигрантов: белые невольно "краснели". Зародившийся в недрах Сопротивления Союз русских патриотов стал после сталинского указа от 14 июня 1946 года Союзом советских граждан. Сталинский призыв имел успех, Союз насчитывал все больше и больше членов, сменилось и его руководство, куда "вошли люди, которых мы совершенно не знали: Матяш, Качва, Марков", — пишет Нина Кривошеина. Тем временем сталинские агенты влияния разъезжали по Франции и обращали бывших соотечественников в свою "веру". Благодаря пропаганде (показ кинофильмов, заманчивые слова, обещания) Союз продолжал расширяться, в доме № 4 по улице Галльера в Париже, где открылись русская столовая и библиотека, не спадало оживление. Желавших принять советское гражданство приглашали на приемы в посольство СССР на улице Гренель, где их принимал и обхаживал тогдашний посол Богомолов. Роскошь советских приемов проливала бальзам на сердце, там хорошо кормили, там царила атмосфера, напоминавшая Россию до 1917 года. Эмигранты чувствовали себя радостно и свободно, как на празднике, и еще больше соблазнялись идеей возвращения, казавшегося теперь возможным.

Оставалось выяснить, что именно подразумевалось под словом "возвращение". Когда потенциальные репатрианты спрашивали, будет ли оно бесповоротным или же границы останутся открытыми, они получали от советских властей, мягко говоря, неоднозначный ответ.

На одном ответственном собрании Богомолов высказался на эту тему весьма уклончиво. Когда его спросили, позволено ли будет репатриантам навещать оставшихся во Франции родственников, он долго думал, а потом ответил, что в первое время, вероятно, нет. Между тем в 1947 году на родину выехало большое число армян и значительная группа русских. На улице Галльера им устроили великолепный прощальный ужин. Надо признать, однако, что они испытывали не то чтобы сомнения или сожаления, но некоторую тревогу: что, если положение на родине не такое безоблачное, каким его хотят представить, и они не увидят там неба в алмазах, как говорил Чехов. Месяца через два-три одна из "новых советских гражданок" получила от своего репатриированного брата открытку, отправленную из маленького провинциального городка. Брат писал: "Ждем тебя непременно! Приезжай к нам, как только выдашь замуж Машу..." Упомянутой Маше было в ту пору два года![2]

Советская пропаганда нашла посредников среди прежде антикоммунистически настроенных участников Сопротивления, они несли ее в регионы. Дочь Александра Угримова, Татьяна, рассказывает:

Получив в посольстве советский паспорт, мой отец нашел работу на мукомольне в Аннеси. Мы уехали из нашего дома в Дурдане, и отец стал председате-

1. Nina Krivochéine. Les Quatre Tiers d'une vie.— Paris: YMCA-Press, 1984. (*Прим. автора.*)
2. Там же.

лем комитета Союза советских граждан в районе Аннеси. Начал он с того, что создал православный приход.

Советские власти тут пошли на хитрость: они не только не запрещали такого рода немарксистские инициативы, но и поддерживали их финансово.

Экономическое положение Франции после Освобождения было близким к катастрофе. Разрушенная бомбардировками, истощенная войной, лишенная рабочей силы, угнанной в Германию, страна столкнулась с нехваткой продовольствия и тридцатипроцентной гиперинфляцией. В начале 1945 года начались перебои со снабжением, Временное правительство ввело карточки на хлеб. Ежедневный рацион французов был меньше, чем в период оккупации. Наряду с желанием участвовать в восстановлении страны, навеянная советской пропагандой иллюзия более благополучного материального положения в СССР подталкивала эмигрантов к отъезду. Легенда о якобы процветающей при социализме экономике нашла отклик у русских изгнанников, которые, как и французы, отоваривались по карточкам.

Олег Ивашкевич, автор "Записок о русских в Уазане"[1], отмечает:

Все находились под влиянием умелой и опасной пропаганды. Перед ее аргументами трудно устоять:

В СССР нет безработицы, поскольку каждый обязан трудиться. Следовательно, нет нищих и бездомных.

Женщина там равна мужчине.

Хлеб выдается всем бесплатно.

Обучение в школе обязательно до семнадцати лет. Образование бесплатное.

Медицинское обслуживание и лекарства бесплатны.

Полная свободы вероисповедания.

Пенсионный возраст у мужчин – пятьдесят пять лет, у женщин – пятьдесят.

На стенах Рьюперу и других поселков в горном массиве Уазан красовались афиши с лживыми агитационными лозунгами.

Некий Комитет содействия Миру и Свободе в своих прокламациях заходит еще дальше, он решительно призывает французских коммунистов бросать работу во Франции и эмигрировать в СССР... Далее перечисляется, что можно приобрести на триста рублей в месяц: сто семнадцать килограммов хлеба, двадцать семь килограммов мяса, сто пятьдесят восемь литров молока[2].

Какой бы топорной ни казалась эта бесстыдная дезинформация сегодня, она возымела действие: из семисот зарегистрированных в департаменте Изер русских эмигрантов с ноября 1946 по ноябрь 1947-го в СССР уехало сто!..

1. Oleg Ivachkevitch. Mémoire des Russes en Oisans. – Grenoble: Editions de Belledonne, 1997. (*Прим. автора.*)
2. Там же.

В 1945 году выходцы из дворянских семей, представители православного духовенства и русских патриотических организаций единодушно качнулись влево. Полевение коснулось и детей, которых различные белоэмигрантские движения вербовали еще до войны: теперь всех привлекала слава страны-победительницы.

Александр Карвовский, родившийся в парижском пригороде Ванв 31 января 1933 года, вспоминает:

В конце войны, которую мы с сестрой провели в департаменте Крёз, мама решила заняться нашим русским образованием. В ту пору повсеместно возникали всякие школы, работающие по четвергам, досуговые группы при приходах, летние лагеря, культурные центры под эгидой солидных русских молодежных организаций во Франции. Кроме лагерей с отцом Борисом, решающее влияние оказали на меня "Витязи", они изменили мой эмоционально-чувственный настрой, привили любовь к вечной России. Витязи – это рыцари, храбрые благородные воины. Национальная организация "Витязи" представляла собой довольно известное во Франции движение русской молодежи ярко выраженного националистического, как я на старости лет понимаю, толка, белоэмигрантский вариант классических скаутов со своими отличительными знаками и всякого рода снаряжением, которые во всех проектах по вербовке молодежи и не только молодежи существуют, чтобы привлекать внимание, льстить тщеславию и демонстрировать поверхностный патриотизм. Основателем и руководителем организации был, царствие ему небесное, бывший офицер царской армии Николай Федорович Федоров, тучный господин, чье появление в форме перед отрядом, выстроенным для поднятия флага, всегда казалось мне чуточку смешным. <...>

Должен сказать, что ношение формы я воспринимал как нелепость. Ладно еще дети, мы с готовностью нацепляли броские атрибуты большой военной игры: эполеты, ленты, значки, галстуки, пилотки. Но когда я видел взрослых, с серьезным видом участвующих в маскараде, меня это смущало. Позднее, на военной службе, я понял истинную причину таких облачений и их негативную задачу: выстроить, лишить индивидуальности, затушевать многогранность отдельной личности под одинаковой серой формой марионетки, механически исполняющей правило: приказ начальника – закон для подчиненного, убивай и будь убитым!

Александр Карвовский вспоминает, как зародились в нем ярко выраженные просоветские настроения:

Память моя сохранила траурный сумбур на волнах вишистского радио в январе 1943 года, немцы впервые признавали всю тяжесть своего положения, удар, надо думать, и вправду был ощутимым.

И тогда возникли у моих сверстников симпатия к советскому народу и чувство поддержки его героической борьбы в войне на уничтожение, которую вел фашизм. Даже и после победы, которую бесстыдно присвоил себе Сталин, русская диаспора продолжала воспитывать молодежь в патриотическом духе, спасать офранцузившихся и обреченных стать французами юношей русского происхождения и готовить их к отправке в Москву.

Для Александра Карвовского настало время выбирать между тесной связью с русскими патриотами и зародившимися симпатиями к СССР:

Я решительно порвал со всей белой колонией, с приходом на улице дю Буа, с "Витязями" и примкнул к другому лагерю, "неокрасному", просоветскому, к Союзу советских патриотов и православному приходу в Клиши... Между тем мы мало знали о том, что реально происходило "на земле наших предков", и, главное, не хотели знать...

В конце 1947 года замаячили первые признаки "холодной войны", возросло недоверие между блоками. После того как в мае французские коммунисты ушли из правительства, в советско-французских отношениях наступило охлаждение. Министерство внутренних дел заинтересовалось тогда деятельностью "борцов за возвращение", хотя она велась совершенно легально. Власти опасались, что активность этих "советских" граждан усилит беспрецедентную социальную нестабильность, сотрясавшую Четвертую республику в последние полгода. 24 ноября 1947 года министр внутренних дел социалист Жюль Мок приказал арестовать двадцать четыре руководителя комитетов Союза советских граждан в Париже и провинции. Приказ привели в исполнение на следующий же день. Они были арестованы на рассвете без предъявления обвинения и высланы в Германию, под Бранденбург, то есть в советскую зону.

В последующие месяцы семьи высланных уехали в СССР, где их поначалу встретили хорошо. Еще бы! Советские власти с негодованием откликнулись на высылку, получив таким образом возможность безо всяких усилий создать образ страны, озабоченной судьбой своих граждан, пусть даже и проживающих за границей! Поверенный в делах СССР во Франции Абрамов вручил заместителю министра иностранных дел Мари ноту протеста. Действия французских властей обличала газета "Правда":

Что касается преследования советских граждан и репатриантов во Франции... то советское посольство не было даже поставлено об этом в известность, между тем по французскому законодательству высылка лиц, проживающих в стране более десяти лет, является противозаконной, поскольку они имеют право на французское гражданство или карточку "привилегированных" иностранцев...

Советские власти поддержали высланных, когда те решили выразить протест против действий, жертвами которых они оказались во Франции. Репатрианты обратились к французскому правительству с письмом, опубликованным в "Правде":

Из советских газет мы узнали, что нам инкриминируется "вмешательство во внутренние дела Франции", "участие в социальных беспорядках в стране" и "подготовка заговоров" против французского правительства. Без сомнения, в этих обвинениях нет и намека на правду. Они абсурдны и лживы. Ни Союз советских граждан как организация, ни кто-либо из нас никогда ни прямо, ни косвенно не участвовали в "социальных беспорядках в стране". Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Франции. Это запрещено уставом Союза, который гласит, что его члены "не должны заниматься политикой в стране проживания". <...> Среди нас, двадцати четырех высланных, есть люди, активно сражавшиеся с немцами в различных подразделениях Сопротивления. И за это "вмешательство во внутренние дела" трое награждены медалями фран-

цузского военного креста, другие участвовали в Сопротивлении волонтерами. Двое из нас были узниками нацистских концлагерей. Мы высланы безо всяких оснований, в то время как тысячи иностранцев – сотрудничавших с гестапо и спекулянтов – преспокойно разгуливают по Парижу и даже организуют, под покровительством французской полиции, антисоветские манифестации. У нас у всех чистые досье, мы женаты и имеем детей. Четверо из нашей группы женаты на француженках. Наши дети французы...

Это письмо лило воду на мельницу советской внешней политики, между тем как высылка двадцати четырех остается загадкой франко-советских послевоенных отношений. Какую опасность представляли эти люди для Франции? Чего испугались французы? Хотели ли французские власти показать таким образом Москве, что остаются единственными хозяевами в своем доме и что 28% голосов, отданных компартии, ничего не меняют? Была ли высылка организована усердием антисоветски настроенных чиновников или же существовало тайное соглашение с Москвой? Очевидно одно: за исключением двух-трех человек, которых власти пощадили, или тех, кто согласился сотрудничать с КГБ и режимом, все высланные из Франции русские эмигранты разделили в скором времени судьбу миллионов советских граждан – были отправлены в ГУЛАГ.

Путешествие в неизвестность

Нина Базилина покинула Рьюперу, городок под Греноблем, вместе с родителями, братом Николаем и сводным братом Михаилом.

Многие говорили моим родителям, что возвращаться не следует, что нас там арестуют. Мой отец ничего не желал слушать. Мы уехали 1 ноября 1947 года. Нас провожал весь Рьюперу. Все последние дни люди приходили прощаться, давали родителям советы. Помню нескончаемую суету. А потом в одно прекрасное утро началось наше путешествие, организованное советскими властями, обещавшими нам интересную, радостную и счастливую жизнь...

Путешествие проходило в несколько этапов. Сначала ехали на грузовике до Гренобля. Потом поездом до какого-то городка под Страсбургом, кажется, Сарбура. Здесь нас снова поместили в лагерь, пока еще французский, где соединили с людьми, прибывшими из других регионов Франции. Отсюда, также поездом, мы добрались до какого-то городка, не помню названия, но уже в Германии, в советской зоне, где пробыли день или два. Нас высадили и погрузили в товарный состав, наверное, специально переоборудованный. Мы провели в нем месяц... месяц! Проехали Германию, Польшу. Самое тяжелое было в Польше: сплошная равнина, заснеженные степи, казалось, они никогда не кончатся. В вагонах не было купе, как теперь; вероятно, они были предназначены для перевозки... если не скота, то грузов, но уж точно не людей! В них были топчаны с соломенными тюфяками, а поверх – покрытые не простынями, но чем-то вроде одеял. Топчаны – один против другого, человек по двадцать в вагоне. Три раза в день нас кормили отвратительной похлебкой, буду помнить ее до конца своих дней. Переезд был долгим, очень долгим, поезд часто останавливался, и никто не знал, когда он тронется. Отлучиться невозможно. Мы пересекли всю Польшу. Стояла зи-

ма, уже выпал снег. Монотонный, унылый пейзаж. Большую часть времени мы спали. Спали или просто лежали, потому что виды вокруг были слишком печальными, особенно после Франции. Так мы доехали до лагеря в Гродно. И вот тут-то нас ожидал сюрприз!

Никита Кривошеин провел детство в Восьмом округе Парижа, а потом вместе с родителями попал в советский ад. Весной 1948 года он отбыл из Марселя в Одессу, порт на Черном море. Вместе с матерью он ехал к отцу, высланному из Франции несколькими месяцами раньше.

Мы с мамой сели на трофейный теплоход "Россия". Насколько мне известно, это было его последнее плавание на Запад. Мне тогда не исполнилось еще четырнадцати лет, я воспринимал эту поездку как приятное путешествие в страну, религию которой я исповедую, я говорил себе: будущим летом вернусь в Париж на каникулы! Плавание и в самом деле было приятным. Но удивил уже первый контакт с персоналом, странным казалось, что экипаж теплохода нас сторонится и боится с нами разговаривать.

1 мая 1948 года "Россия" причалила в Одессе, и пассажиров изумил уготованный им прием.

В Одессе нас ожидали у трапа грузовики, солдаты НКВД погрузили нас в эти грузовики и отвезли за колючую проволоку, в так называемый фильтрационный лагерь в пригороде Одессы, и я с недоумением впервые в жизни увидел сторожевые вышки! В обстановке страха, террора и насилия я, воспитанный в лицее отцами-иезуитами, оказался перед вполне понятной дилеммой: то ли я сошел с ума, а мир вокруг такой, каким он и должен быть, то ли, наоборот, все сошли с ума, а я один нормален!

Отец Никиты, Игорь Кривошеин, сражался с передовыми отрядами большевиков в белой армии барона Врангеля. Герой Сопротивления, Игорь Кривошеин был арестован гестапо во время немецкой оккупации и помещен в Бухенвальд, потом в Дахау, где познакомился и подружился с советскими военнопленными. Был выслан из Франции в Советский Союз по обвинению в политической деятельности, противоречащей интересам Франции, а вскоре после приезда в СССР, подобно многим бывшим узникам нацистских концлагерей, обвинен в шпионаже.

Однажды, – продолжает Никита, – *отец принялся сжигать свои записи и дневники и предупредил меня, что его скоро арестуют. Я ответил: "Нет, папа, вы участник Сопротивления, вы прошли через нацистские лагеря – они никогда не посмеют!" Он оказался прав: на следующий день его арестовали и приговорили на основании статьи 58-4 к каторжным работам.*

Игорь Кривошеин был отправлен в Озерлаг под Тайшетом. Смерть Сталина в марте 1953-го спасла ему жизнь, равно как и многим заключенным: отсидев шесть лет, он был досрочно освобожден в 1954-м.

История реэмигрантов стала для каждого из них трагедией семейной и личной, трагедией тысяч мужчин, которые, искренне желая счастья

своим близким, увлекли на родину жен и детей (дети, родившиеся во Франции, считались французами по национальности) и привезли их, сами о том не подозревая, в страну, где царил режим террора и насилия.

Сергей Орлов родился в 1930 году в Монпелье, а в октябре 1947-го последовал за своим отцом в СССР. В семье Сергей был старшим из шести детей, во время войны вместе с отцом участвовал в Сопротивлении. После войны он с братьями Владимиром (р. 1934), Михаилом (р. 1940), Борисом (р. 1947), сестрами Елизаветой (р. 1935) и Ириной (р. 1945) и матерью, уроженкой Монпелье, поехал с отцом, стремившимся увидеть свою дорогую Россию.

Отец хотел вернуться. Мама сомневалась. Она была француженкой, и путешествие это ее не слишком привлекало. Сам я в свои семнадцать лет не хотел уезжать. Я был французом и чувствовал, что ехать рискованно. Но мы все очень любили друг друга, нам даже в голову не приходило расстаться. Отец решил возвратиться в Россию, и мы последовали за ним, невзирая на наши с мамой сомнения... Он так настаивал, что мы согласились с его решением. <...>

Для отца Сергея Россия была землей предков, отечеством, которое они защищали. Это отечество он и надеялся обрести.

В нашей семье все были военными. С 1914-го по 1916-й сражались в Карпатах. В 1917-м мой дед-дворянин воевал с красными, потом оказался в Крыму и далее в Стамбуле, где русские эмигранты прожили три года, ожидая, что скоро вернутся в Россию. Все надеялись вернуться. Когда это не получилось, уехали во Францию морем через Марсель, затем в Париж, где осела большая часть русской интеллигенции.

В Париже дед работал грузчиком на вокзале Монпарнас, бабушка – медсестрой. Им пришлось туго. Они, подобно многим, не захотели принимать французское гражданство, поскольку надеялись вернуться в Россию. В конце 20-х годов мой отец уехал в Монпелье и поступил в Высшую агрономическую школу. Здесь он познакомился с мамой, местной уроженкой. Ее отец погиб под Верденом. В 1929 году они обвенчались в русской церкви на улице Петель в Пятнадцатом округе Парижа.

Брат Сергея Владимир, родившийся в 1934 году в Сюрене, вспоминает:

У нас была очень дружная семья, и поскольку отец тосковал по родине, мы все поехали с ним. Тронулись в путь в конце октября и в конце ноября добрались до советской границы. На стоянках в американской, французской и английской зонах мы слышали много странного. Люди говорили нам: "Куда вы едете? Вы там погибнете!" Дальше нас пересадили на другой поезд, в вагоны для скота. Добрались наконец до советской границы, и вот тут-то... когда пересекли границу между Польшей и СССР, мы поняли, что совершили страшную ошибку. Как только мы пересекли границу, поезд остановился в поле, и нас окружили вооруженные люди, возможно, из НКВД, охранники с собаками. Солдаты с автоматами оцепили каждый вагон. Приказали всем выйти, и офицеры стали обыскивать состав, шарили повсюду. Они обыскали каждого из пятисот или шестисот человек, приехавших из Франции, женщин, детей и весь багаж.

Швыряли вещи на пол. Обшарив поезд, велели нам заходить. Одну сцену не забуду никогда: в соседнем с нашим вагоне ехал старичок-композитор, он вез с собой два ящика партитур. Нотные листки оказались разбросанными по земле, летали повсюду. Никто не обращал на это внимания, все были перепуганы. Старичок стоял на коленях и плакал, плакал, а какой-то военный избил его и заставил сесть в вагон – так он и не смог собрать свои партитуры... У нас конфисковали все документы. И поезд тронулся.

Ловушка захлопнулась. Назад хода не было. Поздно.

Великое разочарование

...Татьяне Угримовой и ее близким поначалу повезло: к их великой радости, им разрешили ехать к родственникам в Москву. Но очень скоро они познали на себе всю бесчеловечность царившего в стране призрачного правосудия.

Мы отправились в Москву к отцу[1] *и родным, которые должны были приютить нас на первое время. Приехали в Москву 13 мая. А спустя месяц и два дня, 15 июня, арестовали всю семью: маму, тетю, двух ее сыновей, бабушку. Моего отца Александра Угримова посадили на Лубянку, потом перевели в Лефортово и приговорили к десяти годам лагерей за "сношения с западной буржуазией". Его отправили в северные лагеря, на воркутинские шахты. Мама получила восемь лет лагерей. Тетю и бабушку приговорили к пяти годам ссылки с конфискацией имущества и поражением в правах. Двух моих двоюродных братьев и меня поместили в детприемник, что-то вроде детдома, где мне посчастливилось подхватить скарлатину. Это было нечаянное везение, я попала в больницу, где, благодаря заботе главного врача, смогла отлежаться. Затем мне позволили уехать в деревню к тетке, которую я никогда прежде не видела. Тетка спасла меня, я смогла окончить школу и после смерти Сталина поступить в Институт иностранных языков.* <...>

Ольга Некрасова, ее мать, отчим, брат и две сестренки отплыли на родину на теплоходе "Россия" за семь месяцев до Кривошеиных. Поскольку отчим был грузином, они отправились в Сухуми, порт на восточном берегу Черного моря в Грузинской Социалистической Республике. 12 сентября 1947 года Некрасовы ступили на советскую землю. Встретили их сотрудники НКВД. После убаюкивающего иллюзиями привольного средиземноморского плаванья они испытали шок. Режим сбросил маску и, продемонстрировав грубую силу, показал свое истинное лицо – тираническое, циничное, бесчеловечное. Утонченное сталинское изуверство проявило себя в полной мере.

Едва мы сошли с "России", отчима арестовали, и он исчез навсегда. Так это тогда делалось. Больше мы его не видели. Они его взяли, и с тех пор он пропал, люди из НКВД увели его с набережной. Когда мама стала его разыскивать, один

1. Александр Угримов был одним из тех двадцати четырех русских, которых выслали из Франции в ноябре 1947 г. (*Прим. автора.*)

сотрудник милиции сказал ей: "С ним ясно что случилось. Только вам лучше молчать! У вас есть дети! Подумайте о них!" Но для мамы муж значил больше всего. Она отправилась в НКВД. Там не хотели с ней разговаривать: "Нет, мы ничего не знаем, он ушел. Может, заночевал у кого?" Она ходила к ним трижды, и все три раза ей ничего не говорили! Потом наконец признались, что он у них: "Мы пригласили его, чтобы он рассказал кое-какие подробности о своей жизни во Франции. Это обычное дело. Возвращайтесь домой. Не беспокойтесь". Больше мы о нем так ничего и не узнали.

С каждым днем все отчетливее выявлялась лживость сталинских призывов вернуться. Оставшись без отца, семья Некрасовых получила жилье в Грузии. Ольга надеялась начать нормальную жизнь, продолжить учебу, прерванную отъездом из Франции. Ждала, что ее зачислят в школу. Но вскоре настал и их черед отправиться в ссылку. Ночью к их комнате подошли две зловещие вооруженные фигуры. С циничным презрением к чужой боли, которым характеризовалась эпоха насилия, они разрушили последние надежды Некрасовых.

В три часа ночи – обычное их время – в дверь постучали. Вошли два рослых чекиста, заявили, что перевозят нас в другой город, что здесь нет для меня места в школе. Мама пришла в отчаяние. С ее слабым здоровьем, одной с четырьмя детьми... Один из пришедших сказал: "Тут грузовик, собирайте вещи. Все необходимое". К тому времени мы все свои вещи уже продали на базаре, остались, можно сказать, босые, есть было не на что... Когда мы уезжали из Франции, коммерческий атташе советского посольства, грузин по национальности, – позднее он был расстрелян Сталиным, – говорил нам: "Вот увидите, вернетесь – и вам отдадут вашу собственность. Все отдадут". Мы вернулись – и оказались нищими.

Чекисты, производившие обыск, дали маме на подпись документы о высылке. Потом один из них сказал: "Вы встретитесь со своим мужем". И мама тут же успокоилась. Она говорила себе: "Тем лучше! Уедем из этого проклятого места, начнем новую жизнь". Она не понимала, что происходит, не хотела смотреть правде в глаза! Нас высылали из Грузии! Они вывели нас среди ночи 24 декабря, на Рождество, как это символично! Куда нас везут, мы не знали.

Затолкали в грузовик, привезли на какую-то товарную станцию. Весь день мы просидели взаперти без еды, а вечером нас запихнули в товарный вагон. Состав был большой, вагон битком набит, никто не знал, куда мы едем, поезд тронулся... У мамы еще хватало сил шутить, она говорила, что много путешествовала в жизни, но ни разу еще ей не доводилось перемещаться в неизвестном направлении. Когда неожиданно пошел снег, мы решили, что нас везут в Сибирь. Потом пейзаж изменился, а еще через несколько дней мы увидели верблюдов.

Переезд был изнурительным. Кормили два раза в день, останавливались на станции, грели суп в больших котлах, разливали его в ведра вместо мисок. Еще давали ведро угля на день. Вместе с нами ехали целые семьи с детьми, стариками. Было много грузин, были солдаты, побывавшие в плену, люди, имевшие, как мы, родственников за границей. Был человек, начавший войну простым солдатом, а кончивший полковником, награжденный всеми возможными орденами и медалями. Его тоже выслали со всей семьей.

В горах на Северном Кавказе старший брат Ольги выпрыгнул на ходу из поезда и бежал. Пока мать и сестер вывозили в неизвестном на-

правлении куда-то на юго-восток СССР, восемнадцатилетний юноша решил добраться до столицы самостоятельно и без гроша в кармане. Возможно, он думал, что сможет оттуда вернуться во Францию.

6 января 1948 года вагоны с ссыльными прибыли наконец к пункту назначения.

В тот день, – вспоминает Ольга Некрасова, – *нас не кормили, а потом велели выходить из вагонов на чудовищный холод. Климат-то восточный: зимой там жуткий холод. Помню вокзал, стоящий в чистом поле. Вокруг – охранники с автоматами. Повезли нас по пустыне неизвестно куда. Мы проехали еще сотню километров, так ничего и не поев, и наконец прибыли в какой-то поселок возле границы между Казахстаном и Узбекистаном. Это было 6 января, в Сочельник по православному календарю!..*

Грузовик остановился не посреди улицы, а посреди какого-то грязного пыльного проселка. Казалось, земля дымится под ногами. Впервые в жизни я увидела настоящие жилища пещерного человека, дома из глины и соломы. Из труб валил густой серый дым.

Нам отвели комнату в одном из таких домов. Есть нечего, дети плачут. Там, правда, стояла печка с чугунной конфоркой, но топить ее было нечем. По счастью, поздно вечером соседи-греки, такие же ссыльные, как и мы, узнав, что мы русские христиане, принесли нам молока. Наутро явился офицер и сказал: "Раз в неделю будете ходить в администрацию совхоза и подписывать вот такую бумагу". Мама потеряла надежду увидеть мужа и страшно горевала. Обратиться за помощью ей было не к кому. Официальные лица отвечали ей неизменно: "Вы подписали эту бумагу – останетесь здесь навсегда! Вам здесь будет хорошо, про вашего мужа ничего не знаем". Мы выжили чудом! – заключает Ольга Некрасова.

Ее мать, страдавшая болезнью легких, с тремя детьми, без мужа, отправленного в день прибытия на родину в лагерь за Полярным кругом, и не имея никаких вестей о старшем сыне, прожила в этих суровых условиях пять лет. <...>

Орловы приехали поездом через Польшу. На границе их обыскали энкавэдэшники, затем велели всем снова разойтись по вагонам.

Поезд тронулся, и через несколько минут мы прибыли в лагерь с вышками и колючей проволокой, – вспоминает Сергей Орлов. – *Расположен он был под Гродно. Здесь мы прожили полтора месяца в ужасающих условиях. Охранники поднимали женщин часа в три утра и отправляли работать: чистить овощи, мыть бараки и пр. Мы ожидали решения властей. Нам регулярно зачитывали список отъезжающих и места назначения. Вопреки тому, что нам обещали во Франции, мы не могли выбирать куда ехать.*

С каждым днем становилось все больнее сознавать жестокую истину: пути назад нет.

Нашу семью отправили в Кострому, это четыреста километров к северу от Москвы. Дорога оказалась еще тяжелее, чем переезд в Россию. В вагонах не было ничего. Совсем ничего! Только зарешеченное окошечко для воздуха. Стояла зима, холод невыносимый, а ехали мы до Костромы три недели. Было так холодно,

что на одной из станций мы с папой выломали какую-то трубу, влезли на крышу вагона, проделали в ней дырку и эту трубу там установили, то есть устроили самодельную печку, чтобы не умереть от холода. Удалось развести огонь. На наше счастье, мы прихватили с собой из Франции консервированное порошковое молоко, иначе младшие дети просто не выжили бы.

В Костроме нам пришлось туго. Я работал водопроводчиком. Но все равно мы голодали. Прокормить шестерых детей было в то время немыслимо в Советском Союзе. Через год отец заболел. Мы жили ввосьмером в одной комнате, думали, что сдохнем в этом городе. Но тут нас перевезли в Крым. Это нас и спасло. В Ялте мы работали на стройке, жили по-прежнему в одной комнате, но климат там мягче. Труднее всего было маме. Она очень страдала и не выжила бы, если бы не наша поддержка. Папа горько сожалел, что привез нас в СССР. Это видно было по его лицу, но мы никогда с ним об этом не говорили. Мы прожили "под надзором", без права покидать Крым до самой смерти Сталина, до 1953 года. <...>

Драма супругов Спечинских, о которой осенью 1946-го писали все газеты, не типична для "возвращенцев". А вот судьба их сына Зиновия, добровольно уехавшего в СССР несколько лет спустя, очень хорошо отражает всю степень разочарования, которое испытали даже те репатрианты, кто полагал, будто знает, на что идет. Зиновий хорошо помнит о деле Спечинских, хотя и был тогда еще ребенком.

Родители развелись. Дети остались на попечении отца. Мать приняла советское гражданство и во что бы то ни стало хотела ехать в СССР. Ничего нам толком не объясняя, она привезла нас в лагерь Борегар, под Парижем, где поселяли ожидающих своей очереди будущих репатриантов. Отец забеспокоился, объявил нас в розыск, нас нашли и задержали, поскольку мы с сестрами были под французской юрисдикцией. Советские власти выразили протест: по их законам мы были советскими, поскольку мать была гражданкой СССР. Пресса реагировала бурно. В "Юманите" вышла статья под заголовком: "Французы не желают отпускать советских людей на родину". "Франс-суар" и "Фигаро" разоблачали попытку похищения французских детей. Так я и мои сестры стали причиной дипломатического инцидента и, возможно, закрытия лагеря для репатриантов в Борегаре. Наш "арест" и наше "освобождение" осложнили отношения советских миссий по репатриации с французскими властями.

После этой истории и нашего несостоявшегося отъезда я остался во Франции, в Ницце, и продолжил учебу. Я никогда не интересовался политикой. Отец рассказывал мне о терроре в России, о концентрационных лагерях и пр. Мать говорила: "Поедем домой. Поедем, нам там будет хорошо". В один прекрасный день мы с сестрой посетили советское консульство. Поговорили с консулом, он заверил: "Никаких препятствий, вы можете ехать в Советский Союз. Вас там устроят. Чем бы вы хотели заниматься?" – "Лично я хотел бы пойти во флот". – "Никаких проблем, у нас мощный торговый флот, вы сможете работать на судне, если захотите".

Сомнения оставались, но молодость глупа! Ветер приключений задул в паруса...

"Не понравится, вернусь", – твердил я себе. Надо сказать, у нас в доме много говорили о России. С самого детства я слышал: "Мы поедем жить в Одессу, на

море". Я с ранних лет мечтал об этом путешествии, мечтал увидеть Сибирь, зачитывался "Михаилом Строговым". У меня не было коммунистических взглядов, я ничем не отличался от своих сверстников-французов и все-таки чувствовал себя немножко русским. Мы отправились поездом со старшей сестрой, у нас были французские паспорта и советские. Мама собиралась приехать позже.

Путь наш лежал через Чехословакию. Прибыли в Чоп, пересекли границу: тут, по другую ее сторону, светило такое же солнце! Три дня нас продержали в Курске: проверка документов, обыск и все такое. Это был первый шок. Я не очень хорошо понимал, что происходит. <...>

Нам обоим выдали денег на билеты до Москвы и оттуда до Новосибирска и на еду. <...> В Новосибирске мы остановились в гостинице на центральной площади, там, где опера. Постоянно мешало плохое знание русского. Нас, разумеется, окружали зеваки, я тогда еще носил бороду, люди думали: что за бородач такой, уж не поп ли? К бороде в ту пору относились настороженно. И потом, одет я был по-западному. На мне был черный пиджак в темно-синюю полоску, узкие брюки, ботинки с пряжками. Я выглядел чудаком. Погода стояла жаркая, очень жаркая. Градусов тридцать. Мы купались. Когда мы спрашивали у людей на улице: "Как пройти к центру?", нам отвечали: "Да вы же в самом центре!" <...>

Мы пошли в миграционную службу просить, чтобы нас оставили в Новосибирске. Там удивились, что мы сюда из Парижа приехали. Сказали: "Вы должны жить, где вам предписано, в Искитиме, это в шестидесяти километрах, два часа поездом". Оставляем вещи в гостинице, садимся на поезд, едем посмотреть. Искитим – маленький городок, в нем есть цементный завод, и от этого городок весь белый. Стены белые, дороги белые. Приезжаем, а там все только рты пооткрывали: "Откуда вы взялись? Мы ничего не знаем!" Оказывается, надо было ехать еще дальше, тридцать километров отсюда, в какой-то колхоз. На другой день отвозят нас туда на машине. Дивный уголок, лес, поля. Но про нас никто ничего не знает. Начальник, который нас принимает, раздражен: "Людям и так жить негде, а тут еще вы сваливаетесь! Вам нужны работа и жилье? Вы инженер? Это нам не интересно. Здесь надо трактор водить!"

Спрашиваю у того, кто нас привез: "А в Искитиме есть для меня работа?" – "На цементном заводе, но жилья тоже нет". А потом он говорит: "Куда бы вы хотели поехать?" – "У нас есть родственники в Ленинграде". – "Вот и езжайте в Ленинград! Нечего вам здесь оставаться! Это не для вас!" Посоветовал, как добраться до Ленинграда, и добавил: "Не говорите никому, что я вам такое сказал, но здесь вам оставаться не надо".

Мы с сестрой были в отчаянии! Что же это делается! Должен признаться, я два раза впадал в депрессию, в Чопе и в Искитиме, плакал в гостинице: "К черту все, надо возвращаться! Скажем им, что возвращаемся во Францию! Лично я уезжаю в Париж! Хватит с меня России, сплошная ложь и лицемерие, нас обманули. Наобещали всего, а тут ничего, никакой организации, ноль". Сестра говорила мне в такие минуты: "Вот увидишь, все уладится", а потом депрессия начиналась у нее, и уже я ее утешал.

Зиновию Спечинскому и его сестре чудом удалось добраться до Ленинграда, где жила их тетя.

Тут опять начались проблемы! Нас посылают регистрироваться: "Вы откуда?" – "Из Парижа". (Смех.) – "Вас куда направили?" – "В Искитим". – "Если у вас в паспорте написано Искитим, значит, надо туда и ехать, а здесь вам

делать нечего". – "Но там нас никто не ждет, а здесь есть хотя бы где жить! Мы останемся тут".

Во всех инстанциях одно и то же: "Нет. Это невозможно!" Является милиционер: "Чтоб вас завтра же тут не было!" Идем к друзьям, рассказываем свою историю. Вместе ищем выход. Два дня полной паники. Затем нам все-таки разрешили остаться на три месяца. Через три месяца дали новую бумажку – еще на три месяца, и так почти год. А потом я наконец получил прописку. И мне предложили работу в институте метеорологии. <...>

Франция их бросила

Франция пожертвовала собственными гражданами во имя Истории, геополитической стратегии Министерства иностранных дел и тогдашних хороших отношений с Советским Союзом. Запрашивая у своих советских коллег информацию о переселившихся в СССР французах, французские дипломаты не получали ответа. Советские власти считали этих людей гражданами СССР и не собирались никому давать отчет об их судьбе.

Вскоре после массовой волны отъездов в СССР в 1946, 1947, 1948 гг. французские власти, и в первую очередь работающие в Москве дипломаты, начинают понимать, что дела обстоят совсем не так хорошо, как предполагали отъезжающие. Нескольким французам удается с большим трудом передать письма в посольство. Но для дипломатов драматические судьбы отдельных людей мало значили по сравнению с большой политикой[1].

Между тем сотрудники посольства все-таки беспокоились о судьбе бывших французских подданных и сообщали в Париж, что многие из тех, кому удается с ними связаться, просят о репатриации. Но генерал Катру, посол Франции в СССР со времени установления дипломатических отношений в январе 1945 года (после визита в Москву генерала де Голля), и другие дипломаты не имеют возможности им помочь. Катру неоднократно обращается в Министерство иностранных дел.

16 марта 1948 года он бьет тревогу и просит у министра иностранных дел Жоржа Бидо инструкций относительно судьбы сограждан, пытающихся выяснить, "как получить выездную визу и вернуться во Францию". Катру описывает положение французов, не имеющих возможности выехать из СССР, на трех страницах, его письмо передает отчаяние оказавшихся в ловушке людей:

В последнее время в посольство часто обращаются француженки, прибывшие в СССР с мужьями-эмигрантами из России, восстановленными в гражданстве СССР. Все они покинули Францию в сентябре-октябре 1947 года через Сарбур. В СССР они попали в по-прежнему существующий под Гродно фильтрационный лагерь. Отсюда их отправили в разные концы страны. <...> В большинстве своем эти француженки и их дети не знают русского языка, они

1. Из телефильма Пьера Ригуло "Их Сталин поймал в ловушку". Франс-5, 2002. (*Прим. автора.*)

в ужасе от той жизни, какой живут советские люди, и не могут с этой жизнью смириться. Полагаю, что у них возникнут трудности с получением визы на выезд, хотя все они приехали в СССР с французскими паспортами и въездной визой. Выездную визу не могут получить французы, проживающие в СССР уже долгие годы; вряд ли местные власти откликнутся на просьбы француженок, добровольно эмигрировавших в СССР и желающих покинуть его четыре-пять месяцев спустя. <...>

Через месяц после этих посланий французские власти отозвали генерала Катру из Советского Союза. 24 апреля 1948 года его место занял Ив Шатеньо, персонал посольства был обновлен. Политика Франции в отношении сограждан, запертых в СССР, ужесточается. Ключевым словом становится "сдержанность". Французское правительство желает во что бы то ни стало избежать дипломатического кризиса, и тому, помимо переписки между посольством в Москве и Министерством иностранных дел в Париже, существует множество примеров.

В конце 1948-го или в начале 1949-го (она сама точно не помнит) Рене Вилланше отправилась в Москву просить в посольстве о возвращении во Францию. В отличие от других французов и француженок, которых и к воротам-то не подпускали, Рене беспрепятственно прошла на территорию посольства. По невероятному стечению обстоятельств у нее по прибытии в СССР в 1946 году не отобрали французский паспорт. Однако после поездки в Москву она лишилась шанса вернуться на родину. Вот ее собственный рассказ:

Я хотела вернуться во Францию. Через год с небольшим после переезда в Россию я решила попытать счастья в столице. Знала, что в Москве есть французское посольство. Русские из моей деревни советовали туда пойти. "Может, уедешь домой", – говорили они. Я накопила денег и еще в долг взяла и поехала в Москву с французским паспортом, другого у меня не было. А деревня эта очень далеко, я ехала на грузовике, потом на автобусе. Страшно было, по-русски я говорила плохо, даже понимала плохо, но твердо хотела вернуться во Францию. К сожалению, это оказалось невозможным. Месье Жан из посольства сказал, что граница закрыта и я не могу уехать. Я расплакалась. Я хотела домой. Это было невозможно. Месье Жан забрал у меня паспорт и все документы, сказал, что они мне не нужны, он оставит их у себя. А взамен ничего не дал, я вернулась в деревню без документов. Еще сказал, что я получу письмо или ко мне приедут. И чтобы я сидела в деревне и в Москву больше не ездила. Я тогда сразу не поняла, какую сделала ошибку, у меня ведь нет образования, я не знала, куда еще обратиться. Может, надо было идти за помощью к советским властям, но я боялась.

Ответ не заставил себя долго ждать. Несколько недель спустя к ней нагрянул КГБ. Допрос, запугивание, угрозы. Через несколько дней они вернулись снова и вручили ей... советские документы! С того 1949 года француженка Рене перестала существовать для Франции, поскольку официально стала советской гражданкой.

Французское посольство вспомнит-таки о Рене, но через пятьдесят один год! К ней приедет доктор Черячукин, советник по социальным вопросам посольства Франции в Москве, проявляющий чуткую заботу

о людях, оказавшихся в ее положении. Это нетрудно объяснить его собственной биографией: русский по происхождению, сын белого генерала, он должен был после Второй мировой войны уехать с родителями в Советский Союз, что подтверждается документами (он бережно их хранит), выданными советским посольством в Париже в 1946 году. На его счастье, у родителей возникли сомнения относительно участи, которую им уготовила родина. Появление Жана Черячукина у Рене Вилланше в 2000 году только подтверждает тот факт, что сотрудники французского посольства зарегистрировали все данные о ней полвека назад...

Осталось выяснить, почему у Рене конфисковали паспорт. Почему ей не помогли? Что стало с ее документами? Все эти вопросы остаются без ответа и со временем забываются... во имя дипломатических отношений. <...>

Добиться признания, что ты француз, невозможно было еще совсем недавно, в 1990 году. Приведем свидетельство дочери Жана Грузе, бывшего узника ГУЛАГа (лагерь в Воркуте). За несколько недель до смерти отца она обратилась с письмом в посольство Франции в Москве. Будучи тяжело больным, Жан Грузе хотел умереть французом, а также разузнать что-нибудь о своих родных во Франции, которые, должно быть, давно считали его умершим. Он полагал, что с перестройкой и падением Берлинской стены может наконец рассчитывать на помощь. Вот ответ, полученный его дочерью из посольства несколько дней спустя:

Мадам, Ваше письмо я рассмотрел со вниманием. Сведения, которыми Вы располагаете, не позволяют посольству начать поиски. Для розыска родных во Франции советую вам обратиться во французский Красный Крест.

Примите, мадам, выражения моего искреннего почтения...

Еще несколько недель спустя пришел ответ из Красного Креста:

Мадам, мы получили Ваше письмо относительно поиска родных господина Жана Грузе и сообщаем Вам, что осуществить таковые не представляется возможным...

Жан Грузе, попытавшийся восстановить связь с родиной, за сорок пять лет до этого бросившей его на произвол судьбы, умер советским гражданином в 1991 году.

Есть обстоятельство, о котором неохотно вспоминают, когда речь заходит о французах — узниках советских лагерей, это обстоятельство — сами французские власти.

Тем не менее известно несколько случаев, когда людям удавалось дать знать о себе, и случались чудеса: французские граждане спасались от советского ига. Приведу три таких случая.

Первый относится к 1946 году. Мадлен Клеман исхитрилась сообщить о своей участи во французское посольство. На клочке газетной бумаги она написала, что находится в лагере вместе с группой французов, и все они не могут добиться никаких разъяснений. Чувствуют себя бес-

помощными и обреченными, НКВД забрало у них паспорта. Катру написал тогда в Министерство иностранных дел СССР изысканное послание:

В посольстве были неприятно удивлены, узнав, что в советских лагерях находятся французы. Министр иностранных дел Франции, без сомнения, сочтет достойным сожаления тот факт, что французские граждане содержатся в таких же условиях, что и наши бывшие общие враги.

Далее посол просит советские власти незамедлительно "приступить к поискам французских граждан, насильственно удерживаемых в СССР, и обеспечить их свободу". Поставленный в известность министр иностранных дел Франции Жорж Бидо, судя по всему, никак не высказался по данному делу. После сильного нажима Катру советские власти освободили Мадлен Клеман и позволили ей в конце 1946 года выехать во Францию.

Второй пример – это Жермен Сержан, проживающая сейчас в Па-де-Кале. Выйдя замуж за советского солдата (ее муж Сергей Бессонов попал в плен на Восточном фронте и был отправлен в лагерь на севере Франции; брат Жермен, участник Сопротивления, руководил освобождением Сергея и других его соотечественников, после своего освобождения Сергей вступил в подпольную ячейку Сопротивления, где и познакомился с Жермен) и будучи беременной, она оказалась после войны, в 1946 году, перед сложной дилеммой. По соглашению о репатриации военнопленных Сергей не мог оставаться во Франции, он должен был вернуться в Советский Союз. Пытаясь этого избежать, он прятался в заброшенной шахте, но по чьей-то наводке его арестовали. Выбора не осталось. Жермен не знала, что делать. В конце концов решила ехать вместе с отцом только что родившегося ребенка и оказалась в лагере Борегар. Здесь она познакомилась с Рене Вилланше.

Мы были влюблены и беспечны, – вспоминает Жермен, – *но, попав в СССР, столкнулись с нищетой и террором. Мне сразу же захотелось вернуться. Мы отправились в Воронеж к родителям мужа, где его немедленно арестовали и бросили в тюрьму. Через полгода освободили*[1]*. Мы обсудили наше положение, он настаивал, чтобы я уезжала. Он меня очень любил, но решил, что для меня и нашего сына Сержа лучше вернуться во Францию. У меня был французский паспорт, в посольстве посодействовали моей репатриации. Нерешенным оставался вопрос с маленьким Сержем: сама я отказалась получать советское гражданство, у сына выбора не было. "Он советский подданный, вы не можете его увезти", – говорили мне. Естественно, уезжать без него я не собиралась. Мы с мужем решили рискнуть. Завернули малыша в одеяло, упаковали, как сверток. Я положила его вместе с чемоданами. По счастью, он не плакал. И никто ничего не обнаружил. Мы были спасены, я вернулась во Францию, в Па-де-Кале, заново устроила свою жизнь. У меня родилось еще трое детей, и я жила счастливо. Что касается моего первого мужа Сергея, настоявшего на моем отъезде, в последний раз я видела его на перроне вокзала... И больше никогда о нем не слышала. Раз-*

1. Временно. (*Прим. автора.*)

умеется, я пыталась что-нибудь разузнать. Я написала ему сразу, как приехала во Францию, и потом еще писала, писала... Но ни разу не получила от него никакой весточки. Что с ним стало, я не знаю.

Третий случай относится к 1981 году, и он, возможно, наиболее известен, поскольку освещался в средствах массовой информации. Эта невероятная история случилась с Николаем Щербаковым, поехавшим на время отпуска летом 1945 года в СССР навестить родных по линии только что умершего отца и оставшимся там на... тридцать шесть лет! Через несколько дней после приезда он был осужден за шпионаж и отправлен на принудительные работы. К счастью для него, в чудовищных условиях лагеря на Новой Земле, за Полярным кругом, он провел всего два года. Заключенные лагеря пели, что зима там длится двенадцать месяцев, а все остальное время — лето. Мало кто из них выживал. Освобождение было для Николая сюрпризом. Ему сообщили, что его приняли за другого и что отныне он свободен.

Но свободен относительно. Сталин не мог допустить, чтобы человек, видевший в лагерях реальную советскую действительность, покинул СССР, вернулся во Францию и стал рассказывать там, что на самом деле происходит за Полярным кругом. Освободившись, Николай должен был ехать на Северный Кавказ, в Пятигорск. В Москве делал пересадку и не устоял перед искушением: попытался прорваться во французское посольство.

С волнением увидел я ворота посольства... Пройдя метров сто по противоположному тротуару, перешел улицу, чтобы в последнюю минуту броситься напролом. До входа оставалось недалеко. Двадцать метров, пятнадцать... Я говорил себе: "Еще несколько секунд – и я пробегу мимо охранников во двор. Если во дворе никого нет, закричу: помогите, я француз! Не смогут же они арестовать меня на территории посольства". Готовлюсь к решающему рывку, и вдруг передо мной останавливается автомобиль. Открывается передняя дверца, из нее выходит человек. Путь отрезан. Оборачиваюсь. Задняя дверца тоже открывается. "Гражданин, садитесь, пожалуйста, в машину..." – "Вы ошиблись..." – "Нет, мы не ошиблись... Давайте живей!"

Схватили меня за рукав и втолкнули в машину. Я в отчаянии, понимаю, что я снова в руках НКВД.

Николая отправили в Пятигорск, где ему было предписано жить. Потом его перевели в глухую деревню и там заставили принять советское гражданство. Находясь под постоянным надзором КГБ, он только через тридцать с лишним лет сможет сообщить во французское посольство о своей судьбе. Письмо Щербакова вместе с его документами передаст послу отважный студент-африканец, а Николаю в это время уже грозит новый срок[1].

23 октября 1981 года, посольство Франции в Москве. Посол Фреман-Мерис, находящийся на своем посту уже более двух лет, собирает

1. В этот период, отсидев год в тюрьме, Николай Щербаков был переведен в мордовские лагеря, где тяжело заболел, но затем во время новой пересылки сумел сбежать от охранника. Таксист помог ему добраться до Киева, там бывший узник лагерей, африканец, порекомендовал ему обратиться к соотечественникам-африканцам, имевшим связи с французским посольством. (*Прим. автора.*)

четырех советников в единственном "безопасном" (гарантированном от прослушивания) помещении, зачитывает им письмо и показывает документы, переданные африканцем. Решение принимается быстро. "У нас нет времени запрашивать Париж, – говорит посол и задает советникам вопрос: – Готовы ли вы пойти на риск?" Те отвечают согласием: "Мы не можем проигнорировать этот призыв о помощи. У нашего француза появится шанс вернуться на родину, если мы доберемся до него раньше, чем КГБ. Если же КГБ нас опередит и если рассказанное Щербаковым правда, он кончит свои дни в ГУЛАГе".

Перед тем как организовать "операцию спасения", один из сотрудников посольства проверяет достоверность сведений, которые сообщил о себе Николай. Он звонит в мэрию Аржантьер-ла-Бессе и получает подтверждение, что Николай Щербаков действительно родился в этом альпийском городке 19 августа 1928 года. Затем первый секретарь посольства Рене Рудо "выходит на связь". Николай стоит на проспекте Калинина, где ему велел находиться африканский студент, перед ним останавливается "рено 5" с дипломатическим номером 007 (этот номер и сейчас обозначает принадлежность автомобиля французскому посольству), Николай не может сдержать слез. Задав Щербакову несколько рутинных вопросов в одном из тихих московских скверов, дипломат, отчаянно рискуя, провозит его в посольство, уложив на пол автомобиля, не останавливаясь, вопреки обыкновению, у шлагбаума, который открывают охраняющие ворота милиционеры. Месяц спустя, после долгих переговоров с советскими властями, Николай Щербаков отправляется на самолете в Париж в сопровождении того же первого секретаря посольства. <...>

Долгий путь к свободе

В период перестройки выжившие в добровольной советской ссылке получают право свободно перемещаться по стране. Некоторым семьям удается перебраться в большие города, в Москву. Но там их никто не ждет. Теперь их "перемещение" оборачивается нищетой и новыми унижениями. С приходом к власти Горбачева реэмигранты пытаются заявить о себе во французском посольстве. Но Франция не признает своими людей, лишенных гражданства, забытых, считающихся теперь русскими, то есть иностранцами. Полвека спустя их мучения продолжаются, и Франция остается для них недостижимой мечтой.

Все или почти все они вступили в Советском Союзе в брак, у них есть дети и внуки, в семье они не считают себя "советскими", но это еще не значит, что они могут вернуться во Францию. Что станется с их русскими детьми?

Алексей, второй сын Ольги Вишневской, родился в Экс-ан-Провансе. Уехав оттуда с родителями в возрасте трех лет, он всю жизнь прожил в Советском Союзе. Он полагает, что ему возвращаться во Францию уже поздно:

Что я там буду делать? Я прожил здесь сорок четыре года как иностранец и "враг народа". Слава Богу, этот период закончился с падением СССР, жить

стало лучше. Но если теперь я вернусь во Францию... боюсь, я снова окажусь в таком же положении: буду считаться иностранцем, а потому не стоит...

Его мать Ольга съездила во Францию в 2000 году по приглашению великодушной француженки, с которой случайно познакомилась в московском магазине. Во Франции Ольга первым делом отправилась в Рамбуйе искать могилу своего отца. В Москве у нее маленькая квартирка, и она все никак не решится переехать во Францию окончательно. Выясняет, сможет ли получить там пенсию и жилье. Выяснение затягивается, результат – неопределенный. Три года назад Ольга вернула себе французское гражданство. Для нее это большая радость, она столько лет об этом мечтала. Кто она – француженка, русская? Ольга отвечает: "Я думаю по-французски, мне легче думать и читать по-французски, чем по-русски. В глубине души я всегда оставалась француженкой. Я не хотела ехать в Россию. Я больше француженка, чем русская".

Наталья Сахарова рассказывает, что жила лишь надеждой вернуться во Францию.

Что со мной было, когда я наконец увидела Францию! Я ведь уже не чаяла этого! Во Франции я дома. Чувствую себя дома. Хотя сегодня я была бы там репатрианткой. Я всю свою жизнь просыпалась со слезами, пока не поехала во Францию в 1988 году. Это было что-то невероятное. Я не полноценная француженка, потому что прожитые годы нельзя вычеркнуть, и все-таки я такая же француженка, как вы. Иначе я не стремилась бы так сильно получить французское гражданство, от которого мне мало проку, кроме радости, которую оно мне доставляет, и ощущения свободы. Получив французское гражданство, я ощутила свободу, а ведь свободы я была лишена более сорока лет!

Семья Орловых тоже всегда думала о Франции с надеждой и гордостью. Старший брат Сергей рассказывает:

В 1954 году Владимир смог выбраться из колхоза, где мы жили, отправиться в Санкт-Петербург (тогда Ленинград) и там поступить в консерваторию, он очень хорошо пел. Консерваторию он не кончил, забрали в армию. Два года спустя удалось перебраться в Ленинград и мне, я тоже пел, пел французские песни в одном ансамбле и на радио. Я был счастлив, потому что, будучи французом и чувствуя себя французом, мог в какой-то степени реализовать свою связь с Францией. В 1969 году я стал преподавать французский, а с 1990-го преподаю его в Альянс Франсэз, здесь, в Петербурге.

Как и трое моих братьев, я хотел бы кончить жизнь во Франции, на своей родине. Хотя я и прожил пятьдесят четыре года в России, я всегда оставался французом и считал Францию своей родиной. В 90-х годах мне вернули французский паспорт, и я снова стал гражданином Франции. Я был счастлив. На седьмом небе от счастья. Французское гражданство я восстановил первым в семье, затем помог получить его братьям и сестрам, кроме сестры, которая живет в Киеве. Первым, в 1992 году, уехал Михаил с семьей, устроился работать сторожем в Уллене, это пригород Лиона, там он живет и сейчас.

Отец Орловых клялся, что вернется умирать на свою родину, в Россию. Его сыновья давали себе иную клятву: вернуться умирать на родину – во Францию! Их мать, родившаяся в 1910 году в Монпелье, умерла

в 1992-м в Крыму, Францию так и не повидав. "Лучше мне Франции совсем не видеть, а то приеду и сразу умру", — говорила она незадолго до смерти...

Нина Базилина на протяжении более пятидесяти лет переписывалась со своей подругой детства Люси Брюссель. Долгое время она думала, что никогда ее не увидит. Но в последние годы она несколько раз ездила во Францию, в Рьёперу, где провела детство и где сейчас живет Люси. Об окончательном возвращении она не помышляет:

Вернуться или остаться? Нет, этот вопрос передо мной никогда не стоял. Потому что между 1947-м и 80-ми годами много воды утекло, я отвыкла от Франции, и потом, у меня семья. Причинить вред остающимся? Нет! Это немыслимо. Немыслимо. Тем более у меня есть дочь, а теперь появилась и внучка, которой я много занимаюсь. Нет, вопрос об этом никогда не стоял, может, еще и потому, что я получила возможность ездить во Францию, любоваться милыми сердцу горами, общаться с друзьями. Я каждый раз была очень рада их видеть. Но для меня перестройка наступила поздно. Слишком поздно. Я была уже пенсионного возраста...

Иван Клима
Два эссе

Перевод с чешского Н. Фальковской

Мои приезды в Терезин

Вначале мне придется объяснить, зачем я регулярно возвращаюсь в этот невзрачный город, где нет ничего примечательного. Разве что несколько полуразвалившихся казарм да ампирных домов, классицистическая церковь Воскресения Господня начала XIX века, несколько малоинтересных скульптур и, разумеется, множество крепостных стен и казематов, заглянуть в которые я все равно не могу. Ничего достойного упоминания кроме того, что здесь несколько лет держали в тюрьме сербов, которые совершили сараевское убийство, якобы спровоцировавшее Первую мировую войну, и что здесь устроили концентрационный лагерь и еврейское гетто во время Второй мировой. Тогда этот город стал моим домом, мне было десять лет, когда меня сюда привезли, и без малого четырнадцать, когда я его покинул. Домом, конечно, вынужденным, неласковым и, безусловно, нелюбимым. Когда через два дня после окончания войны я уезжал из города, то оглянулся на него в последний раз, совершенно уверенный, что никогда, никогда больше его не увижу.

Говоря о городских достопримечательностях, я не упомянул ни Национальное кладбище, которое возникло уже после войны, ни крематорий, который построили за городской чертой, так что я, когда был там, видеть их не мог. В городе есть еще два музея, посвященные именно этим четырем годам войны. Перед музеями обычно выстраиваются автобусы с туристами, они приезжают со всего мира, чтобы увидеть место, через которое прошли сотни тысяч евреев, отправлявшихся в газовые камеры или лагеря смерти в Освенциме и вокруг него.

Город, построенный в конце XVIII века как мощная преграда на пути прусской экспансии (хотя большого толку от этой крепости не было), император повелел назвать "ради увековечения памяти своей высокославной матери Марии Терезии" — Терезин.

В места, где ты сидел в тюрьме, обычно не тянет, пусть даже тюрьма уже давно и не тюрьма, однако некое сентиментальное чувство время от времени приводит тебя туда, где ты жил ребенком. И хотя ты с изумлением замечаешь, что места эти изменились, как-то съежились, утратили многое из того, что осталось в памяти, там все же слышен неповторимый голос давних впечатлений. Далеко не каждый, разумеется, провел детство в концлагере. Испытавшие это, за малым исключением, вообще лишены были возможности выбирать, возвращаться им сюда взрослыми или нет: их убили, не дав повзрослеть. Насколько мне известно, я один из немногих, кому то ли стечение обстоятельств, то ли особая снисходительность судьбы даро-

© Н. Фальковская. Перевод, 2005
Редакция благодарит Ивана Климу за предоставленное право безвозмездной публикации.

вали возможность возвращения и даже возвращений.

В памяти моей конечно сохранились воспоминания и о друзьях, из которых почти никого не осталось в живых, и о множестве событий, что выцвели от времени. Не все эти воспоминания ужасны, более того, многие из них, относись они к другому, более нормальному и свободному месту, я бы посчитал приятными, но все случилось там, где властвовали страх и отчаяние, где по забитым людьми улицам бродили старики и старухи, и тогда я не знал, что через несколько дней их имена окажутся в списке сотни скончавшихся за прошедшие сутки. Я решительно не видел причины, чтобы, пускай даже мысленно, возвращаться сюда. Много лет я вообще не говорил о Терезине и почти не писал о нем. Но где-то в подсознании всегда гнездилась мысль, что рассказать о пережитом — это мой долг перед теми, кто в отличие от меня не выжил. Что мой долг — предостерегать против бесов, затаившихся в человеческих головах и зачастую определяющих наше поведение. Но как выявить этих бесов, как назвать их? Ведь очень скоро меня окружили новые, они выглядели несколько иначе, поклонялись не свастике, а серпу и молоту, славили Сталина, а не Гитлера, однако безвинные люди по-прежнему попадали в лагеря и по-прежнему умирали там.

***

Лет через тридцать после войны моей американской переводчице очень захотелось посетить Терезин, где погибла часть ее родни, и я не мог не поехать с ней. Вот так и вышло, что я опять увидел город и впервые побывал во втором лагере, располагавшемся в вынесенной за ворота так называемой Малой крепости, где при нацистах режим был еще строже, чем в самом городе, ставшем для европейских евреев пересадочной станцией на пути к смерти. Я впервые осмотрел музей, полный вещей, хорошо мне знакомых: желтых звезд с надписью "Jude", банкнот с головой Моисея и скрижалями — эти деньги печатали выродки-тюремщики, — картин на сюжеты из жизни интернированных и даже детских рисунков, среди которых я обнаружил и свой, совсем было мною забытый. Я рассказал своей переводчице, что в 1941 году жил в казарме за парком напротив нынешнего музея. Честно говоря, хотя я и знал, что это именно то здание, но все же не узнавал его. У него будто изменились размеры и цвет, но главное — с его стен исчез проступавший на них прежде ужас. Казарма была тихая, равнодушная и очищенная от страданий. Город вообще действовал на меня особым образом. Я знал, что это он, и в то же время словно бы впервые в жизни шагал по его улицам: они стали другими, освободились не только от страха, но и от массы людей, толпившихся здесь во множестве, в каком сейчас, пожалуй, толпятся лишь туристы на пражском Карловом мосту.

Немного позже, уже после падения коммунизма, ко мне приехал симпатичный журналист с Би-би-си, чтобы взять у меня часовое интервью. Его заинтересовало мое военное детство, и он спросил, нельзя ли записать часть нашей беседы в Терезине. Я возразил, что в Терезине нет больше никаких особенных звуков, там уже давно не стреляют, не раздаются лающие немецкие команды, а бомбардировщики союзников, прозванные "летающими крепостями", которые, к нашей радости, с ревом проносились над городом в последние месяцы войны, давно превратились в металлолом. Но журналист настаивал: так, мол, будет достовернее, полагая, очевидно, что место, где я тогда жил, навеет воспоминания, которые иначе в моей памяти не всплывут. И вот мы вместе с ним вскарабкались на укрепления над Верхней башней, и я рассказал все, что сумел вспомнить... Однако он ошибся. Это место не годилось для того, чтобы освежить мою память. Я оказался здесь впервые в жизни, вход на укрепле-

ния был нам, заключенным, строжайше запрещен. "Строжайше" означало: под страхом смерти, впрочем, на нее были обречены мы все, разница была лишь в том, кого убьют раньше, а кого позже.

Вскоре после этого мне позвонил американский профессор чешского происхождения из Пенсильвании: не соглашусь ли я сопровождать группу его студентов в Терезин. Я сослался на недостаток времени, на то, что пережитое выветрилось из памяти.

Примерно через год меня уговорил отправиться в Терезин немецкий режиссер Хелмар Фишер, который хотел снять фильм, со всеми подробностями рассказывающий о моей жизни. Мы приехали в Терезин с его съемочной группой, но мне интереснее других был оператор, настолько влюбленный в свое ремесло, что пока все прочие, то есть мы, отдыхали или ели, он искал интересные виды. Так мы и оказались возле казармы, где я провел последние два с половиной терезинских года. Казарма была закрыта, в ней шел ремонт. Поэтому оконные стекла на первом этаже отсутствовали, и оператор ловко прыгнул через подоконник и исчез внутри, там, куда я не входил уже полвека. Но почти тотчас же он выскочил обратно — за ним гнался разъяренный прораб. Поскольку по-чешски тут говорил только я, то меня и начали распекать за дерзкое вторжение на закрытый объект. Я сказал прорабу — а человек он был молодой и о войне мог слышать разве что от родителей, если не от бабушки с дедушкой, — что находился здесь в заключении во время войны, вот в этой самой казарме, всего лишь двумя этажами выше того места, где мы сейчас стоим, и оператор хотел бы снять ту комнату. Разъяренный прораб вмиг подобрел. Он спросил, не желаю ли я тоже туда заглянуть, и, когда я согласился, провел нас с оператором внутрь. Комната была отремонтирована, совсем пустая и показалась мне такой маленькой, что я засомневался, то ли это самое помещение, где мы обитали ввосьмером. Потом я подошел к окну и вдруг увидел прежний и такой знакомый пейзаж: крыши Литомержиц вдалеке, и еще дальше — склоны Крушных гор, пятидесятилетней давности вид на недоступные земли за крепостными стенами, где люди не были ограничены в своих передвижениях, где росли леса, зрел хлеб на полях и раскинулись фруктовые сады. Сам Терезин изменился, а панорама осталась той же, улицы стареют быстрее гор, быстрее пейзажа за окном — мне ненадолго открылся пейзаж моего детства, который я наблюдал ежедневно, но в который никогда не мог войти. Этот вид был символом отобранной у меня свободы. Глядя на него сейчас, я словно вернулся в те дни, в ту обстановку и неожиданно остро осознал все взаимосвязи моего тогдашнего положения, всю суть тогдашнего — а вернее сказать любого — бесовства.

Бесы, стремящиеся завладеть людскими душами, могут принимать различный облик, но они обязательно гонят того, чьей душой завладели, к одной-единственной цели: отнять у других людей свободу, лишить их достоинства, подчинить себе настолько, чтобы властвовать над их жизнью и смертью. Я понял, что этот город, подобно мне, пережил нашествие бесов, но вновь распахнул свои ворота перед свободой и, подобно мне, вернулся к жизни, а значит, у нас есть с ним что-то общее.

Когда через год мне вновь позвонил чешско-американский профессор из Пенсильвании и спросил, не соглашусь ли я сопровождать группу его студентов в Терезин, я сказал "да".

С тех пор каждый год в первую неделю августа я езжу с группой студентов в Терезин и пытаюсь объяснить им суть исключительного опыта, пережитого мною в детстве, или даже заставить их думать о том, что произошло тогда, происходит где-нибудь в мире прямо сейчас и может произойти когда угодно даже и в нашей части света, которую мы горде-

ливо и легкомысленно считаем просвещенной.

***

Трудно, а может, и невозможно объяснить атмосферу, расовые законы, поведение людей в нацистской империи детям, выросшим в стране, где профессор, опасаясь обвинений в расизме, не решается поставить плохую отметку студенту с другим цветом кожи.

В музее, по стечению обстоятельств размещенном в переднем крыле той самой кавалерийской казармы, где в заднем крыле жил некогда я, в одной из комнат восстановлена тогдашняя обстановка: трехъярусные нары, чемоданы с обязательной нестираемой надписью — именем владельца и его номером, практически полное отсутствие мебели, как и свободного пространства — короче говоря, точно показаны материальные условия, в которых мы жили, но, по мне, тут не хватает живых людей, шума, вони, тысяч или вернее сотен тысяч блох, клопов и вшей, невозможно, разумеется, добавить сюда еще и страх, отчаяние, стоны, болезни, умирание — но и надежду, минуты радости от полученного письма, передачи или достоверных новостей о неудачах гитлеровских войск. И даже самая буйная и изощренная фантазия не в силах воссоздать обстановку, при которой человек лишен всех прав, при которой двадцатилетний подонок и изверг, не сделавший за свою жизнь ровным счетом ничего, только ради того, чтобы почувствовать себя сверхчеловеком и хозяином десятков тысяч жизней, может избить старого врача, университетского профессора, оперного певца, раввина или священника, может заставить любого из них встать перед ним на колени, может, если захочет, забить насмерть или еще каким-нибудь способом лишить жизни. Точно так же он может взять младенца и размозжить ему голову о стену или отправить его в газовую камеру.

Трудно описать меру извращенности тех, кто назначал людей в органы еврейского самоуправления лагеря, основной задачей которого было составлять списки для отправки в Освенцим — место, откуда обычно уже никто не возвращался. Кто сумеет сегодня вжиться в положение того, кто, будучи осужденным на смерть, получил привилегию стать перед этим палачом?

Мы ходим по городу. Я пытаюсь вдохнуть жизнь в эти унылые двухэтажные дома, в чьи тесные комнаты набивались сотни людей. Представьте, говорю я, что вас привезли сюда из вашей квартиры, и вы в одно мгновение лишились всего: у вас нет ни куска собственного пространства, нет доступа к воде, а перед единственным туалетом стоит часовая очередь.

Дома в большинстве своем обветшали, казармы опустели, в некоторых разместились склады, в других — какие-то мастерские, улицы почти пусты. На площади с цветущими клумбами возле музея, расположенного в бывшем детском доме, находится полицейский участок. Однако полицейские никому не внушают страха и не носят на своих фуражках череп со скрещенными костями. Заборы, что отделяли нас, осужденных без суда, от повелевавших нами сверхчеловеков из СС, исчезли. Исчезли музыкальный павильон и детский сад, которые заключенным пришлось наскоро возвести перед приездом комиссии Красного Креста. Исчезли магазины, где продавались вещи из чемоданов замученных в лагере людей. (Поношенная одежда сортировалась, так что в магазины попадала самая негодная.) Если память мне не изменяет, там можно было еще купить горчицу — за псевдоденьги с изображением Моисея, напечатанные специально для этого города. А если у кого находили настоящие деньги, за это полагалась смертная казнь, то есть отправка в Освенцим. Как и за не сданное золотое украшение, за сигареты, алкоголь, кофе, газеты (причем за официальные газеты, уже прошедшие строгую цензуру), а иногда и за шоколад или зубную пасту. В нашу ка-

зарму ходили три тетки-нацистки. Их называли воробьихами, но не потому, что они напоминали этих симпатичных маленьких птичек, а потому, что воровали все, что им приглянется; если же находили что-нибудь запрещенное, отправляли человека в Освенцим. Зашли они однажды — какой же это был ужас, какой кошмар — и к нам в комнату, но мать тогда болела, лежала в постели, и воробьихи побоялись заразиться. Так и убрались, не заглянув ни в один из наших чемоданов.

Вопрос: "Что с ними стало?"

Насколько я знаю, после войны их арестовали, судили и казнили. Они были повинны в смерти многих людей. Казнили и кое-кого из здешних эсэсовцев. Другим удалось скрыться — их не нашли.

Вопрос: "Вы одобряли эти казни?"

Тогда, после войны, я еще был ребенком и именно так понимал справедливость. Я знал тех, кого судили, они посылали на смерть ни в чем не повинных людей. Они убили всех моих друзей, большинство моих родственников. Им было чуждо любое проявление человеческого участия или жалости. Подчинять, унижать было для них удовольствием. Сознание того, что они могут убить или приказать убить любого из сотен тысяч людей, власть над которыми получили, приносило им удовлетворение, если не наслаждение.

Потом мы останавливаемся. Садимся обычно на лужайке возле единственной в городе церкви. (Однажды, пока я говорил, от стены оторвался большой кусок штукатурки и рассыпался у моих ног. Я сказал: вот был бы парадокс — окончить жизнь здесь, спустя пятьдесят лет, в результате нелепой случайности. Все радостно засмеялись, представив себе такую замечательно парадоксальную ситуацию. А я испугался: я не считаю, что этот город получил когда-то право на мою жизнь, и потому приезжаю теперь сюда еще и для того, чтобы испытать судьбу.)

Студенты слышали, конечно, кое-что и о нацизме, и о коммунизме, но связанные с ними события для них, пожалуй, не более актуальны, чем для меня во времена моей юности — наполеоновские походы или бурская война.

Важно понять, растолковываю я, что несмотря на смертные казни, несмотря на сотни запретов, призванных лишить нас всех прав, а значит, человеческого достоинства, люди стремились сохранить хотя бы те остатки свободы, которые были доступны в условиях лагеря. С одной стороны, сохранить достоинство во взаимоотношениях друг с другом и пытаться даже в столь неподходящих условиях поддерживать духовную жизнь: устраивать лекции, богослужения и даже ставить спектакли где-нибудь на чердаках или в подвалах. Тому осталось немало свидетельств: картины и тексты, которые до сих пор взывают к людям. С другой стороны, узники держали у себя контрабанду, нарушали бесчеловечные запреты и приказы; моя тетя, работавшая на производстве лапши, иногда выносила под одеждой немного теста, которое делали лишь из муки и воды, без единого яйца (яйца в городе были под запретом, как и фрукты, масло, рис, рыба, не говоря уже о любых сладостях). В городе воровали: у живых меньше, у мертвых, чьи вещи доставались негодяям, управлявшим лагерем, — больше. А заключенные пытались красть овощи, которые выращивали для эсэсовского начальства.

Следующий вопрос задает студентка, слушающая, как мне кажется, с интересом: "А дети что делали?"

Как ни удивительно, нам разрешалось играть. Учиться было запрещено, но мы учились. В детском доме издавался рукописный журнал. Что касается меня, то я нарисовал довольно много картинок и написал несколько текстов — большинство, конечно же, не сохранилось. Из сохранившихся детских стихов спустя десять лет после войны составили

антологию, один коротенький стишок из нее, по-моему, исчерпывающе отображает огромный разрыв между мечтой о свободной жизни и реальностью в преддверии смерти, которая нас окружала.

Розовый садочек
весь благоухает,
мальчик по дорожке
узенькой гуляет.

Мальчик сам прекрасный,
словно розы цвет,
розы расцветут еще,
а мальчика уж нет[1].

Мы, дети, тоже воровали. Уголь, картошку, а однажды нам удалось забраться на склад, где временно хранились вещи тех, кто умер или кого отправили умирать в Освенцим. Не помню, осознавал ли я, что если меня поймают, то придет конец и мне, и всей нашей семье. Помню только свой восторг, когда дома я открыл чемодан. Имени владельца, написанного белой краской на крышке, я уже не помню, зато помню форму и цвет чемодана: светло-коричневый, из непривычно мягкой кожи.

Я нашел в нем вещи как полезные, так и совершенно мне ненужные, вроде нескольких книг на французском, и еще лампу с абажуром мухоморной расцветки, пижаму в сине-белую полоску, слишком большую для меня (но после войны я привез ее как трофей домой в Прагу и там бессовестно доносил). Нелепее всего выглядели тяжелые подбитые гвоздями альпинистские ботинки. Ботинки в таком месте, где новых было не достать, казались чудом, хотя и были мне велики. По стечению обстоятельств, как раз тогда нам разрешили, а вернее приказали (потому что ожидался приезд комиссии Красного Креста) устроить на одном из бастионов футбольную площадку. Я надел на матч те самые альпинистские ботинки, за первые пять минут забил решающий гол, а остаток матча простоял со сбитыми в кровь ногами на воротах.

Только теперь, рассказывая эту историю, я осознал всю ее абсурдность.

Зачем кто-то взял в концентрационный лагерь альпинистские ботинки? Я стал искать ответ в литературе и нашел-таки его. В Германии соответствующие отделы СС приглашали к себе богатых евреев, у которых, разумеется, и так все можно было отобрать, но обычная конфискация не сулила такого удовольствия, как наглая мистификация, и потому им сообщали, что они должны быть интернированы, но за отдельную плату могут рассчитывать на горный курорт с видом на озеро (Терезин находится на обширной равнине).

Так и попали альпинистские ботинки в чемодан доверчивого смертника. (Эти башмаки я тоже привез с собой в Прагу, но поносить их мне не довелось, не вышло из меня альпиниста.)

Студенты слушают, нескольких, похоже, моя история заинтересовала. Кажется, на языке у них вертятся вопросы: "Значит, умение воровать тоже может пригодиться в жизни?" и "Сумеет ли остановиться тот, кто однажды воровать начал?" Лучше я сам объясню им, что в мире, где отменены основные законы, вообще нельзя требовать выполнения каких-либо законов, кроме тех, которые мы сами готовы признавать. Мир, где отменены основные права, абсурден, и никто не жаждет оставаться в таком мире, если есть возможность вырваться из него.

Последний раз я был в Терезине с пенсильванскими студентами 12 августа 2002 года. Поскольку всю ночь шел дождь, мы не смогли сесть на лужайке у церкви и отправились во двор казармы, где расположен один из двух музеев.

Я всегда стараюсь припомнить и рассказать что-нибудь новое: студенты каждый год разные, но я ведь не просто вожу туристов по концлагерю. Понял я и то, что с каждым разом мой рассказ становится все бо-

1. См. также "Стихи детей из Терезина" в "ИЛ", 2004, № 5. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

лее личным. В конце концов, узнать о том, что мы ели, где жили, сколько людей в день умирало и сколько всего их прошло через этот город, можно и в самом музее.

Студент задал тогда вопрос, всколыхнувший мне душу: "Как же получилось, что вы выжили?"

Надо сказать, мне этот вопрос тоже часто приходил в голову.

Мой отец попал в один из тех двух транспортов, что состояли только из мужчин: осенью 1941 года им было приказано превратить пустой еще Терезин в лагерь, рассчитанный на десятки тысяч заключенных. Все, кто был в этих транспортах, а также их семьи около двух с половиной лет были защищены от отправки в Освенцим. К тому же мой отец как выдающийся специалист в своей области отвечал за работу всего электрооборудования и в том числе за освещение лагеря. А потом, когда работа такого рода уже перестала защищать от Освенцима, произошло нечто совершенно невероятное. Отца и еще одного специалиста (если память мне не изменяет, их было даже трое, но отец позже рассказывал только об одном) вызвали к эсэсовскому начальству, приказав немедленно явиться с вещами. Подобные приказы, выходившие за рамки повседневной рутины, ничего хорошего не предвещали. Мы пошли проводить отца до забора, отделявшего комендатуру от остального города, и увидели, к своему изумлению, как ожидавший у ворот эсэсовец демонстративно сорвал с них еврейские звезды и швырнул на землю. Этот жест должен был означать, что властители наших судеб приняли решение не считать больше обоих мужчин принадлежащими к расе, предназначенной для уничтожения. После войны отец выяснил, что какой-то видный немецкий деятель, работавший в той же области, стремясь помочь своим еврейским коллегам, еще в начале войны послал в соответствующие инстанции СС письмо, в котором привлек внимание к выдающимся еврейским инженерам и призвал относиться к ним не как к евреям, а как к специалистам, чьи знания Германия могла бы использовать. Поначалу никто не придал этому письму значения, но его все же где-то сохранили с присущей сотрудникам подобных органов дотошностью. Когда же в 1944 году ситуация на фронтах стала для нацистов фатальной, кто-то извлек письмо из архива и приказал разыскать упомянутых специалистов, если те еще живы.

На самом деле отца просто отправили в другой концлагерь — в Польшу, где ему предстояло в составе специальной группы разрабатывать мощный радар, но он ничего не разрабатывал, потому что из-за наступления советской армии лагерь пришлось эвакуировать, а потом отца переводили из лагеря в лагерь, и в конце концов он чудом остался в живых после марша смерти из Заксенхаузена до Балтики.

В Терезине отец был членом подпольной организации коммунистической партии. Товарищи ему якобы обещали, что попытаются спасти нас от транспорта. Коммунисты, разумеется, ставили себя выше остальных людей (что было совсем уж странно в таком месте, где за людей не считали вообще никого), но все равно мне кажется маловероятным, чтобы летом 1944-го, когда большинство интернированных отправили из Терезина в Освенцим, коммунисты были так сильны, что смогли бы спасти нас.

Нацистское начальство, конечно, посылало еврейскому совету списки людей, которых следовало оставить в Терезине. В этих списках были награжденные немецкими орденами в Первую мировую войну, были все датские евреи, некоторые дворяне и еще кто-то. Может быть, после того как отца странным образом вычеркнули из числа приговоренных к "окончательному решению еврейского вопроса", мы тоже попали в списки. Но в это слабо верится. Так что на вопрос, почему я выжил, вынужден ответить честно: не знаю. И добавить, что трудно найти лучшее доказательство аб-

сурдности той эпохи — ведь мне всю жизнь приходится мучиться вопросом, почему в детстве меня не убили.

Я попрощался со студентами и с их профессором, пообещав ему, что через год, бог даст, мы с ним свидимся в этом же городе.

Когда я садился в автобус, хлынул ливень. На следующий день по Чехии уже катилась волна наводнений, какой история страны еще не знала. Терезин должны были эвакуировать. По телевизору показали местную жительницу преклонных лет, не желавшую покинуть город. Вода сюда никогда не доходила и не дойдет, заявила она. Я представил себе глубокие рвы, окружающие город, и решил, что она права. Этот город не мог быть затоплен!

Назавтра вода залила Терезин. Впервые в истории этой двухсотдвадцатилетней крепости город стал частью озера, да еще — на несколько дней — самого большого в стране, из воды торчали лишь крыши домов и церковные башни. От огромной шестиконечной звезды, возвышавшейся над частью Национального кладбища, лишь кусочек остался над водой. Фотографу удалось сделать уникальный снимок: верхушка звезды над чистой водной гладью, сзади — ее тень, впереди — отражение в воде.

Глядя на улицы, по которым теперь, заменив пешеходов и автомобили, плавали лодки, слушая причитания людей, я с изумлением осознал, что сочувствую этому городу больше, чем прочим затопленным городам. Ведь все-таки это город моего детства. И еще одно: при виде столь удручающей картины мне пришла в голову утешительная мысль, что даже до предела взбесившаяся стихия никогда не уносит столько жизней (во время наводнения тут никто не погиб), сколько разбушевавшиеся в людях бесы.

Луиза

Наша улица, тогда, в начале войны, которую после ее окончания назвали Второй мировой, а позже — куда более торжественно (видимо, под влиянием культа рекордов) — Величайшей войной в истории, так вот, наша улица заканчивалась среди полей и лугов. И все же это была настоящая городская улица, не с какими-нибудь там деревенскими, а с большими четырехэтажными домами, спроектированными еще в эпоху непрочного мира, так что во всех домах, кроме нашего, были магазинчики. С одной стороны от нас была аптека, с другой — бакалея.

В нашем доме целый этаж занимал домовладелец, зато дворник господин Елен жил со своей семьей прямо под нашей кухней в одной-единственной комнате, где и готовили, и ели, и спали. Когда господин Елен орал на домочадцев и бил жену или сына (а чаще обоих сразу), мне казалось, что скандалят возле нашей плиты. У домовладельца были сын Ондра и дочка Ярушка, с ними, дворниковым Карлом и еще несколькими мальчишками и девчонками из соседних домов мы играли в прятки или — прямо на дороге — в футбол и вышибалы; машины здесь тогда почти не ездили.

На первом этаже нашего дома обитал аптекарь с женой. В полуподвале жил господин Сикора, который играл на гармошке по кабакам и возвращался к утру такой пьяный, что иногда оставался лежать у порога, потому что не мог отпереть входную дверь. На нашем этаже были две однокомнатные квартиры и еще та, что занимали мы: две комнаты и уже упомянутая кухня. Соседи за кухонной стеной носили фамилию Буриан, как знаменитый комик. Об этих соседях в самом начале войны нас предупредил домовладелец — мол, с ними надо поосторожнее. Поэтому мама требовала, чтобы в кухне мы только шептались, того же она требовала и после войны, когда за стеной поселились уже совсем другие люди. Впрочем, причины для шепота были и после войны. А тогда, в самом ее начале, жильцы еще выносили летними вечерами из дома стулья и сидели на них, пока не

стемнеет. Конечно, люди не молчали, хотя из предосторожности и не касались больных тем: войны, оккупации и вообще политики. Чаще прочих говорил дворник, обожавший жуткие истории об убийствах, грабежах и таинственных призраках, с которыми он, по всей вероятности, встречался, когда работал неподалеку от Крконошских гор.

Еще в доме жили три еврейских семьи, и я к своему изумлению узнал, что одна из них — наша. Немцев среди соседей совсем не было, зато в доме с аптекой жил толстяк, который сразу же, как только в Прагу ворвались нацисты, приколол на кожаный плащ значок со свастикой. В доме с бакалейной лавкой обреталась семья, хотя и немецкая, по крайней мере наполовину, однако с красивой чешской фамилией Тополь. (Чехом был сам господин Тополь, железнодорожник по профессии.) У них была дочка Луиза, немного старше меня; ее младшего брата звали Мирек, так что и имена родители поделили пополам. Луиза пошла в мать — некрасивая, костлявая, невзрачная, в отличие от других девчонок она никогда не смеялась. Обычно ей приходилось сидеть с младшим братом, и в наших играх она не могла бы участвовать, даже если б захотела. Почешски она говорила, как любой из нас, и только маму звала "мути".

Однажды в самом начале войны Луиза дала мне почитать книжку, а поскольку она уже несколько дней не появлялась на улице, где мы играли, я решил занести ей книжку домой. Мне хотелось не столько вернуть книгу, сколько попасть внутрь и своими глазами увидеть квартиру немцев. Я знал, что главный у них какой-то Адольф Гитлер. Папа утверждал, что он маляр, обойщик и убийца. Немцы — наши враги, они уничтожили Чехословакию, напали на Польшу, ведут войну с Францией и Англией, и это наше счастье, потому что войну они непременно проиграют. Англию, к примеру, еще никто никогда не победил, потому что она находится на острове. Но пока немцы велели повсюду в нашей стране развесить двуязычные надписи, и у них есть свои отдельные пайки, потому что они куда ни придут, везде воруют.

Дверь открыла госпожа Тополева, держалась она приветливо, сказала, что Луиза простудилась и что книжку она ей передаст. Выговор у нее был странный, она словно шепелявила и говорила "ф" вместо "в". Я быстро огляделся, не увижу ли в квартире что-нибудь особенное, скажем, военную форму, или портрет этого маляра и убийцы, или флаг со свастикой, но ничего такого не заметил. Правда, на вешалке висела форменная куртка, но она была синяя, железнодорожная. Возле вешалки цвели на картине алые маки. В кухне над плитой зеленела какая-то надпись, вышитая на белом полотне, издали я не сумел прочесть ее целиком, разобрал только, как мне показалось, слово "heilig"[1]. Я собрался было уходить, когда костлявая госпожа Тополева остановила меня вопросом, люблю ли я груши.

Я ответил вежливо, что груши люблю, но не ел их уже почти год. Нам запрещено покупать фрукты.

— Тогда подожди, — велела немка.

Она сходила в кладовку и вернулась с большой желтой грушей. Я поблагодарил и хотел уйти, но госпожа Тополева попросила меня съесть грушу здесь — так, мол, будет лучше, а то на улице кто-нибудь увидит.

Вскоре после этого нам приказали носить звезду! Когда я собрался, как всегда, играть с ребятами в прятки, Луиза остановила меня. Она отошла в сторонку и заявила, что со мной играть не будет.

Кто-то из детей спросил почему. И она ответила, что ей нельзя. "Я немка, и поэтому мне нельзя", — объяснила она на своем безупречном чешском языке. Она вела себя гордо, словно только теперь дождалась справедливости, которой ей давно не хватало, и я понял, что уйти придется мне.

1. Святой (*нем.*).

Через несколько дней, тогда еще шел дождь, кто-то позвонил в нашу дверь. Когда мама открыла, она никого не увидела, только на пороге лежал пакет с грушами. Пакет почти не промок, а груш было три.

— Кто их мог принести? — изумилась мама.

— Это от Тополей, — объяснил я.

Вскоре после этого мы получили срочный приказ грузиться в эшелон, чтобы ехать в концлагерь, и на сборы у нас оставалось всего три часа. Дворник господин Елен и его жена помогали нам запихивать вещи в чемоданы, которые мы приготовили заранее.

— Слушайте, хозяйка, — предложил дворник, — то, что вы с собой не возьмете, эти негодяи все равно разворуют, так что, если вы не против, мы можем что-нибудь подержать у себя, до вашего возвращения конечно.

Мама, которая то и дело всхлипывала, лишь махнула рукой — берите что хотите. Дома у нас все равно не было ничего ценного, ни картин, ни золота, и дворник взял синюю вазу для фруктов, которую маме подарили на свадьбу коллеги с работы, кое-какие столовые приборы, четыре желтых тома "Бравого солдата Швейка" и настольную лампу. Может, еще что-то из одежды, я толком не помню.

Потом три с половиной года я был очень далек от всего, что происходило на нашей улице.

Когда я вернулся, война уже закончилась. Немцы были повержены, убийца Гитлер мертв, двуязычные надписи закрашены, брусчатка разворочена и повсюду — чехословацкие флаги. В нашей квартире вроде бы жил какой-то эсэсовец, нашу мебель всю вывезли, как объяснил дворник, а в квартире осталась та, что принадлежала эсэсовцу.

— Вы еще на ней заработаете, — заметил господин Елен, — год назад мебель была совершенно новая.

— Да уж заработаем, — резко ответила мама. — Мы и посадить себя дали, чтобы на этом заработать.

Потом мама несколько дней моталась по инстанциям, а это было непросто: трамваи не ездили, всюду сплошная неразбериха. Войти в квартиру ей разрешили лишь через две недели, но хотя бы выдали продовольственные карточки и немного денег на первое время, а еще она принесла коробку серых армейских консервов, совершенно меня восхитивших.

Когда мы наконец с помощью дворника, вроде бы учившегося много лет назад на слесаря, вошли в нашу бывшую квартиру, я изумился. Там не осталось ничего нашего, а все, что было, просто потрясало массивностью и гигантскими размерами: письменный стол занимал почти треть комнаты, супружеская кровать была такой широкой, что в Терезине на ней спали бы по меньшей мере вшестером. Четырехстворчатый шкаф сиял новизной. Наша библиотека пропала. Из стены торчали голые крюки, картины эсэсовец, наверное, забрал с собой, и посуду тоже, в буфете осталось только множество рюмок, которые, как я полагал, нам вовсе не пригодятся.

— Шкафов-то сколько, — испугалась мама, — что мы в них положим? — И немедленно бросилась распаковывать два наших жалких чемодана.

На следующий день пришла бумага о том, что я обязан посещать школу.

От школы я за эти годы совершенно отвык, и вообще мне туда совсем не хотелось, к тому же пришлось идти в класс, где я никого не знал — ни учеников, ни учителей, не знал я и того немногого, что другие знали о квадратах катетов или о производстве серной кислоты.

Отец до сих пор не вернулся, мы даже не знали, жив ли он.

Гости к нам не ходили, все родственники погибли, кроме тех немногих, что успели сбежать еще до войны, но они были слишком далеко. Из трех еврейских семей в нашем доме выжили только мы. Соседа за кухонной стеной, с которым надо было держать ухо востро, в ре-

волюцию[1] застрелили, вроде бы совершенно случайно — потому что не вовремя подошел к окну.

Жена аптекаря с первого этажа сразу же принесла нам теплое одеяло и несколько банок компота. Дворник господин Елен сообщил, что синяя ваза для фруктов, к сожалению, разбилась, и вернул два тома Швейка (второй и четвертый), а об остальных даже не вспомнил.

Однажды вечером, спустя несколько дней после нашего возвращения, раздался звонок в дверь, и мы, к своему изумлению, увидели госпожу Тополеву и Луизу, обе были в черном и с белыми повязками на рукаве. Луиза уже переросла свою мать, но осталась такой же некрасивой. Они молча стояли на пороге, пока госпожа Тополева наконец не проговорила:

— Мы только хотели вам сказать — мы очень рады, что вы вернулись.

Мама отошла от двери и показала на два стула, доставшиеся нам от эсэсовца.

— Мы не все вернулись, — сказала она. — Моего мужа куда-то увезли. Вестей от него нет.

Луиза сказала:

— Нашего папу месяц назад застрелили с самолета.

Госпожа Тополева добавила со слезами на глазах:

— А ведь какой был хороший человек, мы с ним любили друг друга, я ему с собой на службу приготовила бутерброд с маргарином, а он не вернулся.

— Вы убили моих родителей и обоих братьев, — сказала мама.

— Я их не убивала, — тихо возразила госпожа Тополева.

— Вы начали эту войну, — сказала мама.

Госпожа Тополева встала, но Луиза проговорила:

— Теперь, когда папу убили, нас хотят выселить. Мути... мама думала, что вы можете за нас заступиться, раз вы были в лагере. Мама никогда никого не обижала!

Мне показалось, что по комнате разлился аромат груш.

— Меня вам не растрогать, — сказала мама. — Я не понимаю, чего вы добиваетесь.

И они ушли.

— Какая наглость, — возмутилась мама, — и это после всего того, что они нам сделали.

Она ушла на кухню, а я спокойно принялся читать с середины "Бравого солдата Швейка".

— Может, они и правда никого не обижали, — сказала мама за ужином. — Война — это ужасно. — Потом ее осенило. — Будешь проходить мимо, занеси им большую банку консервов.

Но я не занес. Мне было стыдно. Только потом я сообразил, что мог бы просто поставить банку у двери, позвонить и убежать. Сомневаюсь, впрочем, что это хоть как-то изменило бы их судьбу.

1. Имеются в виду майские события в Праге в 1945 г.

Поэзия мысли, поэзия памяти

Збигнев Херберт *Стихотворения* / Перевод, предисловие, примечания Владимира Британишского. – СПб.: Алетейя, 2004

Среди поэтов, заявивших о себе после Второй мировой войны, не так уж много тех, кого без колебаний можно назвать великими – по крайней мере, заслужившими мировое признание. Первыми приходят на ум два имени – Пауль Целан и Иосиф Бродский. В том же ряду стоит и польский поэт Збигнев Херберт (1924–1998).

Судьба "русского" Херберта складывалась весьма драматично. Первая подборка переводов из Херберта появилась еще в 1973 году ("ИЛ", 1973, № 2, перев. В. Британишского). А потом почти на 20 лет Херберт "исчез", попав в список "политически нежелательных авторов". Только в 1990-м ("ИЛ", 1990, № 8, перев. В. Британишского) его поэзия вновь появилась на страницах российских журналов. Но понадобилось еще почти пятнадцать лет, чтобы стихи одного из крупнейших европейских поэтов вышли по-русски отдельной книжкой. Изданный том – итог усилий одного из самых верных переводчиков польской поэзии Владимира Британишского, занимающегося Хербертом больше тридцати лет. В книгу вошли не только переводы стихов, но и многочисленные статьи Британишского о Херберте и подробная хронология жизни поэта...[1]

В разговоре о Херберте неизбежно приближаешься к тому, что называют "опытом поколения". Фактически, это поколение поляков было обречено на заклание. (Только ли поляков... Вспомним Галича: "Поколение обреченных..." – о тех же ребятах 1920–1925 годов рождения, только появившихся на свет в другой стране...) Лучшая часть этого польского поколения погибла во время Варшавского восстания и в операциях Армии Крайовой. Об этом поколении – фильм Анджея Вайды "Пепел и алмаз" (и, собственно, роман Ежи Анджеевского, по которому фильм снят). Нужно вчитаться в скупые строчки биографий поэтов, вместе с которыми Херберт начинал писать, чтобы понять, что́ стояло за плечами тех, с кем он делил юность.

Кшиштоф Камиль Бачиньский (1921–1944). В годы оккупации изучал полонистику в подпольном Варшавском университете. С 1943-го – в Армии Крайовой, окончил подпольную школу подхорунжих. Участник Варшавского восстания, в первые дни которого погиб.

Юлия Хартвиг (р. 1921). В годы войны была связной Армии Крайовой. Изучала полонистику и философию в подпольном Варшавском университете. Накануне восстания попала под подозрение гестапо, но успела покинуть столицу и бежать в Люблин...[1]

Тадеуш Ружевич (р. 1921). В 1943–1944 годах – в партизанских отрядах Армии Крайовой...

Мирон Бялошевский (1922–1983). Аттестат зрелости получил на подпольных курсах в годы оккупации, начинал учиться в подпольном Варшавском университете. После разгрома Варшав-

1. Почти параллельно вышла и прозаическая книга: З. Херберт. Варвар в саду / Перев. Л. Цывьяна. – СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2004.

1. Перевод из Юлии Хартвиг см.: "ИЛ", 1993, № 9; "Новая Польша", 2002, № 12.

ского восстания вывезен гитлеровцами на принудительные работы в Германию...

Тадеуш Боровский (1922—1951). В годы оккупации получил аттестат зрелости на подпольных курсах, начинал учиться в подпольном Варшавском университете. В феврале 1943-го арестован гитлеровцами, сидел в варшавской тюрьме, затем в Освенциме и других лагерях...

Ежи Литвинюк (р. 1923). С 1940 года на нелегальном положении. С октября 1943 года до января 1944-го учился на историческом факультете подпольного Варшавского университета. В июне 1944-го окончил подпольные курсы подхорунжих. В августе 1944-го арестован СМЕРШем в Люблине...

И наконец Збигнев Херберт (1924—1998). Аттестат зрелости получил на подпольных курсах в годы оккупации. Окончил подпольные курсы подхорунжих. Служил в Армии Крайовой...

Армия Крайова была создана по инициативе лондонского эмигрантского правительства — ставка делалась на то, что, если полякам удастся самим освободить Варшаву, Польша сохранит независимость. По сигналу из Лондона в августе 1944-го, когда советские войска были уже совсем рядом, в Варшаве началось восстание. Но... советские войска получили приказ остановиться на Висле и ждать: было признано политически целесообразным дать немцам покончить с восстанием, а потом освободить Варшаву — тогда гораздо легче будет ввести Польшу в зону советского влияния. В Варшаве студенты, вооруженные пистолетами и бутылками с зажигательной смесью, безнадежно пытались выстоять против танков, артиллерии и самолетов, методично сравнивавших город с землей, покуда не стало ни города, ни защитников...

О гибели лучших в горниле этого восстания писал Чеслав Милош: "Двадцатидвухлетний поэт Кшиштоф (Бачиньский. — *А. Н.*), щуплый астматик, не крепче Марселя Пруста, погиб на своем посту, обстреливая танки СС. Так погибла самая большая надежда польской поэзии. Его жена Барбара умерла от ран в госпитале, сжимая в руках рукопись стихов мужа. Поэт Кароль (Топорницкий, 1924—1944. — *А. Н.*), сын рабочих, автор драмы о Гомере, и его неразлучный товарищ, поэт Марек (Хмура, 1921—1944. — *А. Н.*) взлетели в воздух на баррикаде, под которую немцы подложили динамит..."[1]

Херберт не принял участия в Варшавском восстании просто потому, что в 1944-м его семья переехала в Краков. И Херберт перешел на нелегальное положение: 1944 год — своеобразное "белое пятно" в его биографии. Видимо, он принимал участие в одной из операций Армии Крайовой, где, судя по глухим обмолвкам, руководил какой-то группой. Видимо, тогда же заработал хромоту — результат ранения.

Неясность, окружающая этот период его жизни, легко объяснима: новый режим, установленный в Польше, объявил Армию Крайову вне закона. Бойцам Армии предложили сдаться властям — в этом случае сражавшимся "не на той стороне" была обещана амнистия. Херберт амнистией не воспользовался. Фактически до 1956 года, то есть до весьма кратковременной польской "оттепели", он жил в родной стране "на птичьих правах". В частности, став студентом Варшавского университета, не имея соответствующих документов, не мог жить в Варшаве и ютился в пристройке к коровнику на одной из пригородных ферм...

1. Чеслав Милош. Порабощенный разум / Перев. В. Британишского. — СПб., 2003. С. 133.

К слову: Херберт приложил массу усилий к тому, чтобы после войны получить действительно всестороннее образование — он окончил краковскую Торговую академию с дипломом экономиста, параллельно учась в краковской Академии изящных искусств, потом защитил диплом по юриспруденции в Торуне, изучая при этом философию в Торуне и Варшаве. Отчасти тут напрашивается аналогия с Пастернаком: и он, и Херберт, при всей разнице биографий и манеры письма, были поэтами, для которых культура составляла саму плоть их существования. Но при всей соблазнительности такой аналогии отметим и иное — специфическое недоверие Херберта к отвлеченностям: он *изучает* философию, но *получает дипломы* по экономике и юриспруденции — из круга гуманитарных дисциплин он выбирает своей профессией те, которые связаны с самой материей людского бытия... Тут, возможно, сказался и опыт военных лет: он и его выжившие сверстники слишком хорошо помнили цену, которую их поколение заплатило за взвинченный идеализм поляков в годы оккупации, когда, по словам Чеслава Милоша, "они знали, что нет надежды на победу и что их смерть — это только жест перед лицом равнодушного мира. Они готовы были к смерти, даже не спрашивая, есть ли какие-нибудь весы, которые взвешивают их подвиги..."[1]

Несомненно, присутствовало и желание непосредственно участвовать в восстановлении родной страны, понимание того, что именно экономисты и юристы могут больше других помочь поднять Польшу из развалин...

Но это была другая — послевоенная, попавшая в орбиту советского влияния Польша. И приспособиться к жизни в ней для поколения Херберта было все равно, что для рыбы выйти на сушу. О зигзагах такой эволюции — на примере четырех польских писателей, переживших войну: Ежи Анджеевского, Тадеуша Боровского (см. подборку стихов в "ИЛ", 1988, № 10), Ежи Путрамента и Константы Идельфонса Галчинского — горько и ярко написал Милош во второй части своей знаменитой книги "Порабощенный разум". Анджеевский сперва поверил в новую власть — чтобы позже отшатнуться, уйти в сторону. Боровский принял ее со страстью, в чем-то напоминающей страсть Маяковского, — и как Маяковский, заплатил за это самоубийством, в 1951 году пустив себе пулю в лоб (это человек, у которого достало сил выжить в Освенциме и Дахау![1]). Путрамент из страстного польского националиста превратился в правоверного партийного функционера. Галчинский был принят на роль разрешенного государством шута, что, наверно, и стало одной из причин его смерти от инфаркта в 1956-м...

Херберт не мог "вписаться" в эту Польшу. Характерным образом его первая книга стихов "Струна света" выходит только в 1956 году. При этом отдельные стихи и подборки публиковались им несколько раньше... Но для читателя Херберт как поэт состоялся довольно поздно — автору было уже 34 года. (Такое "позднее начало" мы видим у Тютчева или Кавафиса — и уже само это сближение позволяет нам понять некоторые особенности написанного Хербертом.)

Пóзднее начало наложило отпечаток на поэтическую интонацию Херберта: он не гонится за технической новизной стиха (пора таких экспериментов —

1. Чеслав Милош. Порабощенный разум / Перев. В. Британишского. — СПб., 2003. С. 132–134.

1. См. том избранных рассказов: Тадеуш Боровский. Прощание с Марией. — М., 1989.

юность), его голос подчеркнуто негромок — он слишком хорошо знает правило древних: "говори тихо, если хочешь быть услышанным". Это поэзия не лирического восторга, но — мысли, когда поэта волнует точность определения, чтобы оно действительно вобрало в себя тот изначальный импульс, который стоит за стихотворением, и чтобы стихотворение аккуратно следовало за мыслью, со всеми ее изгибами, а порой — и скачками. Его интонация — интонация памяти: ничто так не чуждо аффектов, как память. Одно из стихотворений в том первом сборнике было посвящено городу Варшаве — Варшаве прошлого, довоенной юности, от которой ничего не осталось:

> ...детям на нашей улице
> смерть досталась тяжелая
> голуби падали так легко
> как подстреленный воздух
> <...>
>
> город стоит над водой
> гладкой как память зеркала
> он отражается от самого дна
>
> и улетает к высокой звезде
> где запах пожара такой далекий
> как Илиада
>
> *Женщины на нашей улице*

В том пространстве памяти того ровного, как вода, внутреннего зеркала история Варшавы сопрягается с историей Трои: так в памяти "сейчас" сосуществует с "раньше", "давным-давно", и только через память наша личная история соединена с необъятной историей человеческой.

Херберт часто "отталкивается" от античных тем и образов. С одной стороны, это объясняется особенностями самой польской традиции: латынь (а тем самым вся стоящая за ней культура) никогда не была в католической Польше языком мертвым, который изучают только в гимназии и университете, латынь для поляков — звучащий язык, продолжающий жить в костеле, с детства привычный слуху каждого; греческий же был привит традицией доминировавшего в довоенной Польше классического образования. И, как пишет переводчик Херберта Владимир Британишский в предисловии к рецензируемому сборнику, в Польше "Гомер и Гораций воспринимаются как польские поэты, а античные стихи и драмы Херберта заставляют вспомнить... первую польскую драму — "Отказ греческим послам" Яна Кохановского, написанную по мотивам "Илиады". И когда Херберт отождествляет Польшу и Варшаву с Троей, для польского читателя эта параллель подкреплена польской поэзией предшествующих полутораста лет"[1]. (Когда-то русская поэзия шла путем, близким польскому, — не в последнюю очередь и потому, что у истоков этой традиции стояли поэты — выходцы из Киево-Могилянской академии, в частности Симеон Полоцкий, с Польшей непосредственно связанный. Под знаком этой традиции русская поэзия развивалась вплоть до конца XVIII века. Но потом произошел поворот в иную сторону — и от "Тилемахиды" Тредиаковского в памяти читателей остался лишь стих, взятый Радищевым в качестве эпиграфа для "Путешествия из Петербурга в Москву"...)

С другой стороны, античность Херберта отчасти близка той античности, с которой читатель сталкивается в "Письмах римскому другу" Иосифа Бродского: некая "универсальная форма", резервуар экзистенциальных ситуаций, когда тот или иной мифологический сюжет есть не только то, что произошло в древности, но и то, что происходило тогда, происходит сейчас

1. В. Британишский. Четырежды Херберт // Збигнев Херберт. Стихотворения. — СПб., 2004. С. 10.

и будет происходить впредь, — своего рода "вечное настоящее" человеческого рода, или по крайней мере западной цивилизации.

О чем строчки Херберта:

Граждане Утики
не хотят защищать свой город
в городе вспыхнула эпидемия
инстинкта самосохранения...

Разве это только о Катоне Старшем, сражавшемся вместе с Помпеем против диктатуры Цезаря, а после поражения Помпея покончившим с собой в африканском городе Утике? Или это только о растерянности интеллигенции в странах Восточного блока в 70-е годы? Почему столь горькие современные ассоциации вызывают строки, которыми Херберт продолжает это стихотворение:

...храм свободы
сделали барахолкой
сенат обсуждает
как не быть сенатом
граждане
не хотят защищаться
посещают ускоренные курсы
падения на колени
пассивно ждут врага
пишут верноподданные речи
закапывают золото в землю
шьют новые знамена
невинно белого цвета
учат детей лгать...

Господин Когито о тех, кто умирает стоя

Поневоле приходят на ум какие-нибудь "Идущие вместе"... Античность Херберта развертывается здесь и сейчас.

Вслед за Бродским, вернее — параллельно Бродскому, Херберт мог бы сказать: "Я заражен нормальным классицизмом..." Собственно, критика и причисляла Херберта к "неоклассикам". Но, не возражая в целом против подобного определения, сам Херберт уточнял: "Если я так часто в моей работе обращаюсь к античным именам и темам, то делаю это не из кокетства... я хотел бы обстукать старые идеи человечества, чтобы установить, не звучат ли они — и где именно — пустым звуком. Я ищу также ответ на вопрос о том, какой смысл имеют для нас такие почтенные понятия, как свобода и человеческое достоинство. Я верю, что их великая обязывающая нас суть все еще сохранилась"[1].

Эта "проверка на прочность" предопределена еще и памятью о судьбе своего поколения — бросившегося в жернова истории во имя школьных идеалов, во имя той чести и верности, что заставляла варшавских гимназистов с пистолетами идти на танки... Это счет поколения своей эпохе. Херберт постоянно ощущает, что за его спиной — сотни, тысячи теней тех его сверстников, которые не успели задать свой вопрос "Зачем?!". За всех них он пытается найти ответ. Пытается смотреть их глазами — как в стихотворении "Мона Лиза":

мы все должны были
но я один
когда
уже он головой не мог
пошевелить
сказал
как только все это кончится
поеду в Париж
между вторым и третьим пальцем
правой руки промежуток
вкладываю туда
пустые скорлупки судеб
вот я и пришел
это я
стою упершись в пол
живыми пятками
довольно толстая итальянка
на скалах волосы распустила
<...>
между черной ее спиной
и первым деревом моей жизни
меч положен
зияет бездна

1. В. Британишский. Почему Херберт // Новая Польша, 2004, № 5. С. 56.

Стихотворение это вобрало опыт первого путешествия Херберта по Европе. В 1958-м (когда в Польше вновь начинают "закручивать гайки") Херберт, получив стипендию, уезжает во Францию. До 1960-го он остается за границей: после Франции переезжает в Англию (собственно, на бывшую родину: прадед Херберта, приехавший в Польшу в XIX веке, принадлежал к тому же роду, что и великий английский поэт-метафизик Джордж Герберт), потом — в Италию. И все же он возвращается в Польшу. Роль эмигранта — не для него. Каждый раз он будет возвращаться. Во время одного из возвращений, в 1969-м, его чуть было не лишают заграничного паспорта, однако ему удается вовремя покинуть "родные пенаты". (Весьма характерно, что монография поэта и переводчика Станислава Баранчака о Херберте, вышедшая в 1984 году в Лондоне — в Польше тогда свирепствовала цензура, — называлась "Беглец из Утопии".)

Херберт все больше становится не просто польским — европейским поэтом. Этот статус "европейского поэта" выражается вовсе не во множестве зарубежных премий, присужденных Херберту, и даже не в переводе его стихов едва ли не на все европейские языки. Суть этой роли уловил Витольд Гомбрович, говоря о другом польском поэте-эмигранте, Чеславе Милоше: "Его спокойное, неторопливое слово, которое с таким смертельным спокойствием присматривается к тому, что описывает, дает ощущение некой специфической зрелости, отличной от той, которая цветет на Западе... Речь... о том, чтобы Западу навязать собственное, особое переживание, вынесенное оттуда, и свое новое знание о мире. И этот поединок, уже почти личный, современного польского писателя с Западом, где он борется за то, чтобы показать собственные ценность, силу, своеобразие, для меня ценнее..."[1]

Херберт — поэт-моралист. Поэт, всерьез вступивший в поединок за достоинство современного человека и не желающий капитулировать перед "веяниями времени" — в том числе и перед все более пронизывающей жизнь общества иронией, в которой слишком многие видят... ну, хотя бы последнюю защиту от стресса. Херберт же слишком понимает, чем это чревато:

Вначале был бог мрака и грома, черный и безглазый идол, перед которым скакали нагие и вымазанные кровью. Позже, во времена республики, было много богов, с женами и детьми, расшатанными кроватями и безопасно взрывающейся молнией. Под конец уже только суеверные неврастеники носили в кармане маленькую статуэтку из соли, изображающую бога иронии. Не было в то время более чтимого бога.

Тогда пришли варвары. Они тоже очень ценили божка иронии. Толкли его каблуками и сыпали в пищу.

Из мифологии

Раз за разом Херберт пытается рассказать об опыте верности *человеческому* вопреки всему — опыте, знакомом ему "слишком не понаслышке":

Иди до темной границы как те
что шли до тебя
за своей последней наградой
золотым руном небытия
иди не склонив головы средь тех
что на коленях
средь повернувшихся спиной и
повергнутых во прах
ты уцелел не для того чтобы жить
времени мало нужно дать пример
будь мужествен когда подводит
разум

1. Цит по: В. Британишский. О Милоше и об этой его книге // Чеслав Милош. Порабощенный разум. — СПб., 2003. С. 28.

будь мужествен ведь только это в счет
а Гнев твой бессильный пусть будет как море
каждый раз как услышишь голос униженных и битых
пусть ведают всю меру твоего презренья
стукач палач и трус — но выиграют они
и на твою могилу бросят ком земли
<...>
а наградят тебя тем что есть под рукой
хлыстом издевки убийством на мусорной куче
иди только так будешь принят в чреду черепов
в чреду твоих предков:
Гильгамеша Гектора Роланда
защитников царства без границ и города пепелищ
Будь верен Иди

Послание господина Когито

Это стихотворение вошло в самую известную книгу Херберта "Господин Когито", увидевшую свет в Варшаве в 1974-м[1]. В ней Херберт создает героя, чьи рефлексии-монологи складываются в повествование, в чем-то близкое роману: сквозь книгу прослеживаются некие развивающиеся коллизии — при том, что образ Господина Когито постоянно мерцает и видоизменяется. Само имя этого персонажа-маски происходит от знаменитой декартовской формулы: "cogito ergo sum" ("мыслю, следовательно — существую"). Порой Господин Когито почти совпадает со своим автором, порой он воплощает лучшую сторону личности поэта, порой он — просто в меру образованный обыватель — и вмещает в себя еще десятки лиц. Но всегда Господин Когито отмечен "странной привычкой" пытаться честно осмыслять происходящее с ним: не рисуясь, отдавая отчет в своей слабости — и все же пытаясь, изо всех сил пытаясь "быть на высоте ситуации".

Психологическая убедительность того портрета Господина Когито, который рисует Херберт, в том, что его герой — один из малых сих. Просто человек, один из тех, кто раз за разом пытается "отодвинуть / так называемую чашу горечи / рефлексией / бурной кампанией в пользу бездомных кошек / глубоким вздохом / религией" ("Господин Когито размышляет о страдании")... Смешной, нелепый: как мы с вами. А если порой он прозревает в себе бездну, то она "под стать Господину Когито / <...> Господин Когито / мог бы набрать / пару горстей песку / засыпать ее..." ("Бездна господина Когито"). Он не чужд прекрасному, он "Моцартом натирал себе уши / нюх совершенствовал запахом старых книг" ("Господин Когито рассматривает в зеркале свое лицо"). Он любит почитать в сквере газету, перед сном никак не может достигнуть просветления, потому что "не оторвался полностью / внутренним взором / от почтового ящика / в ноздрях был запах моря / <...> а под ребром он чувствовал / пальцы отсутствующей..." ("Господин Когито и чистая мысль"). Но именно из этой слабости, неуверенности и складывается та нелепая, "алогичная" человечность, которая в последнюю минуту заставляет встать на защиту "царства без границ и города пепелищ", обреченно встать вслед "Гильгамешу, Гектору, Роланду"...

Может быть, лаконичней всего противоположность этого "комплекса Господина Когито" сформулировал Александр Галич: "Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, / Не бойтесь мора и глада,

1. О популярности Херберта на родине к тому времени свидетельствует, среди прочего, появление у Чеслава Немена, который для поляков был тем же, чем Боб Дилан для американцев, на альбоме "Niemen Aerolit" (1974), песни на стихи Херберта. — Благодарим за это указание польского поэта Влодека Фенриха.

/ А бойтесь единственно только того, / Кто скажет: "Я знаю, как надо!" ("Размышления о бегунах на длинные дистанции".)

Оказывается, что именно "уши, натертые Моцартом, нюх, усовершенствованный запахом старых книг" становятся противоядием против этого знания. В стихотворении "Могущество вкуса", посвященного философу Изидоре Домбской, дважды — сперва в первой половине 50-х годов, а потом в середине 60-х — сталкивавшейся с запретом преподавать, так как она "не придерживалась партийной линии в философии", Херберт пишет:

Кто знает если бы нас искушали
умней и красивей
<...>
Наши глаза и уши отказывались
повиноваться
<...>
Силы характера не требовалось
вовсе
была у нас малость необходимой
отваги
но в сущности это было дело вкуса
Да вкуса
который велит нам выйти с
брезгливой гримасой
с усмешкой
пусть даже за это упадет голова
бесценная капитель тела

Это стихотворение из сборника Херберта "Рапорт из осажденного города", вышедшего в 1983 году во времена военного положения, введенного в Польше генералом Ярузельским, удивительно близко к одному из самых знаменитых высказываний из нобелевской лекции Иосифа Бродского. Лекция эта была прочитана Бродским в 1987 году — но насколько же близко мышление двух поэтов: "Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее..."

Такое сближение Бродского и Херберта продиктовано не только тем, что за обоими поэтами стоит достаточно близкий опыт: обоим выпало прожить часть жизни в коммунистических странах, обоим знакома эмиграция — без надежды на возврат у Бродского, несколько смягченная, "смазанная", с отъездами и возвращениями на родину — у Херберта. Свою роль сыграло и то, что и Бродский, и Херберт по самому своему складу тяготели к описанию вечных ситуаций — к философии, а не к политике.

Такие категории, как верность, смелость, порядочность не зависят от политического режима. Меняются декорации, но *человеческое* в человеке остается неизменным. Великий воитель Гектор, выходящий на свой последний поединок и знающий, что он обречен, что боги от него отвернулись, и щуплый астматик поэт Камиль Бачиньский, погибающий в самом начале Варшавского восстания, до последнего обстреливая танки СС, ближе друг другу, чем два интеллектуала, спорящие за столиком парижского кафе.

"Рапорт из осажденного города" был в той же мере "книгой на злобу дня", как книгой о всех, безнадежно защищающих свое дело вопреки всему. В стихотво-

рении, давшем название всему сборнику, Херберт говорит:

я должен быть точен но не знаю
когда началось нашествие
двести лет назад в декабре
сентябре
может быть вчера на рассвете
все тут больны потерей чувства
времени

В этой битве с безликим врагом, можно лишь удерживать — удерживать "руины храмов призраки садов и домов / если утратим руины не останется ничего". И это единственная битва человека, имеющая смысл: битва за память, за то, чего уже нет, — теперь на этом месте только руины, но именно верность им, верность тому, что уже у нас отнято, делает нас людьми.

Следующая книга стихов, "Элегия на уход", издается Хербертом только через семь лет, в 1990-м, в Париже, где он живет с 1986-го. Во многом это "новый" Херберт — куда более личный и камерный. Многие мотивы книги связаны с воспоминаниями детства — чувствуя, что так или иначе приближается к концу пути, Херберт пытается разглядеть, насколько его жизнь выросла из детских впечатлений. "Элегия на уход" — это и своеобразная присяга прошлому, декларация верности тем сотням мелочей и незначительностей, которые живы уже только в памяти.

В 1992 году появляется сборник стихов "Ровиго", название которому дало стихотворение об одном из заштатных итальянских городишек, который Херберт множество раз видел проездом из окна поезда. Ровиго был "шедевром обыкновенности улицы прямые дома некрасивы / <...> Сведенный к станции к запятой к зачеркнутой букве..." ("Ровиго"). Этот сборник — и гимн бродячей жизни, выпавшей Херберту, и одновременно — сожаление о ней: "а теперь я вижу ясно / облака над Феррарой <...> / движутся медленно / но уверенно / к неведомым / побережьям / это в них / а не в звездах / записан жребий" ("Облака над Феррарой").

И уже перед самой смертью Херберта, в 1998-м, выходит сборник "Эпилог бури". Само название этой книги отсылает к финальным словам Просперо в эпилоге последней и самой загадочной шекспировской драмы. Отпустив Ариэля на свободу, Просперо отрекается от волшебства и становится "как все", с этого момента уповая только на собственные силы и молитву: "Мне отчаянье грозит, / Лишь молитва пособит. / В ней же, как ни туго нам, / Очищение грехам..." (перевод М. Кузмина). Херберт пытается сказать в этой книге о самом простом и важном. Один из самых сильных разделов сборника — цикл молитв, написанных во время болезни и скитаний по больницам. И еще — пронзительное стихотворение, в котором Херберт говорит на прощание о том, что в основе его поэзии, в основе его отношения к миру лежала "нежность к камням к птицам и к людям". Именно к этой нежности обращается он в этой прощальной коде ко всему, им сказанному:

...Описать это значит убить а ты
должна бы сидеть
в темноте пустого холодного зала
твое место там
одиноко сидеть когда разум ведет
свою речь
затуманены мраморных статуй
глаза и слезы текут по щекам...

А. Нестеров

Мария Карп
По *другую сторону*

Роман называется "Die Stalinorgel", буквально: "Сталинская гармошка". Так немцы во время войны называли советские "катюши". Но в переводе дать книге название "Катюша" никак нельзя — автор романа, немецкий писатель Герт Ледиг, воевал на Ленинградском фронте на стороне нацистов.

Колонна за ним начинала сбиваться. Кто-то налетел прямо на него. Другие кричали: "Связной! Связной!" Он снова построил их и почувствовал, что задыхается. Чтобы ощущать себя уверенней, запихнул бумажку в карман. Если встретится патруль, он скажет, что держит ее на самый крайний случай. Это, конечно, тоже запрещалось, но в общем на такое смотрели сквозь пальцы. Тысячи таких бумажек возникали из ниоткуда. Сам он никогда этого не видел, но был уверен, что их сбрасывают с самолетов. Иногда они застревали в верхушках деревьев или в кровле деревенских изб. А по большей части оказывались на болотах, где никому никакой пользы от них не было. Бумажки попадались голубые и розовые, но текст был один и тот же:

ТОВАРИЩ, ПЕРЕХОДИ НА НАШУ СТОРОНУ! ЭТОТ ПРОПУСК ГАРАНТИРУЕТ ТЕБЕ ЖИЗНЬ И СВОБОДУ!

На обороте была кириллица, которой он разобрать не мог. Однополчанин перевел ему. Звучало неплохо. "Предъявитель этого бланка считается дезертиром. Он имеет право на льготное обращение, жизнь, свободу и отправку домой в конце войны". Никто в полку этому не верил. Не верил и Связной. И все равно — почти все держали при себе такой пропуск...

Связной — один из главных героев романа. Другие герои — Майор, Капитан, Сержант, Старшина.... Фамилий у этих людей нет, вместо имен собственных — воинские чины, функции, обязанности. Так на немецкой стороне, так и на русской. Единственное исключение — это русский капитан Зощенко, рядом с которым на войне любящая его женщина Соня. Человеческая индивидуальность как будто пробивается сквозь безликость чина и функции. В людях, затянутых в чудовищную воронку войны, живет страх, тоска по близким, оставшимся дома или уже погибшим, у кого-то — смекалка, помогающая уцелеть, а у кого-то — и мужество, позволяющее спасти других. Удивительным образом — и это еще одно оправдание отсутствия фамилий — в романе о войне нет противопоставления немцев и русских. Нет (кроме как в названии) имени Сталина, нет и Гитлера. Нет слов нацизм, коммунизм, Родина. Идеологии не существует — есть люди по обе стороны фронта, оказавшиеся в невыносимых обстоятельствах. Автор сочувствует и тем и другим. Враг для него только тот, кто отдает бессмысленные, губящие солдат приказы, а сам спасает свою шкуру.

Коричневый телефон, свалившийся на стол, начал звонить.

— Командир поста Шнитцер.

Знакомый голос из штаба батальона.

— Просто звоню сказать, что артиллерии разрешен ответный огонь.

— Спасибо, что сообщили, — произнес Майор ледяным голосом.

— Ничего. Нам самим уже досталось.

– Что?

– Сильный артобстрел Эмги. Только что был налет.

– Быстро это они.

– Некоторый сюрприз. Но мы сейчас навострим лыжи.

– Хорошо.

– Не совсем, – сказала трубка особым тоном. – Мы переезжаем.

– Вы – что?

– Дивизия меняет дислокацию.

– Нашел время шутить, – нахмурился Майор.

– Я не шучу, – ответил голос. – Сообщаю факты.

– Да как можно перемещать дивизию при том, что делается?!

– Да нет, дивизия остается на месте. Вам приказ удерживать позицию. Несколько перемещается только штаб – так выразился генерал. Между прочим, в машину он сел в пижаме, прямо как был... А для вас у меня особое поручение. Вам предписывается вдохновить солдат личным примером.

– Это ваши слова?

Над головой захлебывались снаряды.

– Нет, генерала в пижаме, он их наверно в какой-нибудь книжке вычитал.

Гёрт Ледиг добровольцем пошел в армию в восемнадцать лет, когда война уже началась. За год перед тем его мать и бабушка одновременно покончили с собой. За невыполнение приказов командира угодил в штрафной батальон. В двадцать один год был ранен на Ленинградском фронте – ему снарядом оторвало два пальца правой руки и раздробило нижнюю челюсть, из-за чего у него была затруднена речь. Роман "Сталинская гармошка" был написан 13 лет спустя, в 1955 году. Эмга – это конечно Мга, неправильно прочитанная Ледигом, да и фамилия капитана Зощенко тоже, очевидно, взялась не из личного опыта, а из послевоенных сообщений о журналах "Звезда" и "Ленинград". Тем не менее описания его достоверны, не вызывают сомнений. Более того, создается жуткое ощущение, что мы уже читали об этих самых событиях, только видели их с другой стороны. Правда, в советской военной прозе на передний план всегда выходит нерушимая дружба между солдатами, тогда как у Гёрта Ледига каждый умирает в одиночку.

Пронзительный страх и желание выжить, одолевающие его героя, Связного, на протяжении всего романа заставляют-таки его пробраться к русским войскам и предъявить спасительную розовую дезертирскую бумажку. Ударом приклада русские солдаты валят его на землю, вырывают "пропуск" из рук, рвут на мелкие кусочки – при этом он испытывает чувство утраты самого драгоценного своего достояния; бьют его и пытают при свечах в сырой землянке. В конце концов он сходит с ума. К перебежавшему к немцам русскому солдату судьба оказывается милосердней – его просто расстреливают. И это конечно случайность: по Ледигу, обе армии одинаково жестоки и коварны по отношению к противнику и равнодушны к своим, к тем, кто обеспечивает им победы.

Разумеется, глядя на войну с позиции человека, сознательно отворачивающегося от идеологии, – Ледиг в этом романе не видит или не хочет видеть существенного отличия советской армии от нацистской. Советские солдаты защищали свою страну от вторжения, и потому официальная советская позиция в тот короткий период совпадала с желаниями большинства обыкновенных людей, тогда как официальная нацистская позиция – во всяком случае к сорок второму году – вряд ли могла особенно вдохновлять. Потому-то война для Ледига и была в первую очередь противопоставлением между человеком и армией, в которой он воюет.

Один из героев "Сталинской гармошки", булочник, мечтавший и на фронте пристроиться поближе к выпечке хлеба, говорит: "Меня надули". – "Нас всех надули", – отвечает ему Связной. Очевидно, с этим чувством прошел войну и Гёрт Ледиг,

пытавшийся всю оставшуюся жизнь найти справедливость то в христианстве, то в коммунизме, который ему, западному немцу, быть может в знак протеста, казался привлекательным. Трагическая невозможность перейти на другую сторону, которую он описал в своем романе, изобразив судьбу Связного, очевидно, не была осознана им до конца. Идеология, от которой он отмахивался, сыграла с ним злую шутку.

Говорить об ужасах, испытанных во время войны немцами, в послевоенной Германии было не принято — мешало чувство вины и моральная невозможность увидеть себя жертвами войны. Наверно отчасти и потому "Сталинская гармошка", вышедшая в 1955 году, имела большой успех — те, кто прошли путь Ледига и разделяли его позицию, очевидно, считали, что книга, пусть не вполне, но восстанавливает подлинную картину. Ее называли лучшим романом о Второй мировой войне и перевели на четырнадцать иностранных языков. За ней в 1956 году последовало "Vergeltung" — "Возмездие" — о бомбежках Дрездена и в 1957 — "Faustrecht" — "Кулачное право". А потом о Ледиге забыли. Он жил в Баварии, работал инженером, занимался технической информацией.

Внезапному воскрешению Герта Ледига как литератора помог, сам того не ведая, живший в Англии немецкий писатель Винфрид Георг Зебальд. В 1999 году — за два года до гибели в аварии — Зебальд написал эссе "Война в воздухе и литература". В этом эссе он спрашивал, как могло случиться, что такая огромная травма, как бомбежки союзниками немецких городов в конце войны, не нашла в литературе никакого отражения. Когда он стал выступать в Германии, читая отрывки из своего эссе и обращая этот вопрос к аудитории, к нему стали подходить люди и говорить: "Как же, профессор Зебальд, ведь есть книга Ледига — "Возмездие". Зебальд ничего о Ледиге не знал — из литературной жизни тот исчез начисто.

Умер Ледиг в 1999 году, успев еще застать начало своего второго рождения. Он видел гранки "Возмездия", переизданного крупным немецким издательством "Зуркамп". Вслед за ним в 2000 году была перепечатана "Сталинская гармошка" и в 2001-м — "Кулачное право". Вскоре их стали переводить и на английский. "Сталинскую гармошку" перевел английский поэт и переводчик с немецкого Майкл Хофман, тонко воспроизведший стиль оригинала.

Сегодня в Германии все больше говорят об испытаниях, выпавших на долю немцев во время войны. Стали появляться и старые письменные свидетельства, и рассказы очевидцев. Страна, проклявшая режим, под гнетом которого она находилась 12 лет и который принес столько зла другим, через 60 лет после его разгрома обрела достаточно уверенности, чтобы, отделив пособников режима от его жертв, заговорить о собственной боли.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Бёлль Г. Письма с войны / Пер. с нем. И. Солодуниной. — М.: Текст, 2004. — 207 с. 3000 экз. (п)

В литературной энциклопедии писательский дебют Генриха Бёлля (кстати, в свое время открытого отечественному читателю именно "Иностранной литературой") датирован 1947 годом. Однако сейчас перед нами еще более ранние тексты писателя — его письма жене из армии, куда он был призван в годы Второй мировой войны. Непосредственно в боевых действиях будущий Нобелевский лауреат участвовал всего четыре недели, в основном же служил в разных гарнизонных частях. Но ужасы войны ему видеть довелось, и он свидетельствовал: "Война отвратительна, беспощадна и бесчеловечна, я просто не могу подобрать подходящие для нее определения. <...> Я уже привык, проходя мимо убитого, не важно немец это или русский, произносить: 'Благослови Бог душу твою!' Ах, как же беден человек!"

Луи де Лонг. Пятая колонна в Европе / Пер. с англ. И. Диаконова. — М.: Вече, 2004. — 384 с. 5000 экз. (п)

Словосочетание "пятая колонна" появилось во время гражданской войны в Испании (1936—1939): франкисты четырьмя колоннами наступали на республиканский Мадрид, "пятая колонна" должна была атаковать защитников города с тыла. Потому что "пятая колонна" — это сочувствующие Франко жители Мадрида. В годы Второй мировой войны практически во всех странах Европы нашлась своя "пятая колонна". Голландский ученый Луи де Лонг — крупный специалист по этой проблеме, настолько крупный, что уже после окончания войны написал для ООН специальный доклад на тему "пятой колонны", который впоследствии переработал в книгу.

Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между войнами (1918—1945) / Пер. с нем. Л. Лисюткиной. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 632 с.

Берлинский Восточный вокзал — как культурно-исторический феномен. Книга Карла Шлегеля — пионерское историко-географическое исследование и притом настоящий гимн месту, гимн Берлину как городу, где встречаются Восток и Запад. В 1920-е годы Азия начиналась с Восточного вокзала. Путешественник, который отправлялся в Россию, садился в поезд на берлинском перроне, и вскоре европейский пейзаж — горы, холмы и леса — сменялся бесконечной русской равниной, а там уже и до половецких степей недалеко. Через этот самый Восточный вокзал в 1917 году проезжали в пломбированном вагоне революционеры во главе с Лениным, по тому же маршруту отправлялись смотреть на советскую Россию Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер и прочие интеллектуалы, во время Второй мировой отсюда шли на восточный фронт эшелоны с немецкими солдатами. А потом, перед Потсдамской конференцией, именно сюда спецсостав доставил Сталина. После войны Восточный вокзал потерял свое значение и был пере-

строен. Вместе с ним ушла целая эпоха, описанная в книге.

Бокман Х. Немецкий орден: Двенадцать глав из его истории / Пер. с нем. В. Матузовой. — М.: Ладомир, 2004. — 273 с. 2000 экз.

Говорим "Немецкий орден" — подразумеваем "Пруссия". В нашей историографии Немецкий орден обычно называют Тевтонским. Это тот самый орден, который в XIII в. захватил земли балтийского племени пруссов, что жили между Вислой и Неманом, и основал там свое государство. Это тот самый орден, войска которого были разбиты польско-литовско-русской армией в знаменитой Грюнвальдской битве, которую немцы обычно именуют сражением при Танненберге. Наконец, это тот самый орден, один из магистров которого однажды принял протестантство, секуляризовал орденские земли и стал основателем государства под названием Пруссия. И обо всем этом подробно, документированно рассказывает знаменитый историк Хартмут Бокман.

Вэст Э. Первая мировая война. Иллюстрированная история / Пер. с англ. А. Колина, Я. Колиной. — М.: Эксмо, 2005. — 256 с. — (Энциклопедия военной истории). 4000 экз. (п)

В год шестидесятилетия со дня окончания Второй мировой войны издательство "Эксмо" вспомнило о другой мировой войне и выпустило посвященную ей иллюстрированную книгу. Фотографии в этом издании превосходные: самая настоящая окопная правда. Содержание же — в том, что касается собственно военной темы, — оставляет желать лучшего, но есть и вещи по-настоящему ценные: например, здесь рассматриваются социальные последствия Первой мировой, о чем отечественные историки пишут редко.

Великобритания

Сила и слабость "Герники"

В 1936 году после варварской бомбардировки баскского города Герники Пабло Пикассо создал картину, которая буквально кричит о трагедии. Хийс ван Хенсберген в своей книге "Герника. Биография иконы XX века" (издательство "Блумсбери") отмечает, что зрители бывают "ошеломлены и загипнотизированы силой и масштабом развернувшейся перед ними драмы".

Когда в Испании началась гражданская война, Пикассо жил во Франции. Ему, в ту пору уже знаменитому, республиканское правительство дало крупный заказ в преддверии Международной выставки, которая должна была состояться в 1937 году в Париже. Но произошла трагедия в Гернике, и за полтора месяца Пикассо создал свой шедевр. После первой демонстрации в испанском павильоне "Герника" "отправилась в турне" — собирать средства в поддержку республиканцев. В лондонской галерее, расположенной в одном из беднейших кварталов, перед картиной выстроились ряды грубых башмаков (для отправки на фронт): такова была цена за просмотр. Но вскоре Испанская республика пала, и "Герника" стала собственностью несуществующего государства. Несколько десятилетий она провела в Нью-йоркском музее современного искусства, а в 1981 году после трудных переговоров наконец вернулась в Испанию — на родину, где никогда не бывала.

У полотна оказалась непростая судьба, хотя и менее драматичная, чем у некоторых других шедевров. "Гернику" не теряли, не крали, не прятали в запасники — впрочем, ее копии находились под запретом во франкистской Испании.

Трудно сказать, когда именно "Герника" была во всем мире признана величайшим антивоенным произведением, осуждающим бесчеловечность во всех ее проявлениях. Но престиж картины настолько повысился, что одно время к ней проявлял интерес даже режим Франко.

Позднее "Герника" стала одним из символов новой испанской демократии, причем наследники Пикассо решали, достойна ли Испания того, чтобы принять картину. Сейчас полотно находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

С "Герникой" связано и несколько любопытных историй. Многим памятен ответ Пикассо на вопрос немецкого офицера, заявившегося в студию художника в оккупированном Париже. Указывая на фотографию картины, немец спросил: "Это ваша работа?" На что получил ответ: "Нет, ваша". Эпизод имел весьма необычное продолжение. В 1990 году германские власти использовали образы Пикассо как плакат, агитирующий вступать в армию. Подпись на нем гласила: "Изображение врага приводит к войнам".

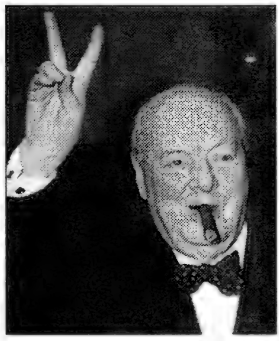
Излишне задаваться вопросом, сумела ли "Герника" предотвратить новые конфликты. Как и любое произведение искусства антивоенного характера, она сочетает в себе силу и бессилие. И тем не менее перед началом войны в Ираке кто-то стыдливо прикрыл холстом репродукцию знаменитого творения Пикассо, висящую в здании ООН.

Музей Уинстона Черчилля

В центре Лондона недавно прошло торжественное открытие музея, посвященного знаменитому британскому премьер-министру У. Черчиллю (1874—1965), которое было приурочено к 40-летию со дня его смерти и 60-летию победы над Германией.

Музей расположился под зданием Министерства финансов в помещении бывшего секретного подземного бункера, где во время войны проходили совещания правительства.

Постоянная экспозиция, состоящая из пяти разделов, рассказывает не только о Черчилле — государственном деятеле, политике и офицере, но и о Черчилле — отце, муже и сыне. Одна из ее главных достопримечательностей — огромное панно на стене, воспроизводящее хронику жизни человека, которого его соотечественники, согласно опросу Би-би-си, считают самым великим британцем в истории. Биография Черчилля действительно неор-



Уинстон Леонард Спенсер Черчилль

динарна. Он занимал правительственные посты при шести монархах (от королевы Виктории до королевы Елизаветы II), написал 60 книг, в 1950 году был удостоен Нобелевской премии по литературе, 21 раз участвовал в выборах и выиграл — 16, а также, как известно, дважды занимал кресло премьер-министра — с 1940-го по 1945-й и с 1951-го по 1955-й год.

Среди экспонатов — более 150 личных вещей Черчилля, в том числе пистолет, с которым он, будучи корреспондентом газеты "Морнинг пост", бежал из бурского плена, перископ времен Первой мировой войны и даже детская погремушка. Кроме того, на обозрение посетителей выставлено более 200 факсимильных документов, включая школьные табели премьера, и свыше 1000 фотографий.

Франция

"Французская сюита" Ирэн Немировской

"Главное событие сезона", "истинный шедевр", "одно из лучших произведений об оккупации Гитлером Франции, по силе воздействия сравнимое разве что с "Дневником Анны Франк", — вот лишь некоторые отклики крупнейших французских газет на роман Ирэн Немировской "Французская сюита", увидевший свет в издательстве "Деноэль". Вскоре Немировская становится лауреатом престижной литературной премии "Ренодо", причем впервые в истории этой награды она присуждается посмертно за произведение, созданное более 60 лет назад.

Ирэн Немировская родилась в 1903 году в Киеве в богатой еврейской семье. Отец — крупный банкир, проводивший бóльшую часть времени в деловых поездках и казино. Мать — светская львица, смотревшая на дочь как на досадное напоминание о ее уже не слишком юных летах. Ирэн росла под надзором гувернантки, которая обучила девочку бегло говорить по-французски. Она довольно рано полюбила читать, а затем попробовала писать сама.

В 1918 году Немировские, переодевшись в крестьянское платье, бежали из России через финляндскую границу и после месяцев странствий по Европе осели во Франции. Отец возглавил парижский филиал своего банка, снял домочадцам шикарный особняк, и семья опять зажила на широкую ногу. Праздники, светские приемы, балы... На одном из них девушка познакомилась со своим будущим мужем.

Не менее благополучно складывалась и литературная карьера Ирэн. Французские журналы охотно публикуют ее рассказы и сказки, но настоящий успех приносит Немировской роман "Давид Гольдер", появившийся в 1929 году в издательстве "Грассе". Надо заметить, что Бернар Грассе, пожелавший лично заключить авторский договор, далеко не сразу поверил, что столь зрелое и мастерски написанное произведение принадлежит перу юной барышни, всего десять лет прожившей во Франции.

Жизнь Немировской круто изменилась после французской капитуляции. Принятый правительством Виши в 1940 году "Закон о евреях" превратил ее семью (к этому времени Ирэн уже стала матерью двоих дочерей) в парий, не имеющих ни работы, ни социального статуса. Лишь изредка писательница публикуется под псевдонимом — издатели как правило не очень спешат прийти на выручку еврейке и иностранке. Надо заметить, что это, казалось бы невыносимое, положение Немировская принимает стоически. Не питая иллюзий относительно своего будущего, она в 1941—1942 годах напряженно работает над "Французской сюитой" — романом-завещанием, который мыслится ей как историческая эпопея, построенная по принципу музыкаль-

Обложка "Французской сюиты" И. Немировской

ной симфонии. В июле 1942 года Немировскую арестовывают и отправляют в Освенцим. Следом за ней в концлагерь попадает и муж. Рукопись романа — вместе с семейным архивом — чудом сохраняют дочери. Лишь десятилетия спустя одна из них находит в себе силы прочитать, а затем и подготовить к печати последнее произведение своей матери.

Во "Французской сюите" переплетаются судьбы нескольких семей, на их примере писательница ведет рассказ о событиях, которым она была очевидцем. После немецких бомбардировок начинается массовый исход из Парижа. В беженцев превращаются все — от аристократов и буржуа до мелких служащих. Однако общая беда лишь усиливает разобщенность: "добропорядочные французы", сбросив маску, обнаруживают свои не самые лучшие качества. Для большинства персонажей война — не более чем неприятность, создающая дополнительные житейские хлопоты и отрывающая от важных дел. Таков, например, именитый писатель Габриэль Корт, готовый всеми правдами и неправдами выторговать себе место под солнцем. Или владельцы банка, не забывшие оштрафовать своих служащих за то, что те, попав под бомбежку, не сумели пешком добраться до города, в который эвакуировалось их отделение. Идеи спасения отечества близки лишь юношам-романтикам да отпрыскам бедных семей, которые, по Немировской, и образуют соль нации. Прочие взирают на оккупацию пассивно-равнодушно, примерно такие же настроения владеют и оккупантами.

Изображенные в романе немецкие офицеры подчеркнуто вежливы и галантны. Они как будто несколько смущены своей новой ролью хозяев жизни и вовсе не считают французов врагами — не прочь поболтать с ними о политике или даже завести роман. В финале обитатели провинциального городка высыпают на улицу, чтобы поглядеть на то, как немецкая дивизия выступает в поход на Россию. Нет больше ни победителей, ни побежденных, словно хочет сказать автор, — одни лишь покорные жертвы массового безумия под названием война.

Германия

Бетховен в Бухенвальде

"Неоднозначным" называет пресса разных стран замысел Новой израильской оперы и Эрфуртского оперного театра совместно поставить оперу Бетховена "Фиделио" и исполнить ее у ворот Бухенвальда.

Проект, который "некоторых повергнет в шок, но у большинства найдет поддержку", принадлежит итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако, известному своими достаточно экстравагантными сценическими решениями.

Генеральный директор Эрфуртского театра считает, что эта постановка — прежде всего жест примирения, призванный растопить лед недоверия между немцами и евреями. По его мнению, для такой цели как нельзя лучше подходит единственная опера Бетховена, рассказывающая о страданиях безвинно заключенного в тюрьму знатного юноши, которого пытается спасти верная и бесстрашная жена.

"Фиделио" будет показан зрителям в 2007 году. Пока планируется дать два спектакля. В первом действии за пультом будет стоять дирижер-немец, во втором его сменит израильтянин.

По материалам газет "Гардиан" [Великобритания], "Экспресс" [Франция], журналов "Хистори тудей" [Великобритания], "Лир" [Франция].

Курцио Малапарте [Курт Эрих Зукерт]
Curzio Malaparte [1898–1957]. Итальянский писатель и журналист.

Автор поэтического сборника *Архиитальянец. Кантаты* [*L'arcitaliano. Cantate*, 1928], книг эссе *Да здравствует Капоретто!* [*Viva Caporetto!* 1921], *Свадьба евнухов* [*Le nozze degli eunuchi*, 1923], *Интеллект Ленина* [*Intelligenza di Lenin*, 1930], *Техника государственного переворота* [*Technique du coup d'état*, 1931; рус. перев. – 1998], *Ленин – добрая душа* [*Le bonnhomme Lénin*, 1932], *Я в России и в Китае* [*Io in Russia e in Cina*, 1958], сборников рассказов *Содом и Гоморра* [*Sodoma e Gomorra*, 1931], *Побеги из тюрьмы* [*Fughe in prigione*, 1936], *Кровь* [*Sangue*, 1937], *Женщина как я* [*Donna come me*, 1940], пьес *Капитал* [Das Kapital, 1949], *Женщины тоже проиграли войну* [*Anche le donne hanno perso la guerra*, 1954] и др.; романов *Капут* [Kaputt, 1944; рус. перев. в журнале *Нева*, 1990, № 10–12]; *Благословенные итальянцы* [*Benedetti italiani*, 1961] и др. Малапарте по собственному сценарию снял фильм *Запретный Христос* [*Il Cristo proibito*], получивший в 1951 г. *Серебряного медведя* на кинофестивале в Берлине. Публикуемый роман печатается по изданию *La Pelle* [Roma-Milano: Aria d'Italia, 1950].

Марио Корти
Mario Corti [р. 1945]. Прозаик, переводчик, радиожурналист.

Один из основателей издательства La casa di Matriona, публикующего книги по русской культуре и истории. С 1979 года – сотрудник радио *Свобода*.
Составитель сборников о советском диссидентском движении. Автор многих статей по истории и истории культуры и книги *Дрейф* [2002]. В настоящее время готовится к печати его книга *Сальери и Моцарт*.

Тадеуш Ружевич
Tadeusz Różewicz [р. 1921]. Польский поэт, прозаик, драматург, эссеист. Лауреат нескольких международных и национальных премий, в том числе самой престижной польской премии *Ника* [2000].

Автор сборников стихов *Разговор с принцем* [*Rozmowa z księciem*, 1960], *Третье лицо* [*Twarz trzecia*, 1968], *всегда фрагмент. recycling* [*zawsze fragment. recycling*, 1998], *Выход* [Wyjście, 2004], сборников рассказов *Опали с деревьев листья* [*Opadły liście z drzew*, 1955], *Подготовка к авторскому вечеру* [*Przygotowanie do wieczoru autorskiego*, 1971], полного собрания пьес в 2-х томах *Театр* [*Teatr*, 1988] и др. В Польше в 2004 г. начало выходить многотомное собрание его сочинений. На русском языке изданы сборник стихов *Беспокойство* [1963], *Избранное* [1979], *Стихотворения и поэмы* [1985], *Три пьесы* [2004]. В *ИЛ* публиковались его стихи и рассказы [1956, № 8; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5; 1989, № 3, 1998, № 7; 2000, № 8], пьеса *Западня* [*Pułapka*, 1989, № 3], поэма *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* [*Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym*, 1998, № 7].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Проза* [Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004].

Тамия Торахико
[1911–1988]. Японский прозаик.

Автор романа *В тумане* [1947], сборников рассказов *Мыс Асидзури*, *Книга с картинками* [1954], *Дети мачехи* [1957], *Жизнь Тиэко* [1961], *Мыс Асидзури* [1999] и др.
Публикуемый рассказ взят из *Полного собрания японских новелл*, т. 41 [Tokio: Shobo Chikuma, 1968].

Арно Шмидт
Arno Schmidt [1914–1979]. Немецкий прозаик, литературовед,

Автор повестей *Пустошь Бранда* [*Brand's Haide*, 1951], *Из жизни фавна* [*Aus dem Leben eines Fauns*, 1953], *Косма, или О Северной горе* [*Kosmas, oder Vom Berge des Nordens*, 1955], *Республика ученых* [*Die Gelehrtenrepublik*, 1957], ро-

переводчик англоязычной литературы. Лауреат премии Гёте [1973].

манов *Каменное сердце* [*Das steinerne Herz*, 1956; рус. перев. 2002], *Море Кризисов – тоже захолустье* [*Kaff auch Mare Crisium*, 1960], *Сон Основы* [*Zetteles Traum*, 1970], *Школа атеистов* [*Die Schule der Atheisten*, 1972], *Вечер с золотой каймой* [*Abend mit Goldrand*, 1975], *Юлия, или Картины* [*Julia, oder Die Gemälde*, издан посмертно, 1983] и др., а также нескольких сборников рассказов и эссе. В *ИЛ* публиковался его рассказ *Гадир, или Познай самого себя* [*Gadir, oder Erkenne dich selbst*, 1999, № 7].
Публикуемая повесть печатается по изданию: *Leviathan und Schwarze Spiegel* [Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1974].

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Б. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4] и др.

Никола Жалло
Nicolas Jallot
[р. 1957]. Французский журналист, историк-славист.

Автор книг *Серп и шприц – в центре бывшего СССР* [*La Faucille et la Seringue, au coeur de l'ex-USSR*, 1997], *Санкт-Петербург – надежда для наркоманов* [*Saint-Pétersburg, espoir pour les drogués*, 1998], *Люди, которые разрушили Стену* [*Ces hommes qui ont fait tomber le Mur*, 1999] и др. В 2003 г. вышел документальный фильм по книге *Их Сталин поймал в ловушку*, снятый Никола Жалло совместно с Ксавье Делё.
Фрагменты книги печатаются по изданию *Piégés par Staline* [Paris: Belfond, 2003].

Иван Клима
Ivan Klíma
[р. 1931]. Чешский прозаик, драматург, эссеист и публицист.

Автор романов *Ожидание тьмы, ожидание света* [*Čekání na tmu, čekání na světlo*, 1993], *Ни святые, ни ангелы* [*Ani svatí, ani andělé*, 1999], *Премьер и ангел* [*Premiér a anděl*, 2003] и др. В *ИЛ* печатались переводы его рассказов [1993, № 4, 1999, № 3].
Эссе *Mé terezínské návštěvy* публикуется по рукописи; эссе *Luisa* взято из сборника *Мои опасные поездки* [*Moje nebezpečné výlety*. Praha: Academia, 2004].

Мария Поэлевна Карп
Переводчик стихов и прозы с английского и немецкого языков. Живет в Лондоне, работает на Русской службе Би-би-си. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В ее переводе публиковались стихи У. Х. Одена, Д. Томаса, Э. Дженнингс, поэма Н. Ленау *Дон Жуан*, повесть Джорджа Оруэлла *Скотское хозяйство* [2001], роман Вирджинии Вулф *Комната Джейкоба* [*ИЛ*, 1991, № 9] и др. Один из авторов рубрики *Письма из-за рубежа*.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Геннадий Николаевич Федоров
[р. 1946]. Переводчик с итальянского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Тихоновна Курганская
Переводчик с польского и английского языков.

Переводила прозу К. Филипповича, А. Стасюка, Е. Сосновского, Ю. Хэна, дневники Вл. Шпильмана, стихотворения В. Шимборской. В ее переводе [совместно с М. Тихоновым] вышла книга Дж. Рэдуэй *Читая любовные романы*.

Ольга Николаевна Исаева
Переводчик с английского и японского языков.

В ее переводах публиковались эссе У. Б. Йейтса, публицистическая книга *Падение публичного человека* Р. Сеннета, романы *Сердце ангела* У. Хьертсберга, *Чмоки* Д. Хаггинза и др.

Ирина Всеволодовна Радченко
Переводчик с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду *На волоске* [1989, № 7] и А. Камю *Ренегат* [1993, № 3], фрагменты романа Л.-Ф. Селина *Guignol's Band, или Паяцы* [2001, № 3], романы *Месье* [2001, № 3] и *Фотоаппарат* [2002, № 1] Ж.-Ф. Туссена, *Платформа* М. Уэльбека [2002, № 11], *Teen spirit* В. Депант [2005, № 4] и др.

Нина Яковлевна Фальковская
Переводчик с чешского и английского языков.

В ее переводе опубликованы сборник рассказов и эссе Р. Вайнера *Банщик* и книги по искусству, в том числе *Музеи Берлина* Колин Эйслер и *Тициан* Филиппо Педрокко. В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины испанского художника Пабло Пикассо [1881–1973] *Мальба* [1937].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 07.04.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 820.
Тираж 8 300 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

В следующем номере:

Касторп – новый роман Павла Хюлле – своеобразная фантазия на тему "Волшебной горы" Томаса Манна: Ганс Касторп (как мельком упомянул Манн) несколько месяцев проучился в Данциге (ныне – Гданьск), и события этих месяцев интересно домыслены польским прозаиком. Переводчик – **Ксения Старосельская**.

Новые рассказы Альдо Нове – автора культовых страшилок для взрослых "Супервубинда", нашумевших и в России. Известный прозаик предстает здесь перед читателем в образе писателя-абсурдиста, воспринимающего Италию 80-х годов глазами подростка. Переводчик – **Геннадий Киселев**.

Литературный гид о греческом писателе, лауреате Нобелевской премии 1963 года Георгосе Сефериса. Переводчики – **Владимир Аристов**, **Михаил Гаспаров**, **Ирина Ковалева**, **Евгения Светличная**.

---

[6] 2005

РОМАН ПАВЛА ХЮЛЛЕ "КАСТОРП" / РАССКАЗЫ МИШЕЛЯ ФЕЙБЕРА И АЛЬДО НОВЕ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "СЕФЕРИС, ИЛИ ПУТЬ ОДИССЕЯ" / СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКАМ СТИХОВ ШАНДОРА КАНЯДИ: "ВЛЮБЛЕННЫЙ РАССКАЗ О ПОДЛИННИКЕ" В РУБРИКЕ "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА" / СТАТЬЯ ТАМАРЫ ЦЕРЕТЕЛИ "БЕСЦЕННЫЙ УРОК УНИЖЕНИЯ"

Журнал ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО **ИНОСТРАНКА**

ИНДЕКС 70394

ВСЕ, ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ СЕГОДНЯ

Лучшие авторы – в лучших переводах

Серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №5, 1-288